

Н О В Ы Й  
М И Р

Н О В Ы Й М И Р

1966

3



1966

# НОВОЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLII

№ 3

Март, 1966 г.

---

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
НА ПУТИ К КОММУНИЗМУ	3
ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ — Прощай, Гульсары! Повесть	9
НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА — Новые стихи	100
А. ПРАСОЛОВ — Мост, стихотворение	103
ГРИГОРИЙ КОРИН — Обида, стихотворение	104
В. КАВЕРИН — Малиновый звон. Путевые записки	105
ДЖУДИТ РАЙТ — Боярышник на меже. Брат и сестры, стихи. Перевел с английского Андрей Сергеев	141
<b>ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ</b>	
М. БЕЛКИНА — На Памире	143
<b>НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ</b>	
Д. МЕЛЬНИКОВ — Западнее Эльбы	167
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
Е. ГНЕДИН — Бюрократия двадцатого века (Социологические заметки о современном буржуазном обществе)	189
ФЕЛИКС НОВИКОВ — Возрождение архитектуры	202
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
В. ЛАКШИН — Три меры времени	221
Д. ГОРБОВ — Художник и эпоха (Чешский роман об итальянском Возрождении)	229
(См. на обороте)	

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	
<b>Ф. Левин.</b> Зоркость сердца.— <b>Э. Исааков.</b> Мундир — с иголки.— <b>Ал. Михайлов.</b> Душевного тепла запас...— <b>Г. Трефилова.</b> Вместо идиллии.— <b>А. Наркевич.</b> Записные книжки А. Блока.— <b>С. Ларин.</b> Как и двадцать лет назад.	243
<i>Политика и наука</i>	
<b>В. Максаковский.</b> Экономическая география вчера и сегодня.— <b>Ф. Светов.</b> Книга о трибуне Французской революции.— <b>Б. Кафенгауз.</b> Сельское хозяйство в древней Руси.	261
<b>ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ</b>	
<b>Артем Анфиногнов</b> — О нашей памяти и долге	271
<b>КОРОТКО О КНИГАХ:</b> Адмирал Ю. А. Пантелеев. Морской фронт.— Владлен Кузнецов. За Бранденбургскими воротами.— Иван Ветров. Братья по оружию.— Д. Гамшик, И. Пражак. Бомба для Гейдриха.— Отто Рюле. Хлеб для шести миллиардов.— Живая память поколений (Великая Отечественная война в советской литературе).— Елизавета Стюарт. Ночные березы.— Мнуха Брук. Семья из Сосновска.— Йозеф Несвадба. Мозг Эйнштейна.— М. Л. Михайлов. Адам Адамыч.— М. В. Алпатов, Е. А. Гунст. Николай Николаевич Сапунов.— В. В. Чарнолуский. Легенда об олене-человеке.— Валентин Бродский. Как машина стала красивой.	274
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	281
<b>ПАМЯТИ А. А. АХМАТОВОЙ</b>	
<b>Ал. Сурков.</b> Поэты не умирают	283
<b>А. Твардовский.</b> Достоинство таланта	285

---

## НА ПУТИ К КОММУНИЗМУ

XXIII съезд партии... Память невольно возвращает нас к первому съезду 1898 года — отсчет идет от него — к деревянному домику в Минске, где собрался этот съезд, к глухим годам России, уже предвещавшим революционные бури, к мужественным словам Ленина, создателя партии: «Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам придется почти всегда идти под их огнем. Мы соединились, по свободно принятому решению, именно для того, чтобы бороться с врагами..»

Выражая коренные интересы трудящихся масс, партия большевиков сплотила и повела их в революционные бои за коренное обновление общественной жизни. Крупными вехами обозначена история партии, народа, Советского государства. Великий Октябрь, первая в истории социалистическая революция. Годы защиты молодой советской республики и годы мирного строительства, когда в международный лексикон вошло слово «пятилетка» вместе с другими словами, выразившими глубокие преобразования, происходившие в нашей стране. Великая Отечественная, спасшая все человечество от фашистской чумы. И уже двадцать с лишним лет мира на нашей земле, строительства, освоения новых земель, повседневного труда миллионов на благо родины.

На каждом из этих исторических этапов съезды партии были выдающимися событиями в жизни советского народа. Съезд — высший орган партии, выражение ее коллективного разума. Съезды подводят итоги минувшей полосы жизни партии и народа и намечают политику партии на дальнейший период.

Еще в первые годы советской власти, говоря о задачах партийного съезда, В. И. Ленин призывал: «Пусть же все члены партии напрягут силы, чтобы принести на съезд партии проверенный, переработанный, подытоженный п р а к т и ч е с к и й опыт». Каждый из нас легко мог заметить, что в дни подготовки к XXIII съезду этот ленинский призыв приобрел особую силу. Не только коммунисты, но и беспартийные, проникнутые заботой о решениях и выводах съезда, деловито и вдумчиво обсуждали проект Директив по новому пятилетнему плану, внося свои предложения, коррективы и дополнения. В предсъездовские дни мы смогли без ненужной похвалы, с ответственностью и достоинством оценить сделанное и понять, что еще предстоит сделать.

Наши успехи велики. У всех на памяти свежий факт, победа,

одержанная советскими людьми в предсъездовские дни и посвященная съезду,— успешная посадка советской автоматической станции на Луне. Телерепортаж из лунного Океана Бурь— одно из чудес века— стал возможен в силу высокого уровня развития науки и техники, который Советский Союз подтверждает уже не один год своими достижениями в космосе. Строительство самой мощной в мире Братской ГЭС, которое будет завершено в нынешнем году,— также свидетельство творческого разума и энергии советских людей, которые всерьез взялись за освоение неисчерпаемых богатств Сибири и Дальнего Востока.

Можно привести несколько разрозненных, но тем не менее весьма внушительных цифр. В минувшем семилетии было введено в действие около 5,5 тысяч новых крупных промышленных предприятий. А что это такое— можно пояснить на таком примере: не так давно начала действовать домна мощностью в 1370 тысяч тонн чугуна в год, домна-уникум, но это всего лишь агрегат, а не само предприятие, так же как Челябинский непрерывно-заготовочный прокатный стан, который обслуживают 2500 электродвигателей. Братская или, скажем, Бухтарминская ГЭС— это уже предприятия. Другая цифра: за семилетие было построено 556 миллионов квадратных метров жилья, то есть столько же, сколько было построено за все предшествующие годы советской власти. По сравнению с жилым фондом, который мы имели перед войной, увеличение произошло тройное. В одном только прошлом году новоселье справили десять миллионов человек!

Успехи, достигнутые советским народом под руководством Коммунистической партии, подтверждают правильность ее политики, вырабатываемой на партийных съездах. Замечательными предтечами нынешнего съезда были съезды XX и XXII. В связи с десятилетием XX съезда «Правда» писала недавно: «Выражая назревшие исторические потребности, съезд определил очередные задачи развития страны. Большое значение имели решения партии, направленные на восстановление ленинских норм партийной и государственной жизни, на соблюдение и развитие принципов коллективности руководства и внутрипартийной демократии. Преодолевая последствия культа личности, партия провела большую идейно-политическую и организаторскую работу в массах, осуществила важные меры по дальнейшему развитию социалистической демократии. Это еще выше подняло ее роль как вдохновляющей и организующей силы народа». Партия укрепляет и развивает социалистическую демократию, вовлекая все более широкие народные массы в управление делами государства и общества, она делает все, чтобы никогда больше не повторились нарушения законности, связанные с культом личности. XXII съезд принял Программу партии, определяющую жизнь советского народа на многие годы, Программу строительства коммунистического общества в нашей стране. Важнейшее значение для партии и страны имеют решения октябрьского (1964 год) и последующих Пленумов ЦК КПСС, органически связанные с предыдущими съездами и, так же как они, способствующие дальнейшему улучшению методов партийного и государственного руководства, повышению боеспособности партии.

Науке управления развитием социалистического общества чужды любые проявления волюнтаризма и субъективизма, эта наука, по словам Ленина, «больше похожа на алгебру, чем на арифметику, и еще больше на высшую математику, чем на низшую». Трезвый взгляд на положение вещей, глубокий анализ обстановки, знание и учет объективных социальных законов позволяют выработать подлинно научную, подлинно реалистическую политику, политику гибкую и целеустремленную, не допускающую ни перепрыгивания через необходимые этапы общественного развития, ни топтания на месте, ни «волевых» действий, ни медлительности в осуществлении назревших задач.

Именно таким строго научным документом явились Директивы XXIII съезда КПСС по пятилетнему плану. Деловитость, всесторонняя экономическая обоснованность, чуждая словесной суеты лаконичность отличают стиль этого важнейшего документа, призванного после соответствующего обсуждения и утверждения стать программой хозяйственной — и не только хозяйственной — деятельности нашего народа на целое пятилетие.

Говоря об успехах, добытых трудом народа в истекшем семилетии, партия отметила в Директивах, что эти успехи народного хозяйства страны «могли быть еще более значительными, если бы более полно использовались объективные возможности, заложенные в нашем общественном строе». Полнее использовать преимущества социализма — значит прежде всего совершенствовать методы планирования, управления хозяйством, обеспечивать полный простор инициативе каждого работника и каждого предприятия, соблюдать разумные пропорции в развитии отдельных отраслей.

Известно, например, что в течение десятилетий успехи сельского хозяйства у нас куда скромнее, чем достижения в области промышленности. Задания семилетки по производству сельскохозяйственной продукции не выполнены, что не могло не отразиться на экономическом развитии страны. И партия призывает нас задуматься над этим, предлагает конкретные меры решения нелегкой экономической проблемы.

«Новый пятилетний план,— говорят Директивы,— призван обеспечить значительное продвижение нашего общества по пути коммунистического строительства, дальнейшее развитие материально-технической базы, укрепление экономической и оборонной мощи страны. Главную экономическую задачу пятилетки партия видит в том, чтобы на основе всемерного использования достижений науки и техники, индустриального развития всего общественного производства, повышения его эффективности и производительности труда обеспечить дальнейший значительный рост промышленности, высокие устойчивые темпы развития сельского хозяйства и благодаря этому добиться существенного подъема уровня жиз-

ни народа, более полного удовлетворения материальных и культурных потребностей всех советских людей».

Директивы не могут не поразить воображение величием поставленных в них задач, масштабностью основных плановых показателей. Достаточно сказать, что национальный доход Советского Союза должен быть увеличен за пятилетие на 38—41 процент, а реальные доходы в расчете на душу населения примерно в 1,3 раза. Объем промышленной продукции возрастет примерно в полтора раза. В 1970 году наша страна будет производить 840—850 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, 345—355 миллионов тонн нефти, 225—240 миллиардов кубометров газа, 665—675 миллионов тонн угля, 124—129 миллионов тонн стали и т. д.

Уже сейчас Советский Союз занимает второе место в мире по общему объему выпускаемой продукции, а по производству некоторых важных видов продукции вышел на первое место. Новая пятилетка явится значительным этапом в мирном соревновании двух систем — социалистической и капиталистической. Экономика — решающее поле битвы за коммунизм, и в предстоящем пятилетии советский народ призван еще больше укрепить и развить материально-техническую базу нового общества. Переход к новым разработанным на последних Пленумах ЦК методам социалистического хозяйствования дает возможность наиболее эффективно использовать преимущества социалистической высокоорганизованной системы хозяйства, ускоряет поступательное движение нашей страны к коммунизму.

План грандиозен и вместе с тем соразмерен, гармоничен. В нем отчетливо видна ведущая тенденция экономической политики партии на нынешнем этапе развития общества — забота о пропорциональном развитии всех отраслей народного хозяйства. Важная особенность пятилетки — сближение темпов роста сельскохозяйственного производства с темпами роста промышленности, равно как и сближение темпов развития отраслей, производящих средства производства, и отраслей, производящих средства потребления, ускорение развития легкой и пищевой промышленности.

План грандиозен и вместе с тем реален. Каждая его цифра и строка — итог взыскательной аналитической работы партийных и хозяйственных работников. Единственно, чему план не ставит предела, — это заданиям по росту материального благосостояния трудящихся. План исходит из того, что более полное удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей является главной целью социалистического производства.

Директивы предусматривают не только повышение заработной платы рабочих и служащих, увеличение денежных выплат и льгот за счет общественных фондов потребления, что само по себе скажется на достатке миллионов семей. Особенно подчеркнуты и выделены мероприятия по сближению уровней жизни городского и сельского населения. Преодоление социально-экономических и культурно-бытовых различий между

городом и деревней будет способствовать укреплению союза рабочего класса и крестьянства, единства всего советского народа. Важно также, что в результате повышения общеобразовательного уровня народа заметно уменьшатся и существенные различия между умственным и физическим трудом. И то и другое — особенность коммунистического общества. О ликвидации различий между городом и деревней, о стирании граней между умственным и физическим трудом писали еще Маркс и Энгельс. Всесторонне развитая человеческая личность — идеал и цель коммунистического общества, и к этой цели мы все ближе и ближе.

Мы привыкли говорить, что реальность наших планов — это прежде всего мы сами, советские люди, наша энергия и деловая сметка, инициатива и настойчивость. И это действительно так, хотя нельзя желаемое выдавать за действительное, нельзя хозяйствовать, рассчитывая лишь на энтузиазм людей. Поэтому партия в последнее время обратила сугубое внимание на повышение материальной заинтересованности тружеников, которую еще не так давно третировали и выдавали чуть не за пережиток прошлого. Поощряя инициативу каждого работника и реально стимулируя высокие результаты, достигаемые коллективами в целом, партия подняла роль и значение этих важных экономических рычагов. Но с такой же последовательностью расширяя демократические основы управления, партия по-прежнему стремится воспитывать у советских людей высокую социалистическую сознательность, подлинно коммунистическое отношение к труду, рачительность и хозяйское отношение к народному добру, производственную и государственную дисциплину.

Воспитание советских людей в духе коммунизма, формирование нового человека — важнейшая составная часть коммунистического строительства.

В воспитании высоких нравственных качеств советских людей литературе и искусству принадлежит не последнее слово. И хотя в пятилетнем плане, естественно, нет и не могло быть никаких «заданий» литературе, нет сомнений, что на съезде партии о ней непременно пойдет речь.

«Партия говорит с народом языком правды,— говорится в Директивах,— ничего не скрывая и не приукрашивая, показывает как реальные достижения, так и трудности нашего развития. Коммунистическая партия сильна своей тесной связью с народом, беззаветным служением интересам трудящихся. Для партии нет более высокой оценки ее деятельности, чем народное одобрение, поддержка ее начинаний».

Язык правды отличает лучшие произведения советской литературы. Видеть действительность такой, какая она есть, во всей ее сложности, в ее реальных противоречиях и движении — исходная позиция художника социалистического общества. Только правдивое изображение действительности способно дойти до ума и сердца читателя, воспитать в нем активное отношение к жизни. Когда же эту действительность пытаются препарировать ради ли предвзятого намерения или в угоду ложным эстетическим представлениям, когда эту действительность упрощают и схематизируют, тогда и искусство перестает быть искусством, тогда и идея партийности творчества неизбежно терпит ущерб. Самые большие по-



тери литература и искусство несут именно от неправды, ведущей к утрате ими действительной силы. И потому язык правды — это и есть партийный язык, обеспечивающий литературе доверие и уважение читателей, неразрывную связь с жизнью народа.

Коммунистическая партия — партия революционного действия, прочно стоящая на почве действительности. Строительство коммунизма — творческий процесс. В нем много сложного и неизведанного. Требуется накопление и внимательное изучение опыта, опора на реальную практику масс, на науку, чтобы избежать ошибок, твердо памятуя, что сами по себе преимущества социалистического общества действуют не автоматически, а лишь в результате сознательных усилий трудящихся.

«Только социализм, — говорил Ленин, — даст возможность широко распространить и настоящим образом подчинить общественное производство и распределение продуктов по научным соображениям, относительно того, как сделать жизнь всех трудящихся наиболее легкой, доставляющей им возможность благосостояния. Только социализм может осуществить это. И мы знаем, что он должен осуществить это, и в понимании такой истины вся трудность марксизма и вся сила его».

Осуществление пятилетки, решений предстоящего партийного съезда будет иметь большое международное значение. Советский Союз ассоциируется в умах людей с экономическим и политическим прогрессом. Этого не смеют отрицать даже противники коммунизма. «Вот уже свыше ста лет, — пишет один из западногерманских социологов, — марксизм является тем голосом совести, который мешает западному капиталистическому миру всецело погрязнуть в болоте оскорбительного для человека эгоизма. Марксизм — это та сила, наступление которой разбудило совесть и не дает ей уснуть».

В нашей стране марксизм-ленинизм выступает не только как теория, но и как живая действительность. И каждый наш успех увеличивает притягательную силу идей социализма. Рост экономического могущества нашей родины тесно связан и с укреплением ее оборонной мощи, а это не последний фактор в борьбе за мир во всем мире — одной из самых актуальных задач современности.

Предстоящее пятилетие ознаменуется двумя выдающимися событиями, к которым готовится наш народ. В будущем году мы будем отмечать пятидесятилетие Великой Октябрьской революции, а в последнем году пятилетки — столетие со дня рождения великого вождя и учителя советского народа, основателя нашей Коммунистической партии Владимира Ильича Ленина.

Под знаменем Ленина, под руководством Коммунистической партии советские люди трудятся в счет первого года пятилетки, встречая очередной съезд партии новыми успехами в социалистическом строительстве.



---

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ

★

## ПРОЩАЙ, ГУЛЬСАРЫ!

*Повесть*

I

**Н** а старой телеге ехал старый человек. Буланый иноходец Гульсары тоже был старым конем, очень старым...

Дорога взбиралась на плато томительно долго. Среди серых, пустынных холмов зимой вечно крутит поземка, летом жара стоит, как в аду.

Для Танабая этот подъем всегда был сущим наказанием. Не любил он медленной езды, ну просто не переносил. В молодости, когда довольно часто приходилось ездить в райцентр, каждый раз на обратном пути он пускал коня в гору галопом. Не жалел его, нахлестывая камчой. Если же ехал с попутчиками на мажаре, да притом запряженной быками, спрыгивал на ходу, молча брал свою одежду и уходил пешком. Шел яростно, как в атаку, и останавливался, только поднявшись на плато. Там, хватая ртом воздух, ждал ползущую внизу колымагу. От быстрой ходьбы сердце бешено колотилось и кололо в груди. Но хоть и так, а все же лучше, чем тащиться на быках.

Покойный Чоро любил, бывало, подтрунить над чудачеством друга. Он говорил:

— Хочешь знать, Танабай, почему тебе не везет? От нетерпения. Ей-богу. Все тебе скорее да скорее. Революцию мировую подавай немедленно! Да что революция, обыкновенная дорога, подъем из Александровки и тот тебе неважно. Все люди как люди, едут спокойно, а ты соскочишь — и бегом в гору прешь, точно за тобой волки гонятся. А что выигрываешь? Ничего. Все равно сидишь там наверху, дожидаясь других. И в мировую революцию один не вскочишь, учти, будешь ждать, пока все подтянутся.

Но это было давно, очень давно.

На этот раз Танабай и не заметил, как миновал Александровский подъем. Привык, выходит, к старости. Ехал ни скоро, ни тихо. Ехал, как ехалось. Теперь он всегда отправлялся в путь один. Тех, кто ходил с ним на этой дороге шумной ватагой в гридцатые годы, уже не сыщешь. Кто погиб на войне, кто умер, кто сидит дома, век свой доживает. А молодежь ездит на машинах. На жалкой кляче тащиться с ним не будет.

Колеса стучали на старой дороге. Долго еще стучать им. Вперед лежала степь, а там, за каналом, надо было еще порядочно ехать предгорьем.

Он уже давно начал замечать, что конь вроде сдает, слабеет. Но, занятый своими нелегкими мыслями, не очень беспокоился. Разве уж

такая беда, что конь притомится в дороге? Не такое бывало. Довезет, дотянет...

Да и откуда он мог знать, что его старый иноходец Гульсары<sup>1</sup>, прозванный так за свою необыкновенную светло-желтую масть, последний раз в своей жизни преодолел Александровский подъем и сейчас вез его последние версты. Откуда ему было знать, что голова коня кружилась, как от дурмана, что в его помутневшем взоре земля плыла цветными кругами, кренилась с боку на бок, задевая небо то одним, то другим краем, что дорога перед Гульсары временами вдруг обрывалась в темную пустоту и коню казалось, что впереди, куда он держит путь и где должны быть горы, плывет красноватый туман или дым.

Глухо и затянно ныло давно надсаженное сердце коня, дышать в хомуте становилось все грудней. Шлея, сбившись набок, резала поясницу, а с левой стороны под хомутом что-то острое постоянно кололо плечо. Может, это была колючка или кончик гвоздя, вылезшего из войлочной подбивки хомута. Открывшаяся ранка на старой, мозолистой намятине плеча нестерпимо жгла и зудила. И ноги все больше тяжелели, точно он шел по мокрому вспаханному полю.

Но старый конь все же шел, пересиливая себя, а старый Танабай, изредка понукая его, подергивал вожжами и все думал свою думу. Ему было о чем думать.

Колеса стучали по старой дороге. Гульсары пока еще шел все той же привычной иноходью, все тем же особым ритмом, тротом, с которого он ни разу не сбивался с тех пор, как впервые встал на ноги и неуверенно затрусил по лугу за своей матерью — большой гривастой кобылой.

Гульсары был иноходцем от рождения, и за его знаменитую иноходь выпало ему в жизни много хороших и много горьких дней. Раньше никому бы не пришло в голову запрячь его в телегу, это было бы кошунством. Но, как говорится, если беда свалится на коня — конь будет взнузданным воду пить, если беда свалится на молодца — молодец и в брод пойдет в сапогах.

Все это было, осталось далеко позади. Теперь иноходец шел к своему последнему финишу из последних сил. Никогда так медленно не шел он к финишу и никогда так быстро не приближался к нему. Последняя черта все время была от него на расстоянии одного шага.

Колеса стучали по старой дороге.

Ощущение неустойчивости земной тверди под копытами смутно всколыхнуло в угасшей памяти коня те давние летние дни, тот мокрый зыбкий луг в горах, тот удивительный и невероятный мир, в котором солнце ржало и скакало по горам, а он, глупыш, пускался вдогонку за солнцем через луг, через речку, через кусты, пока косячный жеребец со злобно прижатыми ушами не догонял его и не заворачивал назад. Тогда, в те давние дни, табуны, казалось, ходили вверх ногами, как в глубине озера, а его мать — большая гривастая кобыла — превращалась в теплое молочное облако. Он любил то мгновение, когда мать вдруг превращалась в ласково фыркающее облако. Соски ее становились тугими и сладкими, молоко пенилось на губах, и он захлебывался от обилия его и сладости. Он любил стоять так, уткнувшись в живот своей большой гривастой матери. Какое это было упоительное, пьяное молоко! Весь мир — солнце, земля, мать умещались в глотке молока. И, уже насытившись, можно было сделать еще глоток, потом еще и еще...

Увы, это продолжалось недолго, совсем недолго. Скоро все изменилось. Солнце в небе перестало ржать и скакать по горам, оно всходило строго на востоке и неуклонно шло на запад, табуны перестали ходить

<sup>1</sup> Гульсары — желтый цветок, лютик.

вверх ногами, под их копытами истоптанный луг чавкал и темнел, а камни на отмели цокали и лопались. Большая гривастая кобыла оказалась строгой матерью, она больно кусала его за холку, когда он слишком наедал. Молока уже не хватало. Надо было есть траву. Начиналась та жизнь, которая тянулась долгие годы и которой теперь подходил конец.

За всю эту долгую жизнь иноходец никогда не возвращался в то ушедшее навсегда лето. Он ходил под седлом, махал ногами по разным дорогам, под разными седоками, а дорогам все не было конца. И только теперь, когда солнце вновь стронулось с места, а земля закачалась под ногами, когда в глазах его зарябило и замутилось, ему снова почудилось то лето, которое так долго не возвращалось. Те горы, тот мокрый луг, те табуны, та большая гривастая кобыла стояли сейчас перед его глазами в странном зыбком мерцании. И, весь напрягаясь, вытягиваясь, он отчаянно заработал ногами, чтобы, вырвавшись из-под дуги, выскочив из хомута и оглобель, вступить в этот прошлый, вдруг снова открывшийся ему мир. Но обманчивое видение всякий раз отодвигалось, и это было мучительно. Мать манила его, как в детстве, тихим ржанием, табуны проносились, как в детстве, задевая его боками и хвостами, а у него не хватало сил преодолеть мерцающую мглу метели — она разрывалась вокруг все сильнее, она секла его жесткими хвостами, она забивала ему снегом глаза и ноздри, в жарком поту он содрогался от холода, и тот недосыгаемый мир бесшумно утопал, исчезал в метельных вихрях. Вот уже исчезли горы, луг, река, убежали табуны, и лишь смутным пятном проступала впереди тень матери — большой гривастой кобылы. Она не хотела его оставлять. Она звала его. Он заржал изо всех сил, рыдая, но голоса своего не услышал. И все исчезло, исчезла и метель. Колеса перестали стучать. Перестала щемить ранка под хомутом.

Иноходец остановился, зашатался из стороны в сторону. Глазам было больно смотреть. Станный бесконечный гул стоял в голове.

Танабай бросил вожжи на передок, неловко слез с телеги, расправил затекшие ноги и хмуρο подошел к коню.

— Эх, будь ты неладен! — тихо выругался он, глядя на иноходца. Тот стоял, вывалив из хомута огромную голову на длинной, исхудавшей шее. Ребра иноходца туго ходили вверх и вниз, вздымая худые, дряблые бока под маклаками. Некогда светло-желтый, золотой, он был теперь бурым от пота и грязи. Сизые потеки пота мыльными полосами спускались с костистого крестца на брюшину, на ноги, на копыта.

— Вроде бы я не гнал,— пробормотал Танабай и засуетился. Ослабил подпругу, развязал супонь, разнуздал коня. Удила были в горячей, липкой слюне. Рукавом шубы отер иноходцу морду и шею. Потом кинулся к телеге — собрать остатки сена, наскреб пол-охапки, бросил к ногам коня. Но тот и не притронулся к корму, его била мелкая дрожь.

Танабай поднес иноходцу клоч сена.

— На, бери, ешь, ну что же ты!

Губы иноходца шевельнулись, однако не смогли захватить сена. Танабай заглянул ему в глаза и помрачнел. В глубоко запавших, полуприкрытых облезлыми складками век глазах лошади он ничего не увидел. Они померкли и были пусты, как окна заброшенного дома.

Танабай растерянно огляделся по сторонам: вдали — горы, окрест — голая степь и на дороге никого не видно. В эту пору года проезжие здесь — редкость.

Старый конь и старый человек стояли одни на пустынной дороге.

Был конец февраля. Снег уже сошел с равнин, только по оврагам да камышовым буеракам оставались еще в затаенных логовах зимы

волчьих хребтины последних сугробов. Ветер доносил слабый запах лежалого снега, и земля была еще смерзшаяся, сизая, не ожившая. Бесприютна и уныла каменная степь в конце зимы. От одного ее вида у Танабая захолодело внутри.

Вскинув всклокоченную сивую бороду, он долго смотрел из-под пожухлого рукава шубы на запад. Солнце зависало среди облаков над краем земли. И уже сочился по горизонту неяркий, дымный закат. Непогоды ничто не предвещало, а все же было холодно и жутковато.

«Знал бы, не выезжал лучше,— сокрушался Танабай.— А теперь ни туда, ни сюда. стой среди чистого поля. И коня понапрасну загублю».

Да, пожалуй, ему надо было выехать завтра утром. Днем, случись что в пути, все-таки может подвернуться какой-нибудь проезжий. А он выехал уже за полдень. Разве же можно так в эту-то пору?

Танабай поднялся на пригорок, чтобы взглянуть, не покажется ли вдаль попутная или встречная машина. Но ни в той, ни в другой стороне ничего не было видно и слышно. Он побрел назад к телеге.

«Зря я выехал»,— опять подумал Танабай, уже в который раз упрекая себя за вечную спешку. Он злился от досады и на самого себя, и на все то, что вынудило его поторопиться с отъездом из дома сына. Конечно, надо было переночевать и дать коню передохнуть. А он!..

Танабай сердито махнул рукой. «Нет, все равно не остался бы. Пешком ушел бы!— оправдывался он перед собой.— Разве же можно так говорить с отцом мужа? Какой я ни есть, а все же отец. Ишь ты,— зачем было вступать в партию, если всю жизнь в пастухах да в табунщиках проходил, а к старости выгнали... Сын тоже хорош. Молчит, глаза боится поднять. Скажет она ему: откажись от отца — и откажется. Тряпка, а тоже в начальство лезет. Эх, что там говорить! Не тот народ пошел, не тот».

Танабаю стало жарко, он расстегнул ворот рубашки и, трудно дыша, начал ходить вокруг телеги, забыв про коня, про дорогу, про наступающую ночь. И никак не мог успокоиться. Там, в доме сына, он сдержался, посчитал ниже своего достоинства пререкаться с невесткой. А сейчас вдруг вскипел, сейчас бы он все, о чем горько думал по дороге, высказал ей: «Не ты принимала меня в партию и не ты выгоняла. Откуда тебе знать, невестка, что тогда было. Теперь обо всем судить легко. Теперь всяк грамотный, почет и уважение тебе. А с нас спрашивали, да как еще спрашивали. За отца, за мать, за друга и недруга, за себя, за собаку соседскую, за все на свете были в ответе. А что исключили, так это ты не тронь! Это моя печаль, невестушка. Это ты не тронь!»

— Это ты не тронь! — продолжал повторять он вслух, топчась у телеги.— Это ты не тронь! — твердил он все одно и то же. И самое обидное, унижительное было в том, что, кроме этого «не тронь», вроде бы и сказать-то было нечего.

Он все ходил и ходил вокруг телеги, пока не вспомнил, что надо что-то делать — не оставаться же здесь на всю ночь.

Гульсары стоял в упряжи все так же неподвижно, ко всему безучастный, сгорбившись, подобрав ноги в кучу, — казалось, одеревенел.

— Ты что? — Танабай подскочил к нему и услышал тихий протяжный стон коня.— Задремал? Худо тебе, старина? Плохо? — Он торопливо пощупал холодные уши иноходца, сунул руку под гриву. Там тоже было холодно и влажно. Но больше всего его испугало то, что он не ощутил привычной тяжести гривы. «Совсем постарел, иссеклась грива, легкая, как пушок. Все мы стареем, всем нам один конец», — с горечью подумал он. И встал в нерешительности, не зная, что делать. Если бросить коня с телегой и уйти пешком, то к полуночи он мог бы

добраться до дома, до своей сторожки в ущелье. Жил он там на базе с женой, по соседству со смотрителем водхоза, обитавшим в полутора километрах выше по речке. Летом Танабай присматривал за сенокосом, зимой за скирдами, чтобы чабаны не растащили и не потравили сено раньше срока.

Минувшей осенью как-то приехал он в контору по делам, а новый бригадир, молодой агроном из приезжих, и говорит ему:

— Идите, аксакал, на конюшню, мы там коня вам другого подобрали. Староват, правда, но для вашей работы сойдет.

— Это какого же? — насторожился Танабай. — Опять клячу какую-нибудь?

— Там вам покажут. Буланый такой. Вы должны знать, говорят, ездили на нем когда-то.

Танабай отправился на конюшню, и когда увидел во дворе иноходца, сердце у него больно сжалось. «Вот и свиделись, выходит, снова», — сказал он про себя старому, заезженному вконец коню. А отказаться не хватило духу. Увел коня с собой.

Дома жена едва узнала иноходца.

— Танабай, неужели это тот Гульсары? — удивилась она.

— Он, он самый, что ж тут такого, — пробурчал Танабай, стараясь не смотреть жене в глаза.

Им не стоило особенно вдаваться в воспоминания, связанные с иноходцем. Был за Танабаем грех по молодости, был. И, чтобы избежать нежелательного оборота разговора, он грубовато сказал ей:

— Ну, что стоишь, согрей нам поесть. Голодный я, как собака.

— Да вот смотрю и думаю, — ответила она, — что значит старость. Не скажи ты мне, что это тот самый Гульсары, и не признала бы.

— Что ж тут удивляться. Думаешь, мы с тобой лучше выгладим? Всему свое время.

— Вот и я ж об этом. — Она задумчиво покачала головой и, добродушно посмеиваясь, сказала: — Может, ты опять по ночам будешь разъезжать на своем иноходце? Разрешу.

— Куда там, — неловко отмахнулся он и повернулся к жене спиной. На шутку бы шуткой ответить, а он от смущения полез под крышу сарая за сеном. Долго там возился. Думал, забыла она про то, выходит, нет.

Из трубы валил дым, жена грела на ужин остывший обед, а он все возился с сеном, пока она не крикнула из дверей:

— Слезай, а то еда опять остынет.

Больше она не заговаривала о давнем, да и к чему?..

Всю осень и зиму Танабай выхаживал иноходца, кормил теплыми отрубями, резаной свеклой. Зубы-то у Гульсары были на исходе, одни пеньки оставались. И казалось, поставил уже коня на ноги, так надо же случиться такому. Как теперь с ним быть?

Нет, не хватало у него духа кинуть коня среди дороги.

— Что ж, Гульсары, так и будем стоять? — Танабай толкнул иноходца рукой, тот закачался, переступил ногами. — А ну, стой, я сейчас.

Он поднял кнутовищем со дна телеги порожний мешок, в котором привозил невестке картошку, достал оттуда узелок. Жена испекла хлеба на дорогу, а он и забыл о нем, не до еды было. Танабай отломил половину лепешки, мелко крошил ее в подол бешмета, поднес крошево коню. Гульсары шумно вдохнул запах хлеба, но есть не смог. Тогда Танабай стал кормить его с ладони. Затолкал ему в рот несколько кусочков, и конь начал жевать.

— Ешь, ешь. может, и дотянем, а? — Танабай повеселел. — Потихоньку, полегоньку, может, доберемся, а? А там не страшно, там мы со

старухой выходим тебя,— приговаривал он. На его дрожащие руки стекала с лошадиных губ слюна, а он радовался, что слюна становится теплее.

Потом он взял иноходца за повод.

— А ну пошли! Нечего стоять. Пошли! — приказал он решительно.

Иноходец тронулся с места, телега заскрипела, колеса медленно застучали по дороге. И они медленно пошли — старый человек и старый конь.

«Совсем ослаб,— думал Танабай про коня, шагая по обочине.— Сколько же тебе лет, Гульсары? Двадцать, а то и больше. Пожалуй, что больше...»

## II

Первый раз встретились они после войны.

Побывал ефрейтор Танабай Бакасов и на Западе и на Востоке, демобилизовался после капитуляции Квантунской армии. В общей сложности почти шесть лет прошагал он по солдатским дорогам. И ничего, бог миловал, один раз контузило в обозе, другой раз ранило осколком в грудь, месяца два лежал в госпитале и снова догнал свою часть.

А когда возвращался домой, станционные торговки называли его стариком. Ну, это больше в шутку. Танабай не очень-то обижался на них. Не молодой он был, конечно, но и не старый, это с виду будто старый, побурел порядком за войну, седина замелькала в усах, но телом и духом он был еще крепкий. Через год жена родила дочь, а потом вторую. Обе уже замужем, с детьми. Частенько наезжают летом. Муж старшей — шофер. Посадит всех в кузов — и в горы, к старикам. Нет, не в обиде они на дочерей и зятьев, а вот сын не вышел. Но это разговор другой...

А тогда в пути, после победы, казалось, что жизнь-то настоящая только начинается. Так хорошо было на сердце. На больших станциях эшелон встречали и провожали духовые оркестры. Дома жена ждала, сынишке восьмой год шел, в школу собирался. Ехал с таким ощущением, гочно бы родился на свет заново, точно бы все, что было до этого, вроде уже не в счет. Хотелось все забыть, хотелось думать только о будущем. И представлялось оно ясным, простым: надо жить, детей растить, хозяйство налаживать, дом строить, в общем — жить. И этому уже ничто больше не должно помешать, потому что все прошлое как бы отдано в залог того, что теперь-то наконец начнется та настоящая жизнь, к которой все это время стремились, ради которой побеждали и умирали на войне.

Голько оказалось, спешил Танабай, слишком спешил — в залог будущего надо было отдать еще годы и годы.

Сначала поработал он в кузнице молотобойцем. Имел когда-то в этом сноровку и, лорвавшись до наковальни, с утра до вечера сыпал плеча так, что кузнец едва успевал поворачивать под молотом раскаленный кусок железа. Ему и сейчас еще слышится иной раз тот перестук и звон в кузнице, что заглушал все тревоги и заботы. Не хватало хлеба, одежды, женщины ходили в галошах на босу ногу, детишки не знали, что такое сахар, колхоз весь в долгах сидел, счета в банке были арестованы, а он отмахивался от всего этого молотом. Ухал им, наковальня звенела, разлетались синими брызгами искры. «Уг-ха, уг-ха! — выдыхал он, вздымая и опуская молот, и думал: — Все уладится, главное — победили, главное — победили!» А молот вторил: «Победили, победили, дили, дили, дили!» И не только он, в те дни все жили воздухом победы, как хлебом.

А потом Танабай пошел в табунщики, уехал в горы. Чоро его угово-

рил. Покойный Чоро был тогда председателем колхоза, он всю войну председательствовал. В армию его не взяли из-за большого сердца. Вроде и дома он сидел, а постарел здорово. Танабай это сразу заметил, когда вернулся.

Вряд ли кто другой уговорил бы его сменить кузню на табун. Но Чоро был его давнишним другом. Вместе они когда-то начинали комсомльцами агитировать за колхоз, вместе кулаков раскулачивали. Особенно он, Танабай, старался тогда. Не щадил он тех, кто попадал в список на раскулачивание...

Уговорил его Чоро, приехав к нему в кузницу, и, кажется, очень был доволен этим.

— А я боялся, что ты прирос к молоту, не оторвешь,— говорил он, улыбаясь.

Больной был Чоро. тощий, шея вытянулась, морщины залегли на впалых щеках. Время еще было теплое, но Чоро и летом ходил в своей неизменной фуфайке.

Сидели они, опустившись на корточки, у арыка, неподалеку от кузницы, беседовали. Вспомнилось Танабаю, каким был Чоро в молодости. В ту пору он был самым грамотным в аиле и видным собой парнем. Люди уважали его за спокойный, добрый нрав. А Танабаю не нравилась его доброта. На собраниях он, бывало, вскакивал и прорабатывал Чоро за недопустимую мягкотелость в классовый борьбе с врагом. Получалось у него это крепко, прямо как по газете. Все, что слушал на громких читках, наизусть повторял. Иной раз самому становилось страшно от своих слов. Зато здорово получалось.

— Понимаешь, был я третьего дня в горах,— рассказывал Чоро.— Старики спрашивают, все ли солдаты вернулись? Да все, говорю, кто в живых остался. «А когда думают братья за работу?» Работают уже, отвечаю, кто на поле, кто на стройке, кто где. «Это и мы знаем. А табунны кому водить? Будут ждать, пока мы помрем, так нам не много уже осталось». Стыдно мне стало. Понимаешь, к чему разговор ведут? Стариков этих мы в войну послали в горы табунщиками. С тех пор они там. Не тебе говорить, дело это не стариковское. Вечно в седле, ни днем, ни ночью покоя. А в зимние ночи как! Помнишь Дербишбая, тот так и окоченел в седле. А они ведь и коней объезжали — армии нужны были. Попробуй на седьмом десятке лет, чтоб потаскал тебя как-нибудь сатана по горам да по долам. Костей не соберешь. Спасибо им и на том, что выстояли. А фронтовики вот вернулись и нос воротят, культуры понавидались за границей, в табунщики уже не желают. Зачем, мол, мне скитаться по горам. Вот как получается. Так что выручай, Танабай. Ты пойдешь, тогда и других заставим.

— Хорошо, Чоро, попробую поговорю с женой,— отвечал Танабай. А сам думал: «Жизнь-то какая прошумела над головой, а ты, Чоро, все такой же. Стораешь от своей доброты. Может, это и хорошо. Всякое повидели за войну, нам бы всем лучше быть. Может, это и есть самое верное в жизни?»

На том они было и разошлись, Танабай пошел к себе в кузницу. Но Чоро вдруг окликнул его:

— Постой, Танабай! — Он подъехал к нему на коне, склонился на луку седла, заглядывая в лицо.— Ты случаем не обижаешься? — спросил негромко.— Понимаешь, времени никак не выкрою. Посидеть хотелось, поговорить по душам, как бывало. Сколько лет не виделось. Думал, кончится война, легче станет, а забот не убавляется. Иной раз глаз не сомкнешь, всякие мысли лезут в голову. Как сделать, чтобы хозяйство поднять, народ накормить и чтобы планы все выполнять. И люди уже не те, жить хотят лучше...



Но им так и не удалось потолковать по душам, так и не нашли они случая посидеть наедине. А время шло, потом было уже поздно..

Вот тогда-то, отправившись в горы табунщиком, Танабай впервые и увидел там в табуна старого Торгой буланого жеребчика-полуторалетку.

— В наследство что оставляешь, аксакал? Табун-то не ахти, а? — уязвил Танабай старого табунщика, когда лошади были пересчитаны и выгнаны из загона.

Торгой был сухонький старичок без единой волосинки на сморщенном лице, сам с локоток, как подросток. Большая косматая баранья шапка сидела на нем, словно гриб. Такие старики обычно легки на подъем, занозисты и горласты.

Но Торгой не вспылывал.

— Какой есть, табун как табун, — невозмутимо ответил он. — Хвалиться особенно нечем, погоняешь — увидишь.

— Да я так, отец, к слову, — примирительно промолвил Танабай.

— Один есть! — Торгой сдвинул с глаз нависшую шапку и, встав на стремянах, показал рукояткой камчи. — Вон тот буланый жеребчик, что с правого края пасется. Далеко пойдет.

— Это который — вон тот, круглый, как мяч? Что-то мелковат с виду, поясница короткая.

— Поздныш он. Выправится — ладный будет.

— А что в нем? Чем он хорош?

— Иноходец от роду.

— Ну и что?

— Таких мало встречал. В прежние времена ему цены не было бы. За такого в драках на скачке головы клали.

— А ну глянем! — предложил Танабай.

Они пришпорили коней, пошли краем табуна, отбили буланого в сторону и погнали его перед собой. Жеребчик не прочь был пробежаться. Он весело тряхнул челкой, фыркнул и пошел с места, как заводной, четкой, стремительной иноходью, описывая большой полукруг, чтобы вернуться к табуну. Увлеченный его бегом, Танабай закричал:

— О-о-о, смотри, как идет! Смотри!

— А ты как думал! — задорно отозвался старый табунщик.

Они быстро рысили вслед за иноходцем и кричали, как маленькие дети на байге. Голоса их словно бы подстегивали жеребчика, он все убыстрял и убыстрял бег, почти без напряжения, без единого сбоя на скачь, шел ровно, как в полете.

Им пришлось пустить коней в галоп, а тот продолжал идти в том же ритме иноходи.

— Ты видишь, Танабай! — кричал на скаку Торгой, размахивая шапкой. — Он на голос чуткий, как нож под рукой, смотри, как поднадает на крик! Айт, айт, айта-а-ай!

Когда буланый жеребчик вернулся наконец к табуну, они оставили его в покое. Но долго еще не могли угомониться, проезжая своих разгоряченных лошадей.

— Ну, спасибо, Торгой-аке, хорошего конька вырастил. На душе даже веселей стало.

— Хорош, — соглашался старичок. — Только ты смотри, — вдруг посуровел он, скребя в затылке. — Не сглазь. И прежде времени не болтай. На хорошего иноходца, как на красивую левку, охотников много. Девичья судьба какая: попадет в хорошие руки — будет цвести, глаза радовать, попадет к какому-нибудь дурню — страдать будешь, глядя на нее. И ничем не поможешь. Так и с хорошим конем. Загубить просто. Упадёт на скаку.

— Не беспокойся, аксакал, я ведь тоже разбираюсь в этом деле, не маленький.

— Вот то-то. Я так, к слову. А кличка его — Гульсары. Запомни.

— Гульсары?

— Да. Внучка прошлым летом приезжала гостить. Это она так прозвала его. Полюбила. Тогда он стригунком был. Запомни: Гульсары.

Словоохотливым оказался старичком Торгой. Всю ночь наказания давал. Танабай терпеливо выслушивал.

Провожал он Торгся и жену его верст семь от стойбища. Оставалась пустая юрта, в которой он должен был поселиться с семьей. В другой юрте должен был поселиться его помощник. Но помощника еще не подобрали. Пока он был один. На прощание Торгой снова напоминал:

— Буланого пока не тронь. И никому не доверяй. Весной сам объезжай его. Да, смотри, осторожней. Как пойдет под седлом, сильно не гони. Задержгаешь, собьется с иноходи, испортишь коня. Да смотри, чтоб в первые дни не опился сгоряча. Вода на ноги упадет, мокрецы пойдут. А когда выездишь — покажешь, если не помру...

И уехал Торгой со своей старухой, оставив ему табун, юрту, горы, уводя с собой верблюда, навьюченного пожитками...

Если бы знал Гульсары, сколько разговоров шло о нем и сколько еще будет и к чему это все приведет!..

Он по-прежнему вольно ходил в табунах. Вокруг было все то же, те же горы, те же травы и реки. Только вместо старика стал гонять их другой хозяин — в серой шинели и в солдатской ушанке. Голос нового хозяина был с хрипотцой, но громкий и властный. Табун к нему вскоре привык. Пусть себе носится вокруг, если нравится.

А потом пошел снег. Он выпадал часто и долго лежал. Лошади разгребали снег копытами, чтобы добраться до травы. Хозяин почернел лицом, и руки его задубели от ветров. Теперь он ходил в валенках, кутался в большую шубу. Гульсары оброс длинной шерстью, и все же ему было холодно, особенно по ночам. В морозные ночи табун сбивался в затишке в плотную кучу и стоял так, индевея, до восхода солнца. Хозяин тут же топтался на коне, хлопал рукавицами, растирал лицо. Иногда исчезал и снова появлялся. Лучше было, когда он не отлучался. Крикнет он или крякнет от мороза — табун вскинет головы, наострит уши, но тут же, убедившись, что хозяин рядом, задремлет под шорох и посвист ночного ветра. С той зимы Гульсары запомнил голос Танабая на всю жизнь.

Забуранило однажды ночью в горах. Сыпал колкий снег. Он набивался в гриву, тяжелил хвост, залеплял глаза. Неспокойно было в табунах. Лошади жались друг к другу, дрожали. Старые кобылицы тревожно храпели, загоня жеребят в середину табуна. Они оттеснили Гульсары на самый край, и он никак не мог пробиться в кучу. Стал брыкаться, расталкивать других, оказался вовсе в стороне, и тут ему здорово досталось от косячного жеребца. Тот давно уже колесил вокруг, пахал снег крепкими ногами, сбивал табун в кучу. Иногда он бросался куда-то в сторону, угрожающе пригнув голову и прижав уши, пропадавал в темноте, слышался только его храп, и снова прибегал к лошадям, злой и грозный. Заметив отошедшего в сторону Гульсары, он налетел на него грудью и, развернувшись, со страшной силой ударил его задними копытами по боку. Это было так больно, что Гульсары чуть не задохнулся. Внутри у него что-то ухнуло, он взвизгнул от удара и едва устоял на ногах. Больше он не пытался своевольничать. Смирно стоял, прибившись с краю табуна, с ноющей болью в боку и обидой на свирепого жеребца. Лошади приутихли, и тут он услышал смутный тягучий вой. Он никогда не слышал волчьего воя и почувствовал, как все в нем на миг приостановилось и заледенело. Табун дрогнул, напрягся, прислушиваясь. Все

стихло. Но тишина эта была жуткая. Снег все сыпал, с шорохом налипая на вскинутую морду Гульсары. Где хозяин? Он так нужен был в эту минуту, хоть бы голос его услышать, вдохнуть дымный запах его шубы. А его нет. Гульсары покосил глазами в сторону от себя и оцепенел от страха. Сбоку точно бы мелькнула какая-то тень, пластаясь во тьме по снегу. Гульсары резко отпрянул, и табун тотчас же шархнул, сорвался с места. С диким визгом и ржаньем обезумевшие лошади понеслись лавиной в кромешную тьму. И не было уже такой силы, которая могла бы их остановить. Лошади рвались вперед изо всей мочи, увлекая друг друга, как камни горного обвала, сорвавшиеся с крутизны. Ничего не понимая, Гульсары мчался в жаркой, бешеной скачке. И вдруг раздался выстрел, затем прогрохотал второй. Лошади услышали на бегу яростный крик хозяина. Крик раздался где-то сбоку и, не стихая, пошел им наперерез и затем оказался впереди. Они настигали теперь этот немолкавший голос, он вел их за собой. Хозяин был с ними. Он скакал впереди, рискуя сорваться в любую минуту в расщелину или в пропасть. Он кричал уже вполсилы, потом стал хрипеть, но продолжал подавать голос: «Кайт, кайт, кайта-а-айт!» И они бежали вслед, спасаясь от преследующего их ужаса.

К рассвету Танабай пригнал табун на старое место. И только тут лошади ознакомились. Пар валил над табунном густым туманом, лошади тяжело водили боками и все еще дрожали от пережитого испуга. Они ели снег. Танабай тоже ел снег. Он сидел на корточках и пригоршнями совал в рот комки снега. Потом он долго, неподвижно сидел, уткнувшись лицом в ладони. А снег все сыпал сверху. Он сразу таял на горячих лошадиных спинах и стекал вниз мутными, желтыми каплями...

\* \* \*

Сошли глубокие снега, зазеленела трава, и Гульсары быстро набрал тело. Табун слинял, залоснился новой шерстью. Зимы и бескормицы будто и в помине не было. Лошади не помнили об этом, помнил об этом человек. Помнил стужу, помнил волчьи ночи, помнил, как застывал в седле, как кусал губы, чтобы не заплакать, отогревая у костра закованные руки и ноги, помнил весенний гололед, свинцовой коростой сковавший землю, помнил, как гибли тогда слабые в табуне, как, спустившись с гор, не поднимая глаз, подписывал он в колхозной конторе акты о падеже лошадей и как, взорвавшись вдруг, орал и стучал кулаком по столу председателя:

— Ты на меня не смотри так! Я тебе не фашист! Где сараи для табунов, где корм, где овес, где соль? На одном ветру держимся! Разве же так велено нам хозяйствовать? Посмотри, в каком рванье мы ходим! Посмотри на наши юрты, посмотри, как я живу! Хлеба досыта не едим. На фронте и то в сто раз лучше было. А ты еще смотришь на меня, будто я сам передумал этих лошадей!

Помнил страшное молчание председателя, его посеревшее лицо. Помнил, как ему стыдно стало своих слов и как он начал извиняться.

— Ну, ты, ты прости меня, я погорячился,— запинаясь, выдал он из себя.

— Это ты должен простить меня,— сказал ему Чоро.

И еще больше стало ему стыдно, когда председатель, вызвав кладовщицу, распорядился:

— Выдай ему пять кило муки.

— А как же ясли?

— Какие ясли? Вечно ты все путаешь! Выдай! — резко приказал Чоро.

Танабай хотел было отказаться наотрез, скоро, мол, молоко пойдет,

кумыс будет, но, глянув на председателя и разгадав его горький обман, заставил себя промолчать. Потом он всякий раз обжигался лапшой из этой муки. Бросал ложку:

— Ты что, спалить меня собираешься, что ли?

— А ты остуди, не маленький, — спокойно отвечала жена.

Помнил он, все помнил...

Но стоял уже май. Голосили жеребцы, сшибаясь в схватке один на один, угоняя молодых кобылиц из чужих косяков. Отчаянно носились табунщики, разгоняя драчунов, ругались между собой, иногда тоже схватывались, замахивались плетками. Гульсары дела не было до всего этого. Солнце светило вперемежку с дождями, трава лезла из-под копыт. Луга стояли зеленые-зеленые, а над ними сияли белые-белые снега на вершинах хребтов. Прекрасную пору молодости начинал в ту весну буланый иноходец. Из мохнатого кургузого полуторалетки он превращался в стройного, крепкого жеребчика. Он вытянулся, корпус его, утратив мягкие линии, принимал уже вид треугольника — широкая грудь и узкий зад. Голова его тоже приобретала форму головы истинного иноходца — сухая, горбоносая, с широко расставленными глазами и подобранными, упругими губами. Но ему и до этого не было никакого дела. Одна лишь страсть владела им пока, доставляя хозяину немалые хлопоты, — страсть к бегу. Увлекая за собой своих сверстников, он носился среди них желтой кометой. В горы и вниз со склонов, вдоль по каменистому берегу, по крутым тропам, по урочищам и по лощинам гоняла его без устали какая-то неистощимая сила. И даже глубокой ночью, когда он засыпал под звездами, снилось ему, как убегала под ним земля, как ветер посвистывал в гриве и ушах, как лопотали и словно бы звенели копыта.

К хозяину он относился так же, как и ко всему другому, что прямо его не касалось. Не то чтобы любил его, но и не питал никакой неприязни, потому что тот ничем не стеснял ему жизнь. Разве что ругался, догоняя их, когда они слишком далеко уносились. Иногда хозяину удавалось разок-другой стегануть буланого по крупу укрук<sup>1</sup>. Гульсары вздрагивал при этом всем телом, но больше от неожиданности, чем от удара, и еще пуще прибавлял шагу. И чем сильнее он бежал, возвращаясь к табуну, тем больше нравился своему хозяину, скакавшему следом с укрук<sup>1</sup> наперевес. Иноходец слышал сзади себя одобрительные покрики, слышал, как тот начинал петь в седле, и в такие минуты он любил хозяина, любил бежать под песню. Потом он хорошо узнал эти песни — разные были среди них, веселые и печальные, длинные и короткие, со словами или без слов. Любил он еще, когда хозяин кормил табун солью. В длинные дощатые корыта на колышках хозяин разбрасывал комки лизунца. Наваливались всем табун<sup>1</sup>, то-то было наслаждение. На соли-то он и попался.

Как-то раз забарабанил хозяин в порожнее ведро, стал скликать лошадей: «По, по, по!» Лошади сбежались. Гульсары лизал соль, стоя среди других, и ничуть не обеспокоился, когда хозяин вместе с напарником стали обхаживать табун с укрук<sup>1</sup> в руках. Это его не касалось. Укрук<sup>1</sup> ловили верховых лошадей, дойных кобылиц и прочих, но только не его. Он был вольный. И вдруг волосая петля скользнула по его голове и повисла на шее. Гульсары не понимал, в чем дело, петля пока не пугала его, и он продолжал лизать соль. Другие лошади рвутся, на дыбы встают, когда на них накидывают укрук<sup>1</sup>, а Гульсары не шелхнулся. Но вот ему захотелось побежать к реке напиться. Петля на шее стянулась и остановила его. Такого еще никогда не бывало. Гульсары отпрянул, захрапел, выкатывая глаза, затем взвился на дыбы. Лошади

<sup>1</sup> У к р у к — длинная палка с петлей на конце для ловли лошадей.

вокруг мигом рассыпались, и он оказался один на один с людьми, держащими его на волосяном аркане. Хозяин стоял впереди, за ним — второй табунщик, и тут же топтались мальчишки табунщиков, появившиеся здесь недавно и уже изрядно надоевшие ему своими бесконечными скачками вокруг табуна.

Иноходца охватил ужас. Он рванулся на дыбы еще раз, затем еще и еще, солнце замельтешило в глазах, рассыпаясь жаркими кругами, горы, земля, люди падали, опрокидываясь навзничь, глаза застила на миг черная, пугающая пустота, которую он молотил передними ногами.

Но сколько он ни бился, петля затягивалась все туже, и, задыхаясь, иноходец метнулся не в сторону от людей, а к ним. Люди шарахнулись, петля на секунду ослабла, и он с разгона поволок их по земле. Женщины закричали, погнавши мальчишек к юртам. Однако табунщики успели встать на ноги, и петля снова захлестнулась на шее Гульсары. В этот раз так туго, что дышать было уже нельзя. И он остановился, изнемогая от головокружения и удушья.

Стравливая аркан в руках, хозяин стал приближаться сбоку. Гульсары видел его одним глазом. Хозяин подходил к нему в изодранной одежде, со ссадинами на лице. Но глаза хозяина смотрели не злобно. Он тяжело дышал и, причмокивая разбитыми губами, негромко, почти шепотом приговаривал:

— Тек, тек, Гульсары, не бойся, стой, стой!

За ним, не ослабляя аркан, осторожно приближался его помощник. Хозяин наконец дотянулся рукой до иноходца, погладил его по голове и коротко, не оборачиваясь, бросил помощнику:

— Уздечку.

Тот сунул уздечку.

— Стой, Гульсары, стой, умница, — приговаривал хозяин. Прикрыв глаза иноходца ладонью, он накинул ему на голову уздечку.

Теперь предстояло взнуздать его и оседлать. Когда уздечка была накинута ему на голову, Гульсары захрапел, попытался рвануться прочь. Но хозяин успел ухватить его за верхнюю губу.

— Накрутку! — крикнул он помощнику, и тот подбежал, быстро наложил на губу накрутку из ремня и стал накручивать ее на губе палкой, как воротом.

Иноходец присел от боли на задние ноги и больше уже не сопротивлялся. Холодные железные удила загремели на зубах и впились в углы рта. На спине ему что-то набрасывали, подтягивали, рывками стискивали ему ремнями грудь, так что он качался из стороны в сторону. Но это уже не имело значения. Была только всепоглощающая, немислимая боль в губе. Глаза лезли на лоб. Нельзя было ни шелохнуться, ни вздохнуть. И он даже не заметил, когда и как сел на него хозяин, очнулся лишь после того, как сняли с губы накрутку.

Минуту-другую он стоял, ничего не соображая, весь стянутый и отяжелевший, потом покосил глазом, оглядываясь через плечо, и вдруг увидел на спине у себя человека. От испуга он кинулся прочь, но удила раздирали рот, а ноги человека крепко впились ему в бока. Иноходец вскинулся на дыбы, заржал негодуяще и яростно, заметался, взбрыкивая задом, и, весь напрягшись, чтобы сбросить с себя все, что давило его, ринулся в сторону, но аркан, конец которого держал под стремением другой человек, на другом верховом коне, не пустил его. И тогда он побежал по кругу, побежал, ожидая, что круг разомкнется и он пустится прочь отсюда куда глаза глядят. Однако круг не разомкнулся, и он все бежал и бежал по кругу. Этого-то и надо было людям. Хозяин нахлестывал его плеткой и понукал каблуками сапог. Два раза иноходцу все же удалось скинуть его с себя. Но тот вставал и снова садился в седло.

Так продолжалось долго, очень долго. Кружилась голова, кружилась земля вокруг, кружились юрты, кружились разбредшиеся вдали лошади, кружились горы, кружились облака в небе. Потом он устал и пошел шагом. Очень хотелось пить.

Но пить ему не давали. Вечером, не расседывая, чуть только приослабив подпруги, его поставили у коновязи на выстойку. Повода уздечки были крепко намотаны на луку седла, так что голову приходилось держать прямо и ровно и лечь на землю в таком положении он не мог. Стремена были подняты наверх и тоже надеты на луку седла. Так он стоял всю ночь. Стоял смиренно, обескураженный всем тем невероятным, что ему пришлось пережить. Удила во рту все еще мешали, малейшее движение их причиняло жгучую боль, неприятен был привкус железа. Набухшие углы рта были раздерганы удилами. Саднили под боком растертые ремнями места. И под потником ломило набитую спину. Страшно хотелось пить. Он слышал шум реки, и от этого еще больше одолевала жажда. Там за рекой, как всегда, паслись табуны. Доносился топот многих копыт, ржанье лошадей и крики ночных табунщиков. Люди возле юрт сидели у костров, отдыхали. Мальчишки дразнили собак, тявкали по-собачьи. А он стоял, и никому не было дела до него.

Потом взошла луна. Горы тихо выплыли из мрака и тихо закачались, освещенные желтой луной. Звезды разгорались все ярче, все ниже опускаясь к земле. Он смиренно стоял, прикованный к одному месту, а его кто-то искал. Он слышал ржанье маленькой гнедой кобылицы, той самой, вместе с которой вырос и с которой всегда был неразлучен. У нее белая звезда во лбу. Она любила бегать с ним. За ней уже стали гоняться жеребцы, но она не давалась, убегала вместе с ним подалее от них. Она была еще недоростком, а он тоже не достиг еще того возраста, чтобы делать то, что пытались сделать с ней другие жеребцы.

Вот она заржала где-то совсем поблизости. Да, это была она, он точно узнал ее голос. Он хотел ответить ей, но боялся раскрыть издерганный, опухший рот. Это было страшно больно. Наконец она нашла его. Подбежала легким шагом, поблескивая при луне белой звездочкой во лбу. Хвост и ноги ее были мокрые. Она перешла через реку, принеся с собой холодный запах воды. Ткнулась мордой, стала обнюхивать, прикасаясь к нему упругими теплыми губами. Нежно фыркала, звала его с собой. А он не мог двинуться с места. Потом она положила голову на его шею и стала почесывать зубами в гриве. Он тоже должен был положить голову на ее шею и почесать ей холку. Но он не мог ответить на ее ласку. Он не в состоянии был шевельнуться. Он хотел пить. Если бы она могла напить его! Когда она убежала, он смотрел ей вслед, пока тень ее не растворилась в сумеречной тьме за рекой. Пришла и ушла. Слезы потекли из его глаз. Слезы стекали по морде крупными горошинами и бесшумно падали у ног. Иноходец плакал первый раз в жизни.

Рано утром пришел хозяин. Он глянул вокруг на весенние горы, потянулся и, улыбаясь, застонал от ломоты в костях.

— Ох, Гульсары, ну и потаскал ты вчера меня. Что? Продрог? Смотри, как подвело тебя. Хорош.

Он потрепал иноходца по шее и стал говорить ему что-то доброе, насмешливое. Откуда было Гульсары знать, что именно говорил человек? А Танабай говорил:

— Ну, ты не обижайся, друг. Не вечно тебе ходить без дела. Привыкнешь, все пойдет на лад. А что намучился, так без этого нельзя. Жизнь, брат, такая штука, подкует на все четыре ноги. Зато потом не будешь кланяться всякому встречному камню на дороге. Проголодался, а? Пить хочешь? Знаю...

Он повел иноходца к реке. Разуздал его, осторожно вынимая удила из пораненного рта. Гульсары с дрожью припал к воде, в глазах заломило от холода. Ах, какая вкусная была вода и как благодарен он был за это человеку!

Вот так. Вскоре он настолько привык к седлу, что почти не чувствовал никакого стеснения от него. Легко и радостно ему стало носить на себе всадника. Тот всегда придерживал его, а он рвался вперед, четко печатая по дорогам дробный перестук иноходи. Он научился ходить под седлом так стремительно и ровно, что люди ахали:

— Поставь на него ведро с водой — и ни капельки не выплеснется!

А прежний табунщик, старичок Торгой, сказал Танабай:

— Спасибо, хорошо выездил. Теперь увидишь, как поднимется звезда твоего иноходца!

### III

Колеса старой телеги медленно скрипели по пустынной дороге. Время от времени скрип прерывался. Иноходец останавливался, выбившись из сил. И тогда в наступившей мертвой тишине он слышал, как гулко отдавались в ушах удары сердца: тум-туп, тум-туп, тум-туп...

Старый Танабай поджидал, пока отдышится конь, затем снова брал его под уздцы:

— Пошли, Гульсары, пошли, смотри, вечереет уже.

Так они тащились часа полтора, пока иноходец не остановился совсем. Дальше он уже не мог тянуть телегу. Танабай снова засуетился, забегал вокруг коня:

— Что же ты, Гульсары, а? Смотри, скоро ночь уже!

Но конь не понимал его. Он стоял в упряжи, мотая головой, тяжесть которой стала ему уже непосильна, и шатаясь на ногах из стороны в сторону. А в ушах продолжал отдаваться стук сердца: тум-туп, тум-туп, тум-туп.

— Ну, ты прости меня, — проговорил Танабай. — Мне бы сразу догадаться. Да пропади она пропадом, эта телега, эта сбруя, только бы довести тебя домой.

Он скинул на землю шубу и стал торопливо выпрягать коня. Вывел его из оглобель, сдернул хомут через голову и кинул всю сбрую на телегу.

— Вот и все, — сказал он и, надев шубу, поглядел на выпряженного иноходца. Без хомута, без сбруи, с непомерно большой головой, конь стоял сейчас среди холодной вечерней степи, как призрак. — Боже, во что ты превратился, Гульсары? — прошептал Танабай. — Если бы тебя увидел сейчас Торгой, перевернулся бы в могиле...

Он потянул иноходца за повод, и они снова медленно побрели по дороге. Старый конь и старый человек. Позади оставалась брошенная телега, а впереди, на западе, ложилась на дорогу темно-фиолетовая тьма. Ночь бесшумно растекалась по степи, заволакивая горы, смывая горизонт.

Танабай шел, вспоминал все связанное с иноходцем за долгие годы и с горькой усмешкой думал о людях: «Такие мы все. Вспоминаем друг о друге к концу жизни, когда кто тяжело заболел или помер. Вот тогда вдруг становится всем нам ясно, кого потеряли, каким он был, чем славен, какие дела совершил. А что говорить о бессловесной твари? Кого только не носил на себе Гульсары! Кто только не ездил на нем! А состарился, и все с ним забыли. Идет теперь, еле волочит ноги. А ведь какой конь был!..»

И он снова вспоминал и удивлялся тому, как давно не возвращался в мыслях к прошлому. Все, что когда-то было, ожило в нем. Оказывает-

ся, ничто не исчезает бесследно. Раньше он просто мало думал о прошлом, или, вернее, не позволял себе думать, а теперь, после разговора с сыном и невесткой, бредя по ночной дороге с издыхающим иноходцем на поводу, оглянувшись с болью и грустью на прожитые годы, и все они живо встали перед ним.

Так он шел, погруженный в свои мысли, а иноходец тащился сзади, все больше и больше оттягивая повод. Когда рука старика немела, он перекидывал повод на другое плечо и снова тянул иноходца за собой. Потом это стало ему трудно, и он дал иноходцу отдохнуть. И, подумав, снял уздечку с головы коня.

— Иди впереди, иди как можешь, я буду сзади, я не брошу тебя, — сказал он. — Ну, иди, иди потихоньку.

Теперь иноходец шел впереди, а Танабай сзади, перекинув уздечку через плечо. Уздечку он никогда не бросит. Когда Гутьсары останавливались, Танабай поджидал, пока он наберется сил, и они снова брели по дороге. Старый конь и старый человек.

Танабай грустно улыбнулся, вспомнив, как по этой же самой дороге мчался в свое время Гутьсары и пыль стелилась за ним хвостом. Чабаны говорили, что по этой пыли они за многие версты узнают бег иноходца. Пыль из-под его копыт прочерчивала степь белым бегучим следом и в безветренную погоду нависала над дорогой, как дым реактивного самолета. Стоял чабан в такие минуты, прикрыв глаза козырьком ладони, говорил себе: «Это он идег, Гутьсары!» — и с завистью думал о том счастливец, который, обжигая лицо горячим ветром, летел на этом коне. Великая честь для киргиза, когда под ним бежит такой знаменитый иноходец.

Сколько председателей колхоза пережил Гутьсары, разные бывали — умные и самодуры, честные и нечестные, но все до одного ездили на иноходце с первого и до последнего дня своего председательства. «Где они теперь? Вспоминают ли порой про Гутьсары, который носил их с утра и до вечера?» — думал Танабай.

Они добрались наконец до моста через овраг. Здесь опять остановились. Иноходец стал подгибать ноги, чтобы лечь на землю, но Танабай не мог этого допустить: потом никакими силами не поднимешь.

— Вставай, вставай! — закричал он и ударил коня уздечкой по голове. И, досадуя на себя за то, что ударил, продолжал орать: — Ты что, не понимаешь? Подыхать собрался? Не дам! Не позволю! Вставай, вставай, вставай! — Он тянул коня за гриву.

Гутьсары с трудом выпрямили ноги, тяжело застонал. Хотя и темно было, Танабай не посмел глянуть коню в глаза. Он погладил его, пощупал, затем приник ухом к его левому боку. Там, в груди у коня, захлебываясь, плескалось сердце, как мельничное колесо в водорослях. Он стоял так, согнувшись, возле коня долго, пока не заныло в пояснице. Потом разогнулся, покачал головой, вздохнул и решил, что, пожалуй, придется рискнуть — свернуть за мостом с дороги на тропу, что идет вдоль оврага. Тропа та уходила в горы, и по ней можно было быстрее добраться домой. Правда, ночью не мудрено и заблудиться, но Танабай надеялся на себя, места эти издавна знал, только бы конь выдержал.

Пока старик думал об этом, вдаль засветились фары попутной машины. Огни внезапно выплыли из мрака парой ярких шаров и стали быстро приближаться, прощупывая перед собой дорогу длинными, качающимися лучами. Танабай с иноходцем стояли у моста. Машина им ничем не могла помочь, и все же Танабай ждал ее. Ждал просто так, безотчетно. «Наконец-то хоть одна», — подумал он, довольный уже тем, что на дороге появились люди. Фары грузовика мощным снопом света полоснули его по глазам, и он прикрыл их рукой.



Двое людей, сидевших в кабине машины, с удивлением смотрели на старого человека у моста и стоящую рядом с ним захудалую клячу без седла, без уздечки, точно то была не лошадь, а собака, увязавшаяся за человеком. На какое-то мгновение прямой поток света добела озарил старика и коня, и они вдруг превратились в белые бесплотные контуры.

— Чудно, чего он здесь среди ночи? — сказал сидящий рядом с шофером долговязый парень в ушанке.

— Это он, это его телега там, — пояснил шофер и остановил машину. — Ты чего, старик? — крикнул он, высунувшись из кабины. — Это ты бросил на дороге телегу?

— Да, я, — ответил Танабай.

— То-то. Глядим, бричонка развалящая на дороге. Вокруг никого. Хотели сбрую подобрать, да тоже никудышная.

Танабай промолчал.

Шофер вылез из машины, прошелся несколько шагов, обдавая старика перегорелым запахом водки, и стал мочиться на дорогу.

— А что случилось? — спросил он, обернувшись.

— Конь не потянул, занемог, да и старый уже.

— М-м. Ну и куда же теперь?

— Домой. В Сарыгоускую щель.

— Тю-у, — присвистнул шофер. — В горы? Не по пути. А то лезь в кузов, так и быть, подброшу до совхоза, а там уедешь завтра.

— Спасибо. Я с конем.

— Вот эта дохлятина? Да брось ты его к собакам, столкни вон в овраг — и делу конец, склюет воронье. Хочешь, поможем.

— Поезжай, — мрачно процедил Танабай.

— Ну, как знаешь, — усмехнулся шофер и, захлопывая дверцу, бросил в кабину: — Оползумел старик!

Машина тронулась, унося с собой мутный поток света. Мост тяжело заскрипел над оврагом, освещенным темно-красным светом стоп-сигналов.

— Зачем смеешься над человеком, а если бы тебе так пришлось? — сказал за мостом парень в ушанке, сидевший в кабине с шофером.

— Ерунда... — Шофер, зевая, крутанул баранку. — Мне приходилось всякое. Я дело сказал. Подумаешь, кляча какая-то. Пережитки прошлого. Сейчас, брат, техника всему голова. Везде техника. И на войне. А таким старикам и лошадям конец пришел.

— Зверь ты! — сказал парень.

— Плевал я на все, — ответил тот.

Когда машина ушла, когда ночь снова сомкнулась вокруг и когда глаза снова привыкли к темноте, Танабай погнался иноходца:

— Ну, пошли, чу, чу! Иди же!

За мостом он завернул коня с большой дороги на тропинку. Теперь они медленно продвигались по тропе, едва приметной в темноте над оврагом. Луна еще чуть выглядывала из-за гор. Звезды ждали ее выхода, холодно поблескивая в холодном небе.

#### IV

В тот год, когда Гульсары был объезжен и обучен, табуны поздно снялись с осенних выпасов. Осень затянулась против обычного, и зима выдалась мягкая, снег падал часто, но не залеживался, корма хватало. А весной табуны снова спустились в предгорья и, как только зацвела степь, двинулись вниз.

После войны это было, пожалуй, самое лучшее время в жизни Танабая. Серый конь старости ждал его еще за перевалом, хотя и близким, и Танабай пока ездил на молодом буланом иноходце. Попадись ему этот иноходец несколько лет спустя, вряд ли бы он испытывал такое счастье, такое мужественное возбуждение, какое давала ему езда на Гульсары. Да, Танабай не прочь был иной раз и покрасоваться на людях. И как ему было не красоваться, сидя верхом на бегущем иноходце! Гульсары это хорошо знал. Особенно когда Танабай ехал в аил через поля, где встречались на дороге женщины, идущие гурьбой на работу. Еще далеко от них он выпрямлялся в седле, весь как-то напряжинивался, и его возбуждение передавалось коню. Гульсары поднимал хвост почти вровень со спиной, грива со свистом пласталась на ветру. Похрапывая, он петлял, легко неся на себе всадника. Женщины в белых и красных косынках расступались по краям дороги, утопая по колено в зеленой пшенице. Вот они остановились, как замороженные, вот разом обернулись, мелькнули лица, сияющие глаза, улыбки и белые зубы.

— Эй, табунщик! Остано-ви-ись!

И вдогонку неслись смех и последние слова:

— Смотри, попадешься, поймаем!

Бывало, что и вправду ловили, перегораживали дорогу, держась за руки. Что тут было! Любит бабье подурачиться. Стаскивали Танабая с седла, хохотали, визжали, вырывая из рук камчу:

— Признавайся, когда привезешь нам кумыса?

— Мы тут на поле с утра до вечера, а ты на иноходце раскатываешь!

— Кто же вас держит? Идите табунщиками. Только накажите мужьям, чтобы они подыскивали себе других. Замерзнете в горах, как сосульки.

— Ах вот как! — И снова принимались тормозить его.

Но не было случая, чтобы Танабай позволил кому-нибудь сесть на иноходца. Даже та женщина, при встрече с которой у него сразу менялось настроение и он заставлял иноходца идти шагом, так ни разу и не проехала на его коне. Возможно, она этого и не хотела.

В тот год избрали Танабая в ревизионную комиссию колхоза. Часто наезжал он в аил и почти каждый раз встречался там с этой женщиной. Из конторы он часто выходил злой. Гульсары это чуял по его глазам, по голосу, по движениям рук. Но, встречаясь с ней, он всегда добрел.

— Ну-ну, потише, куда так! — шептал он, успокаивая ретивого иноходца, и, поравнявшись с женщиной, ехал шагом.

Они о чем-то негромко переговаривались, а то и просто молчали. Гульсары чувствовал, как отлегала тяжесть с сердца хозяина, как теплел его голос, как ласковей становились его руки. И поэтому он любил, когда они нагоняли по дороге эту женщину.

Откуда было знать коню, что в колхозе жилось туго, что на трудодни почти ничего не перепадало и что член ревизионной комиссии Танабай Бакасов допытывался в конторе, и как же это получается, и когда же наконец начнется такая жизнь, чтобы и государству было что дать, и чтобы люди не даром работали.

В прошлом году был неурожай, бескормица, в нынешнем — отдали сверх плана хлеб и скот за других, чтобы район не ударил лицом в грязь, а что будет дальше, на что колхозники могут рассчитывать — неизвестно. Время шло, и войне уже стали забывать, а жили по-прежнему тем, что собирали с огородов и ухитрялись утащить с полей. Денег в колхозе тоже не было: все сдавалось в убыток себе — хлеб, молоко, мясо. Летом животоводство разрасталось, а зимой шло прахом, скот

подышал с голода и холода. Надо было срочно строить кошары, коровники, базы для кормов, а стройматериалов неоткуда было взять и никто не обещал их дать. А жилье во что превратилось за войну? Если кто строился, так только те, что больше по базарам промышляли скотом да картошкой. Такие стали силой, они и стройматериалы находили на стороне.

— Нет, не должно быть так, товарищи, что-то тут не в порядке, какая-то тут большая загвоздка у нас,— говорил Танабай.— Не верю, что так должно быть. Или мы разучились работать, или вы неправильно руководите нами.

— Что не так? Что неправильно? — Бухгалтер совал ему бумаги.— Вот смотри планы... Вот что получили, вот что сдали, вот дебет, вот кредит, вот сальдо. Доходов нет, одни убытки. Чего ты еще хочешь? Разберись сначала. Один ты коммунист, а мы враги народа, да?

В разговор влезали другие, начинался спор, шум, и Танабай сидел, сжав голову руками, и думал в отчаянье, что же это такое происходит. Он страдал за колхоз не только потому, что работал в нем,— были еще и другие, особые причины. Были люди, у которых с Танабаем давние счеты. Он знал, что они теперь посмеиваются над ним втихую и, завидев его, вызывающе глядят в лицо: ну как, мол, дела-то? Может, опять раскулачивать возьмешься? Только с нас теперь спрос невелик. Где сядешь, там и слезешь. У-ух, почему только не пришибло тебя на фронте!..

И он им отвечал взглядом: подождите, сволочи, все равно будет по-нашему! А ведь люди эти не чужие, свои. Сводный брат его Кулубай — старик уже, до войны отсидел в Сибири семь лет. Сыновья тоже пошли в отца, люто ненавидят Танабая. И с чего бы им его любить? Может, и дети их будут ненавидеть род Танабая. И имеют на то причины. Дело это давнее, а обида у людей живет. Надо ли было поступать так с Кулубаем? Разве не был он просто справным хозяином, середняком? А родство куда денешь? Кулубай от старшей жены, а он от младшей, но у киргизов такие братья считаются как единокровные. Значит, и на родство он посягнул, сколько разговоров тогда было. Теперь, конечно, можно по-разному судить. А тогда? Разве не ради колхоза он пошел на это дело? А надо ли было? Раньше не сомневался, а после войны думал порою иначе. Не нажил ли лишних врагов себе и колхозу?

— Ну что ты сидишь, Танабай, очнись,— возвращали его к разговору. И снова все то же: надо за зиму вывезти весь навоз на поля, собирать по дворам. Колес нет, значит надо купить карагачевого леса, железа на шины — а на какие деньги, дадут ли кредит и подо что? Банк словам не верит. Старые арыки надо ремонтировать, новые прокопать, работа большая, тяжелая. Зимой народ не идет, земля мерзлая, не раздолбаешь. А весной не успеть — посевная, окот, прополки, а там сенокос... А как быть с овцеводством? Где помещения для расплода? И на молочной ферме тоже не лучше. Крыша прогнила, кормов не хватает, доярки не хотят работать. Толкутся с утра до ночи, а что получают? А сколько еще было разных других забот и нехваток? Жутко становилось подчас.

И все же собирались с духом, снова обсуждали эти вопросы на партсобрании, на правлении колхоза. Председателем был Чоро. Потом только оценил его Танабай. Критиковать, оказывается, было легче. Танабай отвечал за табун лошадей, а Чоро за всех и за все в колхозе. Да, крепким был человеком Чоро. Когда, казалось, все разваливается, когда стучали на него по столу в районе и хватали за грудки в колхозе, не пал Чоро духом. Танабай на его месте или с ума сошел бы, или

покончил с собой. А Чоро все же удержал хозяйство, стоял до последнего, пока совсем не сдало сердце, и потом еще поработал года два парторгом. Умел Чоро убеждать, говорить с людьми. Вот так и получалось, что, послушав его, Танабай снова верил, что все наладится, что будет наконец так, как мечтали об этом в самом начале. Один раз только пошатнулась его вера в Чоро, но и то он сам больше был виноват...

Иноходец не знал, что творилось на душе Танабая, когда он выходил из конторы со злым взглядом и сдвинутыми бровями, когда он жестко садился в седло и резко дергал поводья. Но он чувял, что хозяину очень плохо. И хотя Танабай никогда его не бил, иноходец в такие минуты боялся хозяина. А увидев на дороге ту женщину, конь уже знал, что хозяину теперь станет легче, что он подбореет, придержит его и будет о чем-то негромко разговаривать с ней, а ее руки будут теревить его, Гульсары, гриву, гладить шею. Ни у кого из людей не было таких ласковых рук. Это были удивительные руки, упругие и чуткие, как губы той маленькой гнедой кобылицы со звездой во лбу. И ни у кого на свете не было таких глаз, как у этой женщины. Танабай разговаривал с ней, склонившись с седла, а она то улыбалась, то хмурилась, качала головой, не соглашаясь с чем-то, и глаза ее переливались светом и тенью, как камни на дне быстрого ручья в лунную ночь. Уходя, она оглядывалась и опять качала головой.

После этого Танабай ехал задумчивый. Он свободно отпускал поводья, и иноходец шел так, как ему хотелось. Вольно, дорожным тротом. Хозяина словно и не было в седле. Слово и он и конь были каждый сам по себе. И песня появлялась сама по себе. Негромко, без ясных слов, под мерный топот иноходца напевал Танабай про страдания давно ушедших людей. А конь выбирал знакомую тропку и нес его в степь за реку, к табунам...

Гульсары любил, когда у хозяина было такое настроение, любил он по-своему и эту женщину. Он знал ее фигуру, походку, улавливал даже своим тонким нюхом какой-то странный, диковинный запах незнакомой травы, исходящий от нее. То была гвоздика. Она носила бусы из гвоздики.

— Ты заметь, как он любит тебя, Бюбюжан,— говорил ей Танабай.— А ну погладь, погладь еще. Ишь, как уши развесил. Прямо теленок. А в табунах сейчас жизни нет от него. Дай только волю. Грызется с жеребцами, как собака. Вот и держу его под седлом, боюсь, как бы не покалечили. Зелен еще.

— Он-то любит,— думая о чем-то своем, отвечала она.

— Хочешь сказать, что другие не любят.

— Я не о том. Мы свое отлюбили. Жаль мне тебя.

— Это почему же?

— Не такой ты человек, тяжело потом тебе будет.

— А тебе?

— Что мне? Я вдова, солдатка. А ты...

— А я член ревизионной комиссии. Вот встретил тебя и выясняю кое-какие факты,— пытался шутить Танабай.

— Что-то ты часто стал выяснять факты. Смотри.

— Ну, а я при чем? Я иду, и ты идешь.

— Я иду своей дорогой. Нам не по пути. Ну, прощай. Некогда мне.

— Слушай, Бюбюжан!

— Ну что? Не надо, Танабай. Зачем? Ты же умный человек. Мне и без тебя тошно.

— Что ж, я тебе враг, что ли?

— Ты себе враг.

— Как это понимать?

— Как хочешь.

Она уходила, а Танабай ехал по улицам села вроде бы куда-то по делу, заворачивал на мельницу или к школе и снова, сделав круг, возвращался, чтобы посмотреть хотя бы издали, как она выйдет из дома свекрови, где она оставляла дочку на время работы, и как пойдет к себе, на окраину, ведя девочку за руку. Все в ней было до бесконечности родным. И то, как она шла, стараясь не смотреть в его сторону, и ее белеющее в темном полушалке лицо, и ее девочка, и собачонка, бежавшая рядом.

Наконец она скрывалась в своем дворе, и он ехал дальше, представляя себе, как она отомкнет дверь пустого дома, скинет обтрепанный ватник, побежит в одном платье за водой, растопит очаг, умоет и накормит девочку, встретит корову в стаде и ночью будет лежать одна в темном, беззвучном доме и будет убеждать себя и его, что им нельзя любить друг друга, что он семейный человек, что в его годы смешно влюбляться, что всему есть своя пора, что жена его хорошая женщина и что она не заслуживает того, чтобы муж тосковал по другой.

От таких мыслей Танабаю становилось не по себе. «Значит, не судьба», — думал он и, глядя в дымчатую даль за рекой, напевал старинные песни, позабыв обо всем на свете, о делах, о колхозе, об обуви и одежде детям, о друзьях и недругах, о сводном брате Кулубае, с которым они не разговаривают многие и многие годы, о войне, которая нет-нет да и приснится, обливая его холодным потом, забывал обо всем, чем жил. И не замечал, что конь шел бродом через реку и, выйдя на другой берег, снова пускался в путь. И только тогда, когда иноходец, почуяв близость табуна, прибавлял шагу, он приходил в себя.

— Т-р-р, Гульсары, куда ты так несешь! — спохватывался Танабай, натягивая поводья.

## V

И все же, несмотря ни на что, прекрасное было то время и для него, и для иноходца. Слава скакуна сродни славе футболиста. Вчерашний мальчишка, гонявший мяч по задворкам, становится вдруг всеобщим любимцем, предметом разговоров знатоков и восхищения толпы. И чем дальше, тем больше возрастает его слава, пока он забивает голы. Потом он постепенно сходит с поля и начисто забывается. И первые забывают его те, кто громче всех восхищался им. На смену великому футболисту приходит другой. Таков и путь славы скакуна. Он знаменит, пока непобедим в состязаниях. Единственная разница, пожалуй, лишь в том, что коню никто не завидует. Лошади не умеют завидовать, а люди, слава богу, еще не научились завидовать лошадям. Хотя как сказать — пути зависти непостижимы, известны случаи, когда, чиня зло человеку, завистники вколачивали гвоздь в копыто коня. Ох, эта черная зависть!.. Но бог с ней...

Сбылось предсказание старика Торгоя. В ту весну высоко поднялась звезда иноходца. Уже все знали о нем — и стар и мал: «Гульсары!», «Иноходец Танабая», «Краса айла»...

А чумазые мальчишки, еще не выговаривающие букву «р», бегали по пыльной улице, подражая бегу иноходца, и наперебой кричали: «Я Гульсалы... Нет, я Гульсалы... Мама, скажи, что я Гульсалы... Чу, впелед, а-и-и-й, я Гульсалы»...

Что значит слава и какую великую силу имеет она, познал иноходец на первой своей большой скачке. То было Первого мая.

После митинга на большом лугу у реки начались игры. Народу сошлось и съехалось отовсюду уйма. Люди понаехали из соседнего совхоза, с гор и даже из Казахстана. Казахи выставляли своих коней.

Говорили, что после войны не было еще такого большого праздника. С утра еще, когда Танабай оседлывал, с особой тщательностью проверяя подпруги и крепления стремян, иноходец почувствовал по блеску в его глазах и дрожанию рук приближение чего-то необыкновенного. Хозяин очень волновался.

— Ну, смотри у меня, Гульсары, не подкачай,— шептал он, расчесывая коню гриву и челку.— Ты не должен опозорить себя, слышишь! Мы не имеем на то права, слышишь!

Ожидание чего-то необыкновенного чувствовалось в самом воздухе, взбудораженном голосами и бегом людей. По соседним стойбищам седлали своих коней табунщики. Мальчишки были уже на лошадях, они с криками носились вокруг. Потом табунщики съехались и все вместе двинулись к реке.

Гульсары был ошеломлен таким скоплением на лугу людей и коней. Гул и гомон стояли над рекой, над лугом, над пригорками вдоль поймы. В глазах рябило от ярких платков и платьев, от красных флагов и белых женских тюрбанов. Кони были в лучших сбруях. Звенели стремяна, бряцали удила и серебряные подвески на нагрудниках.

Кони под всадниками, теснясь в рядах, нетерпеливо топтались, простили поводья и рыли копытами землю. В кругу гарцевали старики, распорядители игр.

Гульсары ощущал, как в нем все больше нарастает напряжение, как весь он наливается силой. Ему казалось, что в него вселился какой-то огненный дух и, чтобы от него освободиться, надо скорее вырваться в круг и понестись.

И когда распорядители дали знак к выходу в круг и Танабай опустил поводья, иноходец вынес его на середину, завертелся, не зная еще, куда устремиться. По рядам пронесся гул: «Гульсары! Гульсары!..»

Выехали все желающие принять участие в большой байге. Набралось человек пятьдесят верховых.

— Просите у народа благословения! — торжественно провозгласил главный распорядитель игр.

Бритоголовые всадники с тугими повязками на лбу двинулись вдоль рядов, подняв руки с раскрытыми ладонями, и из края в край прошумел единый вздох: «Оомиин!», и сотни рук поднялись ко лбам и опустились ладонями по лицам, как стекающие потоки вод.

После этого всадники отправились на рысях к старту, который был в поле, за девять километров отсюда.

Тем временем начались игры на кругу — борьба пеших и конных, стаскивание с седел, поднятие монет на скаку и другие состязания. Все это было только вступлением, главное начнется там, куда ускакали всадники.

Гульсары горячился по пути. Он не понимал, почему хозяин сдерживает его. Вокруг гарцевали и ярились другие кони. И оттого, что их было много и все просились вскачь, иноходец злился и дрожал от нетерпения.

Наконец все выстроились на старте в один ряд, голова к голове, отправитель проскакал перед фронтом из конца в конец, поднял белый платок. Все замерли, возбужденные и настороженные. Рука взмахнула платком. Кони рванулись, и вместе со всеми, подхваченный порывом, ринулся вперед Гульсары. Земля загремела барабаном под лавиной копыт, взметнулась пыль. Под гиканье и крики верховых лошади распластались в бешеном карьере. Только один Гульсары, не умевший скакать галопом, шел иноходью. В этом была и слабость его, и сила.

Сначала шли все кучей, но уже через несколько минут начали растягиваться. Гульсары не видел этого. Он видел только, что резвые скаковые

лошади обошли его и были уже впереди, на дороге. В морду хлестали из-под копыт горячий щебень и комья сухой глины, а вокруг скакали кони, кричали верховые, свистели нагайки и клубилась пыль. Пыль разрасталась облаком и летела над землей. Резко пахло потом, кремнем и молодой растоптанной пылью.

Так продолжалось почти до половины пути. Впереди все несло с недосыгаемой для иноходца скоростью с десятков лошадей. По сторонам стало стихать, шум задних отставал, но то, что впереди шли другие, и то, что поводья так и не давали ему полной свободы, поднимало в нем ярость. В глазах темнело от злобы и ветра, дорога стремительно уплыла под ноги, солнце катилось навстречу, падая с неба огненным шаром. Жаркий пот прошибал по всему телу, и чем больше иноходец потел, тем легче становился он сам для себя.

И вот наступил момент, когда скаковые лошади стали уставать и постепенно сдавать в беге, а иноходец только входил в разгар своих сил. «Чу, Гульсары, чу!» — услышал он голос хозяина, и солнце еще быстрее покатило навстречу. И замелькали одно за другим настигнутые и оставленные позади искаженные яростью лица всадников, взмытые в воздух плетки, оскаленные, хрипящие морды коней. Исчезла вдруг власть удила и поводьев, не стало для Гульсары ни седла, ни всадника — в нем бушевал огненный дух бега.

И все же впереди шли бок о бок два скачущих коня, темно-серый и рыжий. Оба, не уступая друг другу, мчались, подгоняемые криками и плетками верховых. Это были сильные скакуны. Гульсары долго настигал их и на подъеме дороги обошел наконец. Он выскочил на бугор, точно бы на гребень большой волны, и на какое-то мгновение словно завис в полете, невесомый. Дух захватило в груди, и еще ярче брызнуло солнце в глаза, и он стремительно пошел вниз по дороге, но вскоре услышал позади топот настигающих копыт. Те двое, темно-серый и рыжий, брали реванш. Они подошли с двух сторон почти вплотную и уже не отставали ни на шаг.

Так мчались они втроем, голова в голову, слившись в едином движении. Гульсары казалось, что они теперь вовсе не бегут, что все они просто застыли в каком-то странном оцепенении и безмолвии. Можно было даже разглядеть выражение глаз соседей, их напряженно вытянутые морды, закушенные удила, уздечки и поводья. Темно-серый смотрел свирепо и упрямо, а рыжий волновался, взгляд его неуверенно скользил по сторонам. Именно он первым начал отставать. Сначала скрылся его виноватый, блуждающий взгляд, затем уплыла назад морда с раздутыми ноздрями, и больше его не стало. А темно-серый отставал мучительно и долго. Он медленно умирал на скаку, взгляд его постепенно стекленел от бессильной злобы. Так и ушел он, не желая признать поражения.

Когда соперники отстали, вроде бы легче стало дышать. А впереди уже серебрилась излучина реки, зеленел луг и слышался оттуда далекий рев человеческих голосов. Самые рьяные болельщики поджидали, оказывается, по пути. С улюлюканьем и гиканьем они скакали по сторонам. И тут иноходец почувствовал вдруг слабость. Сказывалось расстояние. Что там было позади, настигали его или нет, этого Гульсары не знал. Бежать становилось неважно, силы покидали его.

Но там впереди гудела и колыхалась огромная толпа, и уже покатились двумя рукавами навстречу конные и пешие, крики становились все громче, сильнее. И он вдруг явственно услышал: «Гульсары! Гульсары! Гульсары!..» И, вбирая в себя эти крики, возгласы и вопли, наполняясь ими, как воздухом, иноходец с новой силой устремился вперед. Ах, люди, люди! Чего только они не могут!..

При неумолкающем шуме и криках ликования Гульсары прошел сквозь гулкий коридор встречающих и, сбавляя бег, описал круг по лугу.

Но это было еще не все. Теперь ни он, ни его хозяин не принадлежали себе. Когда иноходец немного отдышался и успокоился, народ наступил, образуя круг победителя. И снова взмыли крики: «Гульсары, Гульсары, Гульсары!» А вместе с ним гремело и имя его хозяина: «Танабай! Танабай! Танабай!»

И снова люди совершили какое-то чудо с иноходцем. Гордый и стремительный, он вступил на арену с высоко поднятой головой, с горящими глазами. Хмелея от воздуха славы, Гульсарь пошел выплясывать, вышагивать боком, порываясь к новому бегу. Он знал, что он красив, могуч и знаменит.

Танабай объезжал народ с расprostертыми руками победителя, и снова из края в край шумел единый вздох благословения: «Оомин!» — и снова сотни рук поднимались к лбам и опускались ладонями по лицам, как стекающие потоки вод.

И тут среди множества лиц иноходец увидел вдруг знакомую женщину. Он сразу узнал ее, когда она опустила ладони по лицу, хотя в этот раз она была не в темном полushалке, а в белом платке. Она стояла в первом ряду толпы счастливая и радостная и не отрываясь смотрела на них сияющими, как камни в быстром солнечном водоеме, глазами. Гульсары привычно потянулся к ней, чтобы постоять возле нее, чтобы хозяин поговорил с ней и чтобы она потеряла гриву, погладила ему шею своими удивительными руками, упругими и чуткими, как губы той маленькой гнедой кобылицы со звездой на лбу. Но Танабай почему-то тянул поводья в другую сторону, а иноходец все крутился и порывался к ней, не понимая хозяина. Неужели хозяин не видит, что здесь стоит та женщина, с которой ему, хозяину, надо обязательно поговорить?..

\* \* \*

И второй день, то есть второе мая, тоже был днем Гульсары. В этот раз пополудни разыгрывали в степном урочище козлодранье — своеобразный конный футбол, в котором вместо мяча служит обезглавленная туша козла. Козел удобен тем, что шерсть на нем длинная, прочная, и его можно подхватывать с коня за ногу или за шкуру.

Снова огласилась степь древними криками, снова зарокотала барабаном земля. Лавина конных болельщиков с возгласами и воплями металась вокруг игроков. И снова героем дня был Гульсары. В этот раз, уже окруженный ореолом славы, он сразу стал самой сильной фигурой в игре. Танабай, однако, приберегал его к финишу, к аламан-байге, когда будет дано разрешение на вольную схватку: кто ловок и скор, тот и утащит козла в свой аил. Аламан-байгу ждали все, ибо это апофеоз состязания, к тому же любой всадник имеет право принять в ней участие. Каждому хотелось попытать свое счастье.

А майское солнце тем временем тяжело оседало на дальней казахской стороне. Оно было как желток, выпуклое и густое. На него можно было смотреть, не шурясь.

До самого вечера носились киргизы и казахи, свисая с седел, подхватывая на скаку тушу козла, вырывая ее друг у друга, сбиваясь в гонящую кучу и вновь рассыпаясь с криками по полю.

И лишь когда побежали по степи длинные пестрые тени, старики разрешили наконец аламан-байгу. Козел был брошен в круг. «Аламан!..»

Со всех сторон кинулись к нему всадники, столпились, пытаясь подхватить тушу с земли. Но в давке сделать это было не так-то просто. Кони ошалело крутились, кусались, ощерив зубы. Гульсары изнывал



в этой свалке, ему бы на простор, но Танабаю все никак не удавалось завладеть козлом. И вдруг раздался пронзительный голос: «Держи-и, казахи взяли!» Из конной круговерти вырвался молодой казах в разодранной гимнастерке на карем озверевшем жеребце. Он кинулся прочь, подтягивая под ногу, под стремя тушу козла.

— Держи-и! Это карий! — закричали все, бросаясь в погоню. — Скорей, Танабай, только ты можешь догнать!

С болтающимся под стремянем козлом, казах на карем жеребце уходил прямо туда, где алело закатное солнце. Казалось, еще немного — и он влетит в это пламенеющее солнце и растает там красным дымом.

Гульсары не понимал, зачем Танабай сдерживает его. Но тот знал, что надо дать казахскому джигиту оторваться от лавины преследующих всадников, уйти подальше от толпы спешивших к нему на помощь сородичей. Стоило им окружить карего скачущим заслоном, и тогда никакими силами не вырвать упущенную добычу. Только в единоборстве можно было рассчитывать на какой-то успех.

Выждав нужное время, Танабай припустил иноходца во весь мах. Гульсары приник к набегающей на солнце земле, и топот и голоса позади сразу стали отставать, удаляться, а расстояние до карего жеребца сокращаться. Тот шел с тяжелым грузом, и настигнуть его было не так трудно. Танабай выводил иноходца по правую сторону карего. Туша козла висела, зажата под ногу всадника, на правом боку коня. Вот уже стали равняться, Танабай наклонился с седла, чтобы ухватить козла за ногу и перетянуть его к себе. Но казах ловко перекинул добычу с правой стороны на левую. А кони мчались все так же прямо к солнцу. Теперь Танабаю надо было приотстать и снова настигнуть, чтобы зайти с левой стороны. Трудно было отрывать иноходца от карего, но все же удалось проделать и этот маневр. И опять казах в разодранной гимнастерке успел перекинуть козла на другую сторону.

— Молодец! — азартно закричал Танабай.

А кони неслись все так же прямо к солнцу.

Больше рисковать было нельзя. Танабай прижал иноходца почти вплотную к карему жеребцу и упал грудью на луку седла соседа. Тот пытался отделиться, но Танабай не отпускал. Резвость и гибкость иноходца позволяли ему почти лежать на шее карего жеребца. Так он дотянулся до туши козла и стал тащить ее к себе. Ему было сподручно действовать с правой стороны, к тому же обе руки его были свободны. Вот ему уже удалось перетянуть козла почти наполовину.

— Держись теперь, брат казах! — прокричал Танабай.

— Врешь, сосед, не отдам! — ответил тот.

И началась схватка на бешеном скаку. Сцепившись, как орлы на одной добыче, они орали благим матом, хрипели и рычали по-зверинному, устрашая друг друга, руки их сплетались, из-под ногтей сочилась кровь. А кони, соединенные единоборством всадников, мчались в злобе, торопясь настигнуть багровое солнце.

Да будут благословенны предки, оставившие нам эти мужские игры бесстрашных!

Туша козла была теперь между ними, они держали ее на весу между скачущими конями. Приблизжалась развязка. Молча, сцепив зубы, напрягая все свои силы, перетягивали тушу, каждый старался зажать ее под ногу, с тем чтобы потом оторваться и уйти в сторону. Казах был силен. Руки у него были крупные, жилистые, к тому же он был гораздо моложе Танабая. Но опыт — великое дело. Танабай неожиданно высвободил правую ногу из стремени и уперся ею в бок карего жеребца. Подтягивая козла к себе, он одновременно отталкивал ногой коня соперника, и пальцы того медленно разжались.

— Держись! — успел предупредить его побежденный.

От резкого толчка Танабай едва не вылетел из седла. Но все же удержался. Ликующий вопль вырвался из его груди. И, круто разворачивая иноходца, он бросился убежать, зажимая под стременом добытый в честном поединке трофей. А навстречу уже летела орда орущих всадников:

— Гутьсары! Гутьсары взял!

Казахи большой группой бросились наперехват.

— Ойбай, лови, держи Танабая!

Теперь главное было избежать перехвата и чтобы свои айльчане поскорей окружили его заслоном.

Танабай снова круто развернул иноходца, уходя в сторону от перехватчиков. «Спасибо, Гутьсары, спасибо, родной, умница!» — про себя благодарил он иноходца, когда тот, улавливая малейшие наклоны его тела, увертывался от погони, кидаясь то в одну, то в другую сторону.

Почти припадая к земле, иноходец вышел из трудного виража и пошел напрямую. Тут подскочили айльчане Танабая, пристроились по сторонам, закрыли его с тыла и все вместе, плотной кучей бросились наутек. Однако погоня снова вышла наперерез. Опять пришлось разворачиваться и опять уходить. Как стаи быстрокрылых птиц, падающих на лету с крыла на крыло, носились по широкой степи убегающие и догоняющие их орды всадников. В воздухе клубилась пыль, звенели голоса, кто-то падал вместе с конем, кто-то летел через голову, кто-то, прихрамывая, догонял свою лошадь, но все до единого были охвачены восторгом и страстью состязания. В игре никто не в ответе. У риска и бесстрашия одна мать...

\* \* \*

Солнце смотрело уже одним краешком, смеркалось, а аламан-байга все еще катилась в синей прохладе вечера, содрогая землю конскими копытами. Уже никто не кричал, уже никто никого не преследовал, но все продолжали скакать, увлеченные страстью движения. Растянувшаяся по фронту лавина перекачивалась темной волной с пригорья на пригорье во власти ритма и музыки бега. Не оттого ли были сосредоточены и молчаливы лица всадников, не это ли породило рокошующие звуки казахской домбры и киргизского комуза!..

Уже приближались к реке. Она тускло блеснула впереди за темными зарослями. Оставалось еще немного. За рекой — игре конец, там аил. Танабай и окружение его все еще неслись слитной кучей. Гутьсары шел в середине, как главный корабль, под охраной.

Но он уже устал, очень устал — слишком трудный выдался день. Иноходец вымотался из сил. Двое джигитов, скакавших по бокам, тянули его под уздцы, не давали упасть. Остальные прикрывали Танабая с тыла и по сторонам. А он лежал грудью на туше козла, переброшенной перед седлом. Голова Танабая моталась, он едва держался в седле. Не будь сейчас сопровождающих рядом всадников, ни он сам, ни его иноходец уже не в состоянии были бы двигаться. Так, наверное, убегали прежде с добычей, так, наверное, спасали от плена раненого багыра...

Вот и река, вот луг, широкий галечный брод. Пока он еще виден в темноте.

Всадники с ходу бросились в воду. Закипела, взбурлилась река. Сквозь тучи брызг и оглушающее клацанье подков джигиты протащили иноходца на тот берег. Все! Победа!

Кто-то снял тушу козла с седла Танабая и поскакал в аил.

Казахи остались на той стороне.

— Спасибо вам за игру! — крикнули им киргизы.

— Будьте здоровы! Встретимся теперь осенью! — ответили те и повернули коней назад.

\* \* \*

Было уже совсем темно. Танабай сидел в гостях, а иноходец вместе с другими лошадьми стоял во дворе на привязи. Никогда так не уставал Гульсары, разве только в первый день объездки. Но тогда он был лозинкой в сравнении с тем, каким стал сейчас. В доме шла речь о нем.

— Выпьем, Танабай, за Гульсары: если бы не он, не видать нам сегодня победы.

— Да, карий жеребец могуч был, как лев. И парень тот силен. Далеко пойдет он у них.

— Это верно. А у меня и сейчас перед глазами, как Гульсары уходит от перехвата, прямо стелется по земле травой. Дух захватывает, глядя.

— Что и говорить. В прежние времена батырам бы на нем в набег ходить. Не конь, а дулдул<sup>1</sup>!

— Танабай, ты когда собираешься пустить его к кобылам?

— Да он и сейчас уже гоняется, но пока, думаю, рано. А к следующей весне как раз будет в пору. С осени отпущу гулять, чтобы тело набрал...

Захмелевшие люди долго еще сидели, перебирая подробности аламан-байги и достоинства иноходца, а он стоял во дворе, просыхая от пота и грызя удила. Ему предстояла голодная выстойка до рассвета. Но не голод мучил его. Ломило в плечах, ноги были будто не свои, копыта горели от жара, а в голове все еще стоял гул аламан-байги. Все еще мерещились ему крики и погоня. Время от времени он вздрагивал и, всхрапывая, наострял уши. Очень хотелось поваляться по траве, встряхнуться и побродить среди лошадей на выпасе. А хозяин задерживался.

Вскоре он, однако, вышел, слегка покачиваясь в темноте. От него несло каким-то резким, жгучим запахом. С ним такое случалось изредка. Пройдет год — и иноходцу придется иметь дело с человеком, от которого постоянно будет разить этим запахом. И он возненавидит того человека и этот мерзкий запах.

Танабай подошел к иноходцу, потрепал его по холке, сунул руку под потник:

— Остыл немного? Устал? Я тоже чертовски устал. А ты не косись, ну выпил, так в твою же честь. Праздник. Да и то малость. Я свое знаю, ты это учти. И на фронте знал меру. Брось, Гульсары, не косись. Уедем сейчас в табун, отдохнем...

Хозяин подтянул подпруги, поговорил с другими людьми, вышедшими из дома, все сели по лошадям и разъехались.

Танабай ехал по уснувшим улицам айла. Тихо было кругом. Окна темны. Чуть слышно тарахтел трактор на поле. Луна уже стояла над горами, в садах белели цветущие яблони, где-то заливался соловей. Почему-то он был один на весь аил. Он пел, прислушиваясь к себе, умолкал и затем снова принимался шелкать и свистать.

Танабай придержал иноходца.

— Красота какая! — сказал он вслух. — А тихо как! Только соловей заливаются. Ты понимаешь, Гульсары, а? Где тебе. Тебе в табун, а я...

Они миновали кузницу, и отсюда надо было выехать по крайней улице к реке, а там — в табуны. Но хозяин почему-то потянул в дру-

<sup>1</sup> Дулдул — сказочный скакун.

гую сторону. Он поехал по средней улице, в конце ее остановился возле двора, где жила та женщина. Выбежала собачонка, которая часто бегала с девочкой, полаяла и умолкла, виляя хвостом. Хозяин молчал в седле, о чем-то думал, потом вздохнул и нерешительно тронул поводья.

Иноходец пошел дальше. Танабай свернул вниз к реке и, выйдя на дорогу, заторопил коня. Гутьсары и сам хотел побыстрее добраться до стойбища. Пошли лугом. Вот и река, заклацали подковы по берегу. Вода была холодная, гремучая. И вдруг на середине брода, резко натянув поводья, хозяин круто потянул назад. Гутьсары мотнул головой, думая, что хозяин ошибся. Не должны они были возвращаться назад. Сколько можно ездить? Но в ответ хозяин стегнул его камчой по боку. Гутьсары не любил, когда его били. Раздраженно грызя удила, он нехотя подчинился и повернул назад. Снова через луг, снова по дороге, снова к тому двору.

У дома хозяин опять заерзал в седле, задержал удила то туда, то сюда, не поймешь, чего он хочет. Остановились у ворот. Впрочем, самих ворот не было. От них остались только одни покосившиеся столбы. Опять выбежала собачонка, полаяла и умолкла, виляя хвостом. В доме было тихо и темно.

Танабай слез с седла, пошел по двору, ведя на поводу иноходца, и, приблизившись к окну, застучал пальцем по стеклу.

— Кто там? — раздался изнутри голос.

— Это я, Бюбюжан, открой. Слышишь, это я!

В доме вспыхнул огонек, и окна тускло засветились.

— Ты чего? Откуда так поздно? — Бюбюжан появилась в дверях. Она была в белом платье с расстегнутым воротом и темными волосами на плечах. От нее пахло теплым запахом тела и тем диковинным запахом незнакомой травы.

— Ты извини, — негромко проговорил Танабай, — с аламана поздно прискакали. Устал. А конь совсем заморился. Его на выстойку надо, а в табуны далековато, сама знаешь.

Бюбюжан помолчала.

Глаза ее вспыхнули и погасли, как камни на дне освещенного луной водоема. Иноходец ждал, что она подойдет и погладит его по шее, но она не сделала этого.

— Холодно, — передернула Бюбюжан плечами. — Ну, что стоишь? Заходи, коли так. Эх ты, придумал, — тихо засмеялась она. — Я и сама извелась вся, пока ты тут топтался на коне. Как мальчишка.

— Я сейчас. Коня поставлю.

— Ставь вон там в углу у дувала.

Никогда так не дрожали руки хозяина. Он спешил, вынимая удила, и долго возился с подпругами. Одну подпругу приослабил, а другую так и забыл.

Он ушел вместе с ней, и свет в окнах вскоре погас.

Непривычно было иноходцу стоять на незнакомом дворе.

Луна светила в полную силу. Поднимая глаза над дувалом, Гутьсары видел вздымающиеся в выси ночные горы, облитые молочно-голубым сиянием. Чутко перебирая ушами, он прислушивался. Журчала вода в арыке. Вдали тархтел на поле все тот же трактор, и пел в садах все тот же одинокий соловей.

С веток соседней яблони падали белые лепестки, бесшумно оседая на голову и гриву коня.

Ночь светлела. Иноходец стоял и переминался, перекладывая тяжесть тела с одной ноги на другую, стоял и терпеливо ждал хозяина. Не знал он, что еще не раз придется стоять ему здесь, коротая ночь до утра.

Танабай вышел на рассвете, стал взнуздывать Гульсары теплыми руками. Теперь и его руки пахли тем диковинным запахом незнакомой травы.

Бюбюжан вышла проводить Танабая. Приникла к нему, и он долго целовал ее.

— Исколол усами,— прошептала она.— Торопись, смотри, как светло.— Она повернулась, чтобы уйти.

— Бюбю, поди сюда,— позвал ее Танабай.— Слышишь, погладь его, поласкай,— кивнул он на иноходца.— Ты уж не обижай нас!

— Ох, я и забыла,— засмеялась она.— Смотри, да он весь в яблоневом цветку.— И, приговаривая ласковые слова, стала гладить коня своими удивительными руками, упругими и чуткими, как губы той маленькой гнедой кобылицы со звездой на лбу.

За рекой хозяин запел. Хорошо было идти под его песню и очень хотелось быстрее добраться к табунам на выпас.

Повезло Танабаю в эти майские ночи. Как раз пришел его черед ночной пастьбы. И у иноходца начался какой-то ночной образ жизни. Днем он пасся, отдыхал, ночью, отогнав табун в ложину, хозяин мчался на нем опять туда же, к тому двору. На рассвете, еще затемно, снова мчались они, как конокрады, по неприметным степным тропам к лошадям, оставшимся в ложине. Здесь хозяин сгонял табун, пересчитывал лошадей и наконец успокаивался. Туго приходилось иноходцу. Хозяин спешил в оба конца и туда и обратно, а бегать по ночам по бездорожью не так-то легко. Но так хотел хозяин.

Гульсары хотелось другого. Если бы его воля, он вообще не отлучался бы из табуна. В нем зрел самец. Пока еще он уживался с косячным жеребцом. Но с каждым днем все чаще сталкивались они, обхаживая одну и ту же кобылу. Все чаще, выгибая шею и подняв хвост трубой, красовался он перед табуном. Заливисто ржал, горячился, покусывая кобыл за бедра. А тем, видно, это нравилось, они лгнули к нему, вызывая ревность косячного жеребца. Иноходцу крепко перепало — жеребец был старым и свирепым драчуном. Однако лучше было волноваться и бегать от косячного, чем стоять всю ночь во дворе. Здесь он тосковал по кобылам. Долго топтался, бил копытами и только потом смирялся. Кто знает, сколько бы длились эти ночные поездки, если бы не тот случай...

В ту ночь иноходец привычно стоял во дворе, тоскуя по табуна в ожидании хозяина, и уже начал подремывать. Поводья уздечки были высоко подвязаны к балке под стреху крыши. Это не позволяло лечь: всякий раз, когда голова его клонилась, удила врезались в мякоть рта. И все-таки тянуло уснуть. Тяжесть какая-то стояла в воздухе, тучи темнили небо.

Уже сквозь дрему, сквозь полусон, Гульсары услышал вдруг, как закачались и зашумели деревья, точно бы кто-то налетел внезапно и начал трепать их и валить. Ветер захлестал по двору, покати, брякая, пустой подойник, сорвал и умчал с веревки белье. Собачонка заскулила, заметалась, не зная, куда приткнуться. Иноходец сердито всхрапнул, замер, наставляя уши. Вскинув голову над дувалом, он пристально смотрел в подозрительно налипшую мглу — туда, в сторону степи, откуда приближалось с гулом что-то грозное. И в следующее мгновение ночь затрещала, как поваленный лес, прогрехотал гром, молнии расплосовали тучи. Хлынул крутой дождь. Иноходец рванулся с привязи, как от удара бича, и отчаянно заржал от страха за свой табун. В нем пробудился извечный инстинкт защиты своего рода от опасности. Инстинкт звал его туда, на помощь. И, обезумев, он поднял мятеж против узды, против удил, против волосяного чумбура, против всего,

что так крепко держало его здесь. Он стал метаться, рыть землю копытами и не переставая ржал в надежде услышать ответные крики табуна. Но только буря свистела и выла. Ах, если бы ему удалось тогда сорваться с привязи!..

Хозяин выскочил в белой нательной рубашке, за ним — женщина, тоже в белом. Они вмиг потемнели под дождем. По их мокрым лицам и испуганным глазам блеснул синий всполох, выхватывая из черноты часть дома с хлопающей на ветру дверью.

— Стой! Стой! — заорал на коня Танабай, намереваясь отвязать его. Но тот уже не признавал его. Иноходец кинулся на хозяина зверем, обрушил копытами дувал и все рвался и рвался с привязи. Танабай подкрался к нему, прижимаясь к стене, бросился вперед, закрывая голову руками, и повис на уздечке.

— Скорей отвязывай! — крикнул он женщине.

Та едва успела отвязать чумбур, как иноходец, дыбясь, потащил Танабая по двору.

— Камчу, скорей!

Бюбюжан кинулась за плеткой.

— Стой, стой, убью! — кричал Танабай, остервенело хлеща коня камчой по морде. Ему надо было сесть в седло, ему надо было сейчас быть в табуне. Что там? Куда угнал ураган лошадей?

Но и иноходцу тоже надо было в табун. Немедленно, сию же минуту — туда, куда звала его в грозный час могучая власть инстинкта. Потому он ржал и взмывал на дыбы, потому он рвался отсюда.

А дождь лил сплошной стеной, гроза бушевала, сотрясая грохотом мятущуюся во вспышках ночь.

— Держи! — приказал Танабай Бюбюжан и, когда та схватилась за уздечку, прыгнул в седло. Он еще не успел сесть, только уцепился за гриву коня, а Гульсары уже ринулся со двора, сшибив и проволочив женщину по луже.

Не подчиняясь уже ни удилам, ни плети, ни голосу, Гульсары мчался сквозь буревую ночь, сквозь секущий ливень, угадывая путь одним лишь чутьем. Он пронес безвластного теперь хозяина через взбурлившую реку, сквозь грохот воды и грома, сквозь заросли кустов, через рвы, через лога. он неудержимо мчался и мчался вперед. Никогда до этого, ни на большой скачке, ни на аламан-байге, не бежал так Гульсары, как в ту ураганную ночь.

Танабай не помнил, как и куда уносил его осатаневший иноходец. Дождь казался ему глущим пламенем, полыхавшим по лицу и телу. Одна лишь мысль колотилась в мозг: «Что с табуном? Где теперь лошади? Не дай бог, умчатся в низовья к железной дороге. Крушение! Помоги мне, аллах, помоги! Помогите, арбаки<sup>1</sup>, где вы? Не упади, Гульсары, не упади! Вынеси в степь, туда, туда, к табуну!»

А в степи шарахались белые зарницы, ослепляя ночь белым полымем. И снова смыкалась тьма, ярилась гроза, бил по ветру дождь.

То светло, то темн, то светло, то темно...

Иноходец взметывался на дыбы и ржал, раздирая пасть. Он звал, он взывал, он искал, он ждал. «Где вы? Где вы? Отзовитесь!» В ответ грохотало небо, и — снова в бег, снова в поиски, снова в бурю...

То светло, то темно, то светло, то темно...

Буря улеглась только к утру. Постепенно расплозлись тучи, но гром все еще не утихал на востоке — погромыхивал, урчал, потягивался. Дымилась истерзанная земля.

<sup>1</sup> Арбаки — духи предков.

Несколько табунщиков рыскали по окрестности, собирая отбившихся лошадей.

А Танабая искала жена. Вернее, не искала, а ждала. Еще ночью кинулась она с соседями верхом на помощь мужу. Табун нашли, удержали в яру. А Танабая не было. Думали, заблудился. Но она знала, что он не заблудился. И когда соседский паренек радостно воскликнул: «Вон он, Джайдар-апа, вон он едет!» — и поскакал ему навстречу, Джайдар не тронулась с места. Молча смотрела с коня, как возвращался блудный муж.

Молчаливый и страшный ехал Танабай в мокрой исподней рубашке, без шапки, на перепавшем за ночь иноходце. Гульсары прихрамывал на правую ногу.

— А мы вас ищем! — радостно сообщил ему добежавший паренек. — Джайдар-апа беспокоиться уже начала...

Эх, мальчишка, мальчишка...

— Заблудился, — пробубнил Танабай.

Так встретились они с женой. Ничего не сказали друг другу. А когда паренек отлучился выгнать табун из-под обрыва, жена тихо проговорила:

— Что ж ты, не успел даже одеться. Хорошо еще штаны да сапоги при тебе. И не стыдно? Ведь ты уже не молод. Дети вон скоро взрослые, а ты...

Танабай молчал. Что было ему говорить?

Парнишка тем временем подогнал табун. Все лошади и жеребята были целы.

— Поехали домой, Алтыке, — позвала парнишку Джайдар. — Дел не оберешься сегодня и у вас и у нас. Юрты разворотило ветром. Поехали собирать.

А Танабаю она сказала вполголоса:

— Ты тут побудь. Привезу тебе поесть да во что одеться. Людям-то как покажешься на глаза?

— Там я буду, внизу, — кивнул Танабай.

Они уехали. Танабай погнал табун на выпас. Долго гнал. Уже светило солнце, тепло стало. Запарилась степь, ожила. Запахло дождем и молодой травой.

Лошади не спеша протрусили по перепадкам, по логом, вышли на взлобье. И здесь словно бы мир другой открылся перед Танабаем. Далеко-далеко отстоял горизонт, подернутый белыми облаками. Небо было большое, высокое, чистое. И очень далеко отсюда дымил в степи поезд.

Танабай слез с коня, пошел по траве. Рядом вспорхнул жаворонок, поднялся и зашебетал. Танабай шел, опустив голову, и вдруг грохнулся на землю.

Никогда не видел Гульсары своего хозяина в таком положении. Он лежал вниз лицом, и плечи его тряслись от рыданий. Он плакал от стыда и горя, он знал, что утратил счастье, которое выдалось ему последний раз в жизни. А жаворонок все щебетал...

Через день табуны двинулись в горы — теперь они должны были вернуться сюда только на следующий год, ранней весной. Кочевье шло вдоль реки, по пойме, мимо аила. Шли отары овец, стада, табуны. Шли под вьюком верблюды и кони, ехали в седлах женщины и дети. Бежали лохматые псы. В воздухе стояло разноголосье: покрики, ржанье, бляенье...

Танабай гнал свой табун через большой луг, затем по пригорку, где недавно гомонил народ на празднике, и все старался не смотреть в сторону аила. И когда Гульсары вдруг потянул туда, ко двору на окраине, он получил за это плеткой. Так и не заехали они к женщине с удивитель-

ными руками, упругими и чуткими, как губы той маленькой гнедой кобылицы со звездой на лбу...

Табун дружно бежал.

Хотелось, чтобы хозяин пел, но он не пел. Аил остался позади. Прощай, аил. Впереди горы. До свиданья, степь, до следующей весны. Впереди горы.

## VI

Близилась полночь. Дальше Гульсары уже не мог идти. Сюда, до оврага, он кое-как доковылял, останавливаясь десятки раз, но оврага ему уже было не одолеть. Старик Танабай понял, что большего не вправе требовать от коня. Гульсары стонал мучительно, стонал, как человек. И когда он стал ложиться, Танабай не помешал ему.

Лежа на холодной земле, иноходец продолжал стонать, мотая головой из стороны в сторону. Ему было холодно, он дрожал всем телом. Танабай скинул с себя шубу и покрыл ею спину коня.

— Ну что, плохо тебе? Совсем плохо? Замерз ты, Гульсары. А ведь ты никогда не мерз.

Танабай что-то еще бормотал, но иноходец уже ничего не слышал. Сердце у него стучало уже в самой голове, оглушительно, срываясь и захлебываясь: тум-тап, тум, тум, тум-тап, тум... — будто табун убежал в панике от настигавших его преследователей.

Луна вышла из-за гор, повисла в тумане над миром. Беззвучно упала и потухла звезда....

— Ты тут полежи, я пойду курая наломаю, — сказал старик.

Он долго бродил вокруг, собирая сухостой прошлогоднего бурьяна. Руки исколол колючками, пока собрал охалку. Пошел еще, спустился в овраг, на всякий случай с ножом в руке, и наткнулся здесь на кусты тamarиска. Обрадовался — будет настоящий костер.

Гульсары всегда боялся горевшего вблизи огня. Теперь не боялся, его обдавало теплом и дымом. Танабай молча сидел на мешке, подкидывал в костер тamarиск вперемешку с бурьяном и смотрел на огонь, грея руки. Иногда вставал, поправлял на коне наброшенную шубу и снова садился к огню.

Гульсары отогрелся, дрожь затихла, но в глазах стояла желтая муть, давило и жало в груди, дышать было нечем. Пламя то падало, то вставало на ветру. Старик, сидевший напротив, давнишний хозяин его, то исчезал, то появлялся. И казалось иноходцу в бреду, что скачут они по степи в грозовую ночь, ржет он, вскидываясь на дыбы, ищет табун, а его нет. Загораются и гаснут белые всполохи.

То светло, то темно, то светло, то темно...

## VII

Отошла зима, отошла на время, чтобы показать пастухам, что жить на свете не так-то уж и трудно. Будут теплые дни, скот нажирует тело, будет вдоволь молока и мяса, будут скачки в праздники, будут будни — окот, стрижка, выхаживание молодняка, кочевка, скотогон на мясокомбинат, и между всем этим у каждого своя жизнь — любовь и разлука, рождение и смерти, гордость за успехи детей и огорчения при неутешительных вестях о них из интернатов: при себе-то, может, лучше учился бы... Мало ли чего будет, забот всегда предостаточно, и позабудутся на время зимние невзгоды. Джуты, падежи, гололедицы, дырявые юрты и холодные кошары останутся в сводках и отчетах до следующего года. А там опять грянет зима — на белой верблюдице домчится, разыщет пастуха, где бы он ни был, в горах или в степи, и покажет ему свой



норов. Все припомнит он, о чем на время призабыл. И в двадцатом веке зима ведет себя все так же...

Все так же было и тогда. Спустились с гор отошавшие стада и табуны и разбрелись по степи. Весна. Пережили зиму.

В ту весну гулял Гульсары жеребцом в табуне. Танабай теперь редко когда оседлывал его, жалел, да и нельзя было этого делать — приближался случной сезон.

Хорошим жеребцом обещал быть Гульсары. Следил за махонькими жеребятами прямо как отец. Чуть что проглядит матка, он уже здесь, не даст жеребенку упасть куда-нибудь или отбиться от косяка. И еще одно достоинство было у Гульсары: не любил, чтобы напрасно тревожили лошадей, — если так случалось, сразу угонял табун подальше.

Зимой того года в колхозе произошли изменения. Прислали нового председателя, Чоро сдал дела и лежал в районной больнице. С сердцем у него становилось совсем плохо. Танабай все собирался поехать проведать друга, да разве вырвешься? Пастух, как многодетная мать, — вечно в заботах, особенно зимой да по весне. Животное не машина: не отключишь рубильник и не уйдешь. Так и не смог тогда Танабай съездить в районную больницу. Сменщика теперь у него не было. Подменным табунщиком числилась жена — надо же было как-то зарабатывать на жизнь: хоть и мало чего стоил трудодень, а все же на два трудодня можно было получить больше, чем на один.

Но Джайдар — с ребенком на руках. Какой она сменщик? День и ночь самому приходилось управляться. Пока Танабай собирался, сговариваясь с соседями о подмене, пришла весть, что Чоро выписался из больницы и вернулся в аил. И тогда они с женой решили, что побывают у него потом, спустившись с гор.

А только спустились в долину, только обжились на новом месте, как случилось то, о чем Танабай до сих пор не может вспомнить спокойно...

Слава иноходца — палка о двух концах. Чем больше гремит он на всю округу, тем больше зарится на него начальство.

В тот день с утра отогнал Танабай лошадей на выпас, а сам вернулся домой позавтракать. Сидел с дочуркой на коленях, пил чай, переговариваясь с женой о разных семейных делах. Надо было съездить в интернат к сыну, а заодно и на базар, к станции, купить там на барахолке кое-что из одежды для детей и жены.

— В таком случае, Джайдар, оседлаю я иноходца, — сказал Танабай, прихлебывая из пиалы. — А то не успею обернуться. Съезжу последний раз и больше не буду его трогать.

— Смотри, тебе виднее, — согласилась она.

Снаружи послышался топот верховых, кто-то ехал к ним.

— Глянь-ка, — попросил он жену. — Кто там?

Она вышла и, вернувшись, сказала, что это «завферма Ибраим» и с ним еще кто-то из айльных.

Танабай поднялся нехотя, вышел из юрты с дочкой на руках. Хотя и недолюбивал он заведующего коневодческой фермой Ибраима, но гостя полагается встретить. А за что он недолюбивал Ибраима, Танабай и сам не знал. Вроде бы и обходительный он, не в пример другим, а что-то в нем было все же скользковатое. Самое главное, делать он ничего не делал, так себе — учет, перечет. Настоящей коневодческой работы на ферме вовсе не было, каждый табунщик был предоставлен самому себе. На партсобраниях Танабай не раз говорил об этом, все соглашались, соглашался и Ибраим, благодарил за критику, но все оставалось по-прежнему. Хорошо еще, что табунщики подобрались добросовестные, Чоро их сам подбирал.

Ибраим, сойдя с седла, приветливо развел руки.

— Ассалом-алейкум, ба-ай! — Он всех табунщиков называл баями.  
 — Алейкум-ассалом! — сдержанно отвечал Танабай, пожимая приехавшим руки.

— Как живы-здоровы? Как лошади, Танаке, как сам? — Ибраим сыпал свои привычные вопросы, и его мясистые щеки расплывались в столь же привычной улыбке.

— В порядке.

— Слава богу. За вас я не беспокоюсь.

— Прошу в юрту.

Джайдар стелила для гостей новую кошму, а на кошму бостек из козьих шкур — специальный полог для сидения на полу. И ей уделил внимание Ибраим.

— Здравствуйте, Джайдар-байбиче. Как ваше здоровье? Хорошо ли ухаживаете за своим баем?

— Здравствуйте, проходите, садитесь сюда.

Все расселись.

— Налей нам кумыса, — попросил Танабай жену.

Пили кумыс, говорили о том, о сем.

— Сейчас самое верное дело — животноводство. Здесь хоть летом молоко, мясо, — рассуждал Ибраим, — а на полеводстве или там на других работах — вовсе ничего. Так что лучше сейчас держаться табунов да отар. Верно ведь, Джайдар-байбиче?

Джайдар кивнула, а Танабай промолчал. Знал он это и сам и не впервые слышал такое от Ибраима, не упуская случая намекнуть на то, что положением животновода следует дорожить. Хотелось Танабаю сказать, что ничего, мол, тут хорошего нет, если люди будут держаться за теплые местечки, где молоко и мясо. А как же другие? До каких пор люди будут работать задарма? Разве так было до войны? Осенью по две, по три брички хлеба свозили в каждый дом. А теперь что? Бегают с пустыми мешками, где бы что бы добыть. Сами хлеб растят и сами без хлеба сидят. Куда это годится? Одними собраниями да увещаниями далеко не протянешь. Чоро потому и подорвал свое сердце, что, кроме хороших слов, ничего уже не мог дать людям за работу.

Но все это, что наболело у него на душе, бесполезно было говорить Ибраиму. Да и не хотел Танабай сейчас затягивать разговор. Надо было побыстрей выпроводить их, оседлать иноходца — ехать по делам, чтобы пораньше обернуться. Зачем они пожаловали? Но спрашивать было неудобно.

— Что-то не узнаю я тебя, брат, — обратился Танабай к спутнику Ибраима, молодому молчаливому джигиту. — Не сын ли ты покойного Абалака?

— Да, Танаке, я его сын.

— О, как время идет. Взглянуть приехал на табуны? Любопытно?

— Да нет, мы...

— Он приехал вместе со мной, — перебил его Ибраим. — Мы тут по делу, об этом потом. Кумыс у вас, Джайдар-байбиче, прямо отменный. А запах какой крепкий. Налейте-ка еще чашку.

Снова заговорили о том, о сем. Чуял Танабай неладное, но никак не мог взять в толк, что же привело к нему Ибраима. Наконец Ибраим достал из кармана какую-то бумагу.

— Танаке, мы к вам по такому делу, вот с такой бумагой. Прочтите.

Читал Танабай про себя, по складам, читал и не верил глазам. Размашистыми буквами на бумаге было написано:

«Распоряжение.

Табунщику Бакасову.

Отправить иноходца Гутьсары на конюшню для верховой езды.

Пред. к-за (подпись неразборчивая). 5 марта 1950 г.»

Ошарашенный столь неожиданным оборотом дела, Танабай молча сложил бумагу вчетверо, положил в нагрудный карман гимнастерки и долго сидел, не поднимая глаз. Под ложечкой неприятно холодило. Собственно, неожиданного тут ничего не было. Для того он и выращивал лошадей, чтобы затем передавать их другим для работы, для езды. Скольких он уже отправил по бригадам за эти годы! Но отдать Гульсары! Это было сверх его сил. И он стал лихорадочно соображать, как ему отстоять иноходца. Надо было все хорошенько обдумать. Надо было взять себя в руки. Ибраим уже начал тревожиться.

— Вот по такому небольшому делу и завернули к вам, Танаке,— осторожно пояснил он.

— Хорошо, Ибраим,— спокойно глянул на него Танабай.— Дело это никуда не ускачет. Попьем еще кумыса, поговорим.

— Ну, конечно, вы же разумный человек, Танаке.

«Разумный! Черта с два поддамся на твои лисьи слова!» — озлился про себя Танабай.

И снова пошел незначительный разговор. Спешить теперь было некуда.

Так впервые столкнулся Танабай с новым председателем колхоза. Вернее, не с ним лично, а с его неразборчивой подписью. Его самого он в глаза еще не видел. В горах зимовал, когда тот пришел на смену Чоро. Говорили, что человек он крутой, в больших начальниках ходил. На первом же собрании предупредил, что будет строго наказывать нерадивых, а за невыполнение минимума трудодней пригрозил судом, сказал, что все беды в колхозах происходили оттого, что колхозы были мелкими, теперь их будут укрупнять, вскоре положение должно выправиться — для того и послали его сюда, и он ставит своей главной задачей вести хозяйство по всем правилам передовой агротехники и зоотехники. А для этого все обязаны учиться в агротехнических и зоотехнических кружках.

И действительно, учебу наладили — развесили плакаты, лекции стали читать. А если чабаны засыпали на лекциях, то это уж их дело...

— Танаке, нам пора собираться,— выжидающе посмотрел на Танабая Ибраим и стал натягивать оползшие голенища сапог, встряхивать и прихорашивать свой лисий тебетей<sup>1</sup>.

— Вот что, завферма, передай председателю: Гульсары я не отдам. Он у меня табунный жеребец. Маток кроет.

— Ой-бой, Танаке, да мы вам вместо него пять жеребцов дадим, ни одна матка холостая не останется. Разве же это вопрос? — изумился Ибраим. Он был доволен, все шло хорошо и вдруг... Эх, будь это не Танабай, а кто-нибудь другой, разговор был бы короток. Но Танабай есть Танабай, он и брата своего не пожалел, с этим надо считаться. Тут приходится помягче стелить.

— Не нужны мне ваши пять жеребцов! — Танабай отер вспотевший лоб и, помолчав, решил идти напрямую. — Что твоему председателю, не на чем ездить, что ли? Лошади на конюшне перевелись? Почему именно Гульсары потребовался?

— Ну как же, Танаке? Председатель — руководитель наш, уважение, стало быть, ему. Ведь он в район ездит, и к нему люди приезжают. Председатель на виду, при народе, так сказать...

— Что так сказать? На другом коне признавать его никто не будет? Или если на виду, так обязательно на иноходце?

— Обязательно, не обязательно. Но вроде полагается. Вот вы, Танаке, солдатом были на войне. Разве вы ездили на легковой, а генерал

<sup>1</sup> Тебетей — шапка, отделанная мерлушкой или лисьим мехом.

ваш на грузовике? Нет, конечно. Генералу — генеральское, а солдату — солдатское. Резонно?

— Здесь дело другое,— неуверенно возразил Танабай. Почему именно другое, он не стал объяснять, да и не смог бы объяснить. И, чувствуя, что кольцо вокруг иноходца сжимается, сказал зло:— Не отдам. А неугоден — уберите с табуна. Пойду в кузницу. Там вы у меня молот не отберете.

— К чему так, Танаке? Мы вас уважаем, ценим. А вы как маленький. Разве же вам к лицу так? — Ибраим заерзал на месте. Кажется, влип. Сам наобещал, сам подсказал, сам вызвался, а этот упрямый тип все дело срывает.

Ибраим тяжело вздохнул и обратился к Джайдар:

— Сами посудите, Джайдар-байбиче, ну что такое один конь, ну иноходец? В табунае каких только лошадей нет — выбирайте любую. Человек приехал, прислали его...

— А ты что так стараешься? — спросила Джайдар.

Ибраим запнулся, развел руками:

— А как же? Дисциплина. Мне поручили, я человек маленький. Не для себя. Мне хоть на ишаке. Вот спросите, сына Абалака послали пригнать иноходца.

Тот молча кивнул головой.

— Нехорошо получается,— продолжал Ибраим.— Председателя нам прислали, он наш гость, а мы всем аилом коня порядочного не дадим ему. Узнает народ, что скажет? Где видано такое у киргизов?

— Вот и хорошо,— отозвался Танабай,— пусть узнает аил. Я поеду к Чоро. Пусть он рассудит.

— Вы думаете, Чоро скажет не отдавать? С ним согласовано. Подведете только его. Вроде саботаж. Нового председателя не признаем, к старому идем жаловаться. А Чоро—человек больной. Зачем портить его отношения с председателем? Чоро будет партгором, ему работать с ним. Зачем мешать...

И тут, когда речь зашла о Чоро, Танабай замолчал. Все замолчали. Джайдар тяжело вздохнула.

— Отдай,— сказала она мужу,— не держи людей.

— Вот это разумно, так бы давно, спасибо вам, Джайдар-байбиче.

Не зря Ибраим рассыпался в благодарностях. Не так уж много времени прошло после этого, а он из завфермой стал заместителем председателя по животноводству...

Танабай сидел в седле, потупив глаза, и не глядя все видел. Видел, как Гульсары был пойман и как на него надели новый недоуздок — свой Танабай ни за что не отдал бы. Видел, как не хотел Гульсары уходить из табуна, как рвался он на поводу у сына Абалака, как лупцевал его плеткой Ибраим с потягом сплеча, подскакивая на коне то с одной, то с другой стороны. Видел глаза иноходца, смятенный взгляд их, не понимающий, куда и зачем уводят его незнакомые люди от маток и жеребят, от его хозяина, видел, как вырывался пар из его раскрытой пасти, когда он ржал, видел его гриву, спину, круп, следы плетки на спине и боках, видел все его стати, даже небольшой нарост каштана на правой передней ноге выше запястья, видел его поступь, следы копыт, все видел до последней волосинки его светло-желтой буланой шерсти — все видел и, прикусив губу, молча страдал. Когда он поднял голову, те, что увели Гульсары, уже скрывались за бугром. Танабай вскрикнул и припустил коня вслед за ними.

— Стой, не смей! — Джайдар выбежала из юрты.

И на скаку его вдруг осенила страшная догадка — мстит жена иноходцу за те ночи. Он круто развернул коня, нахлестывая камчой, повернул назад. Осадил возле юрты, прыгнул и страшный, с искаженным, побелевшим лицом подбежал к жене.

— Ты почему? Ты почему сказала: отдай? — прошептал он, глядя в упор.

— Уймись. Опusti руки, — как всегда спокойно, осадил она его. — Послушай, что я тебе скажу. Разве Гульсары твоя собственная лошадь? Личная? Что у тебя есть своего? Все у нас колхозное. Этим живем. Иноходец тоже колхозный. А председатель — хозяин колхоза: как скажет, так и будет. А насчет того напрасно думаешь. Можешь хоть сейчас уходить. Уходи. Она лучше меня, красивей, моложе. Хорошая женщина. Я тоже могла овдоветь, но ты вернулся. Сколько я тебя ждала! Ну пусть это не в счет. У тебя трое детей. Куда их? Куда их? Что им скажешь потом? Что они скажут? Что я им скажу? Решай сам...

Уехал Танабай в степь. Пропадал у табуна до самого вечера, все никак не мог успокоиться. Осиротел табун. Осиротела душа. Унес иноходец вместе с собой и ее. Все унес. Все не то. И солнце не то, и небо не то, и сам вроде не тот.

Вернулся уже затемно. Вошел в юрту молчаливый, почерневший. Девочки спали уже. Огонь горел в очаге. Жена слила ему воды на руки. Подала ужин.

— Не хочу, — отказался Танабай. А потом сказал: — Возьми темир-комуз<sup>1</sup>, сыграй «Плач верблюдицы».

Джайдар взяла темир-комуз, поднесла его к губам, тронула пальцем тоненькую стальную струнку,дохнула на нее, затем вдохнула воздух в себя, и полилась древняя музыка кочевников. Песня о верблюдице, потерявшей белого верблюжонка. Много дней бежит она по пустынному краю. Ищет, кличет детеныша. Горюет, что не водить ей больше за собой его в час вечерний над обрывом, в час утренний по равнинам, не обирать им вместе листья с веток, не ходить по зыбучим пескам, не бродить по весенним полям, не кормить его белым молоком. Где ты, темноглазый верблюжонок? Отзовись! Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени, струится по ногам. Где ты? Отзовись! Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени. Белое молоко...

Хорошо играла Джайдар на темир-комузе. Когда-то полюбил он ее за это, девчонкой еще.

Слушал Танабай, уронив голову, и опять не глядя все видел. Руки ее, погрубевшие от долголетней работы в жару и холод. Поседевшие волосы и морщины, появившиеся на шее, возле рта, возле глаз. Проступала за теми морщинами ушедшая юность — смуглая девчонка с косицами, падающими на плечи, и он сам — молодой-молодой тогда, и их былая близость. Он знал, что сейчас она его не замечает. Она была погружена в свою музыку, в свои мысли. И видел он еще в тот час половину бед и страданий своих в ней. Она несла их всегда в себе.

...Бежит верблюдица много дней, ищет, кличет детеныша. Где ты, темноглазый верблюжонок? Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени, струится по ногам. Где ты? Отзовись! Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени. Белое молоко...

А девочки спали, обнявшись. А за юртой лежала степь — огромная и непроглядная во мраке ночи.

В тот час бунтовал Гульсары в конюшне, не давал конюхам спать. Первый раз он попал в конюшню — в тюрму для лошадей.

<sup>1</sup> Темир-комуз — щипковый музыкальный инструмент в виде железной скобы со стальным язычком посредине.

## VIII

Велика была радость Танабая, когда однажды утром увидел он в табуне своего иноходца. Со свисающим обрывком веревки от недоуздка, под седлом.

— Гульсары, Гульсары, здравствуй! — подскочил наметом Танабай и увидел его вблизи в чужой уздечке, под чужим громоздким седлом с тяжелыми стремянами. И что его особенно возмутило — с пышной бархатной подушкой на седле, точно ездил на нем не мужчина, а баба толстозадая.

— Тьфу! — Танабай сплюнул от возмущения. Хотел поймать коня, сбросить с него всю эту нелепую сбрую, но Гульсары увильнул. Иноходцу сейчас было не до него. Он обхаживал маток. Он так истосковался по ним, что не замечал своего бывшего хозяина.

«Значит, сбежал-таки, оборвал повод. Молодец! Ну погуляй, погуляй, так и быть, я умолчу». — подумал Танабай и решил, что надо дать пробежку табуну. Пусть Гульсары почувствует себя как дома, пока за ним не примчалась погоня.

— Кайт-кайт-кайт! — кликнул Танабай, привстал в седле и, размавивая укруком, погнал табун прочь.

Двинулись матки, сзывая жеребят, побежали, резвясь, молодые кобылицы. Ветер обдувал их гривы. Смеялась под солнцем зеленеющая земля. Гульсары востепенулся, выправился, пошел гоголем. Вымахнул в голову табуна, отбил нового жеребца, загнал его на зады, а сам, красуясь перед табуном, зафыркал, затанцевал и пошел забегать то с одной, то с другой стороны. Кружил ему голову табунный дух — запах кобыльего молока, запах жеребят, запах полынного ветра. Дела ему не было, что сидело на нем нелепое седло с нелепой бархатной подушкой, что тяжелые стремяна колотили его по бокам. Забыл он, как вчера стоял в районе у большой коновязи, грызя удила и шарахаясь от громыхающих грузовиков. Забыл, как стоял потом в луже у вонючей забегаловки и как новый его хозяин вышел вместе со всей своей компанией и ото всех несло воню. Как рыгал и сопел новый, садясь на него. Забыл, как по дороге устроили они дурацкую скачку по грязи. Как понес он нового хозяина во весь опор и как тот трюхал в седле, болтаясь мешком, а потом стал рвать удила и бить его камчой по голове.

Все забыл иноходец, все: кружил ему голову табунный дух — запах кобыльего молока, запах жеребят, запах полынного ветра... Бежал иноходец — бежал, не подозревая, что погоня уже мчится за ним.

Вернул Танабай табун на прежнее место, и тут подоспели из аила двое конюхов. И увели Гульсары из табуна.

Однако вскоре он появился опять. На этот раз без уздечки и без седла. Скинул каким-то образом узду с головы и ночью убежал из конюшни. Танабай сперва посмеялся, а потом примолк и, подумав, накинул укрук на шею иноходца. Сам поймал, сам обротал и сам повел его в аил, попросив молодого табунщика с соседнего стойбища подгонять иноходца сзади. На полпути встретили конюхов, едущих за беглым иноходцем. Передавая им Гульсары, Танабай даже поворчал на них:

— Вы что там, безрукие, что ли, собрались, не можете уследить за конем председателя. Вяжите его покрепче.

А когда Гульсары прибежал в третий раз, Танабай не на шутку рассердился:

— Ты что, дурак! Что тебя носит сюда нелегкая? Дурак ты и есть дурак,— ругался он, гоняясь с укруком за иноходцем. И снова потащил его назад, и опять ругался с конюхами.

Но Гульсары не собирался умнеть, прибежал при каждом удобном случае. Осточертел конюхам, осточертел Танабаю.

...В тот день уснул Танабай поздно — поздно вернулся с выпаса. Подогнал табун поближе к юрте на всякий случай и заснул — беспокойно, тяжело. Измучился за день. Снилось ему странное что-то — то ли он опять на войне, то ли на бойне где-то. Кровь кругом, руки тоже в липкой крови. И сам думает во сне: не к добру снится кровь. Хочет вымыть руки где-нибудь. А его толкают, смеются над ним, хохочут, визжат — и непонятно кто: «Танабай, в крови моешь руки, в крови. Здесь нет воды, Танабай, здесь кругом кровь! Ха-ха, хо-хо, хи-хи!..»

— Танабай, Танабай! — трясла его за плечо жена. — Проснись.

— А, что?

— Слышишь, в табуне что-то. Дерутся жеребцы. Наверно, опять Гульсары прибежал.

— Будь он проклят. Покою нет никакого! — Танабай быстро оделся, схватил укрук и побежал в ложбину, где слышалась какая-то свалка. Светло было уже.

Подбежал и увидел Гульсары. Но что это? Иноходец прыгает, сдвуженный кишеном — железными путами. Гремят кандалы на ногах, крутится он, на дыбы встает, стонет, кричит. А этот лопух — косячный жеребец — и лягает и грызет его почему зря.

— Ах ты изверг! — Танабай налетел вихрем, протянул лопуха так, что переломился укрук. Отогнал. А у самого слезы на глазах. — Что с тобой сделали, а? Кто ж это додумался заковать тебя! И чего ты притащился сюда, болван несчастный?..

Надо же — в такую даль, через реку, через рвы и кочки допрыгал сюда в кандалах, добрался-таки до табуна. Всю ночь, наверно, прыгал, всю ночь шел. Один, под звон цепей, как беглый каторжник.

«Ну и ну!» — качал головой Танабай. Стал гладить иноходца, лицо подставил ему под губы. А тот перебирал губами, щекотал, глаза жмурил.

— Как же нам быть, а? Бросил бы ты это, Гульсары. Не поздороится тебе. Глупый ты, глупый. Ничего-то ты не знаешь...

Осмотрел Танабай иноходца. Ссадины, полученные в драке, заживут. А вот ноги потер кандалами крепко. Венчики копыт кровоточат. Войлочная обшивка кишена оказалась гнилой, моль побила. Когда прыгал конь по воде, обшивка слезла, обнажила железо. Вот оно и раскровянило ему ноги. «Не иначе Ибраим раскопал у стариков кишен. Его это дело», — со злостью думал Танабай. Да и чье же еще? Кишен — старинные цепные путы. У каждого кишена особый замок, без ключа не откроешь. Раньше надевали кишен на ноги лучшим коням, чтобы конокрады не могли их угнать с выпаса. Обыкновенные путы из веревки перерезал ножом — и делу конец, а с кишеном коня не уведешь. Но то было давно, а сейчас кишен стал уже редкостью. У старика разве какого-нибудь хранился как память о прошлом. И вот надо же, наверняка кто-то подсказал. Заковали иноходца, чтобы не смог он далеко уйти с аильного выпаса. А он все-таки ушел...

Снимали кишен с ног Гульсары всей семьей. Джайдар держала под уздцы, прикрывала иноходцу глаза, дочки играли поблизости, а Танабай, притащив весь свой короб с инструментами, обливался потом, пытаясь подобрать отмычку к замку. Пригодилась кузнечная сноровка, долго пытал, возился, руки сбил, но все же нашел способ, отомкнул.

Швырнул кишен подальше, с глаз долой. Смазал мазью кровоточины на ногах иноходца, и Джайдар повела его к коновязи. Старшенькая дочка подняла на спину младшую, и они тоже отправились к дому.

А Танабай еще сидел отдувался — устал. Потом собрал инструмент, пошел, поднял с земли кишен. Вернуть надо, а то еще отвечать придется. Разглядывая поржавевший кишен, подивился работе мастера. Все было сделано отменно, с выдумкой. Работа старых киргизских кузнецов. Да, потеряно теперь это ремесло, забыто навсегда. Не нужны теперь кишены. А вот другие вещи исчезли — это жаль. Какие украшения, утварь какую из серебра, из меди, из дерева, из кожи умели делать! И не дорогие вроде, а красивые вещи были. Каждая сама по себе, особая. Теперь таких нет. Теперь из алюминия лепят все подряд: кружки, чашки, ложки, серьги и тазы — куда ни придешь, все одно и то же. Скучно даже. И мастера-седельники тоже последние остались. А какие седла умели делать! Каждое седло свою историю имело: кто, когда, для кого сделал и как отблагодарен был за свой труд. Скоро, наверно, на машинах будут ездить все, как там, в Европе. Все на одинаковых машинах, только по номерам и отличишь. А умение дедовское забываем. Похоронили начисто старое ручное мастерство, а ведь в руках и душа и глаза человека...

Иногда вдруг находило на Танабая такое. Пускался в рассуждения с народном ремесле, негодовал и не знал, кого винить, что оно исчезает. А ведь в молодости сам был одним из таких могильщиков старины. Однажды выступил даже на комсомольском собрании с речью о ликвидации юрт. Услышал откуда-то, что юрта должна исчезнуть, что юрта — дореволюционное жилье. «Долой юрту! Хватит жить по старинке».

И «раскулачили» юрту. Стали строить дома, а юрты пошли на слом. Кошмы резали на всякие нужды, дерево пошло на изгороди, загоны для скота и даже на растопку...

А потом оказалось, что отгонное животноводство невысказано без юрт. И всякий раз теперь Танабай сам поражался, как он мог говорить такое, ругать юрту, лучше которой пока ничего не придумали для кочевья. Как он мог не видеть в юрте удивительное изобретение своего народа, где каждая мельчайшая деталь была точно выверена вековым опытом поколений?

Теперь он жил в дырявой, прокопченной юрте, доставшейся от старика Торгоя. Юрте было много лет, и если она еще кое-как держалась, то только благодаря долготерпению Джайдар. Целыми днями чинила, латала она юрту, приводила ее в жилой вид, а через неделю-другую снова расползалась квелая кошма, снова зияли прорехи, задувал ветер, сыпал снег, протекал дождь. И опять жена принималась за починку, и конца этому не было видно.

— До каких пор будем мучиться? — жаловалась она. — Смотри, это же не кошма, а прах, сыплется, как песок. А кереге-ууки<sup>1</sup> во что превратились! Стыдно сказать. Ты хоть добился бы, чтобы дали нам хотя бы новые кошмы. Хозяин ты дома или нет? Должны же мы наконец зажить по-людски...

Танабай первое время успокаивал, обещал. А когда заикнулся было в аиле, что ему нужно поставить новую юрту, оказалось, что старые мастера давно повымерли, а молодежь и представления не имеет, как их надо делать. Кошм для юрт в колхозе тоже не было.

— Хорошо, дайте шерсти, мы сами свалием кошмы, — попросил Танабай.

— Какая шерсть! — сказали ему. — Ты что, с луны свалился? Вся шерсть идет на продажу по плану, в хозяйстве не положено оставлять ни грамма... — И предложили взамен брезентовую палатку.

Джайдар наотрез отказалась:

<sup>1</sup> Кереге-уук — разборный деревянный остов юрты.



— Лучше уж в дырявой юрте жить, чем в палатке.

Многие животноводы к тому времени вынуждены были перейти в палатки. Но что это за жилье? Ни встать, ни сесть, ни огня развести. Летом невозможная жарыша, зимой собаку не удержишь от холода. Ни тебе вещи расставить, ни кухню устроить, ни убрать по красивой. А гости появятся — не знаешь, куда их приткнуть.

— Нет-нет! — отказывалась Джайдар. — Как хочешь, а в палатку я жить не пойду. Палатка для бессемейных разве и то на время, а мы с семьей, у нас дети. Купать их надо, воспитывать, нет, не пойду.

Встретил как-то Танабай в те дни Чоро, рассказал обо всем.

— Как же это получается, председатель?

Чоро грустно покачал головой:

— Об этом мы с тобой должны были подумать в свое время. И руководители наши наверху. А сейчас что — пишем письма и не знаем, что скажут. Говорят, шерсть — ценное сырье. Дефицит. Экспорт. На внутрихозяйственные нужды расходовать, говорят, вроде бы нецелесообразно.

Умолк после этого Танабай. Выходит, сам был отчасти виноват. И молча посмеивался над своей глупостью: «Нецелесообразно! Ха-ха-ха! Нецелесообразно!»

Долго не выходило у него из головы это жесткое слово — «нецелесообразно».

Так они и жили в старой, латаной и перелатанной юрте, для починки которой нужна была обыкновенная шерсть. А шерсть эту, кстати, тоннами стригли с колхозных отар...

Подошел Танабай к своей юрте с кишеном в руках. И такой убогой показалась она ему, такое зло взяло его на все — и на себя, и на кишен этот, которым раскровянили ноги иноходцу, что зубами заскрипел. А тут под горячую руку подвернулись еще конюхи, примчавшиеся за Гульсары.

— Забирайте, — крикнул им Танабай. И губы его запрыгали от злости. — А кишен этот передайте председателю и скажите ему: если еще раз посмеет заковать иноходца, я ему этим кишеном голову разможу. Так и скажите!..

Зря он это сказал. Ох зря! Никогда не проходила ему даром эта горячность и прямота его...

## IX

Стоял светлый, солнечный день. Шурилась на солнце весна, курчавилась новой листвой, дымилась на пашне и лезла травой на тропы, прямо под ноги.

Возле конюшни ребятня играла в чижики. Подкинет чижика в воздух этакий шустрый паренек и пульнет его с размаху вдоль дороги. Станет мерить палкой по земле расстояние — раз, два, три... семь... десять... пятнадцать... Придирчивые судьи идут рядом гурьбой, следя, чтобы тот не мухлевал. Двадцать два.

— Было семьдесят восемь и теперь двадцать два, — считает паренек и, подведя итог, вскрикивает вне себя от радости: — Сто! Есть сто!

— Ура-а, сто! — подхватывают другие.

Значит, попал в точку. Без перебора и недобора. Теперь проигравший должен «дудеть». Победитель идет к коню и отсюда снова закидывает чижика. Да так, чтобы подальше. Все бегут туда, где он упал, оттуда еще один удар по чижика, и так три раза. Побежденный чуть не плачет — так далеко придется ему дудеть! Но закон игры неумолим. «Что стоишь, давай луди!» Дудильщик набирает воздух в легкие и бежит, приговаривая:

Акбай, Кокбай,  
Телят в поле не гоняй.  
А погонишь — не догонишь,  
Будет тебе нагоняй — ду-у-у-у...

Голова уже трещит, а он все дудит. Но нет, до кона не дотянул. Надо возвращаться назад и начинать снова. И снова не дотянул. Победитель ликует. Раз не хватает дыху — вези! Он забирается дудильщику на спину, и тот везет его, как ишак.

— Ну вперед, а ну быстрее! — понукает ногами седок. — Ребята, смотрите, это мой Гульсары. Смотри, как он идет иноходью...

А Гульсары стоял за стеной, в конюшне. Томился. Что-то его и не оседлывали сегодня. Не кормили и не поили с утра. Позабыли. Конюшня давно опустела, разъехались брички, разъехались верховые, только он один в стойле...

Конюхи убирают навоз. Ребята шумят за стеной. В табуны бы сейчас, в степь! Видится ему вольная равнина, видится, как бродят там по раздолью табуны. Летят над ними серые гуси, машут крыльями, кличут за собой...

Дернулся Гульсары, попробовал оборвать привязь. Нет, крепко привязали его на двух цепных растяжках. Может, услышат свои? Вскинул голову к окну под крышей Гульсары и, перетаптываясь по настилу, гулко и протяжно заржал: «Где вы-ы-ы?..»

— Стой, черт, докричался! — подскочив, замахнулся на него лопатой конюх. И, обращаясь к кому-то за дверь, крикнул: — Выводить, что ли?

— Выводи! — ответили со двора.

И вот двое конюхов выводят иноходца во двор. Ух, как светло! А воздух какой! Затрепетали тонкие ноздри иноходца, трогая и вбирая в себя пьяный воздух весны. Листьями горьковато пахнет, влажной глиной пахнет. Кровь играет в теле. Побежать бы сейчас. Гульсары припрыгнул слегка.

— Стэй! Стой! — осадило его сразу несколько голосов.

Что это сегодня так много людей вокруг него? С засученными руками, руки здоровенные, волосатые. Один, в сером халате, выкладывает на белую тряпицу какие-то блестящие металлические предметы. Сверкают они на солнце до боли в глазах. Другие — с веревками. О, и новый хозяин здесь! Стоит важно, расставив толстые короткие ноги в широких галифе. Брови насуплены, как и у всех. Только рукава не засучены. Одной рукой подбоченился, другой крутит пуговицу на кителе. Вчера от него опять разило все тем же вонючим духом.

— Ну, что стоите, начинайте! Начинать, Джорокул Алданович? — обращается к председателю Ибраим. Тот молча кивает головой.

— Ну, давайте! — суетится Ибраим и торопливо вешает на гвоздь в воротах конюшни свой лисий тебетей. Шапка срывается, падает в навоз. Ибраим брезгливо отряхивает ее и снова вешает. — Вы бы посторонились чуток, Джорокул Алданович, — говорит он между тем, — а то ведь не ровен час заденет копытом. Конь — тварь неразумная, всегда жди подвоха.

Передернул кожей Гульсары, почувствовав на шее волосяной аркан. Колючий. Аркан завязали скользкой петлей на груди, перекинули конец наружу, на бок. Чего им надо? Зачем-то заводят аркан к задней ноге, на лодыжку. зачем-то еще опутывают ноги. Гульсары начинает нервничать, храпит, косит глазами. К чему все это?

— Быстрее! — торопит Ибраим и взвизгивает неожиданным фальцетом: — Вали!

Две пары здоровенных волосатых рук рывком берут на себя аркан. Гульсары падает на землю, как подкошенный — гха-а! Солнце кувыркнулось, дрогнула от удара земля. Что это? Почему он лежит на боку? Почему странно вытянулись вверх лица людей, почему деревья поднялись ввысь? Почему так неудобно лежит он на земле? Нет, так не пойдет.

Гульсары мотнул головой, подался всем туловищем. Арканы врезались жгучими путами, сводя ему ноги под живот. Иноходец рванулся, напрягся, отчаянно засучил свободной еще задней ногой. Аркан натянулся, затрещал.

— Наваливай, дави, держи! — заметался Ибраим.

Все кинулись на коня, придавили коленями.

— Голову, голову прижимайте к земле! Вяжи! Тяни! Так. Да побыстрей. Возьми тут еще разок. Тяни, еще раз, еще. Вот так. Теперь зацепи здесь, вяжи узлом! — не переставая визжал Ибраим.

И все туже опутывали арканом ноги иноходца, пока все они не были собраны в один жесткий узел. Застонал, замычал Гульсары, все еще пытаясь высвободиться из этой мертвой хватки аркана, сбрасывая тех, кто наседали на шею и на голову. Но они снова давили его коленями. Судорога пробежала по взмокшему телу иноходца, онемели ноги. И он сдался.

— Фу, наконец-то!

— Ну и силища!

— Теперь не шелохнется, если даже он трактор!

И тут к поваленному иноходцу подскочил он сам, новый хозяин его, присел на корточки в изголовье, обдал вчерашним сивушным духом и заулыбался в откровенной ненависти и торжестве, точно бы лежал перед ним не конь, а человек, враг его лютей.

К нему подсел, утираясь платком, распаренный Ибраим. И, сидя так рядышком, они закурили в ожидании того, что должно еще было последовать.

А за двором играли мальчишки в чижника:

Акбай, Кокбай,  
Телят в поле не гоняй.  
А погонишь — не догонишь,  
Будет тебе нагоняй — ду-у-у-у!..

Солнце все так же светило. И видел он в последний раз большую степь, видел, как бродят табуны там по раздолью. Летят над ними серые гуси, машут крыльями, кличут за собой... А морду облепили мухи. Не сгонишь.

— Начнем, Джорокул Алданович? — снова спросил Ибраим. Тот молча кивнул. Ибраим встал.

Все снова задвигались, навалились коленями и грудями на связанного иноходца. Прижали еще крепче голову его к земле. Чьи-то руки зашевелились в паху.

Мальчишки поналезли на дувал, как воробы.

— Смотри, ребята, смотри, что делают.

— Копыта чистят иноходцу.

— Знаешь ты много. Копыта! Вовсе и не копыта.

— Эй, что вам тут надо, а ну прочь отсюда! — замахал на них Ибраим. — Идите играйте. Нечего вам тут.

Ребята скатились с дувала.

Стало тихо.

Гульсары весь сжался от толчков и прикосновения чего-то холодного. А новый хозяин сидел на корточках перед ним, смотрел и чего-то ожидал. И вдруг острая боль взорвала свет в глазах. Ах! Вспыхнуло ярко-красное пламя, и сразу стало темно, черным-черно...

Когда все было кончено, Гульсары лежал еще связанный. Надо было, чтобы унялась кровь.

— Ну вот, Джорокул Алданович, все в порядке,— потирая руки, говорил Ибраим.— Теперь он никуда бегать не будет. Все — набегался. А на Танабая не обращайтесь внимания. Плюньте. Он всегда был таким. Он брата своего не пожалел — раскулачил, в Сибирь заслал. Кому он, думаете, добра желает...

Довольный Ибраим снял с гвоздя лисий тебетей, встряхнул его, пригладил и надел на потную голову.

А ребятня все гоняла чижа:

Акбай, Кокбай,

. . . . . ду-у-у-у.

Ага, не добежал, подставляй спину. Чу, Гульсары, вперед! Ура-а, это мой Гульсары!

Стоял светлый, солнечный день...

## Х

Ночь. Глубокая ночь. Старый человек и старый конь. Горит костер на краю оврага. Пламя падает и встает на ветру...

Леденит иноходцу бок мерзлая, жесткая земля. Затылок сводит чугунной тяжестью, голова устала мотаться то вверх, то вниз, как тогда, когда он прыгал, сдвуноженный кишеном. И как тогда, не может Гульсары разбежаться, не может порвать кандалы. Хочется ему свободно махать ногами, чтобы копыта горели от бега, хочется лететь над землей, чтобы дышать всей грудью, хочется быстрее домчаться до выпаса, чтобы заржать во всю глотку, скликая табун, чтобы бежали кобылы и жеребята вместе с ним по большой полынной степи, но кандалы не пускают. Один, под звон цепей, как беглый каторжник, идет он, прыгает шаг за шагом, шаг за шагом. Пусто, темно, одиноко. Мелькает луна наверху в струях ветра. Она встает перед глазами, когда иноходец, прыгая, вскидывает голову, и падает камнем, когда он роняет голову.

То светло, то темно, то светло, то темно... Глаза устали смотреть.

Гремят цепи. растирают ноги в кровь. Прыжок, еще прыжок. еще. Темно, пусто. Как долго идти в кандалах. как трудно идти в кандалах.

Горит костер на краю оврага. Леденит иноходцу бок мерзлая, жесткая земля...

## ХІ

Через две недели предстояло отправиться в новое кочевье, снова в горы. На все лето. на всю осень и зиму, до следующей весны. С квартиры на квартиру и то чего стоит переехать! Откуда только набирается барахло? Не потому ли киргизы издавна говорят: если считаешь, что ты беден,— попробуй перекочуй.

Надо было уже приготовиться к кочевке, надо было сделать уйму разных дел, съездить на мельницу, на базар, к сапожнику, в интернат к сыну... А Танабай ходил как в воду опущенный. Станным он казался

жене в те дни. На рассвете спешит — поговорить не успеешь, ускачет в табун. Возвращается к обеду мрачный, раздраженный. И все будто чего-то ожидает, все время настороже.

— Что с тобой? — допытывалась Джайдар.

Он отмалчивался, а однажды сказал:

— Сон я видел недавно дурной.

— Это ты чтобы отвязаться от меня?

— Нет, на самом деле. Из головы не выходит.

— Дожили. Не ты ли был заводилой безбожников в аиле? Не тебя ли проклинали старухи? Стареешь ты, Танабай, вот что, крутишься возле табуна, а что кочевка на носу — тебе хоть бы что. Разве я управляю одна с детьми? Съездил бы хоть повидал Чоро. Порядочные люди перед кочевкой проводят больных.

— Успеется, — отмахнулся Танабай, — потом.

— Когда потом? Да ты что, в аил боишься ехать? Поедем завтра вместе. Возьмем детей и поедем. Мне тоже надо побывать там.

На другой день, договорившись с молодым соседом, что он будет приглядывать за табунном, они выехали всей семьей верхом на лошадях. Джайдар — с маленькой девочкой, Танабай — со старшей. Детей везли, посадив перед седлами.

Ехали по улицам аила, здоровались со встречными и знакомыми, а возле кузницы Танабай вдруг остановил лошадь.

— Постой, — сказал он жене. Слез с седла и пересадил старшую дочку к жене на круп коня.

— Ты что? Куда ты?

— Я сейчас, Джайдар. Ты езжай. Скажи Чоро, что я мигом подъеду. В конторе срочные дела, закроется на обед. И в кузницу надо забежать. Подковы, кухнали на кочевку запасти.

— Да неудобно же врозь.

— Ничего, ничего. Ты езжай. Я сейчас.

Ни в контору, ни в кузницу Танабай не заглянул. Поехал он прямо на конный двор.

Спешившись, никого не окликая, вошел в конюшню. Пока глаза привыкали к полумраку, во рту пересохло. В конюшне было пустынно и тихо, все лошади были в разъезде. Оглядевшись, Танабай облегченно вздохнул. Вышел через боковую дверь во двор конюшни повидать кого-нибудь из конюхов. И тут увидел то, чего боялся все эти дни.

— Так и знал, сволочи! — тихо сказал он, сжимая кулаки.

Гульсары стоял под навесом с забинтованным хвостом, подвязанным веревкой к шее. Между задними раскоряченными ногами темнела огромная, величистой с кувшин, тугая воспаленная опухоль. Конь стоял неподвижно, понуро опустив голову в кормушку. Танабай замычал, кусая губы, хотел подойти к иноходцу, но не посмел. Ему стало жутко. Жутко от этой пустынной конюшни, пустынного двора и одинокого, выхолощенного иноходца. Он повернулся и молча побрел прочь. Дело было непоправимое.

Вечером, когда они вернулись уже к себе в юрту, Танабай печально сказал жене:

— Сбылся мой сон.

— А что?

— В гостях не стал об этом говорить. Гульсары больше не будет прибегать. Ты знаешь, что они сделали с ним? Охлостили, сволочи!

— Знаю. Потому и потащила тебя в аил. Ты боялся узнать об этом? А чего бояться? Не маленький же ты! Разве первый и последний раз

выхолашивают коней? Так было испокон века и так будет. Это же известно каждому.

Ничего не ответил на это Танабай. Только сказал:

— Нет, все же сдается мне, что наш новый председатель — плохой человек. Чует сердце.

— Ну ты это брось, Танабай,— сказала Джайдар.— Если кастрировали твоего иноходца, так сразу и председатель плохой. Зачем так? Человек он новый. Хозяйство большое, трудное. Чоро вон говорит, что теперь с колхозами разберутся, помогут. Планы какие-то намечают. А ты судишь обо всем раньше времени. Мы-то ведь многого здесь не знаем...

После ужина Танабай отправился в табун и пробыл там до глубокой ночи. Ругал себя, заставлял все забыть, но из головы не выходило то, что увидел днем на конюшне. И думал он, объезжая табун, кружа по степи: «Может, и вправду нельзя судить так о человеке? Глупо, конечно. Оттого, наверно, что старею, что гоняю круглый год табун, ничего не вижу и не знаю. Но до каких пор будет так трудно жить?.. А послушаешь речи — будто все идет хорошо. Ладно — положим, я ошибаюсь. Дай бог, чтобы я ошибался. Но ведь и другие, наверно, так думают...»

Кружил по степи Танабай, думал, не находил ответа на свои сомнения. И вспоминалось ему, как начинали они когда-то колхоз, как обещали народу счастливую жизнь, какие мечты у всех были. И как бились за те мечты. Перевернули все, перелопатили старое. Что ж — и зажали поначалу неплохо. Еще лучше зажали бы, если бы не эта проклятая война. А теперь? Сколько лет уж прошло после войны, а все латаем хозяйство, как старую юрту. В одном месте прикроешь — в другом лезет прореха. Отчего? Отчего колхоз будто не свой, как тогда, а вроде чужой? Тогда собрание что постановило — закон. Знали, что закон приняли сами и его надо выполнять. А теперь собрание — одни пустые разговоры. Никому нет дела до тебя. Колхозом вроде не сами колхозники управляют, а кто-то со стороны. Точно бы со стороны виднее, что делать, как лучше работать, как вести хозяйство. Крутят, вертят хозяйство то так, то эдак, а толку никакого. Встретиться с людьми и то страшно — того и гляди спросят: ну-ка, вот ты, партийный человек, колхоз начинали — больше всех глотку драл, растолкуй нам, как все это получается? Что им скажешь? Хоть бы собрали да рассказали что к чему. Спросили бы, что у кого на душе, какие мысли, какие заботы. Так нет, уполномоченные приезжают из района тоже какие-то не такие, как прежде. Раньше уполномоченный в народ шел, всем доступный был. А теперь придет, накричит на председателя в конторе, а с сельсоветом так и вовсе не разговаривает. На партсобрании выступит, так все больше о международном положении, а положение в колхозе вроде не такое уж и важное дело. Работайте, давайте план, и все...

Вспомнил Танабай, как приезжал тут недавно один, все толковал о каком-то новом учении о языке. А попробовал Танабай с ним заговорить о колхозном житье-бытье — косится: мысли ваши, говорит, сомнительные. Не одобрил. Как же все это получается?

«Вот встанет Чоро с постели,— решил Танабай,— заставлю его душу выложить. И сам выложу. Если я путаю, пусть скажет, а если нет?.. Что же тогда? Нет-нет, так не должно быть. Конечно, я путаю. Кто я? Простой табунщик, пастух. А там люди мудрые...»

Вернулся Танабай в юрту и долго не спал. Все голову ломал: в чем тут загвоздка? И снова не находил ответа.

А с Чоро так и не удалось потолковать. Перед кочевкой дела заели.

И опять двинулось кочевье в горы на все лето, на всю осень и зиму, до следующей весны. Снова вдоль реки, по пойме пошли стада, табуны, отары. Караваны вьюков. В воздухе повисло разноголосье, запестрели платки и платья женщин, пели девушки о расставании.

Гнал Танабай свой табун через большой луг, по пригоркам мимо айла. Все так же стоял на окраине тот дом, тот двор, куда заезжал он на своем иноходце. Заныло сердце. Не было теперь для него ни той женщины, ни иноходца Гульсары. Ушло все в прошлое, прошумела та пора, как стая серых гусей по весне...

...Бежит верблюдица много дней, ищет, кличет детеныша. Где ты, черноглазый верблюжонок? Отзовись! Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени, струится по ногам. Где ты? Отзовись! Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени. Белое молоко...

## ХII

Осенью того года судьба Танабая Бакасова неожиданно повернулась.

Вернувшись из-за перевала, он остановился в предгорье, на осенних выпасах, с тем чтобы вскоре уйти с табунами на зимовье в горные урочища.

И как раз в эти дни прибыл посыльный из колхоза.

— Чоро прислал меня,— сказал он Танабаю.— Передал, чтобы ты завтра приехал в аил, а оттуда поедете на совещание в район.

На следующий день Танабай приехал в контору колхоза. Чоро был здесь, в комнатке парторга. Выглядел он куда лучше, чем весной, хотя и заметно было по синеве губ и худобе его, что болезнь все еще сидела в нем. Держался он бодро, очень занят был, народ обступал его. Танабай порадовался за друга. Ожил значит, снова принялся за работу.

Когда они остались вдвоем, Чоро глянул на Танабая, потрогал ладонью свои впалые, жесткие щеки, улыбнулся:

— А ты, Танабай, не стареешь, все такой же. Сколько мы не виделись—с самой весны? Кумыс и воздух гор—дело великое... А я вот сдаю понемногу. Время, наверно, уже...— Помолчав, Чоро заговорил о деле:— Вот что, Танабай. Знаю, скажешь — дай нахальному ложку, так он вместо одного раза пять раз хлебнет. Опять по твою душу. Завтра едем на совещание животноводов. С животноводством очень плохо, особенно с овцеводством и особенно у нас в колхозе. Прямо гиблое дело. Райком обратился с призывом: коммунистов и комсомольцев на отстающие участки, в отары. Выручай! Тогда выручил с табунами, спасибо, и теперь выручай. Берись за отару, переходи в чабаны.

— Скор ты шибко, Чоро.— Танабай помолчал. «К лошадям я при- вык,— думал он.— А с овцами скучновато будет! Да и как все это пойдет?»

— Неволю тебя, Танабай,— сказал опять Чоро.— А ничего не поделаешь — партийное поручение. Не сердись. При случае припомнишь по-дружески, отвечу за все сразу!..

— Да уж припомню как-нибудь крепко, не обрадуешься! — за- смеялся Танабай, не подозревая, что не так далеко то время, когда придется ему припомнить Чоро все...— А насчет отары подумать надо, с женой поговорить...

— Ну что ж, подумай. Но к утру решай, завтра надо доложить перед совещанием. С Джайдар потом посоветуешься, объяснишь ей все. Да я и сам при случае подъеду, расскажу. Она умная — поймет. Не будь ее при тебе, давно бы где-нибудь шею себе свернул,— пошутил Чоро.— Как там она поживает? Дети как?

И они разговорились о семьях, о болезнях, о том, о сем. Танабая все подмывало начать большой разговор с Чоро, однако стали заходить скотоводы, вызванные с гор, да Чоро и сам заспешил, поглядев на часы.

— Значит, так. Коня своего сдай в конюшню. Решили ехать все вместе на машине с утра. Мы ведь машину получили. И вторую скоро получим. Заживем! А я отправлюсь сейчас, приказано к семи быть в райкоме. Председатель уже там. Думаю, успею на иноходце к вечеру, он не хуже машины идет.

— Как, разве ты едешь на Гульсары? — удивился Танабай. — Уважил, выходит, председатель...

— Как сказать. Уважил не уважил, но отдал его мне. Понимаешь, какая беда, — смеясь, развел руками Чоро. — Возненавидел почему-то Гульсары председателя. Просто уму непостижимо. Звереет, близко не подпускает к себе. Пробовали и так и эдак. Ни в какую! Хоть убей. А я езжу — идет хорошо, крепко ты его выездил. Знаешь, схватит иной раз сердце, болит, а сяду на иноходца, пойдет он, и боль как рукой снимет. Только за одно это готов всю жизнь работать парторгом, лечит он меня! — смеялся Чоро.

Танабай не смеялся.

— Я ведь тоже его не люблю, — промолвил он.

— Кого? — спросил Чоро, утирая прослезившиеся от смеха глаза.

— Председателя.

Чоро посерьезнел.

— За что же ты его не любишь?

— Не знаю. Думается мне, пустой он человек, пустой и злой.

— Ну знаешь, на тебя трудно угодить. Меня ты упрекал всю жизнь за мягкотелость, этого тоже, оказывается, не любишь... Не знаю. Вышел я на работу не так давно. Пока не разобрался.

Они замолчали. То, что Танабаю хотелось рассказать Чоро — о кишене, о кастрации. — показалось ему теперь неуместным, неубедительным. И, чтобы не длить заминку, Танабай заговорил о том, что порадовало его в разговоре как приятная новость:

— Очень хорошо, что машину дали. Значит, и в колхозы теперь пойдут машины. Надо, надо. Пора. Помнишь, перед войной получили мы первую полторку. Митинг целый собрался. Как же — своя машина в колхозе! Ты еще выступал, стоя в кузове: «Вот, товарищи, плоды социализма!» А потом и ее забрали на фронт...

Да, было такое время... Удивительное время, как солнца восход. Что там автомашина! Когда вернулись со стройки Чуйского канала и привезли с собой первые патефоны, как потянулся тогда аил к новой песне! В конце лета то было. По вечерам собирались все к тем, у кого патефоны, выносили их на улицу, и все слушали и слушали пластинку про ударницу в красной косынке. «Эй, ударница в красной косынке, скипятила бы ты мне чайку!...» Это тоже были для них плоды социализма...

— А мы сами-то, помнишь, Чоро, после митинга понабивались в полторку — полным-полно! — вспоминал, оживляясь, Танабай. — Я стоял у кабины с красным флагом, как на празднике. И поехали мы просто так, без дела, на станцию, а оттуда вдоль железной дороги на другую станцию, в Казахстан. Пиво пили в парке. И всю дорогу туда и обратно пели песни. Из тех джигитов мало кто остался — погибли все на войне. Да... И ночью, слушай, не выпускал я из рук этот красный флаг. Ночью-то кто бы его увидел? А я все держал, не выпускал его из рук... То был мой флаг. И все пел, охрип даже, помню... Почему мы теперь не поем, Чоро?



— Стареем, Танабай, теперь уж не к лицу как-то...

— Да я не об этом — мы свое отпели. А молодежь? Вот я бываю у сына в интернате. Каким он там выучится? С этих пор знает уже, как угождать начальству. Ты, говорит, отец, почаще привози кумыса директору школы. А зачем? Учится он ничего... А послушал бы, как они поют. Батрачил я в детстве у Ефремова в Александровке, как-то водил он меня в церковь на пасху. Вот и наши ребята станут все на сцене, руки по швам, лица каменные и поют, как в русской церкви. И все одно и то же... Не нравится мне это. И вообще многое непонятно мне теперь, поговорить бы нам надо... Отстал я от жизни, не все стал понимать.

— Ладно, Танабай. В другой раз потолкуем, выберем время.— Чоро стал собирать свои бумаги, складывать их в полевую сумку.— Только ты не переживай больно. Я, например, верю, крепко верю: как бы трудно ни было, а все равно поднимемся мы, заживем еще, как мечтали...— говорил он, уже уходя. На пороге обернулся, вспомнил: — Слушай, Танабай, проезжал я как-то по улице — совсем запустел твой дом. Не глядишь ты за ним. Ты все в горах, а дом без хозяина, Джайдар в войну одна без тебя и то лучше содержала. Ты пойди посмотри. Скажешь, что потребуется, весной поможем как-нибудь с ремонтом. Наш Самансур приезжал летом на каникулы и то не утерпел. Взял косу — пойду, говорит, выкошу бурьян во дворе Танаке. Штукатурка пообвалилась, стекла повыбиты, говорит: воробьи носятся по комнатам, как на гумне.

— Насчет дома — это ты верно. И Самансору спасибо. Как там он учится?

— На втором курсе уже. А учится, по-моему, хорошо. Вот ты говоришь — молодежь, а я по сыну своему сужу — вроде неплохая нынешняя молодежь. По рассказам его вижу, дельные у них ребята в институте. Ну, да видно будет. Молодежь грамотная идет, подумает о себе...

Чоро отправился на конюшню, а Танабай поехал посмотреть свой дом. Обошел во дворе все кругом. Хрумкал под ногами сухой, пыльный бурьян, скошенный летом студентом — сыном Чоро. Совестно было, что дом стоит без хозяйского пригляда. У других животноводов по домам оставались родственники или присматривал кто. А у него две сестры родные жили в других аялах, с братом Кулубаем он не в ладах, а у Джайдар вообще нет близких родичей. Вот и получилось, что дом оказался заброшенным. И опять работать предстояло на отгонном животноводстве, теперь уже чабаном. Танабай пока еще колебался, но про себя знал, что Чоро все равно уговорит его, не сможет он отказать ему, согласится, как всегда.

Утром выехали на машине из аила и покатали в райцентр. Новый трехтонный ГАЗ понравился всем. «Едем, как цари!» — шутили скотоводы. Радовался и Танабай — давно не приходилось ему ездить на машине, почитай с самой войны. Довелось тогда поколесить по дорогам Словакии и Австрии на американских «студебеккерах». Мощные были грузовики, трехосные. «Вот бы нам такие, — думал тогда Танабай. — Особенно на вывозку зерна с предгорий. Такие нигде не завязнут». И верил: кончится война — будут и у нас. После победы все будет!..

В открытом кузове на ветру разговор не клеился. Все больше молчали, пока Танабай не напомнил молодежи:

— Запевайте песни, ребята. Что ж вы смотрите на нас, стариков. Пойте, мы послушаем.

Молодежь запела. Сперва у них не ладилось, а потом дело пошло. Веселей стало ехать. «Вот и хорошо, — думал Танабай. — Так-то лучше.

А главное, хорошо, что собирают наконец нас. Доложат, наверное, как и что, как быть с колхозом. Начальству-то виднее, чем нам. Мы знаем то, что у себя, не больше. Подскажут, глядишь, и мы у себя по-новому возьмемся за дело»...

В райцентре было шумно и людно. Машины, телеги, множество верховых лошадей запрудили всю площадь возле клуба. И шашлычники, чайханщики были тут как тут. Дымили, чадили, скликали приезжих.

Чоро уже ждал.

— Слезайте быстрее да идемте. Занимайте места. Скоро начнется. Танабай, куда ты?

— Я сейчас,— бросил Танабай, пробираясь сквозь кучу верховых лошадей. Он еще с машины заметил своего Гульсары и теперь шел к нему. Не видел с самой весны.

Иноходец стоял под седлом среди других лошадей, выделяясь своей светло-желтой, буланой мастью, широким, крепким крупом и горбоносой сухой головой с темными глазами.

— Здравствуй, Гульсары, здравствуй! — зашептал Танабай, протискиваясь к нему.— Ну, как ты тут?

Иноходец скосил яблоко глаза, признал старого хозяина, переступил ногами, зафыркал.

— А ты, Гульсары, выглядишь ничего. Смотри, раздался в груди. Бегаешь, стало быть, много. Плохо тебе было тогда? Знаю... Ну ладно еще в хорошие руки попал. Веди себя смирно, и все будет в порядке,— говорил Танабай, ощупывая в переметной сумке остатки овса. Значит, Чоро не морил его здесь голодом.— Ну ты стой, а я пойду.

У входа в клуб на стене атели полотнища с надписями: «Коммунисты — вперед!», «Комсомол — авангард советской молодежи!»

Народ шел густо, растекаясь в фойе и зрительном зале. В дверях Танабая встретили Чоро и председатель колхоза Алданов.

— Танабай, отойдем в сторонку,— заговорил Алданов.— Мы тебя уже отметили, вот твой блокнот. Ты должен выступить. Ты партийный, лучший табунщик у нас.

— А о чем же мне говорить?

— Скажи, что ты, как коммунист, решил идти на отстающий участок. Чабаном маточной отары.

— И все?

— Ну как все! Скажешь свои обязательства. Обязуюсь, мол, перед партией и народом получить и сохранить по сто десять ягнят от каждой ста маток и настричь по три килограмма шерсти с головы.

— Как же я скажу, если я в глаза не видел отару?

— Ну вот еще, подумаешь! Отару получишь.

Чоро смягчил разговор:

— Выберешь себе овец, какие приглянутся. Не беспокойся. Да, и еще скажи, что берешь под шефство двух молодых чабанов-комсомольцев.

— Кого?

Люди толкались. Чоро смотрел списки.

— Болотбекова Эшима и Зарлыкова Бектая.

— Так ведь я с ними не говорил, как они посмотрят на это?

— Опять ты свое! — возмутился председатель.— Станный ты человек. Обязательно тебе говорить с ними? Не все ли равно? Никуда они не денутся, мы их наметили к тебе, дело решенное.

— Ну, если решенное, зачем со мной разговор вести? — Танабай пошел.

— Постой,— удержал его Чоро.— Ты все запомнил?

— Запомнил, запомнил,— раздраженно бросил Танабай на ходу...

## XIII

Совещание закончилось к вечеру. Опустел райцентр, разъехались люди кто куда: в горы, к отарам и стадам, на фермы, в айлы и села.

Уезжал Танабай вместе с другими в грузовике через Александровский подъем, через степное плато. Темно было уже, ветер пробирал. Осень. Примостился Танабай в углу кузова, упрятался в поднятый воротник с мыслями своими. Вот и закончилось совещание. Сам он ничего дельного не сказал, зато других послушал. Выходит, много еще надо труда положить, чтобы пошло все на лад. Верно ведь говорил этот, в очках, секретарь обкома: «Никто не уготовил нам пути-дороги, самим их пробивать». Подумать только, с самых тридцатых годов — то вверх, то вниз, то на подъем, то на спуск... Не простое, видно, дело колхоз. Вот и сам он уже седой наполовину, всю молодость ухлопал, чего только не повидал, чего не делал, и глупости порол не раз, и все казалось — вот оно, вот оно то, а тягот с колхозом все не оберешься...

Ну что ж, работать — значит работать. Правильно сказал секретарь — жизнь, она никогда не покатится сама собой, как думалось когда-то, после войны. Ее вечно надо подталкивать плечом, пока сам жив... Только вот оборачивается она каждый раз острыми углами, все плечи уже в мозолях. Да что мозоли — была бы душа довольна тем, что делаешь, что делают другие и чтобы от трудов этих счастье было... Как-то повернется у него теперь с отарой? Что скажет Джайдар? В магазин даже не успел забежать — девчушкам конфет хотя бы прихватить. Наобещал. Легко сказать, по сто десять ягнят на сотню да по три килограмма шерсти с головы. Каждый ягненок народиться да прижиться должен, а против него дождь, ветер, холод. А шерсть? Возьми шерстинку, глазом не различишь, дунешь — и нет ее. Килограммы-то откуда? Ох, золотые то килограммы. А ведь иные, наверно, и ведать не ведают, как все оно добывается...

Да, сбил его Чоро, спутал... «Выступи, говорит, но только коротко, о своих обязательствах. Ничего другого не говори. Не советую». А Танабай и послушался. Вышел на трибуну, оробел и так ничего и не сказал, что на душе накопело. Пробубнил обязательства и сошел. Вспомнить стыдно. А Чоро доволен. И что это он осторожный стал такой? От болезни, что ли, или потому, что не главный теперь человек в колхозе? За чем ему надо было предостерегать Танабая? Нет, что-то в нем сдвинулось, переиначилось как-то. Оттого, наверно, что всю жизнь председателем колхоз тянул, всю жизнь начальство его ругало. Ловчить научился, кажется...

«Ну постой, друг, припомню я тебе когда-нибудь с глазу на глаз...» — думал Танабай, закутываясь поплотнее в тулуп. Холодно было, ветер, до дома еще далеко. Что-то там его ждет?..

Чоро поехал на иноходце. Ехал он один, не стал дожидаться попутчиков. Домой хотелось быстрее, сердце побаливало. Пустил коня своим ходом, тот настоялся за день и шел теперь размашистой, прочной иноходью. Печатал копыта по вечерней дороге, как заведенная машина. Из всего прежнего осталась у него лишь одна страсть к бегу. Все другое давно уже умерло в нем. Умертвили, чтобы знал он только седло и дорогу. В беге Гульсары жил. Бежал добросовестно, неутомимо, точно бы мог догнать то, что было отнято людьми. Бежал и никогда не настигал.

На ветру в дороге Чоро немного полегчало. Отошла боль в сердце. Совещанием в целом он был доволен, очень понравилось выступление секретаря обкома, о котором он много слышал, но видел его впервые.

И все же не совсем по себе было парторгу. Коробило на душе. Ведь он Танабаю добра желал. Ведь он собаку съел на всех таких совещаниях, заседаниях и собраниях, знал, что и где надо говорить, а что не следует. Научен был. А Танабай хотя и послушался, но не желал этого понять. После совещания не обмолвился с ним ни словом. Сел в машину, отвернулся. Обиделся. Эх, Танабай, Танабай! Простак ты, ничему-то тебя жизнь не научила. Ничего-то ты не знаешь и не замечаешь. Каким был в молодости, таким и остался. Все бы тебе рубить сплеча. А времена-то уже не те. Теперь важнее всего, как сказать, при ком сказать и чтобы слово в духе времени звучало, как у всех, не выделяясь, не спотыкаясь, а гладкое, как писаное было. Тогда все будет на месте. Апусти тебя, Танабай, как душе твоей угодно, наломал бы дров, отвечать еще пришлось бы. «Как вы воспитываете членов своей организации? Что за дисциплина? Что за распушенность?» Эх, Танабай, Танабай...

#### XIV

Все та же ночь, заставшая их двоих в пути. Старый человек и старый конь. Горит костер на краю оврага. Танабай встает, в который раз поправляет шубу, накинутую на издыхающего Гульсары. И снова садится в его изголовье. Перебирает он в мыслях всю свою жизнь. Годы, годы, годы, как бег иноходца... А что было тогда, в тот год, в ту позднюю осень, в ту раннюю зиму, когда он ходил чабаном с отарой?..

#### XV

Весь октябрь в горах был сух и золотист. Дня два только в начале лили дожди, заходило, лег туман. Но потом за ночь развеяло, разошло непогоду, и утром, выйдя из юрты, Танабай чуть не попятился — горы шагнули к нему в свежем снегу на вершинах. Как им шел снег! Они стояли в поднебесье в безупречной своей чистоте, отчетливые на свету и в тени, будто только что созданные богом. Там, где лежал снег, начиналась синяя бесконечность. А в ее глубине, в ее далекой-далекой сини проступала призрачная даль вселенной. Танабай поехал от избытка света и свежести, и тоскливо стало ему. Опять он вспомнил о той, к которой ездил на Гульсары. Был бы иноходец под рукой, сел бы и, крича от восторга и радости, явился бы к ней, как этот белый снег поутру...

Но он знал, что это только мечта... Что ж, половина жизни проходит в мечтах, потому, быть может, и сладка она так, жизнь. Быть может, потому и дорога она, что не все, не все сбывается, о чем мечтаешь. Смотрел он на горы и небо и думал, что вряд ли все люди могут быть в одинаковой мере счастливы. У каждого своя судьба. А в ней свои радости, свои горести, как свет и тень на одной и той же горе в одно и то же время. Тем и полна жизнь... «А она, наверно, и не ждет уже. Разве что вспомнила, увидев свежий снег на горах...»

Стареет человек, а душа не желает сдаваться, нет-нет да и встрепнется, подаст свой голос.

Танабай оседлал лошадь, открыл овечий загон, крикнул в юрту жене:

— Джайдар, я отгону овец, вернусь, пока ты справишься.

Отара засемила горопливо, потекла потоком спин и голов, поднимаясь по склону. Соседние чабаны тоже уже выгоняли своих овец. Тут и там по косогорам, по лощинам, по распадкам пошли овечьи стада соби-

рать извечную дань земли — траву. Серо-белыми кучами бродили они среди рыжего и бурого разнотравья осенних гор.

Пока что все обстояло благополучно. Отара Танабаю досталась неплохая — матки второго и третьего окота. Полтыщи голов. Полтыщи забот. А после окота станет их в два с лишним раза больше. Но до окота, до страды чабанской было еще далеко.

С овцами спокойнее, конечно, чем с табунами, однако не сразу привык к ним Танабай. То ли дело лошади! Но потеряло, говорят, коневодство свое значение. Машины пошли. Лошади, выходит, уже не прибыльны. Теперь главное — овцеводство, шерсть, мясо, овчина. Задевала Танабая такая трезвость расчета, хотя и понимал он, что была в этом своя правда.

Хороший табун при хорошем жеребце можно иной раз и оставить на время, на полдня, а то и больше, отлучиться по другим своим делам. А с овцами — никуда. Днем неотступно ходи с ними, ночь — сторожи. Кроме чабана, подпасок должен быть при отаре, но его не давали. Вот и получалось — сплошная работа, без смены, без отдыха. Джайдар числилась ночным сторожем, днем она только иногда могла приглядывать с дочками за овцами, до полуночи ходила с ружьем у загона, а потом приходилось самому стеречь. А Ибраим, теперь хозяин всего животноводства в колхозе, на все находил свои причины.

— Ну где я вам возьму подпаска, Танаке? — говорил он с горестным видом. — Вы же разумный человек. Молодежь вся учится. А те, что не учатся, и слышать не хотят об овцах, уходят в город, на железную дорогу и даже на рудники куда-то. Что делать, ума не приложу. У вас всего одна отара — и то вы стонете. А я? У меня все животноводство на шее. Под суд я попаду. Зря я, зря пошел на это дело. Попробуй с такими, как ваш Бектай подшефный. Ты, говорит, обеспечь мне радио, кино, газеты, юрту новую и чтобы магазин приезжал ко мне каждую неделю. А не будет — уйду куда глаза глядят. Вы бы хоть поговорили с ним, Танаке!..

Ибраим не врал. Он и сам не рад уже был, что залез высоко. И на счет Бектая — тоже правда. Танабай иногда урывал время, наезжал к своим подшефным комсомольцам. Эшим Болотбеков покладистый был парень, хотя и не очень расторопный. А Бектай красив был, ладен, но в его черных раскосых глазах так и сквозила злость. Танабая он встречал угрюмо, говорил ему:

— Ты, Танаке, не разрывайся на части. Лучше с детьми своими побудь. А проверяльщики у меня и без тебя хватает.

— А что ж тебе, хуже будет, что ли?

— Хуже не хуже. А таких, как ты, я не люблю. Это вы расшибались в доску. Все — ура, ура! А человеческой жизни и сами не видели, и нам житья не давали.

— Ты, парень, не очень, — едва сдерживая себя, цедил сквозь зубы Танабай. — И пальцем в меня не тычь. Не твое это дело. Расшибались мы в доску, а не ты. И не жалею. Для вас расшибались. А не расшибались бы, посмотрел бы я, как бы ты сейчас разговаривал. Не то что там кино или газеты, имени своего не знал бы. Одно было бы у тебя имя из трех букв — кул — раб!..

Не любил Танабай Бектая, хотя где-то втайне и уважал его за прямоту эту. Пропадала в нем сила характера. Горько было Танабаю, видел он, что не туда ведет парня кривая... И потом, когда дороги их разошлись и встретились они в городе случайно, ничего не сказал ему, но и слушать его не стал.

\* \* \*

В ту раннюю зиму...

Быстро домчалась она на свирепой белой верблюдице своей и пошла донимать пастухов за их забывчивость.

Октябрь весь был сух и золотист. А в ноябре грянула разом зима.

Пригнал Танабай вечером овец, пустил в загон, все как будто было в порядке. А в полночь разбудила его жена:

— Вставай, Танабай, замерзла я совсем. Снег идет.

Руки у нее были холодные, и вся она пахла мокрым снегом. И ружье было мокрое и холодное.

На дворе стояла белесая ночь. Снег сыпал густо. Овцы лежали в загоне беспокойно, мотали головами с непривычки, отряхивали снег, а он все сыпал. «Постойте, еще не то будет нам с вами, — запахнув плотней шубу, подумал Танабай. — Рано, очень рано пожаловала ты, зима. К чему это, к добру или к худу? Может, потом к концу приотпустишь, а? Только бы к расплоду убралась. Вот и вся просьба наша. А пока делай свое дело. Право имеешь и можешь никого не спрашивать...»

Молчала народившаяся зима, молча, торопливо хлопотала впотмах, чтобы к утру все ахнули, засновали, забегали.

Горы стыли в ночи пока еще темными громадами. Зима им нипочем. Это пастухи со стадами своими пусть побегают. А горы как стояли, так и будут стоять.

Началась та памятная зима, но что она замышляла, пока никто не знал.

Снег лежал, через несколько дней его еще подвалило, потом еще и еще, и выжил он чабанов с осенних стойбищ. Отары стали разбредаться, прятаться по ущельям, по затишкам, по малоснежным местам. Пошло в ход вековое искусство пастухов — находить отарам корм там, где другой махнул бы рукой и сказал, что нет тут ничего, кроме снега. На то они и были чабанами... Наедет иногда какое-нибудь начальство, поглядит-поглядит, порасспросит, наобещает кучу всего и — быстрее назад из гор. А чабан опять остается один, лицом к лицу с зимой.

Все хотелось Танабаю как-нибудь вырваться в колхоз, разузнать, как там думают насчет проведения окота, все ли сделано, все ли припасено. Но где там! И дыхнуть некогда было. Джайдар однажды съездила к сыну в интернат, но недолго задержалась там: знала, что без нее совсем трудно стало. Танабай пас тогда отару вместе с дочерьми. Маленькую усаживал перед собой в седло, кутал в шубу, тепло и покойно ей, а старшая мерзла — сидела она сзади, за отцом. И даже огонь в очаге горел по-другому, бесприютно.

А когда мать на другой день вернулась, что тут было! Дети кинулись ей на шею, отцеплять пришлось силой. Ох, нет — отец, конечно, отец, но без матери и он не то.

Так шло время. Зима выдалась переменчивая — то прижмет, то отпустит, раза два бураны были, потом стихало, таяло. Это-то и тревожило Танабая. Хорошо, как расплод попадет в теплую полосу, а если нет, что тогда?

Животы овец между тем все больше тяжелели. У иных, у кого крупный плод или двойня, они уже начали обвисать. Суюгные матки шагали трудно, осторожно, сильно сдали с тела. Хребты выпирали. Да и что удивляться — плод рос в чреве, наливался материнскими соками, а тут каждую травинку из-под снега выбивай. Чабану прикармливать бы маток по утрам и вечерам, подвозить бы корм в горы, но в амбарах колхозных — все под метелку. Кроме семян да овса для рабочих лошадей, ничего и нет.

Каждое утро, выгоняя отару из загона, Танабай осматривал маток, ощупывал животы, вымя. Прикидывал, что если все обойдется благополучно, то свое обязательство по ягнтям выполнит, а вот с шерстью нет, пожалуй, не выйдет. Плохо росло руно за зиму, а у иных овец шерсть даже поредела, выпадать стала — опять же кормить надо было бы лучше. Хмурился Танабай, злился, а сделать ничего не мог. И ругал себя последними словами за то, что послушался Чоро. Насулил. С трибуны выступал. Я, мол, такой-сякой передовой, перед партией и родиной слово даю. Хоть бы уж этого не говорил! Да и при чем тут партия и родина! Обыкновенное хозяйское дело. Так нет... Положено. И чего мы на каждом шагу, надо не надо, бросаемся этими словами?..

Ну что ж, сам и виноват. Не обдумал. По чужим подсказкам стал жить. Им-то что — отбрешутся, вот только Чоро жалко. Никак не везет ему. День здоров — два болеет. Всю жизнь суетится, уговаривает, обнадеживает, а что толку? Осторожный уже становится, слова выбирает. Раз больной, то уходил бы уж, что ли, на отдых...

Зима шла своим ходом, то обнадеживая, то тревожа чабанов. В отаре Танабая пали две матки от истощения — слабы оказались. И у подшефных его, молодых чабанов, тоже подохло по нескольку овец. Ну не без этого же. Десяток маток потерять за зиму — дело обычное. Главное было там, впереди, на подходе к весне.

И вдруг начало теплеть. У овец сразу же стало наливаться вымя. Смотришь, худющие уже такие, животы едва тащат, а соски розовеют, набухают не по дням, а по часам. И с чего бы? Откуда силы такие берутся! Слух пронесся, что у кого-то уже объягнилось несколько маток. Значит, недогляд был при случке. И это было первым сигналом. Через неделю-другую посыплются ягнята, как груши. Успевай только принимать. И начнется великая страда чабанская! За каждого ягненка дрожать будет чабан и проклинать тот день, когда пошел за отарой, и радости его предела не будет, если сбережет молодняк, если встанут ягнята на ноги и покажут хвосты свои зиме.

Но только бы вышло оно так, только бы вышло! Чтоб потом не прятать глаза от людей...

Прислали из колхоза сакманщиц — женщин большей частью престарелых да бездетных, которых удалось вытащить из села, — для помощи на время окота. К Танабаю в отару тоже прислали двух сакманщиц. Приехали с постелями, с палаткой и пожитками. Веселей стало. Сакманщиков надо было по крайней мере человек семь. Ибраим заверил, что они будут, когда отары перекочуют на окотный пункт, в долину Пяти Деревьев, а сейчас, мол, хватит и этих.

Зашевелились отары, стали перебираться пониже, в предгорья, на окотные базы. Танабай попросил Эшима Болотбекова, чтобы он помог женщинам добраться до места и устроиться там, пока он подгонит отару. Отправил их с утра, караваном целым, а сам собрал овец и направил их своим ходом, полегоньку, чтобы нетрудно было маткам на сносях. Потом ему придется проделать этот же путь в долину Пяти Деревьев еще два раза, помочь подшефным.

Медленно передвигались овцы, а не поторопишь их. Даже пес соскучился, побежал рыскать по сторонам.

Солнце было уже на закате, но пригревало. И чем ниже опускалась отара в предгорья, тем теплей становилось. Зелень уже пробивалась на солнцепеке.

В пути вышла небольшая задержка — окотилась первая матка. Не должно было быть этого, огорчался Танабай, продувая уши и ноздри новорожденному. Срок окота наступал через неделю, не раньше. А тут нá тебе!

Может, еще начнут ягниться по пути? Осмотрел других,— нет, вроде бы не похоже. Успокоился, а потом даже повеселел. То-то обрадуются девчушки его первому ягненку. Первенец всегда мил. И ягненок-то оказался хорошенький. Белый, с черными ресницами и черными копытцами. Было в отаре несколько полугрубошерстных овец, одна из них как раз и разрешилась. Ягнята от них обычно рождаются крепкие, в шерсточке, не то что от тонкорунных, те рожают почти голышей.

— Ну, раз уж ты поторопился, погляди на божий свет,— приговаривал Танабай.— И принеси нам счастье! Принеси нам таких, как ты, столько, чтобы ступить негде было ногой, чтоб от голосов ваших в ушах звенело и чтобы жили все, как один! — Он поднял ягненка над головой.— Смотри, покровитель овец, вот он, первый, помоги нам!

Вокруг стояли горы, и они молчали.

Танабай упрятал ягненка под шубу и пошел, подгоняя овец. Матка бежала следом, беспокоилась, бляяла.

— Пошли, пошли! — сказал ей Танабай.— Здесь он, никуда не денется.

Обсох ягненок под шубой, пригрелся.

На базу Танабай пригнал отару к вечеру.

Все были уже на месте, из юрты тянулся дымок. Возле палатки хлопотали сакманщицы. Управились, стало быть, с переездом. Эшима не видно было. Ну да — увел уже выючного верблюда, чтобы завтра самому перекочевать. Все правильно.

Но то, что Танабай увидел затем, потрясло его, как гром среди бела дня. Ничего хорошего он не ожидал, но чтобы кошара для расклада стояла с прогнившей и провалившейся камышовой крышей, с дырами в стенах, без окон, без дверей, чтобы ветер продувал ее вдоль и поперек — нет, этого он не ожидал. Вокруг уже почти не было снега, а в кошаре лежали сугробы.

Загон, сложенный когда-то из камней, тоже лежал в руинах. Танабай так расстроился, что не стал даже глядеть, как девочки радуются ягненку. Сунул им его в руки и пошел осматривать все кругом. И куда бы ни ткнулся — всюду такая бесхозяйственность, какой свет не видывал. С самой войны, должно быть, все здесь было заброшено, справлялись кое-как с окотом овец и уходили, кинув все дождям и ветрам. На крыше сарая пригорюнился кособокий прикладок гнилого сена, лежали кучи разбросанной соломы — вот и весь корм, и вся подстилка для ягнят и маток на всю отару, если не считать двух неполных мешков ячменной муки да ящика с солью, что были свалены в углу. Там же, в углу, было брошено несколько фонарей с разбитыми стеклами, ржавый бидон с керосином, две лопаты и обломанные вилы. Так и хотелось облить все это керосином, сжечь к чертям собачьим и уйти отсюда куда глаза глядят...

Ходил Танабай, спотыкаясь о мерзлые кучи прошлогоднего навоза и снега, и не знал, что сказать. Слов не находил. Только и повторял, как помешанный: «Да как же так можно?.. Да как же так можно?.. Да как же так можно?..»

А потом выскочил из кошары, бросился седлать коня. Руки тряслись, когда седлал. Сейчас он поскачет туда, поднимет всех на ноги среди ночи и сделает сам не знает что! Схватит за шиворот этого Ибраима, этого председателя Алданова и Чоро: пусть не ждут от него пощады! Раз они с ним так — не видать им от него добра! Все, конец!..

— А ну постой! — успела перехватить поводья Джайдар. — Куда ты? Не смей. Слезь, послушай меня!

Но где там! Попробуй останови Танабая.

— Отпусти! Отпусти! — орал он, вырывая поводья, наезжая на



жену, нахлестывая коня.— Отпусти, говорю! Я убью их! Я убью их! Я убью!

— Не пушу! Тебе надо кого-нибудь убить? Убей меня.

Тут прибежали сакманщицы на помощь Джайдар, прибежали дочери, подняли рев.

— Отец! Отец! Не надо!

Остыл Танабай, но все еще порывался ехать.

— Не держи меня, разве ты не видишь, что тут творится? Разве ты не видишь — вон матки с ягнятами. Куда мы их завтра денем, где крыша? Где корм? Передохнут все. Кто будет отвечать? Отпусти!

— Да постой ты, постой. Ну, хорошо, ну, поедешь ты, накричишь, наскандалишь. А что из того? Если они до сих пор ничего не сделали, значит нет у них сил на это. Было бы из чего, разве колхоз не построил бы новую кошару?

— Но крышу-то перебраться можно было! А где двери? Где окна? Все кругом развалено, в кошаре снег, навоз не вывозили лет десять! А смотри, на сколько хватит этого гнилого сена? Разве же ягнятам такое сено? А подстилку откуда возьмем? Пусть в грязи дохнут ягнята, да? Так, по-твоему? Уйди!

— Хватит, Танабай, уймись. Ты что, лучше всех? Как все, так и мы. И тебя еще мужчиной считают! — стыдила жена.— Подумай лучше, что можно сделать, пока не поздно. Плюнь ты на них. Нам отвечать и нам делать. Я вон приметила по пути к ложбинке шиповник густой, колючий, правда,— нарубим, позатыкаем крышу, сверху навоза набросаем. А на подстилку курая придется накосить. Как-нибудь да и перебежемся, если погода не подведет...

Тут и сакманщицы стали успокаивать Танабая. Сполз он с седла, плюнул на баб и пошел в юрту. Сидел, уронив голову, поникшую, как после тяжелой болезни.

Притихли все дома. Разговаривать боялись. Джайдар сняла с кизячных углей чайник, заварила покрепче, принесла в кувшине воды, дала мужу руки помыть. Расстелила чистую скатерть, конфеты даже откуда-то достала, масла топленого положила в тарелку желтыми ломтиками. Пригласили сакманщиц и сели пить чай. Ох уж эти бабы! Пьют себе чай из пиал, разговоры разговаривают всякие, будто в гостях сидят. Молчал Танабай, а после чая вышел и стал укладывать обвалившиеся камни загона. Работы тут невпроворот. Но хоть что-то надо было сделать, чтобы загнать овец на ночь. Вышли женщины и тоже взялись за камни. Даже девчонки силились подносить их.

— Бегите домой,— сказал им отец.

Стыдно было ему. Таскал камни, не поднимая глаз. Правду гоюорил Чоро: не будь Джайдар, не сносить Танабаю головы своей бедовой...

### XVI

На другой день съездил Танабай подсобить перекочевке своих подшефных, а потом всю неделю работал не покладая рук. Не помнил даже, когда так доводилось, разве что на фронте, когда оборону строили круглыми сутками. Но там — со всем полком, с дивизией, с армией. А здесь — сам, жена да одна из сакманщиц. Вторая пасла овец поблизости.

Труднее всего пришлось с очисткой кошары от навоза и рубкой шиповника. Заросли оказались густые, сплошь в колючках. Сапоги все изодрал Танабай, шинель солдатскую свою доконал — вся в клочьях висела на нем. Нарубленный шиповник связывали веревками и тащили волоком, потому что и на лошадь не навьючишь, и на себе не утащишь — колючки. Чертыхался Танабай — долина Пяти Деревьев, а от них и пяти

пеньков не сыщешь. Согнувшись в три погибели, обливаясь потом, волокля они этот проклятый шиповник, дорогу им проборошили к кошаре. Жалко было Танабай женшин, но ничего не поделаешь. И работалось неспокойно. Времени в обрез, и на небо надо поглядывать — как там? Повалит снег, тогда и это все ни к чему. И все заставлял старшую дочурку бегать к отаре — узнавать, не начался ли окот.

А с навозом и того хуже. Тут его было столько, что за полгода не вынести. Когда под хорошей крышей лежит сухой, утрамбованный овечий навоз, то работать с ним даже приятно. Слитными, плотными кусками отделяется вырубленный пласт. Его складывают сушиться большими штабелями. Жар овечьего кизяка приятен и чист, как золото, им и обогрываются чабаны в зимние холода. Но если навоз полежал под дождем или под снегом, как тут, то нет ничего более тяжкого, чем возиться с ним. Каторжная работа. А время не ждало. Ночью, засветив чадающие фонари, продолжали они выносить на носилках эту холодную, липкую, тяжелую, как свинец, грязь. Вот уж вторые сутки.

На задворках навалили уже огромную кучу навоза, а в кошаре оставался еще непочатый край. Торопились очистить хотя бы один угол кошары для ожидавшихся ягнят. Но что значит один угол, когда всей этой большой кошары мало, чтобы поместить всех маток и их приплод — ведь в день будет появляться по двадцать — тридцать ягнят! «Что будет?» — только об этом и думал Танабай, накладывая в носилки навоз, вынося его, затем вновь возвращаясь, и так без конца, до полуночи, до рассвета. Мутило уже. Руки онемели. Да еще и фонари то и дело задувало ветром. Хорошо, сакманщицы не роптали, работали так же, как Танабай и Джайдар.

Прошли сутки, затем еще сутки и еще. А они все носили и носили навоз, затыкали дыры в стенах и в крыше. И ночью однажды, выходя с носилками из кошары, услышал Танабай, как замекал ягненок в загоне и как матка взблеяла в ответ, стуча ногами. «Началось!» — екнуло под сердцем.

— Ты слышала? — обернулся Танабай к жене.

Они разом бросили под ноги носилки с навозом, схватили фонари и побежали в загон.

Зашарили фонари, мигая неверным светом, по отаре. Где он? Вон там, в углу! Матка уже облизывала крохотное, дрожащее тельце новорожденного. Джайдар подхватила ягненка в подол. Хорошо, что вовремя подоспели, а не то так и замерз бы в загоне. Рядом, оказывается, окотилась еще одна матка. Она принесла двойню. Этих положил в подол плаща Танабай. В потугах лежали еще штук пять и сдавленно мычали. Значит, началось. К утру и эти разродятся. Позвали сакманщиц. Стали выводить из загона окотившихся маток, чтобы поместить их в тот угол кошары, что уже был кое-как расчищен.

Постелил Танабай соломы под стену, уложил ягнят, отведавших впервые молозива матерей, прикрыл их мешком. Холодно. Маток впустил сюда же. И призадумался, закусив губу. А что толку было думать? Оставалось только надеяться, что, может быть, все как-нибудь образуется. Сколько дел, сколько забст... Хоть бы соломы было вдосталь, так и той нет. Ибрагим и на это найдет уважительную причину. Скажет, попробуй привези солому по бездорожью в горы.

Эх, что будет — то будет! Пошел, принес банку с разведенными чернилами. Одному ягненку намалевал на спинке двойку, а двойняшкам по тройке. Так же пронумеровал и маток. А то потом попробуй разберись, когда они будут здесь кишеть сотнями. Не за горами, страда чабанская началась!

И началась она круто, жестоко, как в обороне, когда нечем отбиться, а танки идут. А ты стоишь в окопе и не уходишь, потому что некуда уходить. Одно из двух — или чудом выстоять в схватке, или умереть.

Стоял Танабай поутру на пригорке перед выгоном отары на пастьбу и молча смотрел по сторонам, словно оценивая свои позиции. Ветхой, никудышной была его оборона. Но он должен был стоять. Уходить ему было некуда. Небольшая извилистая долинка с смелевшей речушкой теснилась между увалами, за ними поднимались сопки повыше, а за теми — еще выше, в снегу. Чернели над белыми склонами голые каменные скалы, а там, на хребтах, скованных сплошным льдом, лежала зима. Ей было рукой подать сюда. Стоило только шевельнуться, скинуть вниз тучи, и утонет долинка во мгле, не разыщешь.

Небо было серое, в серой стылой мути. Ветер поддувал низом. Пустынно было вокруг. Горы, кругом горы. Холодно на душе от тревоги. А в кошаре-развалюшке уже мекали ягнята. Только что отбили из стада еще голов десять подоспевших овец, оставили на окот.

Отара потихоньку ушла добывать себе скудный корм. И там, на выгоне, тоже теперь глаз да глаз нужен. Бывает, что овца не подает никаких признаков, что скоро окотится. А потом — раз, прилегла за кустом — и опросталась. Если недоглядеть, застудится на сырой земле ягненок, и тогда он уже не жилец.

Однако застоялся Танабай на пригорке. Махнув рукой, он зашагал к кошаре. Там еще работы невпроворот, надо хоть что-то успеть еще сделать.

Приезжал потом Ибраим, муку привозил — бесстыжие глаза его... А где, говорит, дворцы я вам возьму? Какие были кошары в колхозе, такие и есть. Других нет. До коммунизма пока не дошли.

Танабай едва удержался, чтобы не броситься на него с кулаками.

— При чем тут смешки твои? Я о деле говорю, я о деле думаю. Мне отвечать.

— А я, по-вашему, не думаю? Вы отвечаете за какую-то одну отару, а я за все, за вас, за всех других, за все животноводство. Думаю: мне легко! — И вдруг, к изумлению Танабая, этот ловкач заплакал, уткнувшись в ладони, и забормотал сквозь слезы: — Под суд я попаду! Под суд! Нигде ничего не достанешь. Люди не хотят идти даже в сакманщики на время. Убейте, растерзайте меня, ничего я больше не могу. И не ждите от меня ничего. Зря я, зря пошел на это дело...

С тем и уехал, оставив простака Танабая в немалом смущении. Больше его тут и не видели.

Окотилась пока первая сотня маток. В отарах Эшима и Бектая, стоявших выше по долине, окот и не начинался еще, но Танабай уже чувствовал, что надвигается катастрофа. Все они, сколько их было — трое взрослых, не считая старую женщину-сакманщицу, которая теперь постоянно пасла отару, и старшая шестилетняя дочка — едва успевали принимать ягнят, обтирать их, подсаживать к маткам, утеплять чем придется, выносить навоз, подтаскивать хворост на подстилку. И уже слышны были голодные крики ягнят — им не хватало молока, матки были истощены и кормить их было нечем. А что ждало впереди?

Закружились круговертью дни и ночи чабанские, наваливалась расплодная — ни вздохнуть, ни разогнуться.

А вчера как напугала их погода! Сильно заохлодало вдруг, тучи поползли хмарые, посыпалась жесткая снежная крупа. Потонуло все во мгле, потемнело...

Но вскоре тучи разошлись и стало теплеть. Весной запахло в воздухе, сыростью. «Дай-то бог, может, весна встанет. Только бы уж прочно вставала, а то нет ничего хуже, когда пойдет шататься туда-сюда», — думал Танабай, вынося на вилах с соломой водянистые последы приплода.

И весна пришла, только не так, как ожидал Танабай. Заязвлась вдруг ночью с дождем, туманом и снегом. Всей своей мокрой и холодной массой обрушилась на кошару, на юрту, на загон, на все кругом. Вспучилась ручьями и лужами на мерзлой, слякотной земле. Просочилась сквозь гнилую крышу, подмыла стены и пошла затапливать кошару, пробираться ее обитателей дрожью до мозга костей. Всех подняла на ноги. Сбились в кучу ягнята в воде, орали матки, котившиеся стоя. С подхвата крестила весна новорожденных холодной водой.

Засуматошились люди в плащах, с фонарями. Забегал Танабай. Как пара загнанных зверей, метались в тьме большие сапоги его по лужам, по жиже навозной. Хлестали полы плаща крыльями подбитой глицы. Хрипел он, кричал на себя и на других:

— Лом давай скорей! Лопату! Навоз валите сюда! Загораживайте воду!

Надо было хотя бы отвести в сторону вбегавшие в кошару потоки воды. Рубил мерзлую землю, долбил канавы.

— Свети! Свети сюда! Что смотришь!

А ночь никла туманом. Валил снег с дождем. И ничем нельзя было этого остановить.

Танабай побежал в юрту. Засветил лампу. Здесь тоже капало отовсюду. Но не так, как в кошаре. Дети спали, и одеяло их намочало. Танабай сгреб детей в охапку вместе с постелью, перетащил их в угол, освобождая в юрте побольше места. Набросил на детей кошму поверх, чтобы одеяло не промокало сверху, и, выбежав, крикнул женщинам в кошару:

— Ягнят тащите в юрту! — и сам побежал туда же.

Но сколько их можно было поместить в юрту? Несколько десятков, не больше. А куда девать остальных? Ох, хоть бы спасти то, что можно...

Вот и утро уже. А хляби небесной — ни конца, ни края. Приутихнет немного, и снова то дождь, то снег, то дождь, то снег...

Юрта битком набита ягнятами. Орут, не смолкая. Вонь, смрад. Вещи сложили в одно место, в кучу, накрыли брезентом, а сами переселились в палатку к сакманщикам. Дети мерзнут, плачут.

Пришли черные дни чабана. Клянет он свою долю. Кроет всех и вся на свете. Не спит, не ест, бьется из последних сил среди мокрых с головы до ног овец, среди коченеющих ягнят. А смерть уже косит их в промозглой кошаре. Ей нетрудно было заявиться сюда — входи, где хочешь. Через гиблую крышу, через окна без стекол, через пустые проемы дверей. Заявилась и пошла косить ягнят и ослабевших маток. Выносит чабан синие трупики по несколько штук, сваливает их за кошарой.

А на улице, в загоне, под дождем и снегом стоят пузатые суягные матки. Им котиться не сегодня-завтра. Бьет их дождь, судорога сводит челюсти. Ключьями обвисает мокрая шерсть, ключьями...

Не хотят уже овцы идти на пастбище. Какой там выпас в такую стужу и мокроту. Старая сакманщица с мешком на голове гонит их, а они бегут назад, точно им тут рай уготован. Женщина плачет, собирает их, опять гонит, а они опять бегут назад. Танабай выбегает разъяренный. Палкой бы избить этих глупых овец, но ведь они суягны. Зовет других, и все вместе с трудом выпроваживают отару на выпас.

С тех пор, как началось это бедствие, Танабай потерял счет времени, счет гибнущему на глазах приплоду. Двойни шли больше и даже

тройни. И все это богатство пропадало. Все труды шли прахом. Ягнята появлялись на свет и в тот же день околевали в слякоти и навозной жиже. А те, что оставались, кашляли, хрипели, их поносило, и они загаживали друг друга. Осиротевшие матки орали, бегали, толкались, топтали тех, что лежали в потугах. Во всем этом было что-то противоестественное, чудовищное. Ох, как хотелось Танабаю, чтобы расплодная хоть немного замедлилась!

Но они, матки, точно сговорившись, котились одна за другой, одна за другой, одна за другой!..

И поднималась в душе его темная, страшная злоба. Поднималась, застилая глаза черным мраком ненависти ко всему, что творилось здесь, к этой гиблой кошаре, к овцам, к себе, к жизни своей, ко всему тому, ради чего бился он тут, как рыба о лед.

Отупение какое-то нашло на него. Дурно становилось от мыслей своих, гнал он их прочь, но они не отступали, лезли в душу, лезли в голову: «Зачем все это? Кому это нужно? Зачем мы разводим овец, если убереечь их не можем? Кто виноват в этом? Кто? Отвечай, кто? Ты и такие, как ты сам, болтуны. Мы, мол, все поднимем, догоним, перегоним, слово даем. Красиво говорим. Вот, поднимай теперь дохлах ягнят, выноси их. Волоки вон ту матку, что подохла в луже. Покажи себя, какой ты есть...»

И особенно по ночам, хлюпая по колено в грязи и моче овечьей, задыхался Танабай от обидных и горьких дум своих. О, эти бессонные ночи расплодной! Под ногами болото раскисшего навоза, сверху льет. Ветер шастает по кошаре, как в поле, задувает фонари. Танабай идет ощупью, спотыкается, на четвереньках лезет, чтобы не подавить новорожденных, находит фонарь, зажигает и в свете его видит свои черные, опухшие руки, вымазанные в навозе и криви.

Давно уже он не видел себя в зеркале. Не знал, что поседел и постарел на много лет. И что отныне — старик имя ему. Не до того, не до себя ему было. Поест и умыться некогда. Ни себе, ни другим не давал ни минуты покоя. Видя, что дело идет к полной катастрофе, посадил молодую сакманщицу на коня:

— Скачи, найди Чоро. И скажи, чтобы приехал немедленно. А если не придет, то передай: пусть не показывается мне на глаза!

Прискакала она назад к вечеру, свалилась с седла, посиневшая, промокшая до нитки:

— Большой он, Танаке. Лежит в постели, сказал, что через день-два хоть мертвый, но доберется.

— Чтоб не видеть ему продыху от этой болезни! — ругался Танабай.

Хотела Джайдар одернуть его, но не посмела, нельзя было.

Погода стала проясняться на третий день. Уползли нехотя тучи, поднялся в горы туман. Приутих ветер. Но было уже поздно. Суягные овцы за эти дни отошдали до того, что смотреть на них было страшно. Стоит худоба с раздутыми животами на тоненьких ножках. Какие же они матки-кормилицы! А те, что окотились, и ягнята, что еще живы, — многие ли из них смогут догнать до лета и поправиться на зеленой траве? Рано или поздно хворь доконает их. А нет — будет хурда: ни шерсти, ни мяса от них...

Только прояснилась погода, другая беда — наледь стала намерзать на землю. Гололеду быть. В полдень, однако, отпустило. Обрадовался Танабай: может, удастся еще кое-что спасти. Снова пошли в ход лопаты, вилы, носилки. Хоть немного, но надо в кошару ходы проделать, а то ведь ступить шагу нельзя. Недолго, однако, занимались этим. Надо еще кормить сосунков-сирот, подсаживать их к бездетным маткам. Те не даются,

не принимают чужих. Ягнята тычутся, просят молока. Холодными ротиками хватают пальцы, сосут. Отгонишь — обсасывают грязные полы плащей. Есть хотят. Бегают вслед плачущей гурьбой.

Хоть плачь, хоть разрывайся на части. Сколько еще можно требовать от этих женщин и от своей маленькой дочки? На ногах едва держатся. Вот уже сколько дней плащи не просыхают на них. Не говорит им ничего Танабай. Один раз только не выдержал. Пригнала старая женщина отару в загон в полдень, хотела помочь Танабаю. Он выскочил глянуть, как там. Глянул — и в жар его кинуло: стоят овцы — шерсть едят друг у друга. Это значит, что отаре уже грозит гибель от голода. Выбежал, накиннулся на женщину:

— Ты что, старая! Не видишь? Почему молчишь? Вон отсюда! Гони отару. И не давай останавливаться. Не давай им грызть шерсть. Пусть ходят. Чтоб ни минуты не стояли. А то убью!

А тут еще напасть — матка одна с двойнями стала отречься от своих ягнят. Бодает их, не подпускает к себе, ногами бьет. А ягнята лезут, падают, плачут. Такое случается, когда вступает в силу жесточайший закон самосохранения, когда матка инстинктивно отказывается кормить сосунков, чтобы выжить самой, потому что организм ее не в силах питать других. Явление это, как болезнь, заразное. Стоит одной овце показать пример, и все начнут следовать ему. Переполошился Танабай. Выгнали они с дочкой озверевшую от голода матку с ее ягнятами во двор, к загону, и здесь начали заставлять ее кормить своих детенышей. Сначала Танабай сам держал овцу, а дочка подсаживала ягнят. Но матка крутилась, вертелась, отбивалась. Ничего не получалось у девочки.

— Отец, они не могут сосать.

— Могут, ты просто безрукая.

— Да нет же, смотри, они падают.— Она чуть не плакала.

— А ну держи, я сам!

Но сколько там силенок у девочки. Только было подsunул он ягнят к вымени, только было они начали сосать, а овца как рванется — сбила девочку с ног и убежала. Лопнуло терпение Танабая. Залепил он пощечину дочке. Никогда не бил детей, а тут сорвался. Девочка захлопала носом. А он ушел. Плюнул на все и ушел.

Походил, вернулся, не знал, как попросить прощения у дочки, а она сама прибежала:

— Отец, приняла она их. Мы с мамой посадили ягнят. Больше она не гонит их.

— Ну вот и хорошо, доченька. Молодец.

И сразу легче стало на душе. И вроде не так уж все плохо. Может быть, еще удастся сберечь, что осталось. Смотри, и погода налаживается! А вдруг да встанет весна по-настоящему и манут черные дни чабана? Снова впрягается он в работу. Работать, работать, работать — только так, только в этом спасение...

Приехал учетчик — парнишка верховой. Наконец-то. Спрашивает, что и как. Хотелось Танабаю послать его к такой-то матери. Да какой с него спрос.

— Где же ты был раньше?

— Как где? По отарам. Не успеваю, я один.

— А как у других?

— Не лучше. Эти три дня покосили много.

— Что говорят чабаны?

— Да что. Ругаются. Иные и разговаривать не хотят. Бектай, так тот погнал меня со двора. Злой ходит, не подступишься.

— Да-а-а. И у меня не было продыху, чтобы добежать до него. Ну, может, вырвусь, съезжу. Ну, а ты?

— А что я? Учет веду.

— А помощь нам какая-нибудь будет?

— Будет. Чоро, говорят, вышел. Обоз отправил с сеном, с соломой, с конюшни сняли все — пусть, говорит, лучше лошади подышают. Да, говорят, обоз застрял где-то, дороги-то вон какие.

— Дороги! А что думали раньше? Вечно у нас так. И с обоза-то этого что толку теперь. Ну, я еще доберусь до них! — грозился Танабай. — Не спрашивай. Иди сам смотри, считай, записывай. Мне теперь все равно! — И, оборвав разговор, пошел в кошару принимать окот. Сегодня еще маток пятнадцать опросталось.

Ходил Танабай, подбирая приплод, смотрит — учетчик бумагу сует ему:

— Подпишите акт о падеже.

Подписал, не глядя. Черкнул так, что карандаш сломался.

— До свидания, Танаке. Может, передать что? Скажите.

— Нечего мне сказывать. — Потом все же задержал парнишку: — Заверни к Бектаю. Передай: завтра к обеду как-нибудь выберусь.

Напрасно беспокоился Танабай. Опередил его Бектай. Сам пришел, да еще как пришел...

Той ночью снова потянул ветерок, пошел снег, не очень густо, но к утру припорошил землю набело. Припорошил и овец в загоне, всю ночь простоявших на ногах. Не ложились они теперь. Собьются в кучу и стоят неподвижные и безразличные ко всему. Слишком долго тянулась бескормица, слишком долго боролась весна с зимой.

В кошаре стоял холод. Снежинки падали через размытую дождями крышу, кружились в тусклом свете фонарей и плавно опускались вниз, на стынущих маток и ягнят. А Танабай все толкался среди овец, исполнял службу свою, как солдат похоронной команды на поле боя после побоища. Он уже свыкся со своими тяжелыми мыслями, возмущение перешло в молчаливое озлобление. Колом стояло оно в душе, согнуться не позволяло. Ходил он, чавкая сапогами по жиже, дело свое делал и все вспоминал урывками в эти ночные часы прошлую свою жизнь...

Бегал когда-то он мальчишкой-подпаском. Пасли вместе с братом Кулубаем овец у одного родственника. Прощел год, и оказалось, что работали они только за одни хурчи. Надул хозяин. И разговоривать не захотел. Так и ушли они с прохуdivшимися чокоями на ногах, со своими жалкими котомками за спинами, с пустыми руками. Уходя, Танабай пригрозил хозяину: «Я тебе это припомню, когда вырасту». А Кулубай ничего не сказал. Он был старше лет на пять. Он знал, что этим хозяина не испугаешь. Другое дело самому стать хозяином, скотом обзавестись, землю занять. «Буду хозяином — никогда не обижу работника», — говорил он уже тогда. С тем они и расстались в том году. Кулубай пошел в пастухи к другому баю, а Танабай подался в Александровку, батраком к русскому поселенцу Ефремову. Мужик этот был не очень богатый — пара волов да пара лошадей, свое поле пахотное. Хлеб сеял. Пшеницу свозил на вальцовую мельницу в городишко Аулиэ-Ата. Работал сам с рассвета и до ночи, Танабай у него больше за волами и лошадьми ходил. Строг был, но в справедливости тоже нельзя было отказать. Положенное платил. Тогдашняя киргизская беднота, вечно обиравшая своими же сородичами, предпочитала наниматься к русским хозяевам. Выучился Танабай говорить по-русски, побывал вместе с извозом в городишке том Аулиэ-Ата, свет повидал немного. А там революция подоспела. И перевернулось все вверх дном. Пришло время Танабаев.

Вернулся Танабай в аил. Другая жизнь началась. Захватила, понесла, кружа голову. Все пришло сразу — земля, воля, права. Избрали его в батрачком. С Чоро сошелся в те годы. Тот был грамотным, молодежь обучал писать буквы, читать по складам. А Танабаю очень нужна была грамота, как-никак — батрачком. Вступил в комсомольскую ячейку. И здесь был заодно с Чоро. И в партию вместе вступали. Все шло своим ходом, беднота наверх выбралась. А когда коллективизация началась, Танабай прикипел к этому делу всей душой. Кому как не ему было бороться за новую жизнь крестьянскую, за то, чтобы все стало общее — земля, скот, труд, мечты. Долой кулаков! Крутое, ветреное время зашумело. Днем — в седле, ночью — на заседаниях и собраниях. Составлялись списки кулаков. Баи, муллы, всякие другие богатеи выбрасывались, как сорная трава с поля. Поле нужно было очистить, чтобы поднялись новые всходы. В списке раскулачивания оказался и Кулубай. К тому времени, пока Танабай носился вскачь, пока митинговал да заседал, брат его успел выбиться в люди. Женился на вдове, хозяйство пошло. Скот имел — овец, корову, пару лошадей, кобылу дойную с жеребенком, плуг, бороны и все прочее. На жатву нанимал работников. Нельзя было сказать, что он стал богачом, но и не бедным он был. Крепко жил, крепко работал.

На заседании в сельсовете, когда очередь дошла до Кулубая, Чоро сказал:

— Давайте, товарищи, подумаем. Раскулачивать его или нет. Такие, как Кулубай, пригодились бы и в колхозе. Ведь он сам из бедняков. Враждебной агитацией не занимался.

По-разному стали говорить. Кто за, кто против. Слово осталось за Танабаем. Сидел он нахохлившись, как ворон. Хоть и сводный брат, но брат. Идти надо было против брата. Жили они мирно, хотя и редко виделись. Каждый был занят своим. Сказать: не троньте его, но тогда как с другими быть — у всякого найдется защитник, родственник. Сказать: решайте сами — подумают, что в кусты прячешься.

Люди ждали, что он скажет. И оттого, что они ждали, в нем нарастало ожесточение.

— Ты, Чоро, всегда так! — заговорил он, поднявшись. — В газетах пишут о книжных людях, как их там, энтеллегенты. Ты тоже энтеллегент. Ты вечно сомневаешься, боишься, как бы что не так. А чего сомневаться? Раз есть в списке — значит кулак! И никакой пощады! Ради советской власти я отца родного не пожалею. А то, что он брат мой, пусть вас не смущает. Не вы, так я сам раскулачу его.

Кулубай пришел к нему на другой день. Встретил Танабай брата холодно, руки не подал.

— За что же меня кулачить? Разве не мы с тобой ходили в батраках? Разве не нас с тобой прогнали баи со двора?

— Это теперь у имеет значения. Ты сам стал баем.

— Какой же я бай? Своим трудом все наживал. И то не жалко. Возьмите все. Только зачем в кулаки меня тащить? Псбойся бога, Танабай.

— Все равно. Ты враждебный класс. И мы должны ликвидировать тебя, чтобы построить колхоз. Ты стоишь на нашем пути, и мы должны убрать тебя с дороги...

Это был их последний разговор. Вот уже двадцать лет, как они словом не обмолвились. Когда Кулубая выслали в Сибирь, сколько разговоров, сколько пересудов было в аиле! Мало кто защищал Танабая. Больше осуждали: «Не приведи бог иметь такого брата. Лучше безродным быть!» Иные прямо резали это в глаза ему. Да, откровенно говоря,



отшатнулись от него тогда люди. Не то чтобы открыто, но когда голосовали его кандидатуру, стали воздерживаться. Так мало-помалу и выбыл он из актива. И все же оправдывал себя тем, что кулаки жгли колхозы, стреляли, а самое главное, что колхоз зажил, дела пошли год от года лучше. Совсем другая жизнь наступила. Нет, не зря все то было тогда.

Вспоминал Танабай все то, минувшее, до мельчайших подробностей. Словно бы вся жизнь его осталась там, в той удивительной поре, когда колхозы набирали силу. Опять припомнил он песни той поры про «ударницу в красной косынке», припомнил первую колхозную полуторку и то, как стоял он ночью у кабины с красным флагом.

Бродил Танабай ночью по кошаре, служил свою горькую службу и думал свои горькие думы. Отчего же теперь все лезет по швам? А может, ошиблись, не туда пошли, не той дорогой? Нет, не должно быть так, не должно! Дорога была верная. А что же тогда? Заплутали? Сбились? Когда и как это случилось? Вот ведь и соревнование теперь — записали обязательства, и больше дела нет никому до того, как ты тут, что с тобой. Раньше красные и черные доски были, каждый день сколько разговоров, сколько споров: кто на красной доске, кто на черной — важно это было для людей. Теперь говорят, что все пройденное, отжившее. А что взамен? Пустые разговоры, обещания. А на деле ничего. Почему так? Кого винить за все это?

Устал Танабай от безысходных дум. Безразличие, отупение охватывало его. Работа валилась из рук. Видел, как молодая сакманщица прикнулась к стене. Видел, как слипались ее воспаленные глаза, как она боролась со сном, и как стала медленно сползать, и как потом села на землю и уснула, уронив голову на колени. Не стал ее будить. Тоже прислонился к стене, и тоже стал медленно сползать вниз, и ничего не мог поделать с собой, с той навалившейся на плечи тяжестью, которая клонила и клонила его вниз...

Проснулся он от сдавленного крика и какого-то глухого удара о землю. Испуганно шарахнувшиеся овцы затопали по его ногам. Вскочил, не понимая, в чем дело. Развиднялось уже.

— Танабай, Танабай, помоги,— звала его жена.

К ней побежали сакманщицы, и он за ними. Смотрит — придавило ее обвалившейся с крыши стропиной. Соскочил один конец ее с размытой стены, и рухнула стропила под тяжестью гнилой кровли. Сразу сон как рукой сняло.

— Джайдар! — вскрикнул он, подлез плечом под стропилу, поднял рывком.

Джайдар выползла, заохала. Женщины запричитали, стали ошупывать ее. Растолкал их, ничего не соображая от испуга, зашарил Танабай дрожащими руками под фуфайкой жены:

— Что с тобой? Что?

— Ой, поясница! Поясница!

— Ушибло? А ну давайте! — Он скинул мигом плащ, Джайдар положили на него и понесли из кошары.

В палатке осмотрели. Снаружи как будто бы ничего не было. Но пристукнуло крепко. Шевельнуться не могла.

Джайдар заплакала:

— Как же теперь? В такое-то время, а я? Как же теперь вам?

«О боже! — пронеслось в голове Танабая. — Надо радоваться, что жива осталась. А она? Да провались эта работа ко всем чертям! Только бы ты цела была, бедняжка моя...»

Он стал гладить ее по голове.

— Что ты, Джайдар, успокойся! Лишь бы ты встала на ноги. А все остальное ерунда, справимся...

И все они, только теперь придя в себя, стали наперебой уговаривать и успокаивать Джайдар. И ей от этого словно полегчало. Улыбнулась сквозь слезы.

— Ладно уж. Не обижайтесь только, что так случилось. Я не залежусь. Дня через два встану, вот посмотрите.

Женщины принялись готовить ей постель и разжигать огонь, а Танабай пошел обратно в кошару, все еще не веря, что несчастье произошло стороной.

Утро открывалось белое, в новом мягком снегу. В кошаре Танабай нашел задавленную стропиной матку. Давеча они и не заметили ее. Сосунок тыкался мордочкой в соски мертвой овцы. И еще страшней стало Танабаю, и еще радостней, что жена осталась жива. Он взял осиротевшего ягненка, пошел отыскивать ему другую мать. И потом, ставя подпорку под стропилину, подпирая стояком стену, все думал, что надо пойти поглядеть, что там с женой.

Выйдя наружу, он увидел недалеко стадо овец, медленно бредущих по снегу. Какой-то пришлый чабан гнал их к нему. Что за отара? Зачем он гонит ее сюда? Перемешаются овцы, разве же можно так? Танабай пошел предупредить этого странного чабана, что тот забрел в чужие места.

Подойдя ближе, увидел, что отару гонит Бектай.

— Эй, Бектай, ты, что ли?

Тот ничего не ответил. Молча подгонял к нему отару, лупил овец палкой по спинам. «Да что он так суюгных маток!» — возмутился Танабай.

— Ты откуда? Куда? Здравствуй.

— Оттуда, где меня уже нет. А куда, сам видишь. — Бектай подошел к нему, туго подпоясанный веревкой, с рукавицами, засунутыми на груди под плащ.

Держа палку за спиной, остановился в нескольких шагах, но не поздоровался. Сплюнул зло и зло притоптал плевков в снегу. Вскинул голову. Черный был, обросший бородой, точно приклеенной к его молодому, красивому лицу. Рысьи глаза его смотрели исподлобья с ненавистью и вызовом. Он сплюнул еще раз, судорожно перехватил палку, махнул ею на стадо:

— Бери. Хочешь считай, хочешь нет. Триста восемьдесят пять голов.

— А что?

— Ухожу.

— Как это — ухожу? Куда?

— Куда-нибудь.

— А я при чем?

— При том, что ты мой шеф.

— Ну и что? Постой, постой, ты куда? Ты куда собрался? — Только теперь дошло до Танабая то, что задумал его подшефный чабан. И ему стало душно, горячо от прилившей к голове крови. — Как же так? — промолвил он растерянно.

— А вот так. Хватит с меня. Надоело. Сыт по горло жизнью такой.

— Да ты понимаешь, что ты говоришь? Окот у тебя не сегодня-завтра! Как же так можно?

— Можно. Раз с нами так можно, то и нам так можно. Прощай! — Бектай раскрутил палку над головой, закинул ее что есть силы и пошел прочь.

Танабай застыл, онемевший. Слов уже не находил. А тот шагал, не оглядываясь.

— Одумайся, Бектай! — Он побежал за ним.— Нельзя так. Подумай сам, что ты делаешь? Ты слышишь!

— Отстань! — Бектай резко обернулся.— Это ты думай. А я хочу жить, как люди живут. Я ничем не хуже других. Я тоже могу работать в городе, получать зарплату. Почему я должен пропадать здесь с этими овцами? Без кормов, без кошары, без юрты над головой. Отстань! И иди расшибайся в доску, утопай в навозе. Ты посмотри на себя, на кого ты стал похож. Подохнешь здесь скоро. А тебе еще мало этого. Призывы еще бросаешь. Хочешь и других за собой потянуть. Дудки! Довольно с меня! — И он зашагал, топча белый, нетронутый снег с такой силой, что следы его мигом чернели, наливаясь водой...

— Бектай, ты послушай меня! — догнал его Танабай.— Я тебе все объясню.

— Другим объясняй. Ищи дураков!

— Остановись, Бектай. Поговорим.

Тот уходил, не желая слушать.

— Под суд попадешь!

— Лучше под суд, чем так! — огрызнулся Бектай и больше не обращивался.

— Ты дезертир!

Тот все шагал.

— Таких на фронте расстреливали!

Тот все шагал.

— Стой, говорю! — Танабай схватил его за рукав.

Тот вырвал руку и пошел дальше.

— Не позволяю, не имеешь права! — Танабай крутанул его за плечо, и вдруг белые сопки вокруг поплыли в глазах и померкли в дыму. Неожиданный удар под челюсть свалил его с ног.

Когда он поднял кружившуюся голову, Бектай уже скрылся за пригорком.

Уходила за ним одинокая цепочка темных следов.

— Пропал парень, пропал,— застонал Танабай, поднявшись на четвереньки. Встал. Руки были в грязи и снегу.

Отдышался. Собрал бектаевскую отару и понуро погнал к себе.

## XVII

Двое всадников выезжали из аила, направляясь в горы. Один на буланом коне, другой — на гнедом. Хвосты их коней были подвязаны тугими узлами — путь предстоял далекий. Грязь, перемешанная со снегом, чавкала, разлеталась из-под копыт брызгами и комьями.

Гульсары шел на тугих поводьях напористой поступью. Настоялся иноходец, пока хозяин болел дома. Но сейчас на нем ехал не хозяин, а кто-то незнакомый в кожаном пальто и распахнутом брезентовом плаще поверх пальто. От его одежды пахло краской и резиной. Чоро ехал рядом, на другом коне. Это случилось — уступал иноходца товарищу, приехавшему из района. А Гульсары, собственно, было все равно, кто на нем сидел. С тех пор, как его взяли из табуна, от прежнего хозяина, много людей ездило на нем. Разных людей — добрых и недобрых. Удобных и неудобных в седле. Попадал и в руки лихачей. Ох и дурные же они на коне! Разгонит такой вонсю и вдруг осадит удилами, поднимет на дыбы и снова разгонит, и снова осадит намертво. Сам не знает, что вытворяет, только чтобы все видели, что он на иноходце. Ко всему уже привык Гульсары. Ему лишь бы не стоять на конюшне. не томиться. В нем все еще жила прежняя страсть — бежать, бежать и бежать. А кого он везет,

ему все равно было. Это седоку было не все равно, на каком коне он ехал. Буланого иноходца подали — значит уважают, боятся его. Силен, красив Гульсары. Покойно и надежно на нем седоку.

В этот раз на иноходце ехал районный прокурор Сегизбаев, посланный в колхоз уполномоченным. Сопровождал его парторг колхоза — тоже, стало быть, уважение. Молчит парторг, боится небось: дела-то плохи с расплодной в овцеводстве. Очень плохи. Ну и пусть молчит. Пусть боится. Нечего ему лезть с пустыми разговорами, нижестоящие должны робеть перед вышестоящими. Иначе никакого порядка не будет. Есть еще такие, что запросто держатся со своими подчиненными, так потом от этих же самых подчиненных такие щелчки получают, что пыль идет с них, как со старой одежды. Власть — дело большое, ответственное, не каждому по плечу.

Ехал с такими мыслями Сегизбаев, покачиваясь в седле в такт поступи иноходца, и нельзя сказать, чтобы был в дурном расположении духа, хотя направлялся с проверкой к чабанам и знал, что там мало чего приятного увидит. Зима сшиблась с весной, не уступают друг другу, и в этой сшибке больше всех достается овцам — гибнет молодняк, гибнут отошавшие матки, а ничего не поделаешь. Каждый год ведь так. И все об этом знают. Но раз уж его послали уполномоченным, значит должен он будет кого-нибудь призвать к ответу. И где-то в глубоких потемках своей души он знал еще, что высокий процент падежа в районе ему даже на руку. В конце концов не он, районный прокурор и всего лишь член бюро райкома, отвечает за положение дел с животноводством. Первый секретарь — вот кто отвечает. Новый еще, недавно в районе, вступил и отдувается. А он, Сегизбаев, посмотрит. И там, наверху, пусть посмотрят, не ошиблись ли, прислав секретаря со стороны. Досадовал Сегизбаев, когда это случилось, не мог смириться, что его обошли. Давно уже он тут в прокурорах, не раз, кажется, доказывал, на что способен. Ну ничего, друзья у него есть, поддержат при случае. Пора, пора ему переходить на партийную работу, засиделся в прокурорском кресле... А иноходец хорош, качается, как корабль, ни грязь, ни слякоть ему ни почем. У парторга-то лошадь уже в мыле, а иноходец только сыреть начал...

А Чоро думал о своем. Выглядел он очень плохо. Желтизна разлилась на изможденном лице, глаза ввалились. Сколько лет мучается с сердцем, и чем дальше, тем хуже и хуже. И мысли его были тяжкие. Да, Танабай оказался прав. Председатель кричит, шумит, а толку от этого нет. Больше пропадает в районе, всегда у него какие-то дела там. Надо бы поставить вопрос о нем на партсобрании, но в районе велют подождать. А чего ждать? Поговаривают, будто Алданов сам хочет уходить, может, потому? Ушел бы уж лучше. И ему, Чоро, тоже пора уходить. Какая от него польза? Вечно болеет. Самансур приезжал на каникулы, тоже советует уходить. Уйти-то можно, а совесть? Самансур парень неглупый, теперь он лучше отца во всем разбирается. Все толкует, как надо вести сельское хозяйство. Учат их хорошим наукам, со временем, может, так оно и станет, как их учат профессора, но пока суд да дело — отец, видно, душу отдаст. И не уйти ему от горя своего никогда. От себя не уйдешь, не скроешься. Да и что скажут люди? Обещал, обнадеживал, завел колхоз в невылазные долги, а сам теперь — на покой? Нет ему покоя, не будет, лучше уж стоять до конца. Придут на помощь, так долго не может быть. Скорей бы уж только. И по-настасшему, а не так, как этот. Судить, говорит, будем за развал! Ну, суди! А дело приговором не поправишь. Едет, насупился, будто там, в горах, одни преступники, а он один борется за колхоз... А ведь ему наплевать на все, так только, вид напускает. Но попробуй скажи.

## XVIII

Большие горы стояли в серой мгле. Забытые солнцем, угрюмо темнели они наверху, как обиженные великаны. Весне нездоровилось. Сыро, мутно вокруг.

Бедовал Танабай в кошаре своей. Холодище, духота. Ягнилось сразу по нескольку маток, и некуда было девать ягнят. Хоть криком кричи. Галдеж, бляянье, толкотня. Все хотят есть, все хотят пить и мрут, как мухи. А тут еще жена лежит с разбитой поясницей. Хотела встать, но разогнуться не может. Пусть, что будет — то будет. Сил никаких уже нет.

Из головы не выходил Бектай, бессильная злоба на него душила Танабая. Не потому, что он ушел — туда и дорога ему, и не потому, что отару свою подкинул, как кукушка яйца свои в чужое гнездо, — в конце концов пришлют кого-нибудь, заберут его овец, а потому что не сумел ответить Бектаю так, чтобы шкура с него слезла от стыда. Так, чтобы свету белому не возрадовался. Мальчишка! Сопляк! А он, Танабай, старый коммунист, всю жизнь положивший за колхоз, не нашел слов, чтобы достойно ответить ему. Закинул палку чабанскую и ушел, сопляк. Разве думал Танабай когда, что случится такое? Разве он думал когда, что станут смеяться над его кровным делом?

«Хватит!» — остановившись он себя, но через минуту снова возвращался к тем же мыслям.

Вот еще разрешилась одна матка, двойню принесла, хорошенькие ягнята. Только куда их? Вымя у овцы пустое, да и с чего молоку-то быть? Значит, и эти подохнут! Эх, беда, беда! А там вон лежат уже дохлые, заоченелые. Собрал Танабай трупки, пошел выносить. Вбежала запыхавшаяся дочурка.

— Отец, к нам едут начальники.

— Пусть едут, — буркнул Танабай. — Ты иди, за матерью присмотри.

Выйдя из кошары, Танабай увидел двух всадников. «О! Гульсары! — обрадовался он. Тенькнула в груди старая струнка. — Сколько не видались! Смотри, как идет, все такой же!» Один был Чоро. А другого в кожаном пальто, что ехал на иноходце, не узнал. Из района кто-нибудь.

«Ну-ну, подъезжайте. Наконец-то», — со злорадством подумал он. Тут можно было бы пожаловаться, выплакать свою долю, но нет, не станет он хныкать, пусть они постыдятся, пусть они покраснеют. Разве же можно так! Бросили на погибель, а теперь заявляются...

Танабай не стал ожидать, когда они подъедут, пошел за угол кошары, выбросил мертвых ягнят в кучу. Вернулся не спеша.

Те были уже во дворе. Кони дышали тяжело. Чоро выглядел жалким, виноватым. Знал, что ответ придется держать перед другом. А тот, на иноходце, сердит был, грозен, даже не поздоровался. Вспылил сразу.

— Безобразие! Везде так! Смотри, что тут говорится! — возмущался он, обращаясь к Чоро. Потом повернулся к Танабаю: — Что же это ты, товарищ, — кивнул он в ту сторону, куда отнес Танабай мертвых сосунков, — чабан-коммунист, а ягнята дохнут?

— А они, наверное, не знают, что я коммунист, — съязвил Танабай, и вдруг будто сломалась в нем какая-то пружина, и сразу пусто стало на душе, безразлично и горько.

— То есть как? — Сегизбаев побагровел. И замолк. — Социалистические обязательства принимал? — нашелся он наконец.

— Принимал.

— А что там было сказано?

— Не помню.

— Вот потому и дохнут у тебя ягнята! — Сегизбаев ткнул рукояткой камчи опять в ту же сторону и вскинулся на стременах, воодушевив-

шись возможностью проучить этого дерзкого пастуха. Но сначала он накинулся на Чоро: — Куда вы смотрите? Люди не знают даже свои обязательства. Срывают планы, губят скот! Чем вы занимаетесь здесь? Как воспитываете своих коммунистов? Какой он коммунист? Я вас спрашиваю!

Чоро молчал, опустив голову. Мял в руках поводья уздечки.

— Какой есть, — спокойно ответил за него Танабай.

— Во-во, какой есть. Да ты вредитель! Ты уничтожаешь колхозное добро. Ты враг народа. В тюрьме твое место, а не в партии! Ты смеешься над соревнованием.

— Угу, в тюрьме мое место, в тюрьме, — подтвердил Танабай так же спокойно. И губы его запрыгали, смеясь от раздражающего приступа бешенства, вспыхнувшего в нем от обиды, от горечи, от всего того, что переполнило чашу его терпения. — Ну! — уставился он на Сегизбаева, сиюсь унять прыгающие губы. — Что ты еще скажешь?

— Зачем ты так разговариваешь, Танабай? — вмешался Чоро. — Ну зачем? Объясни все голком.

— Вот как! Значит, и тебе надо объяснять? Ты зачем сюда приехал, Чоро? — закричал Танабай. — Ты зачем приехал? Я тебя спрашиваю? Чтобы сказать, что у меня мрут ягнята? Я и сам знаю! Чтобы сказать, что я в дерьме сижу по горло? Я и сам знаю! Что я дурком был всю жизнь, что расшибался в доску ради колхоза? Я и сам знаю!..

— Танабай! Танабай! Опомнись! — Побелевший Чоро спрыгнул с седла.

— Прочь! — оттолкнул его Танабай. — Плевал я на свои обязательства, на всю свою жизнь плевал! Уйди! Мое место в тюрьме! Ты зачем привел этого нового манапа в кожаном пальто? Чтобы измывался он надо мной? Чтобы в тюрьму меня сажал? А ну давай, сволочь, сажай меня в тюрьму! — Танабай метнулся, чтобы схватить что-нибудь в руки, схватил вилы, стоящие у стены, и кинулся с ними на Сегизбаева. — А ну вон отсюда, сволочь! Убирайся! — И, уже ничего не соображая, замахал вилами перед собой.

Перетрусивший Сегизбаев бестолково дергал иноходца то туда, то сюда, вилы били ошалевшего коня по голове, отскакивали, звеня, и снова обрушивались на его голову. И в ярости своей не понимал Танабай, почему так судорожно дергается голова Гульсары, почему так рвут удила его красную горячую пасть, почему так растерянно и жутко мелькают перед ним выкатившие из орбит глаза коня.

— Уйди, Гульсары, прочь! Дай мне достать этого манапа в коже! — ревел Танабай, нанося удар за ударом по неповинной голове иноходца.

Подоспевшая молодая сакманщица повисла на его руках, пыталась вырвать вилы, но он швырнул ее наземь.

— Назад! Бежим! Убьет! — Чоро бросился между ним и Сегизбаевым, успевшим уже вскочить в седло.

Танабай замахнулся на него вилами, и оба всадника припустили коней прочь со двора. Собака с лаем преследовала их, цепляясь за стрелена, за хвосты коней.

А Танабай бежал вслед, спотыкаясь, хватал на бегу комья глины, швырял вдогонку и не переставая орал:

— В тюрьме мое место! В тюрьме! Вон! Вон отсюда! В тюрьме мое место! В тюрьме!

Потом вернулся, все еще бормоча, задыхаясь: «В тюрьме мое место, в тюрьме!» Рядом горделиво, с чувством исполненного долга, шел пес. Он ждал одобрения хозяина, но тот не замечал его. Навстречу, опираясь на палку, квыляла бледная, перепуганная Джайдар.

— Что ты наделал? Что ты наделал?  
 — Зря.  
 — Что зря? Конечно, зря!  
 — Зря избил иноходца.  
 — Да ты в уме своем? Ты знаешь, что ты наделал?  
 — Знаю. Я вредитель. Я враг народа,— проговорил он, борясь с одышкой, потом замолк и, стиснув лицо руками, согнувшись, громко зарыдал.

— Успокойся, успокойся,— просила жена, плача вместе с ним, но он все плакал и плакал, качаясь из стороны в сторону. Никогда еще не видела Джайдар плачущего Танабая...

## ХІХ

Бюро райкома партии состоялось на третий день после этого чрезвычайного происшествия.

Танабай Бакасов сидел в приемной и ждал, когда его вызовут в кабинет, за дверью которого шел разговор о нем. Много передумал он за эти дни, но все еще не мог решить, виновен он или нет. Понимал, что совершил тяжелей проступок, что поднял руку на представителя власти, но если бы дело было только в этом, то все обстояло бы просто. За свое недостойное поведение он готов был принять любое наказание. Но ведь он, поддавшись порыву гнева, выплеснул на ветер всю свою боль за колхоз, испоганил все свои тревоги и раздумья. Кто ему теперь поверит? Кто его теперь поймет? «А может, все-таки поймут? — вспыхивала у него надежда.— Скажу обо всем: с зиме нынешней, о кошаре и юрте, о бескормице, о бессонных ночах моих, о Бектае... Пусть разберутся. Можно ли так хозяйничать?» И он уже не сожалел, что так получилось. «Пусть накажут меня,— размышлял он.— зато другим, может быть, станет легче. Быть может, после этого оглянутся на чабанов, на житье наше, на наши беды». Но спустя минуту, вспоминая все пережитое, он снова поддавался ожесточению, и каменно сжимал кулаки между коленками, и упрямо твердил себе: «Нет, ни в чем я не виноват, нет!». А потом снова впадал в сомнения...

Здесь же, в приемной, сидел почему-то и Ибраим. «А этому что тут надо? Прилетел, как стервятник на падаль»,— злился Танабай, отворачиваясь от него. И тот помалкивал, вздыхал, поглядывая на поникшую голову чабана.

«Что же они тянут?— ерзая на стуле, думал Танабай.— Чего еще — бить так бить!» Там, за дверями, кажется, все были уже в сборе. Последним, несколько минут тому назад, прошел в кабинет Чоро. Танабай узнал его по налившим к голенищам сапог шерстинкам. То был желтоватый волос буланого иноходца. «Крепко спешил, видать, пропотел Гульсары до мыла»,— подумал он, но не поднял головы. И сапоги с разводьями конского пота и шерстинками на голенищах, нерешительно потоптавшись возле Танабая, скрылись за дверью.

Долго тянулось время, пока из кабинета не выглянула секретарша:  
 — Войдите, товарищ Бакасов.

Танабай вздрогнул, встал, оглушенный ударами сердца, и пошел в кабинет под эту несмолкающую канонаду в ушах. В глазах затуманилось. Он почти не различил лиц сидящих здесь людей.

— Садитесь.— Первый секретарь райкома Кашкатаев показал Танабаю на стул в конце длинного стола.

Танабай сел, положил отяжелевшие руки на колени, ждал, когда пройдет туман в глазах. Потом глянул вдоль стола. По правую руку первого секретаря сидел Сегизбаев с надменным лицом. Танабай так

напрягся весь от ненависти к этому человеку, что туман, стоявший в его глазах, разом пропал. Лица всех сидевших за столом выступили резко и отчетливо. Самым темным среди всех, темно-багровым, было лицо Сегизбаева и самым бледным, совершенно бескровным — лицо Чоро. Он сидел с самого края, ближе всех к Танабаю. Худые руки его нервно подрагивали на зеленом сукне стола. Председатель колхоза Алданов, сидевший напротив Чоро, шумно, возмущенно сопел, насупленно поглядывая по сторонам. Он не скрывал своего отношения к предстоящему делу. Другие, видимо, еще выжидали. Наконец первый секретарь оторвался от бумаг в папке.

— Приступим к персональному делу коммуниста Бакасова, — сказал он, жестко нажимая на слова.

— Да, с позволения сказать, коммуниста. — ехидно проронил кто-то с усмешкой.

«Злы! — отметил про себя Танабай. — Пощады от них не жди. А почему я должен ждать пощады? Что я — преступник?»

Он не знал, что в решении его вопроса столкнутся две тайно соперничающие стороны, готовые каждая по-своему использовать этот прискорбный случай. Одна сторона — в лице Сегизбаева и его сторонников — хотела испытать сопротивляемость нового секретаря, проверить, нельзя ли для начала хотя бы прибрать его к рукам. Другая сторона — в лице самого Кашкатаева, который угадывал, что Сегизбаев метит на его место, — обдумывала, как сделать так, чтобы и себя не уронить, и не обострять отношений с этими опасными людьми.

Секретарь райкома зачитал докладную записку Сегизбаева. В докладной были обстоятельно описаны все преступления, учиненные словами и действиями Танабая Бакасова, чабана колхоза «Белые камни». В докладной не было ничего, что Танабай мог бы отрицать, но ее тон, формулировки предъявляемых ему обвинений привели его в отчаяние. Он покрылся испариной от сознания своего полного бессилия перед этой чудовищной бумагой. Докладная Сегизбаева оказалась куда страшнее его самого. Против нее не бросишься с вилами в руках. И все, о чем намеревался Танабай сказать в свое оправдание, рухнуло в один миг, потеряло в его же собственных глазах всякое значение, превратилось в жалкие жалобы пастуха на свои обычные невзгоды. Не глупец ли он? Какая цена его оправданиям перед этой грозной бумагой! С кем вздумал он сразиться?

— Товарищ Бакасов, признаете вы объективность фактов, изложенных в записке члена бюро товарища Сегизбаева? — спросил Кашкатаев, закончив читать докладную.

— Да, — глухо отозвался Танабай.

Все молчали. Казалось, все были в страхе от этой бумаги. Алданов удовлетворенно смерил сидящих за столом вызывающим взглядом — видите, мол, что происходит.

— Товарищи члены бюро, если разрешите, я внесу ясность в существо дела, — решительно заговорил Сегизбаев. — Я хочу сразу предостеречь некоторых товарищей от возможной попытки квалифицировать действия коммуниста Бакасова просто как хулиганский поступок. Если бы это было так, то, поверьте мне, я не стал бы выносить вопрос на бюро: с хулиганами у нас есть другие меры борьбы. И дело, конечно, не в моих оскорбленных чувствах. За мной стоит бюро районного комитета партии, за мной в данном случае, если хотите, стоит вся партия, и я не могу допустить надругательства над ее авторитетом. А самое главное — все это говорит о запущенности нашей политико-воспитательной работы среди коммунистов и беспартийных, о серьезных недостатках в идеологической работе райкома. Нам всем еще предстоит ответить за образ мыслей



таких рядовых коммунистов, как Бакасов. Нам еще предстоит выяснить, один ли он такой, или у него есть единомышленники? Что стоит его заявление: «Новый манап в кожаном пальто!» Отставим в сторону пальто. Но по Бакасову выходит, что я, советский человек, партийный уполномоченный,— новый манап, барин, душитель народа! Вот как! Вы понимаете, что это означает, что кроется за такими словами? Думаю, комментарии излишни... Теперь о другой стороне дела. Удрученный крайним неблагоприятием с животноводством в «Белых камнях», я в ответ на возмутительные слова Бакасова, якобы забывшего свои социалистические обязательства, назвал его вредителем, врагом народа и сказал, что его место не в партии, а в тюрьме. Признаю — оскорбил его и готов был извиниться перед ним. Но теперь я убедился, что это именно так. И не беру слова свои назад, а утверждаю, что Бакасов — опасный, враждебно настроенный элемент...

Чего только Танабай не пережил, войну прошел с начала до конца, но не подозревал, что сердце может кричать таким криком, каким оно кричало сейчас. С этим криком, отдававшимся неумолкающей канонадой в ушах, сердце его падало, вставало, карабкалось, срывалось вниз и снова пыталось встать, но пули били его в упор. «Боже,— стучало в голове Танабая,— куда девалось все, что было смыслом моей жизни, смыслом всей моей работы? Вот уже до чего дожил — стал врагом народа. А я-то страдал за какою-то кошару, за ягнят этих обдристанных, за беспутного Бектая. Кому это нужно!..»

— Напомню еще раз выводы своей докладной записки,— продолжал Сегизбаев, расставляя слова железным порядком.— Бакасов ненавидит наш строй, ненавидит колхоз, ненавидит соцсоревнование, плюет на все это, ненавидит всю нашу жизнь. Это он заявил совершенно открыто в присутствии парторга колхоза товарища Саякова. В его действиях наличествует также состав уголовного преступления — покушение на представителя власти при исполнении им служебных обязанностей. Я прошу правильно понять меня, я прошу санкцию на привлечение Бакасова к судебной ответственности с тем, чтобы по выходе отсюда он был взят под стражу. Состав его преступления полностью соответствует статье пятьдесят восемь. А о пребывании Бакасова в рядах партии, по-моему, и речи не может быть!..

Сегизбаев знал, что запросил слишком, но он рассчитывал на то, что если бюро и не сочтет нужным привлечь Танабая Бакасова к судебной ответственности, то исключение его из партии во всяком случае будет обеспечено. Этого требования Кашкатаев уже никак не сможет не поддержать, и тогда его, Сегизбаева, позиции еще больше утвердятся.

— Товарищ Бакасов, что вы скажете о своем проступке? — спросил Кашкатаев, уже приходя в раздражение.

— Ничего. Все уже сказано,— ответил Танабай.— Выходит, я был и остаюсь вредителем, врагом народа. Так зачем же знать, о чем думаю я? Судите сами, вам виднее...

— А вы считаете себя честным коммунистом?

— Теперь этого не докажешь.

— А вы признаете свою вину?

— Нет.

— Вы что, считаете себя умнее всех?

— Нет, наоборот, глупее всех.

— Разрешите, я скажу.— С места встал молодой парень с комсомольским значком на груди. Он был моложе всех, щуплый, узколицый, выглядел еще как-то по-мальчишески.

Танабай только теперь заметил его. «Крой, мальчик, не жалея,— сказал он ему про себя.— Я тоже был когда-то таким, не жалел...»

— Говорите, Керимбеков, — кивнул ему Кашкатаев.

— Я не одобряю поступка товарища Бакасова. Считаю, что он должен понести соответствующее партийное взыскание. Но я не согласен и с товарищем Сегизбаевым. — Керимбеков сдерживал в голосе дрожь волнения. — Мало того, я считаю, что надо обсудить и самого товарища Сегизбаева...

— Вот те раз! — оборвал его кто-то. — Это у вас в комсомоле, что ли, порядки такие?

— Порядки у всех одни, — ответил Керимбеков, еще больше волнуясь и краснея. Он запнулся, подбирая слова и преодолевая свою скованность, и вдруг, словно с отчаяния, заговорил хлестко и зло: — Какое вы имели право оскорблять колхозника, чабана, старого коммуниста? Да попробуйте вы назвать меня врагом народа... Вы объясняете это тем, что были крайне удручены состоянием животноводства в колхозе, а вы не предполагаете, что чабан был удручен не меньше вашего? Вы, когда приехали к нему, поинтересовались, как он живет, как идут у него дела? Почему гибнет молодежь? Нет, судя по вашей же записке, вы сразу же начали поносить его. Ни для кого не секрет, как тяжело идет расплодная кампания в колхозах. Я часто бываю на местах, и мне стыдно, неудобно перед своими комсомольцами-чабанами за то, что мы требуем с них, а помощи практической не оказываем. Посмотрите, какие кошары в колхозах, а с кормами как? Я сам сын чабана. Я знаю, что это такое, когда мрут ягнята. В институте нас учили одному, а на местах все идет по старинке. Душа болит, глядя на все это!..

— Товарищ Керимбеков, — перебил его Сегизбаев. — Не пытайтесь разжалобить нас, чувство — понятие растяжимое. Факты, факты нужны, а не чувства.

— Извините, но тут не суд над уголовным преступником, а товарищеский разбор дела нашего товарища по партии, — продолжал Керимбеков. — Решается судьба коммуниста. Так давайте же призадумаемся, почему так поступил товарищ Бакасов. Действия его, конечно, надо осудить, но как случилось, что один из лучших животноводов колхоза, каким был Бакасов, дошел до такой жизни?

— Садитесь, — недовольно сказал Кашкатаев. — Вы вводите нас в сторону от существа вопроса, товарищ Керимбеков. Всем тут, по-моему, абсолютно ясно — коммунист Бакасов совершил тягчайший проступок. Куда это годится? Где это видано? Мы никому не позволим накидываться с вилами на наших уполномоченных, мы никому не позволим подрывать авторитет наших работников. Вы бы лучше подумали, товарищ Керимбеков, как наладить дела в комсомоле, чем заниматься беспредметными спорами о душе и чувствах. Чувства — чувствами, а дела — делами. То, что позволил себе Бакасов, действительно должно насторожить нас, и, конечно, ему нет места в партии. Товарищ Саяков, вы как парторг колхоза подтверждаете всю эту историю? — спросил он у Чоро.

— Да, подтверждаю, — проговорил бледный Чоро, медленно поднимаясь с места. — Но я хотел бы объяснить...

— Что объяснить?

— Во-первых, я попросил бы, чтобы мы у себя в парторганизации обсудили Бакасова.

— Это не обязательно. Проинформируете потом членов парторганизации о решении бюро райкома. Что еще?

— Я хотел бы объяснить...

— Что объяснить, товарищ Саяков? Антипартийное выступление Бакасова налицо. Объяснять тут уже нечего. Вы тоже несете ответственность. И мы вас накажем за развал работы по воспитанию комму-

нистов. Почему вы пытались уговорить товарища Сегизбаева не ставить вопрос на бюро? Хотели скрыть? Безобразия! Садитесь!

Начались споры. Директор МТС и редактор районной газеты подержали Керимбекова. На какой-то момент показалось даже, что им удастся защитить Танабая. Но сам он, подавленный и смятенный, уже никого не слушал. Он все спрашивал себя: «Куда девалось все то, чем я жил? Ведь здесь никому, кажется, и дела нет до всего того, что там у нас в отарах, в стадах. Каким же я дураком был! Жизнь свою извел ради колхоза, ради овец и ягнят. А теперь все это не в счет. Теперь я опасный. Ну и черт с вами! Делайте со мной, что хотите,— если от этого лучше станет, не буду жалеть. Давайте гоните меня взащей. Мне теперь один конец, кройте, не жалейте...»

Выступил председатель колхоза Алданов. По выражению лица и жестам председателя Танабай видел, что тот кого-то поносит, но кого именно — не доходило до его сознания, пока он не услышал слова: «Кишен... иноходец Гульсары...»

— ...И что вы думаете? — возмутился Алданов.— Он в открытую грозился разозжить мне голову только за то, что мы вынуждены были надеть путы на ноги коню. Товарищ Кашкатаев, товарищи члены бюро, я как председатель колхоза прошу избавить нас от Бакасова. Его место действительно в тюрьме. Он ненавидит всех руководящих работников. Товарищ Кашкатаев, за дверью находятся свидетели, которые могут подтвердить угрозы Бакасова в мой адрес. Можно ли будет их пригласить?

— Нет, не надо,— брезгливо поморщился Кашкатаев.— Достаточно и этого. Садитесь.

Потом стали голосовать.

— Внесено одно предложение: исключить из членов партии товарища Бакасова. Кто за?

— Одну минутку, товарищ Кашкатаев,— снова порывисто встал Керимбеков.— Товарищи члены бюро, не совершим ли мы тяжелую ошибку? Есть другое предложение — ограничиться строгим выговором с занесением в личное дело Бакасова и объявить вместе с этим выговор члену бюро Сегизбаеву за оскорбление партийного и человеческого достоинства коммуниста Бакасова, за недопустимый метод работы Сегизбаева как уполномоченного райкома.

— Демагогия! — вскричал Сегизбаев.

— Успокойтесь, товарищи,— сказал Кашкатаев.— Вы находитесь на бюро райкома, а не дома у себя, прошу соблюдать дисциплину.— Теперь все зависело от него, первого секретаря райкома. И он повернул дело так, как и рассчитывал Сегизбаев.— Привлекать Бакасова к уголовной ответственности я не нахожу нужным,— сказал он,— но в партии ему, конечно, не место, в этом товарищ Сегизбаев совершенно прав. Будем голосовать. Кто за исключение Бакасова?

Членов бюро было семь человек. Трое подняли руки за исключение, трое — против. Остался сам Кашкатаев. Помедлив, он поднял руку «за». Танабай ничего этого не видел. Он узнал решение своей участи, когда услышал, как Кашкатаев обратился к секретарше:

— Запишите в протокол: решением бюро райкома товарищ Бакасов Танабай исключен из членов партии.

«Вот и все!» — сказал про себя Танабай, помертвев.

— А я настаиваю на объявлении выговора Сегизбаеву,— не сдавался Керимбеков.

Можно было и не ставить этого на голосование, отклонить, но Кашкатаев решил, что надо поставить. В этом тоже был свой тайный смысл.

— Кто за предложение товарища Керимбекова? Прошу поднять руки!

Опять — три на три. И опять Кашкатаев поднял руку четвертым и спас тем самым Сегизбаева от выговора. «Только поймет ли он, оценит ли эту услугу? Кто его знает... Коварен, хитер».

Люди задвигались на стульях, как бы собираясь уходить. Танабай решил, что все уже кончено, встал и молча, ни на кого не глядя, направился к дверям.

— Бакасов, вы куда? — остановил его Кашкатаев. — Оставьте свой партийный билет.

— Оставить? — Только теперь до Танабая дошло все то, что случилось.

— Да. Положите на стол. Вы теперь не член партии и не имеете права носить его при себе.

Танабай полез за партбилетом. Долго возился в наступившей тишине. Он был там, глубоко, под фуфайкой, под пиджаком, в кожаной сумочке, сшитой руками Джайдар. Сумочку эту Танабай носил на ремешке через плечо. Наконец вытащил наружу, достал партийную книжицу, нагретую у груди, и положил ее, теплую, пропитанную запахом своего тела, на холодный, полированный стол Кашкатаева. Поежился даже, самому стало холодно. И, опять ни на кого не глядя, стал запихивать сумочку под пиджак, собираясь уйти.

— Товарищ Бакасов, — послышался сзади, из-за стола, сочувствующий голос Керимбекова. — А что вы сами скажете? Ведь вы ничего не сказали здесь. Может быть, вам трудно было? Мы надеемся, что двери для вас назад не закрыты, что рано или поздно вы сможете вернуться в партию. Вот скажите, что вы думаете сейчас?

Танабай обернулся с болью и неловкостью за себя перед этим незнакомым парнем, все еще пытавшимся как-нибудь облегчить свалившееся на его плечи горе.

— Что мне говорить? — промолвил он грустно. — Всех не переговоришь тут. Одно лишь скажу, что не виновен я ни в чем, если даже и поднял руку, если даже и сказал нехорошие слова. Объяснить вам этого не смогу. Вот и все, стало быть.

Наступило гнетущее молчание.

— Хм. Значит, на партию обижаешься? — раздраженно сказал Кашкатаев. — Ну знаешь, товарищ. Партия тебя на путь истинный направляет, от суда тебя спасла, а ты еще недоволен, обижаешься! Значит, ты действительно недостоин звания члена партии. И вряд ли двери назад будут тебе открыты!

Вышел Танабай из райкома спокойным на вид. Слишком даже спокойным. И это было скверно. День стоял теплый, солнечный, близился вечер. Люди шли и ехали по своим делам. Детвора бегала на площади у клуба. А Танабаю тошно было смотреть на все и от самого себя было тошно. Скорей отсюда в горы, домой. Пока не случилось с ним еще что-нибудь плохое.

У коновязи рядом с его конем стоял Гульсары. Большой, длинный и сильный, переступил он с ноги на ногу, когда приблизился Танабай, и посмотрел на него спокойно и доверчиво темными глазами. Позабыл уже иноходец, как колотил его Танабай вилами по голове. На то он и конь.

— Забудь, Гульсары, не обижайся, — шепнул иноходцу Танабай. — А у меня беда большая. Очень большая беда. — И всхлипнул, обняв шею коня, но сдержался, не заплакал, постыдившись прохожих.

Сел на свою лошадь и поехал домой.

Чоро догнал его за Александровским подъемом. Как только слышался позади знакомый перестук бегущего иноходца, Танабай обидчиво поджал губы, нахохлился. Оглядываться не стал. Обида за себя темнила душу, темнила глаза. Теперешний Чоро был для него совсем не тем, каким он был когда-то прежде. Вот и сегодня — стоило Кашкатаеву повысвить голос, и он покорно сел на место, как вышколенный ученик. А что же дальше? Люди верят ему, а он боится сказать правду. Бережет себя, слова выбирает. Кто научил его этому? Пусть Танабай отсталый человек, простой работяга, а ведь он грамотный, все знает, всю жизнь в руководстве ходит. Неужели не видит Чоро, что все это не так, как говорят сегизбаевы и кашкатаевы! Что слова их снаружи красивые, а внутри лживы и пусты. Кого обманывает, ради чего?

Не повернул Танабай головы и тогда, когда Чоро догнал его и поехал рядом, сдерживая разгоряченного иноходца.

— Я думал, Танабай, мы вместе выедем,— сказал он, переводя дыхание.— Хватился, а тебя уже нет...

— Чего тебе? — все так же не глядя на него, бросил Танабай.— Езжай своей дорогой.

— Давай поговорим. Не отворачивайся, Танабай. Поговорим как друзья, как коммунисты,— начал Чоро и осекся на полуслове.

— Я тебе не друг и тем более не коммунист уже. Да и ты давно уже не коммунист. Ты прикидываешься им...

— Ты это серьезно? — спросил Чоро упавшим голосом.

— Конечно, серьезно. Выбирать слова еще не научился. Что, где и как говорить, тоже не знаю. Ну, прощай. Тебе прямо, а мне в сторону.— Танабай свернул коня с дороги и, не оборачиваясь, так и не глянув ни разу в лицо друга, поехал полем, напрямик в горы.

Он не видел, как мертвенно побелел Чоро, как хотел остановить его, протянув руку, и как потом скорчился, схватился за грудь, и как повалился на гриву иноходца, хватая ртом воздух.

— Плохо мне,— шептал Чоро, корежась от невыносимой боли в сердце.— Ой, плохо мне! — хрипел он, синея и задыхаясь.— Скорей домой, Гульсары, домой скорей.

Мчал иноходец его к аилу по темной, пустынной степи, пугал коня голос человека, слышалось в нем что-то страшное, жуткое. Прижал Гульсары уши, испуганно фыркая на бегу. А человек в седле мучился, корежился, судорожно вцепившись руками и зубами в гриву коня. Поводья болтались, свисая с шеи бегущего Гульсары.

## XX

В тот поздний час, когда Танабай был еще в пути к горам, по улицам айла носился верховой, поднимая лай всполошившихся собак.

— Эй, кто там дома? Выходи! — вызывал он хозяев.— На партсобрание давай, в контору.

— А что такое? Почему так срочно?

— Не знаю,— отвечал посыльный.— Чоро зовет. Сказал, чтобы быстрее шли.

Сам Чоро сидел в это время в конторе. Привалившись плечом к столу, согнувшись, задыхаясь, крепко зажимал он пятерней грудь под рубахой. Мычал от боли, кусал губы. Холодная испарина выступила на позеленевшем лице, глаза провалились в орбиты темными ямами. Временами он забывался, и снова казалось ему, что несет его иноходец по темной степи, что хочет он окликнуть Танабая, а тот, бросив на проща-

ние раскаленные, как уголь, слова, не оглядывается. Прожигают сердце слова Танабая, душу прожигают...

Сюда привели парторга под руки из конюшни, после того как отлежался он там немного на сене. Конюхи хотели отвести его домой, но он не согласился. Послал человека сзывать коммунистов и теперь ждал их с минуты на минуту.

Засветив лампу и оставив Чоро одного, сторожиха возилась у печки в передней комнате, иногда заглядывала в приоткрытую дверь, вздыхала, качала головой.

Чоро ждал людей, а время уходило каплями. Горькими, тяжелыми каплями каждую секунду иссякало отпущенное ему на роду время, цену которого он постигал только теперь, прожив немалую жизнь. Не уследил он дней своих и годов, оглянуться не успел, пролетели они в трудах и заботах. Не все получилось на веку его, не все удалось, как хотелось. Старался, бился, но где-то и отступал, чтобы обойти углы, чтобы не так жестко было ходить. И, однако, не обошел. Приперла его к стене та сила, с которой избегал он сталкиваться, и теперь отходить было некуда, путь кончался. Ах, если бы он пораньше спохватился, если бы он пораньше заставил себя прямо смотреть в глаза жизни...

А время убывало горькими, гулкими каплями. Как долго не идут люди, как долго их ждать!

«Только бы успеть,— со страхом думал Чоро.— Только бы успеть все сказать! — Беззвучным, отчаянным криком удерживал он покидавшую его жизнь. Крепился, готовился к последнему бою.— Все расскажу. Как было дело. Как проходило бюро, как исключили Танабая из партии. Пусть знают: я не согласен с этим решением райкома. Пусть знают: я не согласен с исключением Танабая. Скажу все, что я думаю об Алданове. Пусть потом, после меня, заслушают его. Пусть решат коммунисты. О себе расскажу все, какой я есть. О колхозе нашем, о людях скажу... Только бы успеть, скорей бы уж приходили, скорей...»

Первой прибежала жена с лекарствами. Перепугалась, запричитала, заплакала:

— Да ты в уме своем? Да неужто ты не сыт этими собраниями? Пошли домой. Ты посмотри на себя. Боже мой, подумай хоть о себе!

Чоро не хотел слушать. Отмахнулся, запивая лекарство. Зубы стучали о стакан, вода лилась на грудь.

— Ничего, мне лучше уже,— проговорил он, пытаясь дышать ровней.— Ты подожди там, уведешь меня потом. Не бойся, иди.

И когда послышались с улицы шаги людей, Чоро выпрямился за столом, подавил в себе боль, собрал все силы, чтобы выполнить то, что он считал своим последним долгом.

— Что случилось? Что с тобой, Чоро? — спрашивали его.

— Ничего. Скажу сейчас, пусть подойдут все,— отвечал он.

А время убывало горькими, гулкими каплями.

Когда коммунисты собрались, парторг Чоро Саяков встал из-за стола, снял шапку с головы и объявил партсобрание открытым...

## XXI

Вернулся Танабай к себе ночью. Джайдар вышла во двор с фонарем. Ждала, глаза проглядела. И с первого взгляда поняла она, какая беда стряслась с мужем. Он молча разнуздывал коня, расседывал, а она светила ему, и он ничего ей не говорил. «Хоть бы напился в районе, может, легче было бы ему?» — подумала она, а он все молчал, и страшно становилось от его молчания. А она-то собиралась порадовать его —

корма подвезли немного, соломы, муки ячменной, и теплее стало, ягнят выгоняли на пастьбу, травку шиплют уже.

— Бектаевскую отару забрали. Нового чабана прислали,— сказала она.

— А хрен с ним, с Бектаем, с отарой, с чабаном твоим...

— Устал?

— Чего устал? Из партии выгнали!

— Да потише ты, сакманщицы услышат.

— Чего тише? Что мне скрывать? Выгнали, как последнюю собаку, и все. Так мне и надо. И тебе тоже так и надо. Мало нам. Ну чего стоишь? Чего смотришь?

— Иди отдыхай.

— Сам знаю.

Танабай пошел в кошару. Осмотрел овец. Потом пошел в загон, там тоже побродил впотьмах и снова вернулся в кошару. Места себе не находил. От еды отказался и разговаривать отказался. Плюхнулся на солому, сваленную в углу, и лежал неподвижно. Жизнь, заботы, тревоги всякие потеряли смысл. Уже ничего не хотелось. Не хотелось жить, не хотелось думать, не хотелось видеть ничего вокруг.

Ворочался, хотел уснуть, хотел забыться, но где там, куда уйдешь от себя. Снова припоминал, как уходил Бектай, как оставались за ним черные следы на белом снегу, как нечего ему было сказать в ответ, снова представлял себе, как орал Сегизбаев, сидя на иноходце, как поносил его последними словами, как грозил засадить его в тюрьму, как предстал Танабай на бюро райкома вредителем и врагом народа, и на этом кончалось все, вся его жизнь. И снова хотелось ему схватить вилы и броситься с криком, бежать в ночь, истощно орать на весь свет, пока не свалится куда-нибудь в овраг и не свернет там себе шею.

Засыпая, он думал, что лучше умереть, чем так жить. Да, да, лучше смерть!..

Проснулся с тяжелой головой. Несколько минут не мог сообразить, где он и что с ним. Рядом перхали овцы, блеяли ягнята. Значит, в кошаре он. Брезжил рассвет на дворе. Зачем он проснулся? Зачем? Лучше бы не просыпался совсем. Умереть осталось только, надо покончить с собой...

...Потом он пригоршнями пил воду из речки. Холодную, студеную воду с тонким, хрустящим ледком. Вода с шумом протекала между дрожащими пальцами, а он снова черпал ее и пил, обливаясь. Отдышался, пришел в себя и только тогда представил себе всю нелепость этой затеи с самоубийством, всю глупость этой расправы над собой. Да как можно лишиться себя жизни, которая единожды дается человеку! Да разве сегизбаевы стоят того? Нет, Танабай будет еще жить, он еще будет горы ворочать!..

Вернувшись, он незаметно спрятал ружье, патронташ и весь тот день усердно работал. Поласковой хотелось ему быть с женой, с дочками, с сакманщицами, но сдерживал себя, чтобы женщины ничего не заподозрили. А те работали как ни в чем не бывало, точно ничего особенного не случилось, все было в порядке. Благодарен им был Танабай за это, помалкивал и работал. Сходил на выпас, помог пригнать отару домой.

Вечером погода испортилась. Дождь или снег, но что-то будет. Затуманились горы вокруг, небо отяжелело в тучах. Опять надо было думать, как уберечь молодняк от холода. Опять надо было расчищать кошару, стелить солому, чтобы снова не начался мор. Мрачнел Танабай, но старался забыть, что было, и не падать духом.

Стемнело уже, когда во дворе появился приезжий всадник. Встрети-

ла его Джайдар. Они о чем-то поговорили. Танабай в это время работал в кошаре.

— Выйди на минутку,— позвала его жена.— Человек к тебе.— И уж по тому, как позвала она, он почувствовал что-то недоброе.

Вышел. Поздоровался. То был чабан из соседнего урочища.

— Это ты, Айтбай? Слезай с коня. Откуда?

— Из аила. Был я там по делам. Просили передать тебе: Чоро тяжело болен. Сказали, чтобы ты приехал.

«Опять этот Чоро!» Вспыхнула угасшая было обида. Видеть его не хотелось.

— А что я, доктор? Он всегда болеет. У меня тут и без него забот по горло. Погода вон портится.

— Ну, дело твое, Танаке, поедешь — не поедешь, сам знаешь. А я передал, что просили. До свидания. Мне пора, ночь скоро.

Айтбай тронул лошадь, но затем придержал.

— Ты подумай все же, Танаке. Плохо ему. Сына вызвали с учебы. Поехали встречать на станцию.

— Спасибо, что передал. Но я не поеду.

— Поедет,— застыдилась Джайдар.— Не беспокойтесь, поедет он.

Танабай промолчал, а когда Айтбай выехал со двора, сказал жене зло:

— Ты брось эту привычку отвечать за меня. Я сам знаю. Сказал не поеду — значит не поеду.

— Подумай, что ты говоришь, Танабай?

— Мне нечего думать. Хватит. Додумался до того, что выгнали из партии. Нет у меня никого. И я если заболю, пусть никто не приезжает. Подохну один! — Он махнул в сердцах рукой и пошел в кошару.

Но покоя на душе не было. Принимая роды у маток, таская ягнят, устраивая их в углу, цыкая на орущих овец, расталкивая их, чертыхался и бурчал:

— Давно бы ушел, не страдал бы так. Всю жизнь болеет, стонет, за сердце хватается, а сам с седла не слазит. Тоже мне начальник. Видеть тебя не желаю после этого. Обижайся — не обижайся, а я тоже в обиде. И никому нет дела...

На дворе стояла ночь. Снег стал сыпать понемногу, и тишина вокруг была такая чуткая, что слышно было даже, как с шорохом падали на землю редкие снежинки.

Танабай не шел в юрту, избегал разговоров с женой, и она не приходила. «Ну и сиди,— думал он.— А поехать меня не заставишь. Мне теперь все безразлично. Мы с Чоро чужие люди. У него своя дорога, у меня своя. Были друзьями, а теперь не то. А если я друг его, то где он был раньше? Нет, мне теперь все безразлично...»

Джайдар все же пришла. Принесла ему плащ, сапоги новые, кушак, рукавицы, шапку, которую он надевал при выездах.

— Одевайся,— сказала она.

— Напрасно стареешься. Я никуда не поеду.

— Не теряй времени. Может случиться, что потом всю жизнь будешь жалеть.

— Ничего я не буду жалеть. И ничего с ним не случится. Отлежится. Не первый раз.

— Танабай, никогда я тебя ни о чем не просила. А сейчас прошу. Отдай мне свою обиду, отдай мне свое горе. Поезжай. Будь человеком.

— Нет.— Танабай упрямо мотнул головой.— Не поеду. Мне теперь все безразлично. Ты думаешь о приличии, о долге. Что люди скажут? А я теперь знать ничего не хочу.



— Одумайся, Танабай. Я пойду пока присмотрю за огнем, как бы не упали угли на кошму.

Она ушла, оставив его одежду, но он не тронулся с места. Сидел в углу, не мог переломить себя, не мог забыть тех слов, которые он говорил Чоро. А теперь: «Здравствуйтесь, проведать явился, как здоровье? Не помочь ли чем?» Нет, не сможет он так, не в его это правилах.

Джайдар вернулась.

— Ты еще не оделся?

— Не надоедай. Сказал: не поеду...

— Встань,— гневно вскрикнула она. И он, к удивлению своему, встал по ее приказу, как солдат. Она шагнула к нему, глядя в тусклом свете фонаря исстрадавшимися, возмущенными глазами.— Если ты не мужчина, если ты не человек, если ты баба слюнявая, то я поеду за тебя, а ты оставайся, нюни разводи! Я поеду сейчас же. Иди седлай немедленно коня!

И он, повинувшись ей, пошел седлать лошадь. На дворе поросил снег. Тьма, казалось, кружилась вокруг бесшумной, медленной каруселью, как вода в глубокой заводи. Горы не различишь — темно. «Вот еще наказание! Куда она теперь одна среди ночи? — думал он, набрасывая впотьмах седло.— И не отговоришь. Нет. Не откажется. Убей, не откажется. А если собьется с пути? Ну пусть пеняет на себя...»

Седлал Танабай коня, и самому стыдно становилось: «Зверь я, больше никто. Одурел от обиды. Выставляю ее напоказ,— смотри, какой я несчастный, как мне плохо. И жену извел. А она-то при чем? За что ее терзаю? Не видать мне добра. Никудышный я человек. Зверь, и только».

Заколебался Танабай. Нелегко было отступить от своих слов. Пошел назад набычившись, опустив глаза.

— Оседлал?

— Да.

— Ну так собирайся.— И Джайдар подала ему плащ.

Танабай молча стал одеваться, радуясь, что жена первая пошла на мировую. И все же для вида покуражился:

— А может, с утра поеду?

— Нет, отправляйся сейчас. Будет поздно.

Ночь кружилась в горах тихой заводью. Плавно и мягко оседали большие хлопья последнего весеннего снега. Один среди темных склонов ехал Танабай на зов отвергнутого им друга. Снег налипал на голову, на плечи, на бороду и руки. Танабай сидел в седле неподвижно, не отряхивая его. Так ему было лучше думать. Думал он о Чоро, обо всем том, что связывало их долгие годы, когда Чоро учил его грамоте, когда они вступали в комсомол, а потом в партию. Вспомнил, как они работали вместе на стройке канала и как Чоро первый принес ему газету с заметкой о нем и с фотографией, первый поздравил, пожал руку.

Смягчался душой Танабай, оттаивал, и его охватывало шемящее чувство беспокойства: «Как он там? А может, и правда ему очень плохо? А то зачем бы вызывать сына? Или сказать хочет что? Попрошачься?..»

Уже светало. Снег все так же кружил. Танабай заторопил коня, погнал рысью. Скоро за теми вон буграми, в низине,— аил. Как там Чоро? Быстрее бы.

И вдруг в тишине утра донесся смутный, далекий голос со стороны аила. Всплеснул чей-то крик и оборвался, замер. Танабай осадил коня, подставил ухо по ветру. Нет, ничего не слышно. Наверное, это так показалось.

Конь вынес Танабая на бугор. Внизу перед ним среди белых, заснеженных огородов, среди голых садов лежали улицы айла, еще безлюдные в эту раннюю пору. Нигде никого. И только у одного двора толпилась черная куча народа, у деревьев стояли оседланные лошади. Это был двор Чоро. Почему так много собралось там люда? Что случилось? Неужели...

Приподнявшись на стремянах, Танабай судорожно глотнул колющий ком холодного воздуха и замер, и сейчас же погнал коня вниз по дороге. «Не может быть! Как же так? Не может быть!» На душе у него стало так скверно, словно бы он был виновен в том, что там, наверное, случилось. Чоро, единственный его друг, просил приехать на последнее свидание перед вечной разлукой, а он артачился, упрямымствовал, тешил свою обиду. Да кто же он после этого? Почему жена не плюнула ему в глаза? Что может быть на свете уважительнее последней просьбы умирающего человека?

Опять перед Танабаем встала та дорога в степи, на которой догнал его на иноходце Чоро. Что он ему тогда ответил? Да разве можно просить себе это?

Как в бреду, ехал Танабай по снежной улице, сгибаясь под тяжестью своей вины и стыда, и вдруг увидел впереди, за двором Чоро, большую группу конных. Они приближались молчаливой кучей и вдруг все разом громко заголосили в один голос, раскачиваясь в седлах:

— Ойбай, баурьмай! Ойбайай, баурьм! <sup>1</sup>

«Казахи приехали», — догадался Танабай и понял, что надеяться уже не на что. Соседние казахи, прибывшие из-за реки, оплакивали Чоро, как брата, как соседа, как человека близкого им и известного во всей округе. «Спасибо вам, братья, — подумал в ту минуту Танабай. — От дедов и отцов — в беде и горестях вместе, на свадьбах и скачках вместе. Плачьте, плачьте вместе с нами!»

И сам вслед за ними огласил утренний аил истошным, надсадным криком:

— Чоро-о-о! Чоро-о-о! Чоро-о-о!

Он рысил на коне, свисая с седла то на левую, то на правую сторону, и рыдал по своему ушедшему из этого мира другу.

Вот уже двор, вот стоит возле дома Гульсары в траурной попоне. Оседает снег на него и тает. Остался иноходец без хозяина. Стоять ему с пустым седлом.

Танабай припадает к гриве коня, подымается и снова припадает. Вокруг — едва различимые, как в тумане, лица людей, плач. Он не слышал, как кто-то сказал:

— Снимите Танабая с седла. Подведите к сыну Чоро.

Несколько пар рук протянулись к нему, помогли слезть с коня, повели его под руки через толпу.

— Прости меня, Чоро, прости! — плакал Танабай.

Во дворе лицом к стене дома стоял сын Чоро, студент Самансур. Он повернулся к Танабаю в слезах, они обнялись, плача.

— Нет твоего отца, нет моего Чоро! Прости меня, Чоро, прости! — захлебываясь, рыдал Танабай.

Потом их развели. И тут Танабай увидел рядом с собой среди женщин — ее, Бюбюжан. Она смотрела на него и молча лила слезы. Танабай зарыдал еще сильнее.

Ему хотелось, чтобы она подошла и утешила его, чтобы она утерла ему слезы, но она не подходила. Она стояла и плакала.

<sup>1</sup> Ой бай ай, баурьмай — траурный крик, оплакивание умершего.

Утешали его другие:

— Довольно, Танабай. Слезами не поможешь, успокойся.

И от этого ему было еще горше и больнее.

## XXII

Хоронили Чоро после полудня. Мутный диск солнца бледно просвечивал сквозь блеклые слои неподвижных туч. Все еще плавали в воздухе мягкие влажные хлопья снега. По белому полю черной молчаливой рекой тянулась похоронная процессия. Эта река словно бы возникла здесь внезапно и словно бы впервые прокладывала себе русло. Впереди на машине с откинутыми бортами везли усопшего Чоро, туго и глухо запеленутого в белую погребальную кошку. Возле сидели жена, дети, родственники. Все другие следовали верхом на лошадях. Двое шли за машиной пешком — сын Самансур и Танабай, ведущий на поводу коня покойного друга, иноходца Гульсары, с пустым седлом.

Дорога за околицей была в мягком ровном снегу. Широкой и темной, изрытой копытами коней полосой следовала она затем по пятам процессии. Она словно бы отмечала последний путь Чоро. Путь выводил к холму, на кладбище. И здесь оканчивался для Чоро уже безвозвратно.

Вел Танабай иноходца на поводу и говорил ему про себя: «Вот, Гульсары, лишились мы с тобой нашего Чоро. Нет его, не стало... Что ж ты тогда не крикнул мне, не остановил меня? Не дал бог тебе языка. А я хоть и человек, а оказался хуже тебя, коня. Бросил друга на дороге, не оглянувшись, не одумался. Убил я Чоро, убил его словом своим...»

Всю дорогу до самого кладбища Танабай вымаливал у Чоро прощение. И на могиле, спустившись в яму вместе с Самансуром, он говорил Чоро, укладывая его тело на вечное ложе земное:

— Прости меня, Чоро. Прощай. Слышишь, Чоро, прости меня!..

Падала в могилу брошенная горстями земля, потом она посыпалась потоками с разных сторон, уже с лопат. Наполнила яму и выросла свежим бугром на холме.

Прости, Чоро!..

\* \* \*

После поминок Самансур отозвал Танабая в сторону:

— Танаке, дело у меня к вам, поговорить нам надо.

И они пошли через двор, оставив людей, дымящие самовары и костры. Вышли на зады, в сад. Пошли вдоль бровки арыка, остановились за огородом, у сваленного дерева. Сели на него. Помолчали, каждый думал о своем. «Вот она, жизнь-то,— размышлял Танабай,— мальчишкой знал Самансура, а теперь вон какой стал. Повзрослел от горя. Теперь он вместо Чоро. Теперь мы с ним как равный с равным. Так оно и должно быть. Сыновья заступают на место отцов. Сыновья род продолжают, дело продолжают. Дай-то бог стать ему таким же, как отец. Да чтобы дальше пошел, чтобы разумом и умением выше нас поднялся, чтобы счастье творил себе и другим. На то мы и отцы, на то мы и рожаем сыновей с надеждой, что будут они лучше нас, в этом вся суть».

— Ты, Самансур, старший в семье,— сказал ему Танабай, по-стариковски оглаживая бороду.— Ты теперь вместо Чоро, и я готов выслушать тебя, как самого Чоро.

— Должен я вам передать, Танаке, наказ отца,— проговорил Самансур.

Танабай вздрогнул, ясно уловив в говоре сына голос и интонации отца, и впервые обнаружил, что он очень похож на отца, на того молодого Чоро, которого сын не знал, но которого знал и помнил Танабай. Не потому ли говорят, что человек не умирает до тех пор, пока живут знавшие его?

— Слушаю тебя, сын мой.

— Я застал отца живым, Танаке. Вчера ночью успел приехать за час до его кончины. Он был в сознании до самого последнего вздоха. А вас, Танаке, он очень ждал. Все спрашивал: «Где Танабай? Не приехал?» Мы его успокаивали, что вы в дороге, что вы вот-вот появитесь. Видно, хотел он вам что-то сказать. И не успел.

— Да, Самансур, да. Нам надо было увидеться. Очень надо было. Век не прошу себе. Это я виноват. Это я не успел.

— Так вот просил он меня передать. Сын, говорит, скажи Танаке моему, что прощения прошу у него, скажи, чтобы обиду не держал в душе и чтобы он сам отвез мой партбилет в райком. Пусть, говорит, Танабай собственноручно сдаст мой билет — не забудь, передай. Потом забылся. Мучился. И, умирая, смотрел так, точно ждал кого-то. И плакал, слов уже было не разобрать.

Танабай ничего не отвечал. Всклипывая, теребил бороду. Ушел Чоро. Унес Чоро с собой половину Танабая, часть жизни его унес.

— Спасибо, Самансур, за слова твои. И отцу твоему спасибо, — промолвил наконец Танабай, беря себя в руки. — Одно лишь меня смущает. Ты знаешь, что меня исключили из партии?

— Знаю.

— Как же я, исключенный, повезу партбилет Чоро в райком? Не имею я на то права.

— Не знаю, Танаке. Решайте сами. А я должен выполнить предсмертную волю отца. И буду вас просить сделать так, как хотел он, покидая нас.

— Я бы от души рад. Но такая беда приключилась со мной. А не лучше, если ты сам отвезешь, Самансур?

— Нет, не лучше. Отец знал, что просил. Если он вам верил, то почему я не должен вам доверять? Скажите в райкоме, что таков был наказ отца моего, Чоро Саякова.

Еще затемно, ранним утром, выехал Танабай из аила. Гульсары, славный иноходец Гульсары, в беде и радостях одинаково надежный конь, — Гульсары бежал под седлом, дробя копытами мерзлые комья дорожной колеи. В этот раз он вез Танабая, ехавшего с особым поручением умершего друга его, коммуниста Чоро Саякова.

Впереди, над невидимыми краями земли, медленно наливался рассвет. В чреве рассвета нарождалась новая заря. Она разрасталась там, внутри серой мглы...

Иноходец бежал туда, к рассвету, к одинокой и яркой звезде, еще не угасшей на небосклоне. Один по пустынной гулкой дороге выбивал он рокошущую дробь ходкой иноходи. Давно не доводилось Танабаю ездить на нем. Бег Гульсары по-прежнему был стремителен и прочен. Ветер пластал гриву, дул седоку в лицо. Хорош был Гульсары, в доброй силе был еще конь.

Всю дорогу Танабай раздумывал, терялся в догадках, почему именно ему, Танабаю, изгнанному из партии, Чоро наказал перед смертью отвезти в райком свой партбилет. Чего он хотел? Или испытать думал? А может, хотел тем самым сказать о своем несогласии с исключением Танабая из партии? Теперь этого никогда не узнаешь, не выпытаешь. Никогда больше ничего не скажет он. Да, есть такие слова страшные:

«Никогда больше!» Дальше и слов уже нет...

И опять нахлынули разные мысли, снова оживило все то, что хотел забыть, оторвать от себя навсегда. Нет, оказывается, еще не все кончено. С ним, при нем еще последняя воля Чоро. Он придет с его партбилетом и поведаст о нем, о Чоро, все как есть, расскажет, каким был Чоро для людей, каким был для него. И о себе расскажет, потому что Чоро и он — пальцы одной руки.

Пусть узнают, какими они были тогда, в молодости, какую жизнь они прожили. И, может быть, поймут, что не заслуживает он, Танабай, чтобы отлучали его от Чоро ни при жизни, ни после. Только бы выслушали его, только бы дали высказаться!

Танабай представил себе, как он войдет в кабинет секретаря райкома, как он положит ему на стол партбилет Чоро и как расскажет обо всем. Признает свою вину, извинится, только бы вернули его в партию, без которой жить ему плохо, без которой не мыслит он самого себя.

А что, если скажут: какое он, исключенный из партии, имеет право приносить партийный документ? «Не должен был ты прикасаться к партбилету коммуниста, не должен был ты браться за это дело. И без тебя нашлись бы другие». Но ведь такова была предсмертная воля самого Чоро! Так он завещал при всех, умирая. Это может подтвердить его сын, Самансур. «Ну и что же, мало ли что может сказать человек при смерти, в бреду, в забвении?» Что тогда он ответит?

А Гульсары бежал по звонкой, смерзшейся дороге и, минуя степь, уже выходил к Александровскому спуску. Быстро домчал Танабая иноходец. Не заметил даже, как приехал.

Рабочий день в учреждениях только начинался, когда Танабай приехал в райцентр. Нигде не задерживаясь, он направил взмокшего иноходца прямо к райкому, привязал его у коновязи, стряхнул с себя пыль и пошел с бьющимся от волнения сердцем. Что ему скажут? Как его встретят? В коридорах было пусто. Не успели еще понаехать из айлов. Танабай прошел в приемную Кашкатаева.

— Здравствуйте,— сказал он секретарше.

— Здравствуйте.

— Товарищ Кашкатаев у себя?

— Да.

— Я к нему. Я чабан из колхоза «Белые камни». Моя фамилия Бакасов.— начал он.

— Как же, знаю вас,— усмехнулась она.

— Так вот, скажите ему, что парторг наш Чоро Саяков умер и при смерти просил меня отвезти его партбилет в райком. Вот я и приехал.

— Хорошо. Обождите минутку.

Не так уж долго пробыла секретарша в кабинете Кашкатаева, но Танабай перемучился, места себе не находил, дожидаясь ее.

— Товарищ Кашкатаев занят,— сказала она, плотно прикрывая за собой дверь.— Он просил передать билет Саякова в сектор учета. Это там, направо по коридору.

«Сектор учета... направо по коридору». Что это?— не соображал Танабай. Потом понял все разом и разом упал духом. Как же так? Неужели все так просто? А он-то думал...

— У меня к нему разговор. Прошу вас, пойдите скажите ему. Важный разговор у меня.

Секретарша неуверенно пошла в кабинет и, вернувшись, снова сказала:

— Занят он очень.— И потом добавила от себя сочувственно:— Разговор-то ведь с вами окончен.— И еще тише сказала:— Не примет он вас. Лучше уезжайте.

Пошел Танабай по коридору, завернул направо. Надпись: «Сектор учета». В дверях окошечко. Постучал. Окошечко открылось.

— Что вам?

— Билет привез вам сдать. Умер парторг наш — Чоро Саяков. Колхоз «Белые камни».

Заведующая учетом терпеливо ждала, пока Танабай доставал из-под пиджака кожаную сумочку на ремешке, в которой еще недавно носил свой партбилет и в которой на этот раз привез партбилет Чоро. Передал он книжечку в окошко: «Прощай, Чоро!»

Смотрел, как она писала в ведомости номер партбилета, фамилию, имя, отчество Чоро, год вступления в партию — последняя память о нем. Потом дала ему расписаться.

— Все? — спросил Танабай.

— Все.

— До свидания.

— До свидания. — Окошечко захлопнулось.

Вышел Танабай на улицу. Стал отвязывать поводья иноходца.

— Все, Гультары, — сказал он коню. — Это все.

И неутомимый иноходец понес его назад, в аил. Большая весенняя степь бежала навстречу с ветром, под рокочущий перестук копыт. Только в беге коня унималась, стихала боль Танабая.

В тот же день вечером вернулся Танабай к себе в горы.

Жена встретила его молча. Взяла коня под уздцы, помогла мужу слезть с седла, поддерживая его под руку. Танабай обернулся к ней, обнял ее, привалился к плечу. Она тоже обняла его, плача.

— Похоронили мы Чоро! Нет его больше, Джайдар. Нет моего друга! — говорил Танабай и еще раз дал волю слезам.

Потом он молча сидел на камне подле юрты. Хотелось побыть одному, хотелось посмотреть на восход луны, которая тихо поднималась из-за зубчатых вершин белого снежного хребта. В юрте жена укладывала детей на ночь. Слышалось, как огонь потрескивал в очаге. Потом запела, хватая за душу, гудящая струна темир-комуза. Будто ветер тревожно завыл, будто бежал человек по полю с плачем и жалобной песней, а все вокруг молчало, затаив дыхание, все безмолвствовало, и только бежал как будто одинокий голос тоски и скорби человеческой. Будто бежал он и не знал, куда приткнуться с горем своим, как утешиться среди безмолвия этого и безлюдия, и никто не откликнулся. Он и плакал и слушал себя один. Танабай понял, что это жена играет для него «Песню старого охотника»...

Убил я тебя, сын мой Карагул.  
 Один остался я на свете, сын мой Карагул.  
 Судьба покарала меня, сын мой Карагул,  
 Судьба наказала меня, сын мой Карагул.  
 Зачем обучил я, сын мой Карагул,  
 Тебя ремеслу охотника, сын мой Карагул,  
 Зачем истребил ты, сын мой Карагул,  
 Всю дичь и тварь живую, сын мой Карагул,  
 Зачем уничтожил ты, сын мой Карагул,  
 То, что явилось жить и умножаться, сын мой Карагул.  
 Один остался я на свете, сын мой Карагул,  
 Никто не откликнется, сын мой Карагул,  
 Плачем на мой плач, сын мой Карагул,  
 Убил я тебя, сын мой Карагул,  
 Своими руками убил, сын мой Карагул...

...Сидел Танабай подле юрты, слушал древний киргизский плач, смотрел, как медленно всплывала луна над молчаливыми и темными горами, как зависала она над островерхими снежными пиками, над громоздящимися каменными скалами. И опять молил он умершего друга о прощении.

А Джайдар в юрте все наигрывала на темир-комузе плач по великому охотнику Карагулу:

Убил я тебя, сын мой Карагул,  
Один остался я на свете, сын мой Карагул...

### XXIII

Близился рассвет. Сидя у костра, в изголовье умиравшего иноходца, припоминал старик Танабай то, что было потом.

Никто не знал, что ездил он в те дни в областной город. То была его последняя попытка. Хотелось ему повидать секретаря обкома, выступление которого он слышал на совещании в районе, и рассказать ему о всех своих бедах. Ему верилось, что этот человек понял бы его и помог бы. И Чоро говорил о нем хорошо, и другие хвалили его. О том, что того секретаря перебросили в другую область, он узнал, уже придя в обком.

— А вы не слыхали разве?

— Нет.

— Ну, если у вас очень важное дело, то я доложу нашему новому секретарю, может, он вас примет,— предложила женщина в приемной.

— Нет, спасибо,— отказался Танабай.— Я ведь так хотел, по своему личному делу. Я ведь его знал, и он меня знал. А так беспокоить не стал бы. Извините, до свидания.— Он вышел из приемной, веря в душе, что хорошо знал того секретаря и что тот тоже лично знал его, чабана Танабая Бакасова. А почему бы нет? Они могли бы знать и уважать друг друга, в этом он не сомневался, потому и сказал так.

Шел Танабай по улице, направляясь к автобусной станции. Возле пивного ларька двое рабочих грузили на машину пустые бочки из-под пива. Один стоял в кузове. А тот, что накатывал бочку к нему наверх, случайно оглянулся на проходящего мимо Танабая и замер, переменился в лице. Это был Бектай. Удерживая бочку на накате, он пристально и с неприязнью смотрел на Танабая своими узкими рысьими глазами и ждал, что тот скажет.

— Ну ты что там, уснул, что ли? — раздраженно бросил Бектаю тот, что стоял на машине.

Бочка скатывалась вниз, а Бектай, удерживая ее, пригнулся под тяжестью и смотрел не отрываясь на Танабая. Но Танабай не поздоровался с ним. «Так вот ты где. Вот где ты. Хорош. Ничего не скажешь. К пивному делу пристроился,— подумал Танабай и, не задерживаясь, пошел дальше.— Пропадет ведь парень, а? — подумал он затем, замедляя шаги.— Хорошим человеком мог бы стать, может, поговорить? — И захотел вернуться, жалко стало ему Бектая, готов был простить ему все, только бы тот одумался. Однако не стал этого делать. Понял, что если тот знает о его исключении из партии, то разговора не получится. Не хотел Танабай давать этому злословному парню повода издеваться над собой, над судьбой своей, над делом, которому оставался верен. Так и ушел. Ехал из города на попутной машине и все думал о Бектае. Запомнилось ему, как тот стоял, пригибаясь под тяжестью скатывающейся бочки, как пристально и выжидательно глядел на него.

Позже, когда Бектая судили, Танабай сказал на суде только, что

Бектай бросил отару и ушел. Больше ничего не стал говорить. Очень хотелось ему, чтобы Бектай в конце концов понял, что был не прав, и раскаялся. Но тот, кажется, и не думал раскаиваться.

— Отсидишь — приезжай ко мне. Потолкуем, как быть дальше, — сказал Танабай Бектаю. А тот ничего не ответил, даже глаз не поднял. И Танабай отошел от него. После исключения из партии стал неуверен в себе, виновным чувствовал себя перед всеми. Оробел как-то. Никогда в жизни не думал он, что с ним случится такое. Никто ему не колол глаза, а все равно сторонился людей, избегал разговоров, молчал больше.

#### XXIV

Иноходец Гульсары неподвижно лежал у костра, уронив голову на землю. Жизнь медленно покидала его. Клокотало, хрипело в горле у коня, глаза расширились и угасали, не мигая глядя на пламя, деревенели вытянутые, как палки, ноги.

Прощался Танабай с иноходцем своим, говорил ему последние слова: «Ты был великим конем, Гульсары. Ты был моим другом, Гульсары. Ты уносишь с собой лучшие годы мои, Гульсары. Я буду всегда помнить о тебе, Гульсары. И сейчас при тебе я уже вспоминаю о тебе потому, что ты умираешь, славный конь мой Гульсары. Когда-нибудь увидимся с тобой на том свете. Но не услышу я там топота твоих копыт. Ведь там нет дорог, там нет земли, там нет травы, там жизни нет. Но покуда я буду жив, ты не умрешь, потому что я буду помнить о тебе, Гульсары. Перестук твоих копыт будет для меня, как любимая песня...»

Думал так старик Танабай и грустил, что время промчалось, как бег иноходца. Что быстро как-то постарели они. Быть может, и рано еще Танабаю считать себя стариком. Но ведь человек стареет не столько от старости, своих лет, сколько от сознания того, что он стар, что время его ушло, что осталось только доживать свой век...

И сейчас, в эту ночь, когда умирал его иноходец, Танабай, заново пристально и внимательно оглядывая пройденное, сожалел, что так рано сдался старости, что не решился сразу последовать совету того человека, который не забывал, оказывается, о нем, который сам нашел его и сам пришел к нему.

Случилось это лет семь спустя после того, как его исключили из партии. Танабай тогда работал объездчиком колхозных угодий в Сарыгоуском ущелье, жил там в сторожке со старухой своей Джайдар. Дочери уехали учиться, а потом вышли замуж. Сын после окончания техникума определился на работу в районе и тоже был уже семейным человеком.

Однажды летом выкашивал Танабай траву по берегу речки. День стоял сенокосный, жаркий и светлый. Тихо было в ущелье. Кузнечики трещали. В рубашке навывпуск, в белых широченных стариковских штанах ступал Танабай за звенящей косой, ровной, плотной гривой клал траву в волок. С удовольствием работал. И не заметил, как остановился неподалеку легкой «газик», как вышли из машины двое и направились к нему.

— Здравствуйте, Танаке. Бог на помощь! — услышал он рядом с собой. Оглянулся и увидел Ибраима. Тот был все такой же проворный, толстощекий, с брюшком. — Вот мы и нашли вас, Танаке, — заулыбался Ибраим во всю ширь лица. — Сам секретарь райкома приехал, увидеть вас пожелал.

«Ох и лиса! — с невольным восхищением подумал о нем Танабай. — Во все времена находит себе мест. Смотри, как юлит. Прямо-таки раздобрейший человек. Всякому угодит, всякому услужит!»

— Здравствуйте. — Танабай пожал им руки.



— Не узнаете, отец? — приветливо спросил приехавший с Ибраимом товарищ, не выпуская из своей крепкой ладони его руку.

Танабай медлил с ответом. «Где же я его видел?» — допытывал он себя. Перед ним стоял очень знакомый как будто бы и в то же время, видимо, очень изменившийся человек. Молодой, здоровый, загорелый, с открытым и уверенным взглядом, одетый в серый парусиновый костюм, в соломенной шляпе. «Городской кто-то», — подумал Танабай.

— Так это же товарищ... — хотел было подсказать Ибраим.

— Постой-постой, я сам скажу, — остановил его Танабай и сказал, смеясь про себя: — Узнаю, сын мой. Еще бы не узнать! Здравствуй еще раз. Рад тебя видеть.

Это был Керимбеков. Тот самый комсомольский секретарь, который смело защищал Танабая в райкоме, когда его исключали из партии.

— Ну, если узнали, то давайте поговорим, Танаке. Пойдемте пройдемся по берегу. А вы пока тут берите косу и покосите, — предложил Керимбеков Ибраиму.

Тот с готовностью засуетился, скидывая с себя пиджак:

— Конечно, с удовольствием, товарищ Керимбеков.

Танабай и Керимбеков пошли по сенокосу, сели на камнях у реки.

— Вы, наверно, догадываетесь, Танаке, по какому делу я к вам, — начал разговор Керимбеков. — Смотрю на вас, вы такой же крепкий, сено косите — значит здоровье в порядке. Этому я рад.

— Слушаю тебя, сын мой. Я тоже рад за тебя.

— Так вот, чтобы яснее вам было, Танаке. Сейчас, вы сами знаете, многое изменилось. Многое уже пошло на лад. Не хуже меня знаете это.

— Знаю. Что верно, то верно. По колхозу нашему могу судить. Дела как будто бы лучше пошли. Даже не верится. Был я недавно в долине Пяти Деревьев, там как раз бедовал я в тот год чабаном. Позавидовал. Кошару новую поставили. Добрая кошара, под шифером, голов на полтыщу. Дом построили для чабана, стало быть. А рядом сарай, конюшня. Совсем не то, что было. Да и на других зимовьях то же самое. И в самом аиле народ строится. Как ни приеду, так новый дом вырос на улице. Дай-то бог и дальше так.

— Об этом и наша забота, Танаке. Не все еще, как надо. Но со временем наладим. А к вам я с вопросом таким. Возвращайтесь в партию. Пересмотрим ваше дело. На бюро был разговор о вас. Как говорится, лучше поздно, чем никогда.

Танабай молчал. Смутился. И обрадовался, и горько ему стало. Вспомнил все пережитое, глубоко засела в нем обида. Не хотелось ворошить прошлое, не хотелось думать об этом.

— Спасибо на добром слове, — поблагодарил Танабай секретаря райкома. — Спасибо, что не забыл старика. — И, подумав, сказал начистоту: — Стар я уже. Какой толк теперь от меня партии? Что я могу сделать для нее? Никуда я уже не гожусь. Прошло мое время. Ты не обижайся. Дай мне подумать.

\* \* \*

Долго не решался Танабай, все откладывал — завтра поеду, послезавтра, а время шло. Тяжеловат стал на подъем.

Однажды все же собрался, оседлал коня, поехал, но вернулся с половины дороги. А почему? Сам понимал, что по глупости своей вернулся. Сам себе говорил: «Одурел, в детство впал». Понимал все это, но ничего не мог поделать с собой.

Увидел он в степи пыль бегущего иноходца. Сразу узнал Гульсары. Теперь он редко когда его видел. Белым бегучим следом прочерчивал

иноходец летнюю, сухую степь. Смотрел Танабай издали и мрачнел. Раньше пыль из-под копыт никогда не догоняла иноходца. Темной стремительной птицей несся он впереди, оставляя за собой длинный кипучий хвост пыли. А теперь пыль то и дело накатывалась на иноходца облаком, окутывала его. Он вырывался вперед, но через минуту снова исчезал в густых клубах самим же им поднятой пыли. Нет, теперь он не мог уйти от нее. Значит, крепко постарел, ослаб, сдался. «Плохи твои дела, Гульсары», — с печалью подумал Танабай.

Он представлял себе, как задыхался конь в пыли, как трудно ему было бежать, как злился и нахлестывал его всадник. Он видел перед собой растерянные глаза иноходца, чувствовал, как он изо всех сил старается вырваться из клубов пыли и не может. И хотя всадник не мог услышать Танабая — расстояние было изрядное, — Танабай крикнул: «Сто-ой, не гони коня!» — и пустился вскачь наперерез ему.

Но не доскакал, остановился вскоре. Хорошо, если тот человек поймет его, а если нет? А если скажет ему в ответ: «Какое тебе дело? Откуда ты такой указчик? Как хочу, так и еду. Проваливай, старый дурак!»

А иноходец тем временем уходил все дальше неровным, трудным бегом, то исчезая в пыли, то вновь вырываясь из нее. Долго смотрел ему вслед Танабай. Потом повернул коня и поехал назад. «Отбежали мы свое, Гульсары, — говорил он. — Постарели. Кому мы теперь нужны такие? И я тоже не бегун теперь. Осталось нам, Гульсары, доживать последнее...»

А через год увидел Танабай иноходца, запряженного в телегу. И опять расстроился. Печально было смотреть на старого, вышедшего из строя скакуна, уделом которого осталось ходить в побитом молю хомуте, таскать ветхую повозку. Отвернулся Танабай, не захотел смотреть.

Потом еще раз встретил Танабай иноходца. Ехал на нем по улице мальчишка лет семи в трусиках, в драной майке. Пришлепывая коня голыми пятками, сидел он на нем гордый и ликующий оттого, что сам управлял лошастью. Видно, мальчуган ехал на коне впервые и потому посадили его на самую смирную и покорную клячу, каким стал бывший иноходец Гульсары.

— Дедушка, посмотрите на меня! — похвалился малыш старику Танабаю. — Я Чапаев! Я сейчас через речку поеду.

— Ну-ну, езжай, я посмотрю! — ободрил его Танабай.

Смело, одергивая поводья, мальчишка поехал через речку, но когда конь стал выворачиваться на тот берег, не удержался, шлепнулся в воду.

— Ма-ма-а! — заревел он от испуга.

Танабай вытащил его из воды и понес к коню. Гульсары смиренно стоял на тропинке, держа на весу поочередно то одну, то другую ногу. «Мозжат ноги у коня — значит, совсем уже плох», — понял Танабай. Он посадил мальчика на старого иноходца.

— Езжай и больше не падай.

Гульсары потихоньку побрел по дороге.

И вот в последний раз, уже после того, как иноходец снова попал в руки Танабая, и после того, как, казалось бы, старик выходил его, поставил на ноги, последний раз свозил он его в Александровку и теперь умирал в дороге.

Ездил Танабай к сыну и невестке по случаю рождения внука, второго у них в семье ребенка. Привез им в подарок тушу барана, мешок картошки, хлеба и всякой снеди, испеченной женой. Понял он потом, почему Джайдар не захотела приезжать, сказалась больной. Хотя и не говорила никому, но не любила она невестку. Сын и без того был человеком несамостоятельным, безвольным, а жена попалась жестокая, властная. Сидя дома, командовала, помыкала мужем, как ей хотелось. Быва-

ют же такие люди, которым ничего не стоит обидеть, оскорбить человека, лишь бы верх держать, лишь бы чувствовать свою власть.

Так случилось и на этот раз. Оказывается, сына должны были повысить по работе, но потом почему-то повысили другого, а его обошли. Вот она и накинулась на не повинного ни в чем старика:

— Зачем было вступать в партию, если всю жизнь в пастухах да в табунщиках проходил. Все равно под конец выгнали, а из-за этого теперь сыну твоему ходу нет по службе. Так и будет он сто лет сидеть на одной должности. Вы там живете себе в горах — что вам еще нужно, старикам, а мы здесь страдаем из-за вас.

Ну и прочее в этом же духе...

Не рад был Танабай, что приехал. Чтобы как-то успокоить невестку, сказал неуверенно:

— Если уже такое дело, может, я обратно в партию попрошусь.

— Очень ты там нужен. Так тебя там и ждут. Обойтись не могут без старья такого! — фыркнула она в ответ.

Если бы то была не невестка, жена его родного сына, а кто-нибудь другой, разве позволил бы Танабай разговаривать с собой таким образом? Но своих, плохи они или хороши, никуда не денешь. Промолчал старик, не стал перечить, не стал говорить, что мужа ее не продвигают по службе не потому, что отец виноват, а потому, что сам он никудышный и жена попалась ему такая, от которой доброму человеку бежать надо куда глаза глядят. Недаром же в народе говорят: «Хорошая жена плохого мужа делает средним, среднего — хорошим, а хорошего прославит на весь мир». Но опять же не хотелось старику позорить сына при жене, пусть уж думают они, что он виноват.

Потому и уехал Танабай поскорей. Тошно было ему оставаться у них.

«Дура ты, дура! — ругал он теперь невестку, сидя у костра. — Откуда только беретесь вы такие? Ни чести, ни уважения, ни добра человеку другому. Все о себе печетесь. Обо всех по себе судите. Только не быть по твоему. Нужен я еще, нужным буду...»

## XXV

Открывалось утро. Вставали горы над землей, прояснялась, ширилась степь вокруг. На краю оврага чуть тлели лобуревшие угольки потухшего костра. Рядом стоял седой старик, накинув на плечи шубу. Теперь не было нужды укрывать ею иноходца. Отошел Гульсары в иной мир, в табуны небесные... Смотрел Танабай на павшего коня и диву давался — что с ним стало! Гульсары лежал на боку с откинутой в судороге головой, на которой видны были глубокие впадины — следы уздечки. Торчали его вытянутые, несгибающиеся ноги с истертыми подковами на потрескавшихся копытах. Больше им не ступать по земле, не печатать следы по дорогам. Надо было уходить. Танабай наклонился к коню в последний раз, опустил ему на глаза холодные веки, взял уздечку и, не оглядываясь, пошел прочь.

Шел он через степь в горы. Шел, продолжая долгую думу свою. Думал о том, что стар он уже, что дни его на исходе. Не хотелось ему умирать одинокой птицей, отбившейся от своей быстрокрылой стаи. Хотел умереть на лету, чтобы с прощальными криками закружились над ним те, с которыми вырос в одном гнездовье, с которыми держал один путь.

«Напишу Самансуру, — решил Танабай. — Так и напишу в письме: помнишь иноходца Гульсары? Должен помнить. На нем я отвозил в райком партбилет твоего отца. Ты сам отправлял меня в тот путь. Так вот, возвращался я прошлой ночью из Александровки, и в дороге пал мой

славный иноходец. Всю ночь я просидел возле коня, всю жизнь свою продумал. Не ровен час, паду в пути, как иноходец Гульсары. Должен ты мне помочь, сын мой Самансур, вернуться в партию. Мне немного осталось. Хочу быть тем, кем я был. Как теперь понимаю, твой отец Чоро неспроста завещал мне отвезти его партбилет в райком. А ты его сын и ты знаешь меня, старика Танабая Бакасова...»

Шел Танабай по степи, перекинув уздечку через плечо. Слезы стекали по лицу, мочили бороду. Но он не утирал их. То были слезы по иноходцу Гульсары. Смотрел сквозь слезы старик на новое утро, на одинокого серого гуся, быстро летящего над предгорьем. Спешил серый гусь, догонял стаю.

— Лети, лети! — прошептал Танабай. — Догоняй своих, пока крылья не устали. — Потом вздохнул и сказал: — Прощай, Гульсары!

Он шел, и слышалась ему старинная песня.

...Бежит верблюдица много дней. Ищет, кличет детеныша. Где ты, черноглазый верблюжонок? Отзовись! Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени, струится по ногам. Где ты? Отзовись. Бежит молоко из вымени, из переполненного вымени. Белое молоко...



---

---

НОВЕЛЛА МАТВЕЕВА

★

## НОВЫЕ СТИХИ

### *Обиженный всадник*

Пахнет копченым и жареным  
Из каравайчатых юрт.  
Кони  
Восторженным ржанием  
Ржавую степь обдают.

Ночь за курганами копится,  
И размещается в ней  
С черными копьями копоты  
Желтое войско огней.

Месяц наточенный плавает,  
Ищет себе рукоять...  
Нет, не захочет лукавая  
Выйти из юрты опять!

Конь ты мой, конь ты мой бешеный,  
Глинисто-красная масть!  
Мчимся по выжженным плешинам  
В степь холодящую впасть!

Все в этом холоде выстужу!  
Песни? Их нет у меня:  
Все, что словами не выскажу —  
Выстучу бегом коня,

Все, чего перьям не выскрипеть —  
Пусть по камням скрипит  
И превращается в искропись,  
В гордую песню копыт.

## *Лунная ночь*

В середине лунного луча  
Запеклись соломенные стулья,  
Как внутри серебряного студня  
Косточки волшебного леща.

А луна все трудится, луца  
И луца — разборчиво и скудно —  
Ядра стен, белеющих подспудно,  
От теней, от шелухи плюща...

Хлынул ветер... Я сошла с террасы...  
Быстро под ногами стал стираться  
Лунный луч в надтрещинках теней,

Резкий, как расколота плитка...  
Помутились рощи... Близко, близко,  
Чуть не по лбу шелкал соловей.

## *Отголосок*

Мне самой непонятно,  
Отчего это я, не попад,  
Поглядев на полоски и пятна,  
Вспоминаю про шар и квадрат?  
Как могу несовместные вещи,  
Врозь простые, но странные вместе,  
Надевать на единую нить?  
Чем я это должна объяснить?  
Тициановские полотна  
Вижу в трещинках на стене,  
Вижу кринку и хлеб — на луне...  
Так бывает, когда безотчетно  
И бесцельно мечтается мне.  
Помню море по запаху досок,  
Снег — по блюдам, разбитым зимой...  
Так бывает, когда отголосок  
Долговечнее песни самой.

Время песни размечено строго;  
Посторонние вещи при ней  
Ненадолго припомниться могут;  
Отголосок у песни — длинней;  
От весны он готов дотянуться до снега;  
Он вместительней песни,  
Он емче ковчега  
Для смешных посторонних теней,  
Не имеющих дела  
При песне,  
Но смело  
Контрабандой живущих при ней.

Песня спета,  
Но отзвук  
Беспределен, как воздух,  
Как вода;

Звук — сегодня, но эхо — всегда.  
Отголосок рисует  
Против правил — и этак и так,  
И, резвясь, воедино связует  
Марс, Афины и старый башмак.  
Шквал, корзина, известка,  
Страшный Суд и дорожная грязь,  
Ветер, зеркало, хворост, повозка  
И на старых обоях кривая полоска  
В продолжении отголоска  
Обретают бессвязную связь...



---

---

А. ПРАСОЛОВ

★

## МОСТ


Погорбившийся мост сдавили берега,  
И выступили грубо и неровно  
Расколотые летним солнцем бревна.  
Наморщилась холодная река,  
Течением размеренно колебля  
Верхушку остро выгнанного стебля,  
Который стрелкой темный ход воды,  
Не зная сам зачем, обозначает...  
И жизнь однообразьем маяты  
Предстанет вдруг — и словно укачает.

Ты встанешь у перил.  
Приложишь мерку.  
Отметишь мелом.  
Крепко сплунешь сверху,  
Прижмешь коленом свежую доску,  
И гвоздь подставит шляпку молотку  
И тонко запоеет —  
И во весь рост  
Ты вгонишь гвоздь  
В погорбившийся мост.

И первый твой удар — как бы со зла.  
Второй удар  
Кладешь с присловьем хлестким.  
А с третьим —  
Струнно музыка пошла  
По всем гвоздям,  
По бревнам и по доскам.

Когда же день утратит высоту,  
И выдвинется месяц за плечами,  
И свет попеременно на мосту  
Метнут машины круглыми очами,—  
Их сильный ход заглушит ход воды,  
И, проходящей тяжестью колеблем,  
Прикрыв глаза, себя увидишь ты  
В живом потоке — напряженным стеблем.

Воронежская обл.





---

ГРИГОРИЙ КОРИН

★

## ОБИДА

Нет хуже обиды дочерней —  
Отцовской неправоты,  
И надо просить бы прощенья,  
Но дочь — это дочь, ты есть — ты.  
Куда подевался мой юмор?  
Исчезла куда ее прить?  
И я становлюсь все угрюмей,  
Я, ей втолковавший, как жить,  
Весь вечер сижу с папиросой,  
Ни с кем не обмолвлюсь словцом.  
О, трудно для дочери взрослой  
Остаться примерным отцом.  
И сам не заметишь ошибки,  
А дочь уже рядом, права.  
За ней — остаются улыбки,  
Бессильны за мною — слова.  
Но дочь... Она все понимает,  
На плечи мне руки кладет  
И все на себя принимает,  
И это мне встать не дает.



---

В. КАВЕРИН

★

## МАЛИНОВЫЙ ЗВОН

*Путевые записки*

**Г**олландию называют страной тюльпанов, но с равным правом ее можно назвать страной велосипедистов. Девчонки с гривками и голыми коленками, скучные респектабельные чиновники, мамы с детьми — один у руля, другой за седлом, — монашки ловко лавируют среди автомобилей, обсуждая свои дела, поют, спорят — словом, живут на велосипедах.

В Амстердаме за час до отъезда я засмотрелся на велосипедистов и подвернул ногу. Все разлетелось — очки, карандаш, записная книжка. Я встал и огорчился. Брюки были слегка порваны. Но огорчаться следовало по другому поводу. Я сильно подвернул, а может быть, и надломил правую ногу. Вероятно, надо было взять такси или согласиться на настояния моего спутника, профессора Константина Владимировича Соляника-Красса, предложившего сбегать за нашим автобусом.

Я не сделал ни того, ни другого. Больше того: в Амстердаме проходила английская неделя. Недалеко от Райхсмусеума шотландцы проделывали свои замысловатые штуки, и мы простояли еще минут пятнадцать, глядя, как девушки танцуют между скрещенными, лежавшими на панели шпагами, как здоровые мужики в юбках и сложной амуниции, состоящей из ремней и каких-то шкур, под однообразную воинственную древнюю музыку вертят барабанными палками и вдруг без причины делают два шага вперед и шаг назад.

Словом, вернувшись в Москву, я две недели привыкал к костылям, проклиная распухшую ногу. Тут бы, кажется, и приняться за дело. Так нет же! Оказывается, я не могу писать лежа, не отрываясь каждые сорок минут от работы, не проделывая пешком по десяти километров в день, когда мысленно произносишь убедительные острые речи и стараешься запомнить вдруг вспыхнувшую удачную фразу. Да и не так уж хотелось мне написать о нашей поездке.

Уезжая из Москвы, я отложил новый роман, едва начатый, и он как будто сам продолжал писать себя — таким я нашел его, вернувшись. Он ждал меня — в письмах новых корреспондентов, в набросках и планах, которые я прочел другими глазами. Но вот, едва я встал на ноги, Бельгия возникла передо мной с ее громадными шарами Атомнума, словно построенного людьми другой планеты, с ее бережно хранимой стариной, с ее куклами, с ее осторожным и нежным звоном колоколов, отсчитывающих время.

И, главное, подумал я о своих спутниках, о счастливой случайности, которая свела и познакомила тринадцать человек, удивительно непохожих друг на друга, принадлежащих к разным кругам нашего общества со всеми его противоречиями, надеждами и размахом.

И мне захотелось написать о нашей поездке. Праздников в жизни не так уж много, они редко приходят сами, их приходится добывать, а добытое, да еще с трудом, грех не отметить в памяти — своей и чужой.

### Промелькнувший Люксембург

Первые дни нашей поездки (7—9 мая) были связаны с Днем Победы. Мы провели их в Люксембурге, маленькой стране, недавно отметившей свое тысячелетие. Люксембург необычайно красив, весь в нарядных лесах, неторопливо шествующих в горы. Таким показался он мне из окна автобуса, а иначе я его и не видел. Времени не было — прием в Обществе дружбы, встреча с интеллигенцией, возложение венков в Музее Сопrotивления, снова прием в нашем посольстве. Да и поселили нас неудачно, в городе Эхтернахе, в семидесяти километрах от столицы, где происходили все эти приемы и встречи. Сам Эхтернах хорош, но мы и его не видели. Впрочем, в шесть утра, накануне отъезда, я пробежался по лесным тропинкам, плавно огибающим высокий холм. Городок расположен на берегу пограничного Мозеля. Федеративная Германия — рукой подать! Немецкие коровы на чистых пастбищах видны прямо из окна отеля.

Ренэ Блюм, бывший посол Люксембурга в Москве, смеясь, рассказал нам, что, когда в газете появилось сообщение, что американцы успешно форсируют Мозель и добрались уже до середины реки, русские спрашивали его: широк ли Мозель? С Волгу? С Оку? Хороший пловец перемахнет Мозель в пять минут.

Кстати, именно Ренэ Блюм приложил все усилия, чтобы мы хотя бы в самых общих чертах познакомились с Люксембургом. Он проехал с нами по городу, познакомил с художниками, композиторами, писателями. На собрании, посвященном двадцатилетию победы, он рассказал о грандиозных усилиях и жертвах, принесенных Советским Союзом, и его длинный блестящий доклад был похож на многоголосую фугу, в которой французский язык сменялся немецким, но основная, повторяющаяся мелодия звучала все-таки по-люксембургски.

Наконец он подарил каждому из нас по бутылке прекрасного мозельвейна, чтобы, вернувшись домой, мы могли еще раз помянуть страну, которую нам так и не удалось увидеть.

Что касается меня, то я в промелькнувшем Люксембурге не мог отделаться от странного ощущения, что он — разумеется, я говорю о городе, а не о стране — чем-то похож на мой родной Псков, хотя трудно представить себе более глубокое воплощение европеизма, чем Люксембург, и более русский город, чем Псков.

В Люксембурге старина устроенная, прибранная. Крепостные стены искусно вмонтированы в пейзаж. Глубокий ров давно превращен в парк с куртинами роз среди круглых кустов, с мягкими оттенками зелени, ненавязчиво радующими глаз. Через ров перекинут арочный мост. В плавном овале арки видна старинная круглая башня с бойницами. Над мостом — собор, а немного в стороне — дворец великого герцога с множеством шпилей. Часовые идут вдоль дворца навстречу друг другу, останавливаются, притоптывают ногой, похлопывают рукой по своей винтовке и расходятся, не взглянув друг на друга.

Все это очень хорошо (я говорю, разумеется, о бережном отношении к старине, а не об этих движениях, которые солдаты проделывают с необъяснимым самодовольством, точно возможность притоптывать ногой и похлопывать по винтовке ставит их выше других, обыкновенных людей). Ведь заботиться о своем прошлом — не только долг, но и искус-

ство. К счастью, это отлично поняли в моем родном городе. Я убедился в этом, посетив его в прошлом году. Прежде в Пскове была старина, вошедшая в быт, предмет существования, а не обозрения. Мы почти не замечали ее. Развалины Покровской башни были отличным местом для игры в казаки-разбойники, а в пустынном Мирожском монастыре XII века, на той стороне Великой, удобно было назначать епархиалкам свидания.

Теперь старый город вновь стал воплощением былой независимости и силы. Искусно восстановлена крепостная стена. Реставраторы смело воспользовались деревом — без дерева картина древней Руси неполна. Просмоленные светло-черные доски покрытия идут над стеной, конусообразные шишаки покрывают башни, решетчатые ворота из бревен в полтора обхвата запирают форпосты. Впечатление грозной уверенности смешивается с чувством подлинности, непонятная грусть — с восхищением перед соразмерностью пропорций, продиктованной вкусом, который не изменял псковичам и в деле войны. Играть в казаки-разбойники на крепостных стенах больше нельзя, а вот назначать свидания можно. Впрочем, в этом отношении уже и вовсе нельзя найти ни малейшей разницы между Люксембургем и Псковом.

### Ян Бос

В нашей группе было много участников войны: Надежда Васильевна Попова, Виктор Михайлович Перов, Александр Яковлевич Каминский — о них я еще расскажу. Но у Ивана Афанасьевича Дядькина совершенно особенная военная биография. Он — знаменитый Ян Бос, один из организаторов бельгийского Сопротивления, помощник командира русской партизанской бригады. Несколько раз я просил его рассказать о том, как это произошло. Он начинал, смущенно улыбаясь, и останавливался: «Вы прочтите книгу, там все написано».

Вернувшись в Москву, я прочел эту книгу. Она называется «В чужой стране». Ее написал А. Вольф, а Приволжское книжное издательство выпустило ее в 1964 году четвертым изданием. Но как ни увлекательна эта книга, Иван Афанасьевич мог бы — я в этом убедился — рассказать о действиях русских партизан лучше, чем автор, добросовестно изучивший многочисленные письма, дневники и воспоминания. В книге утеряна интонация, а в этой интонации многое — и прямодушие, и скромность, и гордость — естественная, потому что тем, что сделал Иван Афанасьевич, надо гордиться, — и юмор, и впечатление целостности, и детскость, и здравый смысл.

Впрочем, может быть, мой упрек несправедлив. Хотя Иван Афанасьевич — один из главных героев необычной истории, разыгравшейся в Лимбургских лесах, книга написана не только о нем. Теперь он — зоотехник одного из совхозов под Волгоградом. Ему сорок пять лет, он — среднего роста, худощавый, седеющий, с негородским кирпично-румяным лицом и весь какой-то очень негородской. Человек деликатный, уважающий чужие интересы, да и сам интересующийся живописью, он ходил по соборам, ратушам, музеям, смотрел Рубенса, Ван Эйка, расспрашивал нашу спутницу, искусствоведа Нину Николаевну Калитину, и внимательно выслушивал ее объяснения.

Но в Голландии, после того как его заветная цель — встретиться с боевыми друзьями — осуществилась, он заскучал и однажды, выйдя из прекрасного старинного ресторана в Амстердаме, где мы очень вкусно и весело пообедали при свечах и на прощанье получили от хозяина подарки, вдруг сказал, слабо махнув рукой: «Надоела мне эта Европа».

Я спросил, как же не надоела она ему за те два года, которые он провел в Лимбургских лесах? Он ответил, улыбнувшись: «На скуку тоже надо время иметь».

Только «Ночной дозор» Рембрандта как бы пробудил его от этого несколько сонного состояния, в которое он впадал все чаще к концу нашей поездки. Не только он, мы все онемели перед этой картиной, которая вовсе не называлась «Ночным дозором», потому что изображенная на ней сцена происходит днем и солнце участвует в ней могущественно и мягко. В течение долгого времени картина была покрыта слоем копоти и расчищена лишь недавно. Быть может, поэтому она так поразительно не похожа на свои репродукции. Никакой это не дозор, а групповой портрет офицеров военной корпорации Амстердама. Но в этот групповой портрет внесена внезапность, наступившая — то, что вторгается в жизнь и изменяет ее внезапно и бесповоротно. Неподвижность, при которой каждой натуре уделяется равное внимание, нарушена, сброшена со счета. Невозможно представить себе, что Рембрандт написал капитана такого-то в белом костюме, а лейтенанта такого-то в черном, чтобы ими любовались, чтобы их узнавали. Падающий слева ослепительный свет врывается не в темноту подворья, из которого выходят стрелки, а в Голландию XVII века с ее терпением, неукротимостью, жестокостью, с ее победой в испанской войне, с ее нищетой и богатством.

Мы видим не все полотно. По старинной плохой копии, выставленной у входа, легко заметить, что часть картины — и немалая — отрезана, потому что картина не входила в раму. Одно из самых поразительных явлений человеческого гения было признано неудачей, потому что стрелки, находившиеся в тени, обиделись на Рембрандта, не изобразившего их на первом плане. Да и при чем тут девочка с восхищенным круглым лицом, которая, как все дети, радуется суматохе и была бы невозможна в групповом портрете до этой картины?

Не напоминают ли вам эти возражения другие, которые, увы, часто приходится слышать! О живописи судят с поразительной категоричностью, недопустимой даже в своем профессиональном деле, которым занимаешься всю жизнь. Откуда эта безапелляционность? От стремления увидеть себя, свое и увидеть в неподвижности дорембрандтовского группового портрета, а не в внезапности, не в движении, потому что куда, собственно говоря, торопиться? Стрелки, обиженные тем, что они оказались в тени, по-прежнему судят об искусстве. Судят и выносят приговоры, очень строгие, и хорошо еще, что не смертные, как это было тому назад лет пятнадцать. Поучиться бы им у Ивана Афанасьевича, который молчал, слушал с вниманием и доброй улыбкой, когда мы смотрели не понравившегося ему Босха или Кандинского, и который не мог оторваться от «Ночного дозора». Силу искусства он почувствовал, может быть, безотчетно, но верно. А наступившая, внезапность, неожиданность поворота — да у него вся жизнь состояла из этих внезапностей, из этих поворотов!

Что же он все-таки сделал и почему на третий день нашего пребывания в Бельгии его приняла королева Елизавета?

Мы попросили Ивана Афанасьевича рассказать об этом приеме — и он охотно согласился. Это было в автобусе, когда мы уже покидали Брюссель. Заняв место нашего гида, Иван Афанасьевич говорил, смущенно посмеиваясь и размахивая микрофонной трубкой, когда ему хотелось что-нибудь объяснить. Старая почтенная женщина, которая к тому же была еще и королевой, пожелала его видеть — вот что окрасило его естественный, скромный рассказ.

Чувство неловкости, когда «показалось даже странным, что вот мы, советские люди, будем разговаривать с королевой», скоро рассеялось.

— За нами прибыли, разместились по машинам, подъехали к дворцу. Там у входа, конечно, стоит пост, охраняет помещение, но он никакой роли не играл. Ничего они у нас не проверяли, никаких пропусков, только выставляют свои часы, и все. Вот входим мы в королевские ворота. С левой стороны, как обычно, раздевалка. Вышла какая-то придворная дама и организовала нас, чтобы мы разделись. Ну, конечно, плащи и тому подобное.

Распоряжался во время приема некий представительный господин по имени Дима, о котором Иван Афанасьевич отозвался добродушно, но с оттенком иронии. Упомянув, что Елизавета «интересуется многими вопросами и даже изучает русский язык», он сказал:

— Учит ее этот самый Дима. Но языка она не знает, зарплату он, конечно, берет.

Королева заговорила о русских песнях, и Н. В. Попова, присутствовавшая на приеме, предложила спеть «Подмосковные вечера». Пели хором, и все были очень довольны.

— Ну, какое впечатление о королеве? — подводя итоги, сказал Иван Афанасьевич. — Сидит в кресле такая преклонных лет женщина, на вид симпатичная. Одета в кофту или платье темное, а от поясницы и ниже обернута бархатом. Очень серьезная такая женщина, но, я бы сказал, веселая и самостоятельная.

Уходя, Иван Афанасьевич подарил королеве волгоградский значок.

— Одна дама хотела взять у меня, но королева мне головой кивнула, чтоб я сам приколот. Ну, я приколот. Ничего, обошлось.

## Память

Это был длинный, утомительный и, в общем, довольно грустный день. То, что окрасило его, началось накануне в Люксембурге, в городе Эш на Альзете, где впервые отступили, стушевались и чувство новизны, и удивление перед прелестью незнакомых мест. Их заменила могущественная Память.

Среди множества греческих богов не было, кажется, богини памяти. Она осенила нас в Музее Сопrotивления, где мы были встречены маленькой делегацией политических деятелей Люксембурга и где наши военные, И. А. Дядькин и Н. В. Попова, возложили венок. В превосходном сдержанном здании музея — страшные фотографии замученных, идущих на смерть, обыскиваемых, приговоренных. Само здание чем-то напоминает человека, стоящего со склоненной головой у могилы и поклявшегося передать то, что он испытал, поколениям и поколениям. Среди фотографий, найденных в сумке убитого немецкого офицера, мы увидели Зою Космодемьянскую перед казнью — девочку в мужской одежде, с нежным, ничуть не испуганным лицом. Надписи не было. Я сказал люксембуржцам, что это — Зоя, и они удивились, но не очень. «А может быть, и не нужно надписи?» — сказал, подумав, хранитель музея. Мы поняли. Неназванная Зоя Космодемьянская получала люксембургское гражданство и ставовилась рядом с теми участниками Сопrotивления, имена которых, все до одного, занесены в толстые книги, хранящиеся в этом музее.

Сцена возложения венков повторяется в Льеже, в старой крепости, где был лагерь военнопленных, а теперь кладбище героев Сопrotивления. У входа — черные, обугленные столбы, расщепленные, со следами пуль. Повсюду среди могил стоят эти столбы, а в низине, у стены Цитадели, сложены в огромный прямоугольник. Более страшного и простого памятника я не видел. У этих столбов расстреливали. Но почему они

черные, обугленные, полусгоревшие? Не знаю. Бельгийцы, склонив головы, молча стоят у могил. Страшно спросить. И мы не спрашиваем. Огонь — везде огонь. И в Майданеке, и в Цитадели Льежа.

Автобус останавливается в маленьком городке Комблен-о-Пон в Арденнах. Нежная зеленая кайма смягчает жесткость пейзажа — это лес, поднимающийся по серым треугольникам гор к бледно-желтому небу. Городок точно вписан в скалы. По тропинке, сперва прямой и пологой, а потом извилистой и крутой, мы идем к могиле партизан, сражавшихся в здешних лесах. Знамена несут старые люди. Среди них — полная женщина с усталым лицом, шагающая энергично, упрямо. Это немногие оставшиеся в живых руководители Сопротивления. Процессия маленькая, идут молча, разговаривают тихо. О, как не похож этот скромный парад на тот, который два дня тому назад мы видели в Люксембурге! Войска союзников — по взводу от каждой страны — прошли перед трибуной, на которой стояли члены правительства с великим герцогом во главе. Что-то театральное было в пестроте толпы, в блеске медных инструментов оркестра, в том, как весело шагали англичане, французы, бельгийцы и американцы в блестящих хромированных шлемах. Да, и тем парадом был отдан долг, но какой-то совсем другой, может быть, даже обидный для памяти погибших. Я смутно почувствовал это — и не ошибся. Вечером сотрудники нашего посольства рассказали мне о дипломатической подоплеке парада. Я не очень разобрался в ней. Такой-то посол опоздал, а такой-то совсем не приехал. Но я понял, что этот парад был как бы фоном, на котором шла острая политическая игра.

Вот и кладбище. Знамена склоняются над памятником, который бельгийцы поставили лейтенанту Степанову и майору Доценко. Минута молчания. На обратном пути местные жители рассказали о том, как погиб Доценко после отчаянного сопротивления, «чисто русского, вы понимаете», — грустно и весело объясняет мне бельгиец, с которым мы обедали в Льеже. Грустно потому, что все это очень грустно. А весело потому, что этому изящному, с матовым лицом, тоже не лыком шитому партизану-разведчику, выполнявшему ответственные поручения, весело думать, что бывает же на свете такое — один против двухсот — сопротивление!

В нашем автобусе много бельгийцев, и, чтобы скоротать дорогу, они начинают петь. Песенка милая, с веселым припевом. Наши подхватывают, и прежде всех, конечно, Нина Николаевна Калитина. Она у нас хоть и русская, плоть от плоти исконной интеллигенции, а все же еще и француженка и даже парижанка. Изучая живопись, она целый год провела в Париже и, вернувшись, написала книгу, которая так и называется: «Встречи с французским искусством».

Бельгийцы поют. Потом, чтобы не ударить в грязь лицом, поют наши. Мне казалось, что давно забыты старые студенческие песни «Крамбамбули», «От зари до зари». Ан нет, не забыты!

Автобус мчится, колеса, которые кто-то (кажется, Лариса Рейснер) назвал «катушками, наматывающими пространство», исправно и терпеливо наматывают бельгийское пространство. За окнами — страна, которую мы едва ли откроем за немногие дни туристской поездки. Как трассирующие пули, вспыхивают в сознании знакомые названия городов. Редкие пули попадают в цель. Намюр? Осада Намюра, война за австрийское наследство. И другая осада. Революционные войны.

А ведь усердно когда-то занимался я западноевропейской историей, и писал рефераты, и сдавал экзамены профессору Карееву, огромному рассеянному старику с седой шевелюрой, которого в последний раз я видел в 1920 году в темном холодном вестибюле Петроградского универ-

ситета. Он наткнулся на пустое кресло вахтера, вежливо извинился и прошел величественно и равнодушно. Не поставил бы мне сейчас «весьма удовлетворительно» профессор Кареев!

Мчится автобус, поют бельгийцы, подхватывают наши. Полусонными глазами я вижу преобразившуюся, оживленную Нину Николаевну — милое круглое лицо в очках, которые почему-то выглядят на ней, как на детях.

Саша Отсолиг, наш гид, молодой человек, полушвед-полурусский, родившийся в Конго, время от времени монотонно сообщает что-нибудь о тех местах, мимо которых мы проезжаем. Это «что-нибудь» он вычитывает из путеводителя, который лежит перед ним рядом с картой.

В звуковом отношении наша поездка выглядит приблизительно так:

Там, где Крюков канал и Фонтанка река  
Словно брат и сестра обнимаются...

— Провинция Эно славится своей рекой Самбр, которая является притоком Мааса. Угольная промышленность перемежается с химией, стеклом и железом...

От зари до зари там горят фонари  
И студенты толпой собираются...

— «Стэлла Артуа» есть пивная фирма, очень хорошая, между прочим. Бельгийцы любят цветы и пиво. Люди, любящие цветы, они выращивают их как для себя, так и на продажу.

Иногда Саша робко хвалит Бельгию, не стремясь, впрочем, убедить нас в преимуществах капиталистической системы. Время от времени он внимательно разглядывает карту — и хорошо делает, потому что наш шофер Жозеф, о котором мы уже знаем все — где он живет, сколько зарабатывает, сколько у него детей (пятеро, хотя ему недавно минуло тридцать), — ведет автобус с необъяснимой уверенностью в том, что все дороги ведут туда, куда нам в конце концов надо приехать.

Вот и сейчас мы останавливаемся на перекрестке, и начинается длинный разговор, разумеется на фламандском, потому что, как истинный фламандец, Жозеф отказывается говорить по-французски. Впрочем, говорит главным образом Саша с энергичными движениями длинных, вдруг выбрасывающихся рук. Опять заблудились? Кажется, да. Крутой поворот — и я вспоминаю «Заблудившийся автобус», отличный роман Джона Стейнбека, почему-то до сих пор не переведенный у нас. Подобно Мопассану, посадившему в дорожную карету всю Францию, Стейнбек соединил в своем потерявшем дорогу автобусе дельца, американского фермера, респектабельную даму, механика, инженера и — точно как Мопассан — проститутку. Обстоятельность деталей, которой подчас как бы гордится Стейнбек, в этой книге дана естественно, без напряжения. Она написана смело, бескомпромиссно, с невысказанной уверенностью, что из прозы XX века устоит именно его, стейнбековский, вдохновленный исключительностью, но поражающий достоверностью реализм.

...Больше не поют. Молчат. Устали. «К черту подробности, в каком мы городе?» — известный анекдот о пьяном, которого разбудил на улице полисмен, цитируется все чаще. Не зная анекдота и думая, что вопрос обращен к нему, Саша Отсолиг исправно называет очередной городок.

Сплю и не сплю. Все исчезает — дорога, шум голосов, гудение мотора. «Спокойной ночи», — говорю я жене. Она смеется: «Не пора ли вставать?»



Головные боли преследуют меня всю жизнь. Они многообразны. На этот раз у меня ломило виски и одеревенел затылок. Стоило пожалеть об этом, потому что, не заезжая в гостиницу, мы отправились прямо на прием в советское посольство.

Огромный зал с колоннами, ровный, ослепительный, молочно-матовый свет, около тысячи гостей в европейских и национальных костюмах — ожившая, разговаривающая эгнографическая карта мира.

Мне случалось бывать на приемах, но впервые представилась мне вся странность, вся фантастичность этой «мирной работы по осуществлению задач внешней политики», как определяет дипломатию словарь иностранных слов.

Понятие гостя, как друга, вывернуто наизнанку на этих приемах. Добрая половина гостей — враги. Но, друзья или враги, они чувствуют себя превосходно. Они смеются, оживленно разговаривают, пьют и едят. Работает только один человек — хозяин, посол. Два или три часа он неподвижно стоит у входа, каждому из гостей он дважды пожимает руку, здороваясь и прощаясь, и почти каждому должен сказать несколько приветливых слов. Он произносит эти слова, подчас незначительные, а на деле — полные смысла. Он шутит, не задумываясь, а на деле взвешивая каждое слово.

Впрочем, эти соображения, которые, может быть, покажутся наивными даже студенту Института международных отношений, не пришли мне в голову на приеме в Брюсселе. Без мысли, без чувства я сидел в гостинице между первым и вторым маршами широкой лестницы, поднимавшейся в зал. Молочные светящиеся капители колонн освещали зыбкое небо потолка. Тысяча гостей разговаривала одновременно, и все это было где-то там, наверху, над моей головой, которую мне смертельно хотелось сунуть в холодную воду.

### В «Театре четырех су»

Я уже упоминал об Атомиуме, знаменитом павильоне, который бельгийцы решили сохранить в неприкосновенном виде после Всемирной выставки 1958 года. Это единственное здание в мире, имитирующее строение атома. Восемь гигантских стальных шаров соединены трубами и подняты на стометровую высоту. Каждый из них весит 2300 тонн. Они укреплены на шарнирах. Находясь внутри шара, вы ежеминутно чувствуете легкое колебание.

Так вот, прямо из Атомиума мы отправились в дом Эразма Роттердамского. Это было так, как будто машина времени перенесла нас лет на пятьсот назад: Атомиум, в котором есть что-то детское (точно он построен мальчишками, начитавшимися фантастических романов), все же принадлежит будущему, а Эразм гостил в Бельгии в начале XVI века.

Другим поразившим меня контрастом был отмечен и следующий день, когда утро мы провели в Доме-музее Константина Менье, художника и скульптора, поражающего (и даже немного раздражающего) своей определенностью, а вечером отправились на пьесу Эжена Ионеско «Амедей, или Как от этого избавиться».

О Ионеско написаны десятки книг и сотни статей. На нашу долю из этих сотен приходится немного: он как раз принадлежит к авторам, которых не ставят и почти не печатают, но энергично ругают в печати. Впрочем, в последнее время появилось несколько серьезных разборов.

Я видел «Амедея» в «Театре четырех су» на Гран Пляс, где по вечерам иностранные туристы сидят часами, пьют и смотрят на подсвеченное фантастическое здание ратуши. Это не театр в нашем понимании слова,

а самый обычный подвал — несколько ступенек, касса в закуточке и полукруглое помещение человек на сто с крошечной сценой. Рядом Музей пива, о котором тоже стоило бы рассказать, хотя бы потому, что нигде не пил я более вкусного пива. Но сейчас я упомянул о нем по другой причине: войдя в «Театр четырех су», я тотчас же представил себе, что под массивными сводами подвала еще недавно стояли важные, темно-желтые, вкусно выглядевшие бочки знаменитого, некогда обогатившего Бельгию пива...

Не следует думать, что за вход в «Театр четырех су» платят четыре су — дороже. Но, уходя после спектакля, вы не жалеете денег, отданных за билет.

Герой пьесы Амедей — драматург, у которого не клеится работа. На протяжении всей пьесы (кстати, очень маленькой, она идет немногим более часа) он переделывает одну и ту же строчку:

«Старик. Все будет хорошо». Подумав, Амедей зачеркивает. «Старуха. Ничего хорошего не будет».

В маленькой квартире, где живет Амедей со своей женой, так сыро, что время от времени на полу, на книжной полке, на окне, где угодно вырастают грибы. Пьеса начинается с того, что изумленный Амедей срыгает выросший подле обеденного стола большой бледно-желтый качающийся гриб.

Жена — телефонистка. Не покидая сцены, она убегает на работу. Снимает со стены истрепанную горжетку, накидывает ее на шею и садится за высокую стойку, в которую, оживленно разговаривая с абонентами, втыкает шнуры. Время от времени она разговаривает с мужем. Естественно, что абоненты выслушивают то, что она хотела сказать мужу, и наоборот.

Но вот трудовой день кончен. Телефонистка возвращается домой, то есть слезает со своего стула и вешает на гвоздь горжетку. Начинается диалог, по которому можно судить, что в семье далеко не все обстоит благополучно. Спокойному существованию этих, в общем, милых и скромных людей мешает не только одиночество, бедность, сырая квартира. Что заставляет Мадлен Амедей кинуться к двери соседней комнаты и встать на пороге, когда почтальон приносит ее мужу письмо?

Супруги боятся соседей, стараются жить незаметно, бесшумно, какое-то несчастье омрачило их жизнь — давным-давно, когда они еще были молодыми людьми. Зритель не сразу догадывается, что в соседней комнате находится труп. И было бы еще полбеды, если бы это был обыкновенный труп. Но он растет — и происходит это, по-видимому, по той причине, что Амедей пятнадцать лет тому назад не закрыл покойнику глаза. Супруги не знают или забыли, кто этот человек — может быть, поклонник Мадлен? Она кокетливо улыбается и прихорашивается, когда в числе других обсуждается и этот вариант.

Вдруг дверь соседней комнаты распаивается с треском и огромные безобразные ноги вылезают на сцену. («Какой ужас!» — сказал в этом месте Саша Отсолиг, сидевший рядом со мной.) Но ноги только в первый раз вырастают с таким внезапным, неприятным шумом. Потом это сопровождается странной, но приятной музыкой, в которой повторяющаяся мелодия как бы сплетается со скрипом медленно раскачивающихся старинных часов.

Наступает наконец день, когда Амедей должен исполнить обещание, которое он дал жене: избавиться от трупа. Это необходимо. Ноги занимают уже почти всю сцену. И все-таки нельзя сказать, что он с легким сердцем исполняет свое обещание.

Конечно, это больше, чем простое неудобство, — это несчастье, беда!

Но она уже срослась с существованием супругов, расстаться с нею не так-то просто. Амедей с любовью смотрит на чудовищно длинные ноги, проводит рукой по разошедшимся складкам брюк...

В последней картине сцена наконец пуста. Лежа на подоконнике, Мадлен разговаривает с мужем, который пытается сбросить труп в реку. Я так и не понял, удалось ему это или нет. Ясно одно: покинув дом с тяжелой ношей, отравляющей его жизнь, Амедей не может вернуться назад. Он улетает в небо. Овальная дверь, завешанная кисеей и по временам открывающая перед зрителем внешний, как бы не связанный с трагикомедией мир, — распаивается, и мы видим его высоко над городом, среди облаков.

Разумеется, этот пересказ более чем приблизительно передает содержание пьесы. Ионеско — оригинальный стилист, его первая пьеса «Лысая певица» целиком построена на мнимой грамматической правильности языка, связанной с нелепостью машинального существования. В «Амедее» автор не стремится поразить зрителя стилистическими находками. Дело в другом. В чем же все-таки дело?

Значение скрытого смысла, возможность догадки — не новая черта драматургии. Еще в десятых годах, когда я был гимназистом, русские читатели Метерлинка ожесточенно спорили о том, что ждет Тентажиля за глухой стеной, перегородившей его мерцающее существование. Теперь эта глухая стена встала перед героями Ионеско. Скрытый смысл, который всегда был важной чертой сказочной и сатирической литературы, вышел на сцену, превратился в самоцель. А так как по своей природе диктует необходимость догадок, предположений, судите сами, какая соблазнительная перспектива открывается перед зрителем: он может разгадать, ему как бы вручается право по-своему прочесть чужую судьбу. Карты, полные таинственного значения, лежат перед ним в сложных и неожиданных сочетаниях.

К странной истории, которую, кстати сказать, отлично сыграли молодые актеры «Театра четырех су», можно подобрать несколько разгадок. Вот одна из них: жизнь, в сущности, состоит из множества несчастий, больших или маленьких, во всяком случае жизнь таких людей, как чета Амедей.

Несчастье становится неотъемлемой частью существования, и хотя очень неудобно жить с кандалами на ногах, но жить-то все-таки надо! Вам хочется сбросить ношу, выпрямиться, избавиться от беды? Будьте осторожны. Вас ждет неизвестность, грозящая, может быть, новой бедой.

Понятие характера, личности в драматургии Ионеско сбрасывается со счета. Его герои двухмерны, силуэтны, нарочито лишены психологической глубины. В этом смысле он, как это ни странно, близок к допсихологической литературе XVIII века. Но двухмерные герои Вольтера были поучительными, вмешивались в жизнь, требовали подражания. Ионеско отказывается от «учительства» реалистической литературы. Это отнюдь не значит, что он отказывается от ее социального значения. Он не поучает, но предостерегает, и предостерегает с ненавистью и отвращением.

Таким предостережением явилась лучшая пьеса Ионеско «Носороги», в которой его талант выразился с определенностью, исключаяющей «соблазн догадок». В одной из своих статей он писал, что опасен «получеловеческий автоматизм», а не автоматизм жизни: «Нацизм тоже был в оппозиции к «веку машин» и абстракционизму. Нацизм был — и не мог быть не чем другим, как бунтом природы, инстинкта животного против цивилизации. Чем фактически был СС? Машиной? Нет. Скорее глупой хищной птицей, с птичьим, разумеется, мозгом».

Плох ли, хорош ли театр Ионеско, нельзя отрицать, что он внес нечто новое в мировую драматургию. Если отбросить стремление изумить зрителя, поставив его перед необходимостью разгадки, нетрудно доказать, что театр абсурда не только далек от абсурда, но построен с расчетливой скупостью алгебраической задачи.

### Критика чистого случая

В молодости, когда стремишься не походить на самого себя, я назвал один из своих рассказов «Критикой чистого случая» — очевидно, рассчитывая, что моя смелость поразит исследователей Иммануила Канта. Рассказ остался в рукописи (к счастью), а название — в памяти. Оно пригодилось для этой главы.

Зимой 1958 года полярники Мирного получили радиограмму о том, что одномоторный самолет бельгийской антарктической экспедиции Бодуэн не вернулся на базу. Об этом сообщили со своей станции Моусон австралийцы. Сами они помочь не могли, потому что у них тоже были одномоторные, с малым радиусом действия, самолеты. Одновременно они передали полный текст бельгийского «SOS».

Погода в Мирном была из рук вон плохая. Мела пурга, ветер достигал сорока метров в секунду. Все-таки вылетели, когда стало потише, и «до Моусона шли в сложных метеорологических условиях, в облаках, с интенсивным обледенением».

Я видел Виктора Михайловича Перова в туристской поездке, за обеденным столом, в картинных галереях. О том, каков он за штурвалом, о беспредельно смелых посадках в тумане, о «восторге опасности» прекрасно написал Н. Н. Михайлов в книге «Иду по меридиану». Немногословно, но содержательно рассказал о своих полетах с Перовым на Южный и Северный полюс Артем Анфиногенов («Земная вахта»). Но вернемся к отчету. Я прочитал его у Перова, когда мы вернулись из Голландии в Москву, — и пожалел, что у нас почти никогда не печатаются такие документы. Отчет писался на оборванных листах бумаги, другой, по-видимому, не нашлось в самолете. Смертельный риск, скрытое волнение, смесь мастерства с осторожностью и отвагой не только не видны в нем, а их нужно искать между строк.

Итак, приземлились в Моусоне, где «были любезно встречены австралийцами, которые накормили нас хорошим обедом... Имея на маршруте Моусон — Бодуэн сильный попутный ветер, сочли возможным произвести посадку у японской станции Сиова... Когда ожидавшие нас бельгийцы, услышав шум моторов, зажгли дымовую шашку, мы обнаружили место станции, которая была полностью погребена под снегом»...

Лишь утром 14 декабря удалось приступить к планомерным поискам.

«Вершины Кристальных гор, громадные, причудливые, сверкающие белизной, показались издали. К сожалению, у нас не было времени, чтобы предаваться лирике, созерцая красоты безжизненной величественной природы».

Перов летел к горе Сфинкс, где должны были встретиться бельгийские исследователи, работавшие в горах.

«Следуя вдоль главного хребта, мы заметили на синеве ледника красную точку, оказавшуюся самолетом, лежащим на левом крыле». Это был самолет принца де Линя, пилота бельгийской экспедиции, и «сразу можно было сказать, что этот принц — настоящий парень, потому что иначе он не летал бы в условиях Антарктики на такой керосинке» (это уже не отчет, а устный комментарий Перова).

В кабине самолета де Линя он нашел записку, а в записке краткое сообщение о том, что два человека будут ждать помощи у самолета до 10 декабря, а потом, соединившись у горы Сфинкс с двумя другими, отправятся пешком на склад за сто тридцать километров от этого места. При тех обстоятельствах, в которых находились бельгийцы, это было расстояние огромное, почти непреодолимое! Перов приземлился в трех километрах от самолета де Линя, и эти три километра он с товарищами шел более двух часов, часто падая на гладком, точно отполированном льду. В записке указывалось, что группа располагает питанием до 16 декабря, то есть еще на сутки.

Теперь стало ясно, что искать бельгийцев надо между складом-базой и Кристалльными горами.

«Вернувшись к самолету, мы взяли этот курс, но, несмотря на внимательный осмотр местности, обнаружить никого не удалось. Бензин был на исходе. Мы вернулись в Бодуэн и после заправки, отказавшись от обеда, снова поднялись в воздух... Второй полет в этот день пришлось на ночные часы, что нас особенно устраивало, так как солнце в полночь проходит низко над горизонтом и мельчайшие предметы на земле дают длинные тени. Было решено строить маршруты параллельными галсами поперек предполагаемого пути бельгийцев. Но и этот напряженный полет, когда весь экипаж в течение нескольких часов неотрывно следил за землей, оказался бесполезным. Усталые вернулись мы в Бодуэн, где нас встретили удрученные горем зимовщики».

Это был четвертый полет, после которого у Перова остался бензин еще на два поиска, не считая возвращения в Мирный.

Утром пятнадцатого Перов в пятый раз вылетел на поиски: «От базы-склада умышленно взяли курс левее предыдущих полетов. С напряженным вниманием экипаж следил за землей. Не доходя до северной оконечности горы Сфинкс, мы заметили маленькую желтую палатку. Люди не показывались. Однако решено было приземлиться, хотя ледник, испещренный множеством трещин, не представлял удобного места для посадки».

Обследовав местность, мы установили, что бельгийцы выбросили здесь все лишнее имущество: спальный мешок, комплект теплой одежды, поломанные санки и даже, к нашему удивлению, немного продуктов. При более тщательном осмотре мы заметили на снегу следы четырех человек, сглаженные поземкой. Это значило, что люди решили форсированным маршем покрыть сто тридцать километров до базы».

Заправив самолет последним запасом бензина, Перов в ту же ночь вылетел снова. Теперь решено было строить совсем короткие галсы по пять и шесть километров между параллелями в расчете, что такое частое построение обеспечит успех. И действительно, на девятом, предпоследнем, галсе «мы увидели палатку, из которой вышел человек, который начал усиленно махать руками».

Чудесное спасение бельгийцев, обреченных на верную гибель, не отразилось на лапидарном, прославленном еще Юлием Цезарем стиле отчета: «Подрулив к палатке, мы убедились, что все четверо находятся здесь, чему мы были очень рады».

На самом деле в палатке происходила сцена, о которой Перов в разговоре со мной сказал несколько иначе: «Все в слезах, замученные, полумертвые, обнимаются, смеются».

Не заходя в палатку, он взял торчавшие в снегу лыжные палки и отправился искать место для взлета.

На обратном пути он посадил рядом с собою де Линя, и вот тут-то и произошло незначительное, на первый взгляд, происшествие, которое послужило причиной других, тоже, может быть, незначительных, но

очень приятных: они понравились друг другу. Де Линь вынул из кармана тюбик и сказал Перову, что он не только не голоден, а даже оставил про запас одну штуку, которая удесятерит силу, разумеется, если в этом есть необходимость. Удивленный Перов тут же в самолете выдавил из тюбика и попробовал языком чудодейственную смесь: в тюбике оказался сгущенный кофе.

...Накануне отъезда в Бельгию, когда мы собрались в Доме дружбы, меня познакомили с Перовым. Высокий, с добрым румяным лицом,двигающийся уверенно, но, как многие крупные люди, осторожно, он — в ответ на чью-то просьбу — положил на стол иностранный орден, большой, под стать владельцу, и, несмотря на свою величину, красивый. Это был самый высший в Бельгии — орден Леопольда.

### Вторник. Утро

Де Линь очень понравился и нам, когда мы приехали в его замок Бель-Эй под Брюсселем. Он пригласил всю группу. Это сорокалетний человек, среднего роста, веселый, с быстрыми, мальчишескими движениями. И не зная языка, можно понять, о чем он говорит, или, по меньшей мере, догадаться. Он показал несколько фотографий: белая, уходящая в бесконечность пустыня Антарктики и черная точка — он. Появление Перова у последнего привала он изобразил с помощью нарастающего жужжания самолета, которое вдруг оборвалось возгласом: «Русские!» — и раскинутыми в изумлении руками.

Он познакомил нас со своим старшим братом, председателем Международной ассоциации рыбаков на море, и с женой — негромко говорящей, с круглым приятным лицом, в котором было, на мой взгляд, что-то крестьянское. Мадам де Линь обрадовалась, узнав, что мы только что из Люксембурга: «Моя родина!..» Когда мы возвращались в Брюссель, кто-то сказал, что Жан, герцог Люксембургский, — ее родной брат.

Говорят, что старые аристократические семьи вырождаются. Меньше всего это можно сказать о семье де Линей. Перов привез в подарок хозяину шесть матрешек, по числу детей, и ошибся! Недавно появился седьмой. Мы познакомились с одним из них, пятилетним беленьким Ляморалем, который назван так в честь знаменитого предка — маршала де Линя.

Надо сказать, что дымковские игрушки выглядели несколько странно в салоне, где на стене висел гобелен, исполненный по эскизу Бушэ. Но мне показалось, что хозяин хвалил их не только из вежливости. Наши ложки и матрешки давно примелькались кельнерам и портье всех гостиниц мира. Для принца и принцессы де Линей они были, кажется, нове.

Замок Бель-Эй построен в 1511 году тезкой нашего хозяина Антуаном по прозвищу Белый Дьявол. Но семья де Линей поселилась здесь еще раньше, в XIV веке, и, следовательно, как подсчитал любящий точность Дядькин, «более шестисот лет не меняла квартиры».

История Европы шла рядом с историей этого дома. В коллекциях замка можно найти молитвенник, которым пользовалась в тюрьме Тамплъ Мария Антуанетта, и портрет Екатерины Второй работы Антропова, который маршал де Линь привез из России. Бальзаковский кузен Понс сошел бы с ума от счастья, рассматривая венецианские маски XVIII века или веер, расписанный Жаном Батистом Потером.

Но мы не сошли с ума — и по очень простой причине. Мы не виде-

ли этих бесценных коллекций, а зашли только в библиотеку, да и то когда пора уже было собираться в дорогу.

Зато хозяин показал нам сады — и что это были за прелестные тенистые, отраженные в прудах и заливах сады! Недаром Бель-Эй значит «Живописное» или «Радующее глаз».

Сады были заложены в конце XVII века Клодом Ляморалем Вторым, а потом художники, садовники и декораторы трудились над ними еще два столетия. Это светлые, высокие, прямоугольные стены аллей, поля роз, лебеди в прудах, отражающих лес и небо. За каждым поворотом — пейзажи, похожие на старинные цветные гравюры, возникающие как бы случайно, а на самом деле — обдуманно до мельчайших деталей. О садах Бель-Эй можно написать книгу. Именно так еще в XVII веке и поступил один из де Линей. Я сказал нашему хозяину, что он мог бы дополнить ее — ведь сады стали еще прекраснее за последние полтора столетия! Он засмеялся и ответил, что да, может быть, когда-нибудь, на покое. А пока ему больше нравится Антарктика. После неудачной экспедиции 1958 года, когда Перов избавил его от неприятного исхода, которому подвержено на земле все живое, он летал туда еще четыре раза и осенью собирается снова.

Потом был обед, и за столом я сказал несколько слов — просто потому, что наступила минута, когда кто-нибудь должен был это сделать. Я сказал, что так же, как наш хозяин, я никогда не был сторонником жизни замкнувшейся, объясненной, неподвижной и что без случайностей и необыкновенных происшествий жизнь была бы попросту очень скучна. Цепь случайностей привела нас в этот гостеприимный дом. В самом деле, если бы де Линь не был склонен поступать уютно старины ради неизведанных далей Антарктики, с ним не произошло бы то, что произошло в Кристальных горах. Если бы на месте Перова был другой пилот, менее опытный и смелый и более уважающий стихию осторожности, — де Линь и его товарищи не были бы найдены на четвертый день поисков и на предпоследнем галсе. Наконец если бы два пилота — бельгиец и русский — не оказались чем-то похожими друг на друга, наша поездка не была бы украшена посещением этого старинного замка. Де Линь ответил, что он согласен со мной — жизнь была бы смертельно скучна без смертельного риска — и предложил выпить за волшебство, которое, по его мнению, играет в ней заметную роль. Разве не волшебство, например, внезапное превращение пятерых русских, вышедших из самолета Перова, в тринадцать русских, сидящих за этим столом?

После обеда мы пошли в библиотеку, и это было интересно — по меньшей мере для меня, просидевшего все молодые годы в библиотеках и архивах. Высокие стены книг в потемневших от времени кожаных, а то и железных переплетах. Редкие рукописи, украшенные мастерами, тончайшую работу которых можно оценить только с помощью сильной лупы. Три тысячи пятьсот автографов знаменитых людей. Рядом — маленькая библиотека, где хранятся произведения, написанные де Линями, и среди них рукопись, посвященная возлюбленной маршала, с обнадеживающей надписью, которую можно перевести так: «Экспромт души, в бессмертие которой я начинаю верить, потому что чувствую, что моя привязанность к вам — бессмертна».

Мы вернулись в салон — должно быть, надо было запомнить его коллекции или хотя бы его название. Но я запомнил только маленькую речь, которую сказал в этом салоне И. А. Дядькин. Прощаясь с хозяевами, он сказал, что до сих пор знал и высоко ценил лишь простых людей Бельгии, а теперь он видит, что и знатные люди могут быть такими же мужественными и сердечными, как простые.

### Вторник. Вечер

Все это было во вторник днем, а вечером, гуляя по Брюсселю, мы забрели на улицу публичных домов, не помню ее название, в двух шагах от бульвара Адольф Макс. Впрочем, это не публичные дома — они запрещены в Бельгии, — а обыкновенные кафе с большой витриной, полузавешанной кисеей. В витринах выставлены девушки. Это не куклы, а живые люди, — но, в сущности, они именно выставлены. Вы можете помедлить перед любой из них, сравнить и, если вам захочется, выбрать. Таким образом, некогда вручавшийся посетителям традиционный альбом фотографий развернут в длину, и, чтобы посмотреть его, нет необходимости переворачивать страницы. Вся улица представляет собою этот альбом с той разницей, что перед вами натура, а не фото. Одни сидят неподвижно, положив ногу на ногу, а руки на подлокотники кресла, в позе терпеливого ожидания, другие смеются, заывают. Черненькая девушка, увидев нас, широко открыла глаза, подмигнула — и последовала серия выразительных жестов. Они означали, как объяснил наш спутник, который живет уже несколько лет в Брюсселе: «Отправьте свою даму домой, а сами валяйте-ка, ребята, ко мне!»

С нами была очень почтенная, остроумная, пожилая дама, и она сказала только: «Может быть, и в самом деле?»

Улица мягко освещена, и так же мягко освещены уютные, пустые кафе. Очень тихо. Начало одиннадцатого. Прохожих немного. Вот моряк, энергично шагая, пробежал, вернулся и вдруг замер у одной из витрин. Вот почтенный пожилой господин прошел, заложив руки за спину и разглядывая девушек внимательно и неторопливо.

Вот, болтая и смеясь, переходя с одной стороны улицы на другую, прошла компания молодежи. Мы тоже смеялись и болтали. Наш спутник рассказывал о том, откуда главным образом вербуются девушки и как все это происходит — в общем, вполне благопристойно.

Рядом с кафе — номера. Вам вручается ключ. Кисейная занавеска задергивается. Кресло пустует. Но если витрина еще освещена, подождите, девушка вернется. Ну, а уж если свет погас — ничего не поделаешь! Выбирайте другую или приходите завтра!

Было что-то непостижимое в обыкновенности ожидания, которое в иных кафе короталось чтением или игрой, кажется, в шахматы, — в конкретности товара, выставленного на витринах, в сдержанности объявлений, висевших на дверях и приглашавших новых девушек на работу.

Слабое чувство удивления, которого я как бы стыдился в молодости, вернулось ко мне, когда я представил себе встречу людей, шагающих через застенчивость, неуверенность, естественное чувство стыда, через все, отличающее любовь от унылой необходимости этих отношений.

### Малиновый звон

Кто не знает исконного русского выражения «малиновый звон»? «Ударил в соборный колокол — густой, малиновый гул его разлился по необъятному пространству», — писал Мельников-Печерский («В лесах»). В пристрастном и искусном отборе, который произвел в литературном языке гениальный Лесков, сохранилось это поэтическое выражение: «У городской заставы встретил (Туберозова) малиновый звон колоколов» («Соборяне»).

У меня бывает Володя Савченко, молодой человек, инженер одного из московских заводов. Он пишет рассказы, в которых негромкий, но искренний голос звучит с поэтической определенностью, подсказанной



логикой правды. Он учился в кавалерийском училище и однажды упомянул о том, как курсанты делали себе шпоры с малиновым звоном. Колесики вырезали из закаленной стали чешских или немецких пил, и почему-то особенно трудно было проделывать в этих колесиках дырки. Зато звенели такие шпоры на диво долго, нежно. Звук еще не утихал, как его порывисто догонял другой. На свидания иначе и не ходили, как в шпорах с малиновым звоном. Легко вообразить, как был удивлен Володя, когда я сказал ему, что этот гусарский звон впервые назвали малиновым русские, проходившие в 1813 году через город Малин.

Мы провели в этом городе два или три часа, и тем не менее, вспоминая о нем, я поражаюсь отчетливости своих впечатлений. С той минуты, как, выйдя из автобуса, я увидел размахнувшуюся, неправдоподобно великанскую башню собора Святого Ромбо, ощущение сказочности охватило и уже не оставляло меня.

Что-то не получилось с нашей туристской программой — не то мы опоздали к знаменитому колокольному звону, не то отлучился куда-то звонарь. Саша Отсолиг ушел, размахивая длинными руками, мы нетерпеливо ждали его, и все-таки это ощущение не только не проходило, а даже усиливалось, точно я знал, что в Малине должно что-то случиться — то, что непременно запомнится на всю жизнь.

Скажу заранее — ничего особенного не случилось. Но предчувствие не обмануло меня.

Из собора мы пошли смотреть знаменитую куклу Оп-Синьорке, которой гордится Малин. Опять неудача — куклу куда-то увезли. И все-таки меня не оставляло счастливое чувство. Я не мог наглядеться на галереи-аркады с тонко вырезанными решетками, на белые полосы, неожиданно опоясывающие стройные башни с острыми шпилями, на крыши с уступами, по которым, как по лестнице, поднимается взгляд.

Мы куда-то пошли, или, вернее, нас куда-то повел высокий сдержанный бельгиец из отдела туризма. Одна маленькая площадь, на которой, ничего не меняя, детский театр мог бы сыграть «Уленшпигеля», другая — и во дворе открылось не обещавшее никаких неожиданностей современное здание. Странно было только одно: у входа в это здание стояли две куклы, мужская и женская, высотой в два человеческих роста, в нарядных костюмах, с загадочно улыбающимися набелеными лицами.

Должен сознаться, что я люблю кукол и даже сам режу их из сосновой коры. Судите же, как мне было приятно посмотреть выставку, на которой представлены куклы всего мира. Здесь были, разумеется, и русские куклы — не только образцовские, но и старинные, народные — Петрушка, Цыган с медведем. Куклы мастеров стояли отдельно под стеклянными колпаками: маркизы и погонщики мулов, мельники и уличные музыканты. Здесь был монах с воздетыми в комическом негодовании руками, мушкетер, только что объяснившийся в любви и, видимо, получивший отказ, потому что иначе он не сидел бы с мрачным лицом, уткнувшись подбородком в эфес своей шпаги. Здесь была летящая куда-то в развевающейся мантилье белокурая испанка, остановившаяся и повернувшая маленькую изящную голову нарочно, чтобы обратить на себя внимание. Здесь был лихой забулдыга, сделанный из старого рваного башмака. А в главном зале на высоком деревянном постаменте полусидел-полулежал, развязно откинувшись, сам Оп-Синьорке — большой, в запачканном камзоле, с растрепанной головой. Судя по тому, как он лукаво улыбался своими толстыми, точно раздавленными губами, можно было с уверенностью сказать, что он-то знает, почему из-за него происходили драки и почему теперь его приковали к постаменту прочной железной цепью.

Как указывается в архивах города Мехелен (Малин), эта кукла была вырезана из дерева мастером Валенштейном Ван Ландскроном в 1647 году. Прозвища ее несколько раз менялись. То она называлась Дурная Голова, то Грязный Жених. Окончательное название Оп-Синьорке, что значит антверпенец (местные жители в насмешку называют антверпенцев синьорами), она получила в 1775 году.

«Грандиозные кортежи,— говорится в архиве,— привлекали народ в бывшую столицу Нидерландов. Четвертого июня 1775 года, когда кортежи вверху и ловили в развернутое полотно, упал на некоего Якобюса Леу из Антверпена. Пытавшийся закрыться руками от падавшей куклы, Якобюс Леу был обвинен в ее краже. Жители Мехелена избили его и посадили в тюрьму. Однако ему удалось бежать, он вернулся в Антверпен весь окровавленный и написал жалобу в магистрат Мехелена...»

Хотя из этого сообщения можно с достоверностью заключить, что никто не покушался на драгоценную городскую куклу, жители Малина все же спрятали Оп-Синьорке в сундук и закрыли на ключ. Оказывается, не напрасно. Прошло около двухсот лет — ни много ни мало, — и студенты Антверпена стащили куклу вместе с сундуком из городского музея. Это произошло 7 декабря 1949 года, а через месяц Оп-Синьорке был возвращен городу Малин, «к великой радости его жителей», как нам сообщили в отделе туризма.

Иностранец, остановившийся перед Оп-Синьорке, с интересом выслушает этот исторический экскурс. Однако он невольно подумает и о том, что по сравнению с современной куклой, давно ставшей предметом искусства, Оп-Синьорке силен лишь несомненным сходством с теми, кто избил ни в чем не повинного Якобюса Леу.

Сдержанно улыбающийся бельгиец из отдела туризма снова повел нас куда-то, и, пока мы шли вдоль домов, расчерченных белыми полосками по темно-красному фону, я чувствовал себя не на улице или площади, а внутри какого-то воплощенного на века театрального эскиза. Откуда взялось это ощущение? Может быть, к экстерьеру некогда относились, как к интерьеру, то есть строили город, как теперь строя: внутренность дома? Может быть, взлетающий уступами фасад важен не потому, что он был внешней стороной дома, а потому, что находился внутри города, обнесенного стеной? Я не успел продумать эту мысль, которая, может быть, покажется наивной знатоку архитектуры, когда мы пришли в консерваторию звонарей.

Не знаю, есть ли еще где-нибудь консерватория звонарей. Наверное, есть. Недавно я прочитал роман Дороти Сейерс «Девять колоколов», в котором, с характерной для этой писательницы серьезностью, детективный сюжет искусно развит на фоне жизни глухой деревни Восточной Англии. Колокола не только вплетены в запутанную, но естественно, без напряжения распуывающуюся историю, но сами как бы являются героями книги. В глубине ее все время слышится колокольный звон.

Вот что пишет Сейерс об искусстве английских звонарей:

«Это искусство — своеобразная особенность Англии и, как большинство подобных особенностей, непонятна остальному миру. Музыкальному бельгийцу, например, кажется совершенно естественным, что хороший подбор колоколов существует для того, чтобы исполнять музыкальные произведения. Для английского звонаря это детская забава. Сущность благовеста в английском понимании этого слова заключается в математических чередованиях и сочетаниях... Для обыкновенного человека благовест — это монотонный, повторяющийся шум, скучноватый, но приятный, когда он смягчен далеким расстоянием или поэтическим воспоминанием. Для английского звонаря это — страсть,

которая находит свое удовлетворение в максимальной полноте и в механическом совершенстве...»

Бельгийское искусство упомянуто с оттенком пренебрежения. В самом деле, мрачную историю, рассказанную в «Девяти колоколах», невозможно вообразить на фоне светлого малинового звона. В Бельгии колокола давным-давно, еще в XIV веке, были поняты не только как голоса, напоминающие о долге человека перед богом, а как музыкальный инструмент, на котором можно исполнить ноктюрн, и прелюдию, и фугу. Диапазон у этого инструмента огромный, ведение голосов напоминает орган, но сопровождающий звук гаснет раньше, чем в органе. Поэтому сплетение их совершенно лишено того оттенка молитвенности, который невольно сквозит в протяжном звучании органа.

Наконец еще одно неопценное преимущество, которое ставит колокола выше многих других инструментов: они звучат не в концертных залах, не в церквях или соборах, а над городами, и слышат их не только люди, но поля, леса, реки.

В Малинской консерватории звонарей всего пятнадцать студентов, уже окончивших консерваторию в других городах по классу рояля или органа. Наш сдержанно улыбающийся бельгиец вызвал одного из студентов. Пришел рыжеватый юноша, тонкий, с нежно-розовым лицом, еще больше порозовевшим — от смущения или любопытства, — когда он увидел русских туристов.

Через два дня, в Брюгге, глядя на работы Иоганна Мёмлинга, я вспомнил лицо этого юноши и поразился тому, как мало изменился исконный фламандский тип с XV века. Юноша из Малинской консерватории был написан фламандскими мастерами тысячи раз. Та же округлость черт, голубизна глаз, нежность, на дне которой таится решительность и даже жестокость.

Недаром тысяча девушек в знаменитых панно Мёмлинга «Святая Урсула» так поразительно похожи одна на другую.

Что же сделал этот фламандец из фламандцев, которому благодарные русские туристы подарили множество значков и альбомов? Сперва он показал нам, как играют на колоколах, и это было совсем не похоже на неустанный сгибающийся движения человека, раскачивающего веревку, на каторжный труд английских звонарей, о котором с таким блеском рассказала Дороти Сейерс. Скорее это напоминало движение органиста. В комнате стояла похожая на старинный ткацкий станок модель инструмента, приводящего в движение колокола. Звонарь взял несколько нот, потом терцию, кварту. Потом он исчез, а мы отправились в консерваторский дворик, и, примостившись кто где, прослушали концерт на колоколах. Сперва артист исполнил прелюдию старого фламандского композитора Стафа Нееза, потом две русские народные песни — «Колыбельную» и «Эй, ухнем». Мне трудно судить о прелюдии, да и необычайность инструмента, который я прежде никогда не слышал, мешала мне в первые минуты концерта. Я слушал не пьесу, а колокола. Но все мы восторжничали, когда над городом Малин, над окаменевшим европейским средневековьем, сперва как бы простоудушно, а потом все с большей глубиной и силой зазвучала русская песня.

Откуда этот мальчик, точно сошедший с картин Мёмлинга и Ван Эйка, откуда он знает, что «Эй, ухнем» надо играть так, чтобы одному вспомнилось детство в маленьком старинном городке, другому война с ее невыносимыми потерями, горечью и гордостью, а третьему — бессмертная сцена охоты в «Войне и мире», Наташа, танцующая с платочком, и дядюшка «Чистое дело марш»?

Что это за чудо музыки, открывающее в человеке то, что казалось давно и навсегда забытым, и позволившее этому мальчику, который никогда не был в России, так сыграть русскую песню?

### Русские судьбы

Я не стану писать об Антверпене. Мне не хочется, чтобы беглость, которой была отмечена наша поездка, наложила свой отпечаток на эти заметки. В Антверпене было много интересного. Накануне ночью вернулся И. А. Дядькин, который расстался с группой еще в Брюсселе, чтобы навестить своих друзей военных лет. Я спросил, как его встретили, и он ответил, растроганно улыбаясь:

— Ну как... Ян Бос, Ян Бос! Детей ко мне носили, показывали. Выпили, конечно. Из дома в дом ходили. Хорошо встретили.

Пришло время ответить, почему Ивана Афанасьевича приняла (ныне покойная) королева Елизавета. Но для этого придется совершить небольшое путешествие не только во времени, но и в пространстве.

Я хорошо знал П. П. Вершигору, автора прекрасной книги «Люди с чистой совестью». Мы много говорили с ним о партизанской войне. История превращения мирного человека, художника, кинорежиссера, в генерала, школа самопознания, осветившая такие склонности ума и характера, о которых он и сам не подозревал,— вот что в особенности интересовало меня в его рассказах. Пожалуй, это характерно для многих участников партизанского движения. Но русские, сражавшиеся в Бельгии, были, естественно, люди военные, бежавшие из шахт и лагерей. Бригаду «За родину» возглавляли подполковник К. Д. Шукшин, участник гражданской войны, командир танкового полка, и лейтенант И. А. Дядькин, окончивший артиллерийское училище незадолго до начала войны. Судьбы у них разные, и в дальнейшем я буду придерживаться истории Ивана Афанасьевича. Ведь я был как бы поздним свидетелем того, что он сделал и что теперь, двадцать лет спустя, снова прошло перед его глазами.

Он бежал из захваченной немцами угольной шахты, бельгийцы нашли его в деревне Марлоо, переодели и спрятали. Но переодеваться и прятаться только для того, чтобы спасти свою жизнь,— это было не в характере Ивана Афанасьевича и тех, кто бежал вместе с ним. Они хотели драться. Так было решено на тайном собрании в лесу, недалеко от деревни Марлоо.

Но где взять оружие? Подпольная бельгийская организация считала, что время для партизанской войны еще не наступило. «А когда наступит,— сказал Дядькину руководитель одной из этих организаций,— русских в стороне не оставят и оружие им дадут». Бельгийцы ждали второго фронта. «Успокоил ты меня, приятель»,— только и подумал вместо ответа Иван Афанасьевич.

Оружие надо было добывать собственными руками, и партизаны занялись этим последовательно и неутомимо. «Нет автоматов и пулеметов, так есть ножи!» И они начали с того, что вышли на дорогу, вооруженные ножами, и, разоружив немецкий патруль, вернулись с двумя автоматами.

Два пятнадцатизарядных пистолета были добыты в селе Лозен, куда Дядькин и Пьер (бельгийский партизан) поехали на велосипедах, чтобы сговориться о совместных действиях с командиром группы «Белой бригады». Гестаповцы — обладатели пистолетов — были застрелены среди бела дня во время танцев на веранде кафе.

Недаром, когда союзники заняли Бельгию и русским партизанам было предложено сдать оружие, Дядькин ответил представителю английского штаба: «Мы к вам в плен не сдавались, господин полковник, и оружие у вас не брали». На фотографии, приложенной к книге и напоминающей времена нашей гражданской войны, видно, как партизаны дорожили оружием: пулеметчик опоясан лентами, автоматы нацелены

на объектив фотоаппарата и сам Иван Афанасьевич, молодой, с богатой шевелюрой, не просто держит в руке, а как бы показывает пистолет, может быть, тот самый пятнадцатизарядный, из-за которого он уложил гестаповцев в кафе близ Лозена.

С книгой А. Вольфа я ознакомился, лишь вернувшись в Москву, и пожалел, что не читал ее прежде. Представить себе, что наш Иван Афанасьевич, от которого так и веет мирной деревенской жизнью, был народным героем Бельгии, что за его голову немцы предлагали сто тысяч франков, — это было решительно невозможно. Впрочем, и в годы войны внешность двадцатидвухлетнего лейтенанта не соответствовала его репутации, иначе бельгийцы не спрашивали бы о Яне Босе самого Ивана Афанасьевича, как это случилось не раз.

Я не буду — да это и невозможно — рассказывать о деятельности русских партизан в Бельгии. Отсылаю читателей к книге А. Вольфа. Читая ее, я спрашивал себя: откуда взялись у партизан эти таинственные прозвища — Ян Бос (Ян из леса), Вито Дюйвол (Дмитрий Соколов, командир одного из отрядов), Метеор (Василий Кучеренко, начальник разведки)? Этот смертельно опасный маскарад, когда приходилось переодеваться в мундир немецкого офицера, в сутану аббата? Эти условные сигналы, шифры, свисты, крики совы? Когда Шукшин через пятнадцать лет после войны посетил Бельгию и приехал к партизанской Матери Елене Янссен, он постучался в окно ее дома пять раз: три коротких удара и после паузы два неторопливых — условный сигнал.

Мне кажется, что все это — отражение каких-то прочитанных в детстве книг. Недаром Горький писал, что Рокамболь учил его быть стойким, а герои Дюма внушали желание отдать жизнь великому делу.

История русской партизанской бригады — это не только открытые налеты на банки и склады оружия, не только шифрованная переписка, не только неслыханно смелая разведка. Это история о том, как бельгийские женщины вышивали знамя бригады, носили знамя из дома в дом, потому что каждой хотелось сделать хоть три-четыре стежка. Это разгадка сложных провокаций, когда немцы пытались подражать тактике партизан. Так был подослан в бригаду и остроумно разоблачен Черный Голландец — присланный из Берлина крупный агент гестапо.

Но, может быть, самая поразительная история произошла у Ротемских мостов, когда англо-американские войска углубились в Бельгию и остановились перед каналами, соединявшимися с Маасом. Бельгийцы решили удержать эти мсты, желая облегчить союзникам трудную задачу. И вот «...со всей округи потянулись в лес бельгийцы. Они шли по дорогам в одиночку, небольшими группами, а иногда и толпами, всей деревней. Шли проселочными дорогами, просеками, лесными тропами. Шли мужчины, юноши, женщины. Шли шахтеры, крестьяне, бывшие солдаты и офицеры, торговцы и священники. Шли коммунисты, те, кто был душой Сопротивления... И шли католики, члены «Белой бригады» и «Секретной армии», паролем которых был лозунг «Да здравствует король!»... Правда, у них мало оружия: один держит на плече тяжелую дедовскую винтовку, у другого за спиной охотничье ружье, у третьего болтается на поясе старый, почерневший от времени револьвер. У многих и совсем ничего нет. Но это не беда: им дадут оружие в лесу, им помогут союзники!..»

Не помогли им союзники. Оружие привезли русские партизаны, которые переоделись в немецкие мундиры и захватили несколько машин с боеприпасами. Объединенные силы бельгийских, голландских и русских партизан прочно закрыли все подступы к Ротемским мостам. Торжественный молебен, на который Шукшин с товарищами пришли, чтобы не обидеть друзей, был отслужен в походной церкви перед решающим боем.

Не было ни малейшей надежды выиграть этот бой. Более того, руководители уже знали, что, даже если удастся удержать мосты, союзники не воспользуются возможностью переправы. Американские колонны стояли в пятнадцать километрах от партизан. С трудом добравшись до них, связные доложили, что партизаны держат мосты, и получили ошеломляющий ответ, положивший конец всем надеждам: «Штаб будет действовать в соответствии с планом операции». Помощь партизан, их усилия, их риск и кровь, их отчаянье в эти планы не входили.

Десять дней бельгийские и русские партизаны держали мосты. Немногие уцелели, пройдя в обжигающе-холодной воде по бетонным трубам, проложенным под каналами. Немцы заняли мосты, и союзники простояли перед каналом еще почти месяц. Десантная дивизия, которую Монтгомери забросил в тыл за Маас, была полностью уничтожена. С побережья Голландии, которая давно была бы занята, если бы союзники воспользовались успехами бельгийских и русских партизан, немцы обстреливали летающими снарядами Лондон и били по Антверпену, основному порту снабжения союзников в Западной Европе.

### Брюгге

Мне было десять лет, когда я выдавил стекло книжного шкафа (мой старший брат, студент, запирает его на ключ, уезжая в Петербург после летних каникул) и ринулся с головой в «Приложения к «Ниве» — был такой журнал, издававшийся А. Ф. Марксом и знаменитый главным образом своими «Приложениями», собраниями сочинений русских и иностранных писателей, старых и новых. Читая эти «Приложения» подряд в хронологическом, но почему-то обратном порядке — от Ибсена до Екатерины Второй, — я наткнулся на роман Роденбаха «Мертвый Брюгге» в зеленой обложке, на которой были нарисованы падающие листья. До сих пор помню, где он стоял — рядом с романом Шпилльгагена «О чем пела ласточка».

Старшие братья спорили о Метерлинке, о Роденбахе, и мне казалось, что мертвый Брюгге чем-то похож на наш град Китеж, опустившийся на дно волшебного озера, чтобы избежать нашествия Батыя.

Ничуть не бывало! Это была книга о вдовце, который так любил свою жену, что сохранил не только все ее портреты и платья, но даже «длинную, отливающую теплым золотом косу». Тоскуя, он долго бродит по старому городу, где «все дни похожи на День Всех Усопших». Потом влюбляется в артистку балета, которая поразила его сходством с покойной женой. Но сходство обманывает, артистка изменяет ему, и на последней странице он душит ее косой. Таким образом оказывается, что коса, долго висевшая без надобности в стеклянном футляре, наконец пригодилась.

Я скучал над «Мертвым Брюгге» — тихие воды каналов, бесшумные шаги монахинь по церковным плитам. Но все-таки прочел книгу до конца согласно «правилам для развития воли», которые висели в ту пору над моей кроватью.

Недавно я вернулся к роману Роденбаха и удивился тому, как не похож его Брюгге на оживленный, довольно шумный город, полный противоречий даже на мимолетный взгляд и приоткрывшийся перед нами в бельгийской поездке. Все, как прежде, — каналы с низкими мостами, кружевницы на набережных, куранты колоколов. Мы слышали их, просыпаясь, и потом они повторялись каждые четверть часа. «Нежная музыка колоколов, точно исполненная на стеклянных струнах», как писал Роденбах. Но его «Мертвый Брюгге», в котором время как бы повторяет

себя, идя по заколдованному кругу, превратился в предмет обозрения, в «Северную Венецию», в обязательный параграф туристской программы.

«Северной Венецией» называют и Ленинград, который еще меньше похож на Венецию, чем Брюгге. В Венеции чувствуется распахнутость, открытость — может быть, потому, что когда-то она была городом морских разбойников, набегов, грабежей, городом, в котором каждая десятая женщина в начале XVI века была куртизанкой, а в XVIII веке карнавалы продолжались по полгода. «И пока он длится, все ходят в масках, начиная с дожа и кончая последней служанкой. В маске исполняют свои дела, защищают процессы, покупают рыбу, пишут, делают визиты. В маске можно все сказать и на все осмелиться... Никаких преград, никаких званий. Нет больше ни патриция в длинной мантии, ни послыщика, который целует ее край, ни шпиона, ни монахини, ни сбира, ни благородной дамы, ни инквизитора, ни фигляра, ни бедняка, ни иностранца» (П. Муратов, «Образы Италии»).

История с ее давно угасшими страстями еще существует в Брюгге, но как бы сама по себе. На его древних улицах бужут теперь главным образом торговые страсти.

Старину везде продают — и в Венеции, разумеется, тоже. Но в том, как ее продают в Брюгге, мне почудилось отсутствие вкуса, которым заслуженно гордятся бельгийцы. Мы долго стояли на берегу канала, глядя на старуху кружевницу в старинном народном костюме, которая быстро, не глядя, забрасывала одну за другой клюшки с привязанными к ним белыми нитками — плела кружева. Неприятно было увидеть через полчаса в лавочке сувениров выполненную с портретным сходством куклу этой старухи.

Впрочем, это мелочь в сравнении, скажем, с островом Маркен, под Амстердамом, где вас не покидает ощущение, что население целого городка не расстается с необычайно неудобным способом существования только потому, что это заставляет изумляться туристов. Маркен — в сущности, этнографический музей на открытом воздухе, где, полюбовавшись маскарадом мужчин в необъятно широких штанах и женщин с выбритыми затылками и намыленным козырьком волос над глазами, в длинных до пят платьях, на которые надеты цветные передники, а на передники — цветные телогрейки, вы невольно начинаете думать: как же работают, любят, рожают и воспитывают детей эти живые экспонаты?

Но вернемся в Брюгге. Мы поехали в Бегинаж, знаменитый женский монастырь-госпиталь, основанный в 1245 году. Кстати сказать, именно в Бегинаже происходят некоторые сцены роденбаховского романа. В маленьком музее — квартире монахини прежних лет — стоял пресс для отжимки белья: оказывается, в XVI веке белье отжимали деревянным прессом. Откидывающаяся крышка шкафа служила хозяйке обеденным столом — совсем как в современной малогабаритной квартире. Комнаты были просторные — столовая, спальня и кухня. Никто не купил открыток, которые любезно, но настоятельно предложила нам старушка — хранительница музея, в накрахмаленном высоком чепце. Других, молодых монахинь мы встретили на овальном, отражавшемся в воде мостике у Бегинажа. Однако о них нельзя было сказать, что они «прошли, еле нарушая безмолвие, подобно тому как лебеди в каналах едва изменяют неподвижную поверхность воды». Они были розовые, смеющиеся, хорошенькие и, кажется, ничуть не склонные забывать об этом. Шаги их звучали звонко, весело, а сами они чем-то напомнили мне франтоватых, здоровых молодых солдат.

Здесь кстати сказать о том впечатлении обдуманной, далеко идущей свободы поведения, которая давно стала характерной чертой современного католицизма.

Помню, как зимой 1957 года в двух шагах от Ватикана молодые аббаты играли в снежки. Это было необычайное зрелище: точно застывший в изумлении под мокрыми крутящимися хлопьями собор Святого Петра, кривые шапки снега на колоннаде Бернини — и здоровые парни в сутанах, с хохотом садящие друг в друга снежками.

Впечатление повторилось, когда, беспечно шатаясь по Брюгге, мы случайно наткнулись на собрание католической молодежи перед эстрадой в саду. Хор исполнял старинную песню, а самодеятельные артисты и артистки представляли эту песню в лицах. Не знаю, какую роль играли в мистерии три девушки, стоявшие на переднем плане, но любопытно, что одна из них была монахиня в традиционной одежде и высоком головном уборе, а две другие — в черных трико, выразительно подчеркивающих фигуры. Никого не смущал этот контраст, и, оценив спокойный интерес, с которым молодежь смотрела представление, я вновь подумал о том, что мы не знаем, что такое католицизм — не торопящийся, не стесняющийся и не стесняющий, но, без сомнения, требующий безотчетных, с закрытыми глазами, жертв, когда ему понадобятся эти жертвы.

...Нам повезло. Бойкий дух торговли, ожививший «Мертвый город» вопреки предчувствиям Роденбаха, вдруг явился перед нами во всем своем дешевом и шумном великолепии. Мы застали Кермес — ежегодную весеннюю ярмарку — и каждый вечер после осмотра старинных зданий заглядывали туда, чтобы потолкаться часок-другой в шумной, веселой толпе.

Боюсь, что читатель заподозрит меня в преувеличенном псковском патриотизме — я слишком часто вспоминаю о родном городе в этих заметках. Но что же делать, если Кермес действительно напомнил мне ярмарки моего детства? Такие же длинные полотняные шатры с прилавками, на которых навалены товары. Та же нарядная, играющая, разноцветная карусель с колокольчиками и гордыми круглоглазыми конями, и тот же столб с игрушкой подле карусели. В Пскове игрушку заменял конский хвост: тот, кому удавалось его сорвать, имел право прокатиться еще раз бесплатно. На эстраде аттракциона «Смелость и сила» я увидел увешанных медалями борцов, усатый директор во всеуслышание предлагал всем желающим сразиться с любым из бывших чемпионов. Борцы были удивительно похожи на псковских, и стояли они точно так же — отставив ногу и гордо сложив на груди толстые, с горами мускулов руки. И мальчишки точно так же свистели и — я уверен — так же ввали, что в прошлом году некий пекарь или маляр положил на обе лопатки знаменитую Черную Маску.

Но и аттракционы, и толпа, и лавки — все зрелище ярмарки было бесконечно более шумным, сверкающим и переливающимся, чем в Пскове. Издалека на тихих, рано пустеющих улицах слышался этот беспорядочный шум, и чем ближе, тем ослепительнее разгоралось сверканье, похожее на искусственный театральный закат.

Огромные носатые куклы стояли у павильона игрушек, а другие — с черепами и нарисованными на обтянутой одежде костями — у шатра чародея. Лотерея шелкала и вертелась, отражая мелькание неоновых обручей. На площадке, за эластичным барьером, кружились, сталкиваясь, автомобильчики, обтянутые резиной. Эта игра называется «родео». Я видел, как мальчишки лет по шестнадцати гонялись за хорошенькой девчонкой, со всего размаха ударяясь об ее автомобильчик и, очевидно, выражая таким образом свое восхищение. Но дети — вот что меня удивило! Четырех-пятiletние дети в этой суматохе кружащихся, налетающих, только что не встающих на дыбы маленьких машин! Я подумал и о другом: может быть, родители позволяют своим малышам участвовать в этой не вполне безопасной забаве, потому что хотят приучить их



с самого раннего возраста к находчивости, к уменью обороняться от любых случайностей уличного движения?

На фасаде «Дома ужасов» были изображены ярко раскрашенные ведьмы и черты с магически-зверскими, но ничуть не страшными рожами. Испуганные и восторженные возгласы вспыхивали за матерчатыми стенами шаткого сооружения; и мы с женой без колебаний уселись в низкую, скользящую по рельсам колясочку. Это было соблазнительно — испытать ужас!

Как на американских горах в Ленинграде, колясочка медленно поползла вверх, а потом стремительно покатила вниз, прямо в пасть нарисованного на дрожащей стене дракона. Но стена — о чудо! — запахнула, и мы помчались дальше, наслаждаясь скелетами и чудовищами, которые, дрожа и замахиваясь, выскакивали на каждом повороте...

В заключение о Брюгге: знаете ли вы, что по меньшей мере два-три раза в день мы вспоминаем этот город? Русское слово «брюки» происходит от названия фламандского сукна «брюкиш», привозившегося в XVII веке из Брюгге.

### Новое зрение

Ни о чем, кажется, не спорят с таким ожесточением, как о живописи. Я видел, как два почтенных седых гражданина готовы были выцарапать глаза друг другу перед картиной Пикассо на французской выставке в 1961 году. Почему так остры эти споры? Думаю, что в самой общей форме на этот вопрос можно ответить так: потому что одним кажется, что понимание искусства — сложно и дается с трудом, а другим — что искусство, которое удается постигнуть с трудом, — не искусство.

В бельгийской поездке много времени было отдано посещению музеев. Среди нас — я уже упоминал об этом — была Нина Николаевна Калитина. Но нам повезло не только потому, что она была среди нас, а еще и потому, что у нее оказался мягкий, терпеливый характер, и, хотя иногда она немного ворчала (про себя), не было случая, чтобы она уклонялась от наших бесчисленных просьб и вопросов.

Так же как наши ученые Д. Д. Зыков и К. В. Соляник-Красса стремились познакомиться с новостями бельгийской техники и науки, Нина Николаевна не потеряла даром и минуты. Разница заключалась в том, что ее интересы в разной степени разделялись всеми нами, чего нельзя сказать о химии или сопротивлении материалов.

Не отказываясь — зачем? — от всех приятностей поездки, подчас превращавшейся в праздник, особенно в часы наших веселых обедов, она не забывала о деле — и весело, непринужденно не забывала! У нее находилось время и прочитать лекцию, и встретиться с бельгийскими художниками, и вместе с нами пойти в музей, и без нас посмотреть то, что ей было нужно для работы. Не помню по какому поводу, она рассказала, как в студенческие годы товарищи по экскурсии схватили ее за руки и за ноги, раскачали и бросили в воду.

— А я вынырнула и кричу не «караул», а, к общему удивлению: «Аккредитив!»

И она и товарищи забыли, что аккредитив на всю компанию лежал в карманчике ее сарафана.

Слушая эту историю, я подумал, что Нина Николаевна со всей ее ученостью недалеко ушла от беленькой, круглолицей, быстроногой студентки, которую берут за ноги и за руки и, недолго думая, бросают в реку.

Мы были в музеях Брюсселя и Антверпена, видели в Генте знаменитый алтарь Ван Эйков. В Брюгге мы долго рассматривали раку святой

Урсулы работы Иоганна Мёмлинга, а в Гарлеме кинулись к Франсу Гальсу. Мы были на выставке современной скульптуры в Мидельгейме (Антверпен), где работы Родена, Цадкина, Гаргалло и многих других искусство монтированы в зеленое пространство парка. Словом, мы видели десятки скульптур и полотен, но если бы не Нина Николаевна с ее терпением (а иногда и нетерпением, по которому тоже можно было кое-что заключить), мы прошли бы, без сомнения, мимо сокровищ. Но удостоверились ли мы на деле, а не понаслышке в глубине и значении этих сокровищ? Не знаю...

Назым Хикмет, выступая на выставке Фалька, сказал, что по самому складу образования мы гораздо меньше подготовлены к пониманию живописи, чем литературы. В самом деле, открывая «Войну и мир» — разве не подготовлены мы к восприятию гениального произведения книгами, которые были прежде прочитаны нами? Каждый может прочесть книгу просто потому, что его научили читать. Этого нельзя сказать о живописи, в особенности если вспомнить, какое ничтожное место занимает изучение ее в средней школе. А ведь живопись тоже надо уметь читать. Здесь безграмотность особенно опасна, во-первых, потому что ее легко замаскировать, а во-вторых, потому что никому не хочется в ней сознаваться.

Умею ли я читать живопись хоть по слогам, если не бегло?

В 1919 году, когда Шагал был комиссаром по делам искусств в Витебске, а на Лобном месте в Москве стояла деревянная скульптура Коненкова «Стенька Разин с товарищи», я почти каждый день ходил на Пречистенку в Музей западной живописи. Стены двух пролетов лестничной клетки были раздвинуты контурными фигурами Матисса, напоминавшими мне танцующих вавилонских рабынь из учебника древней истории. Я смутно улавливал внутренний ритм, объединявший эти фигуры, через которые как бы можно было смотреть, но от которых почему-то не хотелось отрываться. Впоследствии, читая книгу забытого талантливого поэта Константина Вагинова «Опыты соединения слов посредством ритма», я вспомнил эти работы Матисса.

Ван-Гог поразил меня роковой невозможностью писать иначе, настигшей его, как настигает судьба. По одной только «Прогулке осужденных» можно было, ничего не зная о нем, угадать его приговоренность к мученичеству и непризнанию.

В зале Гогена я с головой кидался в странный, деревенский, разноцветный мир, к которому удивительно подходило само слово «Таити». Коротконогие коричневые девушки, почти голые, с яркими цветами в волосах, — я смотрел на них с тем чувством счастья и небоязни, о котором Пастернак написал в стихотворении «Ева»:

О женщина, твой вид и взгляд  
Ничуть меня в тупик не ставят.  
Ты вся — как горла перехват,  
Когда его волнение сдавит.

Но и это чувство, так же как воспоминание об Ассирии, когда я смотрел Матисса, так же как попытки разгадать трагическую судьбу Ван-Гога, не мешали еще чему-то очень важному — тому, что я видел как бы сквозь свои мысли и воспоминания и что доставляло мне особенное, совершенно новое наслаждение. Конечно, это был только первый шаг к пониманию формы, которая, может быть, и должна оставаться незамеченной, но постижение которой с необычайной силой приближает нас к произведению искусства.

Прислушиваясь к этому чувству, я принялся через несколько лет за роман «Художник неизвестен». Я написал его дважды. В первой редакции, оставшейся в рукописи, он напоминал трактат об искусстве, в котором я стремился столкнуть два взгляда на жизненную задачу — «расчет на романтику» и «романтику расчета». Книга была написана без глубины, без ощущения подлинности, гибель героя была не бескорыстной в том смысле, что и она как бы служила доказательством его правоты. Юрий Тынянов, мой друг и учитель, прочитав рукопись, сказал, что в романе мало прозы, и процитировал «Охранную грамоту» Пастернака: «Мы втаскиваем вседневность в прозу ради поэзии».

Я написал роман снова. Чтобы втащить в него «вседневность», надо было самому стать его участником или, на худой конец, необходимой деталью.

В биографической книге «Оглядываясь назад» Кандинский, рассказывая о своей поездке в Вологодскую губернию в 1899 году, пишет, что он был поражен, увидев крестьян, одетых в многоцветные костюмы и выглядевших, как ожившая живопись. Войдя в избу, он испытал странное чувство, что он «окружен со всех сторон Картиной», что он «как бы вошел в Картину сам и стал ее частью».

Именно так — окруженный со всех сторон Картиной — я снова написал свой роман. Точнее сказать — окруженный живописью, потому что поэзия и проза, театр и кино — все было связано тогда с живописью, самоотверженной, бескорыстной и требующей лишь одного — доверия. Натан Альтман еще не занимался театром, а Малевич с учениками еще не расписывал на заводе имени Ломоносова фарфоровую посуду. Мейерхольд, принявший революцию как самый совершенный способ существования в искусстве, действуя, как платоновский демиург, строил свой неповторимый мир, убеждавший зрителя в том, что все должно быть иначе, чем прежде. Довженко работал над «Землей», в которой каждый кадр был ожившим полотном живописца. Но чувство доверия, без которого ничего не удается в искусстве, ушло с двадцатыми годами, и наступили тридцатые с их повелительностью и подозрительностью, когда многие мастера потеряли уверенность в том, что новое зрение, которым они обладали, необходимо времени и народу. Об этом-то, в сущности, и написан роман «Художник неизвестен». Книга была для меня невольным прощанием с живописью, от которой жизнь с тех пор отдаляла и отдаляла меня.

Я помню выставку Филонова, встреченную равнодушно, почти враждебно. Где теперь его полотна? Говорят, что, завернутые на палку, они стоят нетронутой толстой колонной где-то в подвалах Русского музея в Ленинграде. Это кажется почти невероятным. Но видел же я тому назад лет пятнадцать первоклассные произведения двадцатых годов в закоулках запасника Третьяковской галереи! В закоулках было почти темно, и молодая служащая галереи любезно водила переносной лампой по запыленным полотнам Якулова, Кандинского, Шагала.

Многое изменилось к лучшему с тех пор и еще изменится, без сомнения, если этому снова не помешает то, что у нас почему-то принято называть волюнтаризмом, хотя учение Шопенгауэра, как бы к нему ни относиться, не имеет ничего общего с невежеством и грубостью. Шумная попытка этого самодовольного «волюнтаризма» предписать молодым, но сложившимся мастерам работать так, а не иначе кажется в наши дни не только наивной, но странной. Двух или трех художников даже наказали тогда, переведя из членов Союза в кандидаты, как будто это могло заставить их другими глазами посмотреть на мир и даже, если удастся, вернуться к благословенной юности, чтобы прожить свою жизнь сначала...

К счастью, все это позади. Развитие живописи немыслимо без борьбы направлений, и с каждым годом все труднее делать вид, что никто не замечает этой борьбы. Жизнь не стоит на месте. Меняются отношения в искусстве, меняется и отношение к искусству. Покончено, например, с необъяснимым недоверием к импрессионизму — полотно великих мастеров, украсившие молодость моего поколения, недавно побывали в Париже, и мы с гордостью показали французам принадлежащие нам несметные богатства.

В октябре я был на выставке молодых художников Еревана и от души порадовался обилию и разнообразию хороших работ. Какая керамика, какая тонкая резьба по дереву и камню, как оживает, набирая силу, древнее искусство чеканки!

Прислушиваясь к спорам, глядя на умные, взволнованные лица, я спрашивал себя: так ли уж правы литераторы и педагоги, упрекающие нашу молодежь в расчетливости, в рационализме? Так ли уж мало юношей и девушек, кидающихся с головой в профессию, которая требует отнюдь не практической сметливости, а вдохновения и едва ли обещает легкую жизнь?

### Зеркало совы

Большая часть моего архива, та, которую я отдал на хранение одному историку литературы, погибла в годы ленинградской блокады, меньшая, оставшаяся в моем письменном столе, — сохранилась. Среди немногих рукописей я нашел юношескую повесть «Филька Зеркальная Рожа». Пострадала и библиотека. Опытный книжный вор стащил все книги с автографами, в том числе «Urbi et Orbi» Брюсова с стихотворным посланием, написанным его рукой на обороте титульного листа.

Когда я вернулся в Ленинград, домашняя работница принесла толстую книгу и с гордостью сказала моему восьмилетнему сыну: «Вот, Коля, зато я твоего Шпигеля сохранила». Шпигель — это, конечно, Уленшпигель (в пересказе для детей Н. Заболоцкого), а «Филька Зеркальная Рожа» — повесть, в которой я старательно подражал Шарлю де Костеру. (Уленшпигель — это значит «зеркало совы».)

Любовь к этой книге началась давно, еще в 1920 году, когда восемнадцатилетним юношей я приехал в полупустой Петроград и купил ее у букиниста на Литейном проспекте. Теперь трудно передать впечатление, которое я испытал, читая «Легенду об Уленшпигеле и Ламме Гудзаке».

Я писал тогда фантастические рассказы: скиталец Ван-Везен, утопив смерть в бочке с вином, бродил по морям на последнем фрегате Великой Армады, а сам господь-бог, принявший образ шулера, под прозрачным именем Дьё играл судьбами человечества в игорных домах Санкт-Петербурга.

В книге Ш. де Костера я почувствовал то, что можно назвать историзмом народной фантазии, вещественностью поэзии, основанной на трезвом ощущении действительности и одновременно способной передать все очарование безудержного вымысла. И какими же беспомощными, мнимооригинальными показались мне мои полудетские видения! Помню, что, запечатав рукопись своих первых рассказов широкой бумажной лентой, я поставил на ней большой крест и немедленно принялся за «Фильку Зеркальную Рожу».

Теперь, через много лет, я вновь прочитал эту повесть, переписанную в двух школьных тетрадях с пометкой на обложке: «80850 печатных знаков» — несомненный признак надежды увидеть свое произведение в печати.

Подражая Ш. де Костеру, я дважды повторил в разных вариантах знаменитую сцену в публичном доме у старухи Ставен, когда Уленшпигель и Ламме под грозный и однообразный возглас «Время звенеть бокалам» громят сыщиков Кровавого Судилища. На месте толстого Ламме — костлявый подьячий по прозвищу Неудача, выгнанный за пьянство из посольского приказа. Костеровская параллель: Филипп II — Уленшпигель — соответствует в моей повести параллели: Иван Грозный — Филька Зеркальная Рожа. Подражание наивное, детское, однако отмеченное намерением, которое до сих пор не потеряло, мне кажется, своего значения. При всей своей несамостоятельности, повесть пронизана русским фольклором. Гулянье Фильки и Неудачи в кружале на Вшивом рынке построено на хватливой, повторяющейся поговорке: «У кого сини очи? — У пьяницы. У кого язык долгий? — У пьяницы. Кто удавился? — Пьяница. На ком платье худое? — На пьянице. Кто скареда? — Пьяница. Кому бесы чашу держат? — Пьянице!» Прибаутка: «Где ж это видано, где же это слыхано, чтобы курочка бычка родила, поросячек яички снес, безрукий — клеть обокрал, а слепой-то подсматривал, а глухой-то подслушивал» — развернута в сцену мошеннического гаданья Фильки в Торговых рядах.

Наша литература после Лескова сравнительно редко обращалась к фольклору как источнику сюжетных находок. Другое дело — стиль. Здесь уже в наше время сделано многое. Язык разговорный, бытовой, нелитературный М. Зошенко сумел сделать явлением искусства — чтобы увидеть его героя, достаточно, кажется, его услышать. Широко пользовался фольклором Е. Шварц в своих сказках и пьесах. Не «Баба-яга», а «Девочка-яга», не «Дедушка-мороз», а «Прадедушка-мороз» — новые образы, возникшие на основе народных выражений.

Но сюжеты фольклора, бесчисленные «истории», столетиями разнообразно повторяющиеся в сказках, притчах, былинах, прошли мимо нашей литературы, хотя могли бы, без сомнения, обогатить ее, в особенности если говорить о литературе детской. Я имею в виду не только неоднократно изданные записи фольклористов, но и живую, устную, народную литературу. Мне об этом легко судить, потому что с недавних пор я переписываюсь с Игнатием Михайловичем Ивановским, переводчиком и литератором, директором средней школы в Архангельской области. Его письма полны метких наблюдений, немногословных, но точных описаний природы и сельского быта и более всего историй подлинных и фантастических, причем одни подчас не отличишь от других.

Вот история про лешего: «Девочка разбила горшок со сметаной, мать стала ее бранить. Девочка в слезах выбежала на крыльцо и видит: идет старший брат, женатый. Прошел мимо к лесу, поманил сестру пальцем. Она и пошла за ним. А это был леший. День к вечеру. Девочки нет. И на другой день нет. А на третий день объявилась девочка на Княж-острове, далеко от той деревни да через лесок. Ходит девочка за коровами, узелок в руке, голоса совсем не подает, как дикая. Собрался народ, стали имать (ловить).

— Ты кто? Откуда?

— С Койдокурья.

— А как через реку попала?

— А меня дедушка перенес.

— Какой дедушка?

— Седенький. Взял меня на закукорочки, да и перешел реку. Шанежек дал и налистничков.

Поглядели в узелок, а там коровьи говна...»

Характерные для северной деревни выражения поражают своей образностью, что, впрочем, вполне соответствует душевной цельности

тех знакомцев Игнатия Михайловича, о которых он мне пишет. Один из них, например, «на свадьбе не сказал своей невесте ни слова. После свадьбы и подавно. Днем работают, ночью спят — о чем говорить? Так и жили. Жена не могла наравдаться на своего мужика: не пьет, не гуляет, не бьет. Но однажды муж взял жену за руку и вывел на улицу. Там ждала запряженная лошадь. Посадил жену в сани, вынес ее сундучок, хлестнул лошадь и пошел в дом. Жена, рыдая, подобрала вожжи и поехала к матери. Расспрашивать, если муж сам не сказал, бесполезно, это она знала.

Год она жила у матери. Как-то в полдень сидели вокруг чашки и хлебали щи. Вошел муж. Жена снова зарыдала — от радости. Он не сказал ни слова, взял ее за руку и вывел. Снова лошадь и сундучок. С тех пор они прожили в полном согласии семнадцать лет. В чем ее вина, жена так и не знает. Может быть, просто учил, как жить».

Известно, как глубоко проникнута фольклором французская и в особенности английская детская литература. И не только детская. Ромен Роллан написал «Кола Брюньона», а Честертон — книгу рассказов на сюжеты пословиц и поговорок. Нет необходимости приводить другие примеры — их много. Напротив, в этом неожиданном отступлении мне хочется привести обратные примеры — еще не тронутых сокровищ русского фольклора. Кстати сказать, избитое слово «сокровище» как нельзя лучше подходит к этому случаю, потому что его первоначальное полузабытое значение — «то, что скрыто, богатство, драгоценность, все редкое, дорогое».

В середине пятидесятих годов Николай Заболоцкий увлекся мыслью пересказать для современного читателя русские былины и уже принялся за дело. Былина об исцелении Ильи Муромца была приложена к его письму в Детское издательство, в котором он изложил принципы работы. К сожалению, работа не была осуществлена, а между тем могла бы стать событием в нашей литературе. Ведь былины, к которым, надо отметить, наши дети навсегда теряют интерес еще в школе, полны неожиданных поворотов, необычайных приключений. Они вовсе не растянуты, напротив — лаконичны. Назначение ритма — многозначно. Он подчеркивает преобладающее значение торжественности, величавости и одновременно смягчает резкость, без которой нельзя обойтись в описании острых столкновений. Нетрудно представить себе, как прочитал бы, как по-новому рассказал бы их Н. Заболоцкий! Они стали бы увлекательным чтением для детей и взрослых.

Я не сравниваю эту обещавшую многое, но, к сожалению, едва начавшуюся работу с «Легендой об Уленшпигеле» и вспомнил об этом, потому что Ш. де Костер всю жизнь подвергался — и подвергается до сих пор — нападкам со стороны ревнителей фольклора. Он прожил героическую и глубоко несчастливую жизнь. «Странно, гений тотчас же вступает в разлад с имущественной стороной жизни, — писал Ю. Олеша в книге «Ни дня без строчки». — Кто этот однорукий чудак, который сидит... под деревянным навесом и ждет, когда ему дадут пообедать две сварливые бабы: жена и дочь? Это Сервантес. Кто этот господин с бантом и в тяжелом цилиндре, стоящий перед ростовщиком и вытаскивающий из-за борта сюртука волшебной заканивающейся, бесконечно выматывающуюся из-за этого щуплого борта турецкую шаль? Это Пушкин».

Цитату можно продолжить: «Кто этот нищий учитель, за которым ухаживает женщина, обезображенная волчанкой, и который, смеясь и задыхаясь, рассказывает уличным торговкам о том, как Ламме раскормил монаха? — Это Шарль де Костер».

Не менее печальна и судьба его книги. Он бросил службу, влез в

неоплатные, до конца жизни, долги, чтобы написать ее. Первое издание (1867) прошло почти незамеченным. Второе появилось лишь через четверть века (1893). Война 1914—1918 годов, в которой Бельгия оказала немцам упорное сопротивление, привлекла к «Легенде об Уленшпигеле» мировое внимание, но в самой Бельгии книга продолжала — и продолжает — оставаться в тени, и на это существуют особые, исключительные причины. Они станут ясны из двух цитат, принадлежащих исследователям Ш. де Костера. Отдавая должное поэтическому блеску «Легенды», С. Hanlet называет ее «пристрастным, грубым, несправедливым памфлетом»: «Слепая ненависть к духовенству одушевляет автора, связанного с либеральными философами и политиками шестидесятых годов... Он не видит разницы между королевской инквизицией, подчас жестокой и несправедливой, и умеренными действиями духовенства... Монахи, священники, епископы, даже сам Папа изображены как преступники, святые мученики смешаны с грязью, наши самые глубокие религиозные убеждения кощунственно растоптаны... Кто же наделен всеми добродетелями? Кто защищает свободу совести и страны? — Гёзы — шайка разбойников, находящаяся вне закона... Никогда еще наша история не была так искажена, а фламандский народ не был так высмеян и унижен» («Les écrivains belges contemporains», t. I, Liege. 1946). А вот что пишет Жозеф Ганс, редактор и комментатор первого научного издания «Легенды», вышедшего лишь в 1959 году: «Если вспомнить, что Ромен Роллан провозгласил всемирную художественную ценность этой книги, а Дюма поставил ее рядом с Илиадой, если почти все страны Европы и Америки воздали ей должное, можно ли сказать, что она получила признание и вызвала заслуженный интерес в Бельгии и во Франции? Многие ли валлоны и французы прочитали ее? Редко ли встречаются те, кто считает «Легенду» только блестящим переводом?» («Histoire illustrée des lettres françaises de Belgique». Bruxelles. 1958).

Преподавательница литературы, с которой я познакомился в Бельгии, сказала мне, что ее ученики едва ли слышали об Уленшпигеле, а сама она прочитала книгу только потому, что в семье сохранился ветхий «бабушкин» экземпляр.

Но читают «Легенду» или не читают (кстати, новое издание на французском языке недавно вышло... в Москве), важно отметить, что ее традиции не забыты в самой бельгийской литературе. Известный писатель Давид Шейнерт написал роман «Длинноухий фламандец» (1959) — о нем рассказал мне Федор Семенович Наркирьер, историк французской литературы и участник нашей поездки. Главный герой романа — Пьер Клок, бездомный бродяга, который выпускает на волю ручного льва из цирка, а на похоронах играет плясовую, чтобы чем-нибудь порадовать убитых горем родных. Правда, его детски-наивное кредо: «Я люблю, когда любят друг друга» — ничем не напоминает веселую мстительность Уленшпигеля. Но народное восприятие войны, поэзия народной жизни возвращают читателя к рыцарски-чистой атмосфере «Легенды».

...Было приятно найти в программе нашей поездки город Дамме — родину Уленшпигеля. Мне хотелось побродить по этому городу, поискать Долгую улицу, где в трактире «Бутылочные четки» в честь рождения Тия «был зажжен в брюхе пивной костер» и где он был окрещен в четвертый, но не в последний раз. Увы!.. Проездом в Остенде мы провели в Дамме только четверть часа. Ни наш гид, валлонец, ни шофер, фламандец, не знали, что наш автобус остановился на том самом месте у ратуши, где был сожжен угольщик Клаас, отец Уленшпигеля. Со странным чувством уверенности в том, что он действительно суще-

ствовал и действительно был сожжен, я стоял на этой маленькой площади, думая о том, что именно здесь бельгийцы должны были воздвигнуть памятник автору книги, в которой Бельгия говорит о себе правду и видит себя своими глазами. Но я увидел только вырезанную из жести черную фигуру Ламме Гудзака у входа в трактирчик, носящий его имя. Так в старину над булочной красовался золоченый крендель.

Едва ли горькая поговорка о том, что нет пророка в своем отечестве, находила когда-либо более убедительное подтверждение. Ведь у нас «Легенда об Уленшпигеле» начиная с первых послереволюционных лет входит в сознание каждого нового поколения. Книга издана двадцать пять раз общим тиражом более полутора миллионов экземпляров, неоднократно инсценирована и десятки лет не сходила со сцены многих детских театров. Прославленные актеры исполняли роль Тилья Уленшпигеля и Ламме Гудзака. Первоклассные художники оформляли спектакли и иллюстрировали издания. Об Уленшпигеле писали и пишут в стихах и прозе. Для каждого советского школьника Тиль — живое воплощение духа преданности и остроумия, беспечности и последовательности, воли и любви.

Еще о «Легенде»: я не успел съездить на могилу Шарля де Костера, и бельгийские друзья прислали мне фотографию памятника, воздвигнутого недалеко от могилы. «К сожалению, этот памятник почти никто у нас не знает...» — пишут они. Тиль — скуластый, вихрастый, чуть улыбающийся, сидит рядом с Неле, заботливо обнимающей его за плечи. Над ними в глубине — медальный портрет де Костера.

Нельзя назвать памятник шедевром. Лавровый венок вокруг профиля де Костера безвкусен; ладанка, висящая на груди Уленшпигеля («Пепел Клааса стучит в мое сердце»), грубо иллюстративна. И все же скульптура производит трогательное впечатление. Герои де Костера изображены как реально существовавшие люди. На пьедестале они сидят, как на заборе, со всей непосредственностью молодого свиданья, и этому не мешает даже рельефное изображение старого Дамме, которое (не без труда) можно разглядеть между их свисающими ногами.

Не знаю почему, но мне всегда становится весело, когда я встречаюсь с чудом обратного превращения искусства в действительность. Какова же сила литературы, если в Вероне вам показывают дом Джульетты, а на острове Ив — камеру, в которой граф Монте-Кристо встретился с аббатом Фариа? Испанцы поставили памятник Дон-Кихоту, американцы — Тому Сойеру и Бекки Тэчер. Нынешним летом наши школьники основали палаточный город Зурбаган на склонах Карадага и дали торжественную клятву верности Александру Грину. В Зурбагане — улицы Флибустьеров и Двенадцати Ветров. Правда, почта города состоит главным образом из приветствий, но придет время — я в этом не сомневаюсь, — когда адрес: «Зурбаган, улица Ассоль, дом-палатка капитана Дюка» — не будет удивлять работников связи.

В Старом Крыму, на высоком холме, над кладбищем, где покоится Грин, зурбаганцы сложили высокую пирамиду. На отполированном камне подножия высечены слова: «Здесь заложен памятник Александру Грину». На вершине пирамиды — бригантина.

У школьников свои представления о романтичности, неподсказанные и поэтому особенно дорогие для них. Высшая цель — скучна, если она лишена риска, не загадочна, не сверхъестественна, не изумляет. Грина нет в школьной программе. Нет его имени и в обзорах литературы, и в списке рекомендованных книг. Основатели Зурбагана прислушались к собственному, свежему и острому, голосу. Впрочем, это уж совсем особая тема.



### Дворец правосудия. Рыбный базар

Суд всегда казался мне полем битвы, на котором высокие чувства сражаются против ничтожных и низких. Конфликты, о которых так много толкуют в нашей литературе, проходят здесь перед нашими глазами — самые острые, потому что отношения между людьми становятся делом суда, лишь когда они достигают наибольшей остроты. Вот почему я обрадовался, узнав еще в Москве, что среди нас находится юрист, да еще член президиума коллегии адвокатов. Я уже упоминал об Александре Яковлевиче Каминском. Он производит впечатление военного — подтянутый, плечи откинuty, держится прямо. Впечатление не обманывает. Александр Яковлевич много лет был военным — на войне и после войны. Он не выступал на встречах и собраниях, связанных с праздником Победы, но мне он рассказал — и очень выразительно — о последних днях и часах войны.

Восьмого мая он был на косе Фрише-Нерунг в Балтийском море.

— Немцы, выбитые из Восточной Пруссии, отчаянно сопротивлялись. Понимали ли они, что это конец войны, или еще верили в появление самолетов, которые должны были увести их из русского в уютный американский плен, — не знаю. Но мы с тяжкими потерями шли по узкой полуболотистой-полупесчаной косе, занимая рыбацьи и курортные поселки с названиями, на всю жизнь врезавшимися в память: Шельмюлле, Фогельзанг, Бодевинкель.

Седьмого мая мы отбили очередную контратаку, потеряв милого, застенчивого командира взвода Маркарьяна и лучший расчет пулеметной роты. Немолодой солдат из этого расчета накануне просил командира роты Сучкова перевести его в связисты. Но лихой, веселый, находчивый, беспощадный Вася Сучков отказал — и вот уже не было ни этого солдата, ни Сучкова, убежавшего двадцать второго апреля из госпиталя, где он лечился после пятого ранения и откуда его не выписали бы раньше, чем через две недели.

Его похоронили, как и многих других — тех, с которыми мы пили, ели, читали письма, шутили, вспоминали родных. Страшно признаться, но названия мест, где мы их похоронили, вспоминались потом в связи с другими событиями, менее грустными, чем очередная могила товарища.

...Потом мы закрепились, а противник открыл огонь по уже разбитому Бодевинкелю. Так продолжалось до ночи на девятое мая — и вдруг наступила тишина. Ночь была очень холодная, в единственном уцелевшем немецком блиндаже негде было лечь, на полу, на койках и даже на столах спала наша рота связи. Все-таки мне удалось втиснуться между спящими, и я уснул, несмотря на странную, резавшую слух, тревожную тишину. А когда я проснулся, был уже мир, война кончилась.

По очень простой причине мне почти не запомнился день девятого мая: я был пьян. Не только от вина, которого было выпито много, но и от странного чувства отсутствия опасности, от весны, травы, леса, моря. Я целуюсь с какими-то земляками-артиллеристами, пью с соседями из штрафного батальона и выдаю им всем без разбора справки об отпущении грехов, разумеется без штампов и печатей, — гордо именуя их индульгенциями. Потом мы разряжаем фауст-патроны, стреляем в воздух, снова пьем, снова целуемся, стреляем...

Пришлось бы перебрать в памяти едва ли не всю нашу поездку, если бы я стал перечислять то, что мешало мне затеять с Александром Яковлевичем «юридический» разговор. Почему-то я надеялся, что это удастся в Льеже, на товарищеском обеде с участниками Сопротивления. Но он оказался за одним столом, а я за другим — в кругу русских, так прочно перемешавшихся с фламандцами, что в толстом, добродушно

деревянном кондитере, похожем на нашего Ваньку-Встаньку, почти невозможно было узнать коренного фламандца, а в сдержанной, умело накрашенной даме, с трудом говорящей по-русски, — донскую казачку, вывезенную немцами в 1942 году.

Это повторилось в Брюсселе, где Александр Яковлевич обещал рассказать мне о Дворце правосудия, в котором его принимали накануне бельгийские юристы. «Посмотрим Дворец изящных искусств, — сказал он, — а потом вернемся в отель пешком и по дороге поговорим о служителях Немезиды». Но все чинно отправились во Дворец изящных искусств, а мы с Ниной Николаевной Калитиной со всех ног побежали на выставку абстрактной живописи неподалеку от Дворца. А после этой выставки невозможно было не поговорить о движущихся картинах с медными овальными листиками, которые медленно переставляются на пепельном фоне, о картинах из наклонных гвоздей, в которых было что-то одновременно и вызывающее и печальное, наконец о том, почему абстрактная живопись существует уже больше полувека, привлекая все новых последователей, несмотря на то, что иные авторитеты — у нас и на Западе — предрекают ей скорую и неизбежную гибель. Нужно ли в полной мере отказываться от себя, от своего опыта, который неизбежно корреспондирует «знакомое» с «незнакомым», чтобы понять и оценить это направление? Это было трудно для меня, тем более что выставка странным образом напомнила мне сны моего детства, когда, замирая от грусти и восхищения, я следил за цветными, медленно меняющимися подобьями людей, деревьев, освещенного воздуха, нежно падающей райской воды.

Так случилось, что мы снова не поговорили с Александром Яковлевичем о Дворце правосудия и о самом правосудии в Бельгии и у нас. Это не удалось и в Генте, потому что едва я начал: «Александр Яковлевич, я давно хочу спросить вас», — как Саша Отсолиг повел нас в небольшое полутемное здание, где скамейки, как в цирке, стояли над и вокруг арены, но на арене был не песок, взлетающий под тяжелым галопом лошадей, и не клоуны, получающие пощечины, а разноцветные домики под черепичными крышами — макет старого Гента. Это была лекция об истории города, которую прочитал нам в таинственной полутьме мужской проникновенный голос и которая остроумно иллюстрировалась ожившим макетом. Старинные здания, ратуши, церкви вспыхивали, когда о них заходила речь. История Гента полна трагических событий, восстаний, измен, публичных казней, грабежей и пожаров, и самое трагическое из них — осада дома Жака Артевельде, народного вождя Фландрии, убитого в 1345 году, сопровождалась даже шумовыми и световыми эффектами: пальбой, криками толпы, заревом пожара.

Прошло еще два или три дня, и наконец в Остенде, где побережье похоже на наше балтийское и даже, чтобы быть точным — на дюны Неренги, неторопливо спускающиеся к морю из благословенных лесов, мы добрались до интересовавшего меня разговора.

— С чего же начать? В Люксембурге Ренэ Блюм повел меня к адвокатам, и я два с половиной часа отвечал на вопросы. Они почти ничего не знают о нас, и это еще хорошо, во всяком случае лучше, чем прямая дезинформация, которой тоже, к сожалению, немало. Многие нравятся им, а кое-что удивляет.

— Например?

— Ну, скажем, закон о смертной казни за воровство или взяточничество. Много говорят они об этой истории, когда у нас несколько лет тому назад был применен закон, усиливающий наказание по сравнению с законом, действовавшим, когда было совершено преступление. Я постарался доказать, что это была вынужденная мера. Увы! Мое объясне-

ние никого не удовлетворило. Вообще говоря, люксембургские юристы встретили меня с полным доверием и очень радушно. Бельгийские — сдержанно. Вы помните Дворец правосудия?

— Еще бы!

Куда бы мы ни поехали в Брюсселе, перед нами неизменно возникал Дворец правосудия, самое большое здание, построенное в Европе в XIX веке, — два изогнутых крыла и тяжелый купол, странное соединение собора и вокзала. Здание громадное — триста пятьдесят комнат. Высота центральной части — сто три метра. И холодом от Дворца правосудия веет на такое же, если не на большее, расстояние. Я сказал Александру Яковлевичу о своем впечатлении.

— Вот именно! И внутри оно точно такое же — сумрачное, строгое. На стенах мраморные доски с цитатами из римского права, а между ними — серые бюсты великих ораторов и законодателей. Адвокаты в развевающихся мантиях быстро проходят по бесконечным коридорам. Лица — бледные, мантии — черные, и это сочетание как нельзя лучше подходит к ощущению железной необходимости, которое охватывает вас, едва вы переступаете порог этого здания. Когда я сказал адвокату, с которым мы познакомилась, что в этих коридорах можно заблудиться, он ответил, что именно это и случается с ним едва ли не ежедневно. И не только с ним, но и с судьями, которые приходят за полчаса до заседания и все-таки опаздывают еще на добрых пятнадцать минут, потому что не могут найти зал, в котором слушается дело... Рассказать вам, как меня принимали? Это было в кабинете председателя Совета адвокатов Брюсселя. Народу много. Сенсация — адвокат из Москвы! Атмосфера, я бы сказал, прохладная. Вопросы: «Правда ли, что в СССР адвокатура подчинена государству?» И еще: «Правда ли, что у вас можно казнить человека, совершившего преступление в то время, когда закон еще не предусматривал за это преступление смертную казнь?» Были и вздорные вопросы: «Почему вашим адвокатам не позволяют ездить за границу?» Ответить на это было легко: «А вы полагаете, что я уехал тайком?» Смех. И снова: «Правда ли, что советские юристы не носят мантий, потому что в СССР не хватает тканей?» Ответ: «Думаю, что если бы для укрепления законности понадобились мантии, наша текстильная промышленность, сумевшая в годы войны одеть многомиллионную армию, справилась бы с этой задачей». Смех. Дружелюбный, хотя и не очень. А потом мне предложили посетить процесс верховного суда, и я, конечно, с удовольствием согласился.

— Кого же судили?

— Полицейского.

— За что?

— За какое-то должностное преступление. И вот что, надо признать, поставлено у них превосходно: обрядовая сторона процесса. В зале полумрак. Освещены только столы, за которыми грозно вырисовываются средневековые одежды членов суда, прокурора и адвокатов. Опустив голову, обвиняемый сидит между двумя жандармами на скамье подсудимых. Величие Закона! Толстые фолианты, латынь, мантии, мрамор...

— Чем же кончился процесс?

Но Александр Яковлевич не успел ответить на этот вопрос, потому что мы перешли набережную Остенде и перед нами открылось необыкновенное зрелище — рыбный базар.

Мне случалось бывать на рыбных базарах. В Копенгагене, недалеко от музея Торвальдсена, над рыбными рядами стоит выразительная статуя торговки рыбой. и, переводя взгляд с оригинала на произведение искусства, поражаешься не сходству, а тайне естественности, свойственной лишь подлинному таланту.

В Остенде совсем другой базар, остро пахнувший, серо-стальной, обдутый ветром, деревенский, битком набитый устрицами, скатами, макрелью, омарами, какими-то чудовищами, похожими на драконов. Камбалой, и сам распластаный, как камбала, на песчаном берегу Северного моря. Не в пример неторопливым датчанам, здесь все кричат, торгуются, смеются. От запаха рыбы, от вида красных, обветренных рыбаков и их здоровенных баб становится вкусно дышать и смертельно тянет в харчевни, расположенные напротив базара, в которых, без сомнения, жарится эта камбала и макрель и где, над дышащими паром кастрюлями, стоят в белых колпаках щекастые, как Ламме Гудзак, повара. Здесь была совсем другая «железная необходимость», чем во Дворце правосудия,—необходимость жить, глубоко дыша, вбирая в себя сильные и скромные краски Северного моря, наслаждаясь и чувствуя прилив ошеломляющих сил.

### Пингвины и прощание

Не только для меня эта поездка оказалась чем-то вроде трамплина для воспоминаний и размышлений. Я понял это, встретившись в Москве с А. Я. Каминским и в Минске с Н. В. Поповой. Ассоциации то плелись за нами по пятам, то вспыхивали, как ракеты, оставляя огненный, быстро гаснущий свет. Мы проехали по дорогам Бельгии около двух тысяч километров, из миллионов «представлений по сходству или контрасту» на эти страницы попала, разумеется, лишь ничтожная часть. Почему вид вечернего, освещенного, шумного трактирчика в Арденнах напомнил мне коктебельскую чайную, переполненную рабочими, тускло освещенную, заряженную, как порохом, делами и разговорами остывающего жаркого дня? Может быть, потому, что Ирина Эренбург, войдя со мною в эту чайную, сказала: «А вот это уже совсем как в Париже!»

В маленьком домике автобуса путешествовали тринадцать человек, бесконечно далеких друг другу по биографиям, профессиям, судьбам, но внутренне связанных — и не только тем, что они случайно встретились и вместе провели в Бельгии две недели. Кончая свои заметки, я чувствую, что мог бы написать о своих спутниках с большей полнотой. В самом деле, я почти ничего не написал о Надежде Васильевне Поповой. Гвардейский Таманский авиационный полк, созданный Мариной Расковой,— много ли мы знаем об этих девушках в некрасивых юбках и кирзовых сапогах, взявшихся за кровавую работу, полную изобретательности, железной последовательности и смертельного риска?

Исключительность биографии Перова заслонила от меня те черты спокойной наблюдательности, мягкости, любви к природе, которые, можно сказать, «лежат на поверхности»,— нужно лишь наклониться и поднять их, чтобы набросать контур психологического портрета.

В птичьем заповеднике Ле-Зутт, напомнившем мне нашу Асканию-Нова (но маленькую, причесанную, выставленную для обозрения), он вдруг заговорил со мною о пингвинах. И так весело заговорил, что я, как на экране, увидел перед собою этих пряменьких с черными фалдами птиц, деловито протаптывающих дорожку от гнездовья до моря.

— Мама сидит на яйцах, а папа — топ, топ, топ, в море за рыбой. Вернется, вскарабкается на сугроб и обращается к семейству с речью.

— Ну да!

— Не знаю, о чем он говорит, или, точнее сказать, ревет. Но — вы знаете — с поучительным выражением! Может быть, напоминает деткам, что они как-никак не императорские пингвины, князья жизни,

а простые смертные. И семейство стоит, вытянувши лапы по швам, ни дать ни взять — полк солдат, рядами и даже по росту. Потом папа закругляется, разевает пасть, и ближайший птенец закладывает в нее свою голову — очевидно, получает порцию рыбы. Любят детей. В каждой семье по меньшей мере двое. Кажется, хватит, правда? А им мало!

— Почему вы думаете?

— А потому, что они яйца друг у друга воруют. Да как ловко! У них походка переваливающаяся, виляющая. А тут они даже как будто хуеют на ходу, скользят, крутятся, скатываются. Но уж если попадешься! Так набьют морду — будь здоров! Хорошие люди, — с уважением сказал Перов, — очень хорошие, дельные люди.

Через полчаса мы покинули Бельгию. Автобус остановился у маленького, ярко освещенного домика, в котором сидел голландский пограничник. Саша Отсолиг, не выходя из автобуса, показал ему какую-то бумагу, и мы покатили дальше, уже по Голландии, которая пока еще решительно ничем не отличалась от Бельгии — ни видом маленьких городов с крутыми скатами красно-рыжих черепичных крыш, ни внешностью янтарных коров на зеленых полях, ни белизной передников на женщинах, ни высотой их накрахмаленных чепцов. Я понял, что мы расстались с Бельгией, несколько позже — когда наш автобус въехал в необъятное чрево парома Брескенс-Флиссинген, где стояли еще десятки легковых машин, грузовиков и автобусов так тесно, что невозможно было открыть дверь, чтобы пройти между ребрами борта, о который уже плескалась вода.

Я поднялся на палубу. Бельгийские школьники — их автобус стоял рядом с нашим в пароме — окружили нас. Они были вежливые, румяные, в хороших курточках и кепи — и плутоватые. Я заметил, как некоторые, спрятав только что полученный значок или монетку, расталкивая товарищей, с азартом кидались за новыми подарками.

Размеренно пыхтящая железная громада, к которой удивительно не подходило русское слово «паром», двигалась медленно, неумолимо. Чайки резали воздух, темная вода Шельды болезненно вздыхала, как в пророческих видениях Неле. Впереди был Флиссинген — морская столица гезов, тот самый Флиссинген, перед которым крейсировал на своем «Бриле» Уленшпигель. Надо было закрыть глаза, чтобы увидеть его корвет, и это мне удалось, может быть, потому, что когда-то я почти наизусть знал любимую книгу. Я увидел легкий корабль, на котором вместо парусов развевались вышитые хоругви, а матросы несли вахту в бархате, шелке и церковной парче. «И как тут не подивиться, когда из богатых одежд высовывается грубая рука, привыкшая сжимать аркебузу или же арбалет... и как тут не подивиться на всех этих людей с суровыми лицами, увешанных сверкающими на солнце пистолетами и ножами, пьющих из золотых чаш аббатское вино, которое ныне стало вином свободы! И они пели, и они восклицали «Да здравствует Гез!», и так они носились по океану и Шельде» (перевод Н. М. Любимова).

Мне было грустно и не хотелось расставаться с Бельгией. Неужели я успел полюбить ее за тринадцать промелькнувших, веселых, как будто ничем не замечательных дней?



---

ДЖУДИТ РАЙТ

★

## БОЯРЫШНИК НА МЕЖЕ

*С английского*

Когда она посадила боярышник на меже  
стеной поперек холма —  
не помнит снег на горах, не помнит уже  
она сама.

Он вымахал выше, чем тот привставший на стременах  
заблудившийся верховой,  
что смотрит — пусть смотрит! — лишь пчелы жужжат в кустах:  
тут никого.

Только старуха старая, косматая, поросшая мхом,  
повредившаяся в уме,  
на крик его выглянет и тут же спрячется в дом  
на своем холме.

О сердце ее кремневое боярышник день-деньской  
точит колючки свои.  
Ветер зимой ей воет: «Умри!» — а весной:  
«Живи, живи!»

Она забыла давно про свой колючий забор,  
забыла про снег на горах  
и про то, что солнце когда-то сияло с гор  
под пенью птах.

Что когда-то работала в поле, а мысли к небу неслись,  
и мир был открыт и мил.  
Боярышник укоренился, разросся вширь и ввысь  
и мир закрыл.

### *Брат и сестры*

Дорога оказалась тупиком  
И резко обрывалась у ворот,  
Отрекшись от первоначальной цели.  
Они остались здесь, и день за днем

Росли года, как травы на дороге.  
 Известно, что проекты устарели,  
 Дорога дальше к морю не пойдет,  
 Сады обречены на вырождение.  
 Посадки гибли, их со всех сторон  
 Кустарники несытые теснили.  
 На ферме воцарилось запустенье,  
 Но неизменно Люси, Милли, Джон  
 Часы в гостиной на ночь заводили.

Под крики пересмешника шального  
 На праздник пианола дребезжит.  
 Морщинистые овцы сквозь забор  
 Ощипывают маргаритки с клумбы.  
 А Люси ждет, что кто-то скажет слово,  
 А Милли вечно бусы тербит.  
 Все ближе лес, все круче цепи гор.

Смеркается. Пастух пригнал ягнят,  
 И взгляд его спокойный говорит,  
 Что Люси стала старой и седой,  
 И в этом ей давно пора признаться.

Забор ночами стонет, как живой.  
 О как тут спать? Порхают наугад  
 По дому мысли:

— Милли, ты не спишь?

— Джон, я дремала...

— Люси, что с тобой? —

Их голоса, как мотыльки, дрожат.

— Не плачь. Не плачь. Нам нечего бояться.

*Перевел Андрей Сергеев.*



# О ЧИЕ РОКИ НАШИ ИХ ДНЕ И

М. БЕЛКИНА

★

## НА ПАМИРЕ

1

**К**аменная площадка как ладонь вытянута над откосом. Две палатки поместились на ней. От палатки до пропасти шага три. В снег вставлены огромные молочные бидоны. В них поднимают сюда воду по канатной дороге снизу, из ущелья. Вниз — откос метров девятьсот, а то и километр... Узенькая тропка, серпантинном пробитая в скале по осыпи, ведет сюда из ущелья от дома радиста, откуда я поднялась... Но я не могу оглянуться. Я вцепилась глазами в гору, которая передо мной — хоть вертикально, но земля!.. И все равно затылком, спиной — всем существом я чувствую за собой бездонную синюю пустоту. Площадка на зубце скалы — как остров посреди неба... Я не могу сделать шага, не могу поднять руку, мне кажется: малейшее движение — и я неминуемо слечу вниз, под откос. И понимаю: никуда я не могу слететь, в крайнем случае сяду на снег, упаду на бидоны с водой, и рядом палатка, только шаг и — палатка... Но я не могу сделать шага... Что это — тоже один из симптомов горной болезни? Или это оттого, что все здесь непривычно? Привычно, чтобы было много земли и небо только над тобой, и его всегда что-нибудь заслоняет — деревья, дома. А здесь небо и под тобой, и над тобой, слишком много этого неба... «Страх пространства... потеря ориентации... психологический барьер...» Это все я уже слышала. Это мне говорил Рахимджан, шофер, который вез меня на грузовике через Памир. Он говорил: это случается на перевалах, на большой высоте, на Ак-Байтале, например. И новички на Памире, шоферы первого класса, гонявшие машины не один десяток лет черт знает по каким дорогам, не выдерживают — их полумертвыми вытаскивают из кабины, и они уже пассажирами спускаются вниз. С Рахимджаном тоже это было...

Он вел машину через перевал. Дорога шла прямо по хребту. И вдруг это случилось: небо под самым крылом, и в другую сторону небо, и на радиаторе небо. Казалось, еще только один оборот мотора, только вздох — и он летит вниз... Его охватил такой страх, что хотелось выключить мотор и выпрыгнуть, но прыгать было некуда — и справа по борту, и слева по борту — небо! Он на ощупь вел машину, колесами чувствуя дорогу, и, не сбавляя, не прибавляя газа, вел... И вывел. «Главное, преодолеть этот барьер. Иначе все, крышка. Больше не сядешь за руль...»

И мне крышка. Я ни за что не спущусь вниз...

Снизу, от дома радиста Левы, не видно было ни палаток, ни буровых, ни снежных вершин. Над дорогой нависла отвесная, но совсем не высокая гора, и по ней шел очень пологий серпантин. Он-то меня и подкупил. Казалось, легко и просто будет идти вверх, а главное, невысоко...

— Я хочу подняться к геологам, — сказала я Леве-радисту там, внизу, в его домике на берегу Гунта.



Лева лежал на койке в своей радиорубке и читал Бальзака, когда я вошла.

— Ну что ж, геологи будут рады,— заметил он.— К ним никто никогда не заходит в гости. А как у вас сердце, ничего?

Я сказала, что мне пришлось только что проехать через Восточный Памир, через Ак-Байтал, и неприятностей, кажется, было не больше, чем положено...

— Ну, тогда все в порядке.— И Лева стал поить меня крепким чаем на до-рогу.

Он притащил банку с какой-то белой мазью, заставил вымазать лицо, чтобы не было ожогов от солнца.

— Вы там заночуете,— сказал он, проводив меня до начала серпантина и знакомом с попутчиком, которому надо было на буровую.

— Что вы!— сказала я.— Я побуду у геологов час-полтора и вернусь. За мной машина придет.

— Ничего, мы с водителем рыбку половим. Ему только удовольствие.

— А какая длина, между прочим, этого серпантина?— спросила я, глядя, как ветер гонит по тропкам столбики пыли.

— Да километра три, три с половиной,— замялся Лева. Он явно преуменьшал.

— Ну, ерунда какая. Я хороший ходок...— сказала я.

Мы стали подниматься. Я не оглядывалась, не смотрела вниз. И только где-то на седьмом или восьмом витке серпантина поняла, что видела с дороги не гору, а выступ горы и он заслонял собой гору. Я стала задыхаться, останавливалась на каждом шагу и сказала попутчику, что мне лучше вернуться. Но только глянула вниз и поняла, что готова карабкаться хоть до луны, только не вниз!

Хорошо еще, геологи ничего не заметили. Они втащили меня на площадку и ушли.

— Отдыхайте,— сказали.— В палатке на плитке суп. Мясо уже с утра варится. Скоро будет готово. Мы там буровую перетаскиваем... Располагайтесь, как дома!

На горе вверху видны несколько буровых. И черными пещерами — входы в штольни. От буровой к буровой пробиты тропки. Геологи за последней буровой — на седловине. Там выше уже вечные снега. Снежные пики упираются в небо. На седловине много людей. Они тащат буровой станок на другую гору. Как они там держатся, на этой узенькой тропке...

Я заставляю себя сделать шаг в сторону палатки. Хватаюсь за полог. Сердце колотится, готово выскочить. Ничего, уговариваю я себя. Это-то и есть высота. От резкого движения бьется сердце. Кислородная недостаточность... К этому не привыкнешь. Я видела, как на Ак-Байтале шоферы, молодые здоровые ребята, перегружали бревна с поломавшегося лесовоза на другой лесовоз. С каким трудом давалось им каждое движение! Пульс, наверное, был не меньше ста тридцати ударов в минуту. Пот катился по лицу. А ледяной ветер забивал дыхание, когда и без того было тяжело дышать...

Геологи все еще на седловине. Там буровые мастера, рабочие. Двигутся они все же или стоят на месте? Мне говорили, что на такой высоте мотор теряет мощность на сорок пять — пятьдесят процентов. А человек?..

Несколько лет тому назад, когда здесь не было ни тропок, ни домика радиста внизу, у Гунта, по этим отвесным мертвым скалам, где нет ни куста, ни деревца, прошли геологи. Они вели съемку и обнаружили свинец. При анализе выяснилось — есть и серебро. Геологи вернулись сюда снова. Предварительная разведка показала: месторождение серебра может иметь промышленное значение. Разведка продолжается. Сколько буровых пришлось поставить на вертикальной поверхности этих скал, пробить штольни, установить компрессор, протянуть подвесную дорогу, пробить тропки, подвести электричество, воду к буровым... А тут еще лавины, снежные обвалы. Снег лежит на седловине, в складках гор, лапами свисает с зубцов. Одна такая «лапа» весом в несколько сотен тонн сорвалась недавно — мне

рассказывал Лева-радист — и катилась вниз с камнями, оборвала водопроводные трубы, которые геологи тянули от ручья, снесла трансформаторы, насос. Потому что для палаток выбрали этот зубец — он в стороне от горы и только хребтиком соединен с нею. Здесь обвалы, горные потоки проносятся мимо. Здесь люди спокойно могут спать, на них ничего не обрушится...

В этих палатках геологи зимовали. Мороз доходил до 49°, да к тому же еще разреженный воздух. Здесь труднее, чем в Заполярье!

— Да, мы как боги живем! Как ага-хан! — сказал мне Станислав Анатольевич, начальник партии, приглашая располагаться в палатке.

В палатке настил, покрытый кошмой. Маленький письменный столик втиснут в узком проходе между настилом и пологом. На столе телефон, радио. Над столом полка с книгами. Горит электрическая лампочка. На плитке кипит суп. Так хочется забиться в палатку и даже полог опустить, чтобы не видеть этого синего неба, которое, кажется, опирается не только на горы, но и всей своей тяжестью навалилось тебе на плечи. Но я понимаю: если я зайду в палатку, меня оттуда уже не вытащишь. А ведь должна же я заставить себя не бояться, двигаться, пока нет никого! Пока никто не заметил моего дурацкого состояния...

Теперь я понимаю, почему Лева-радист рассказал мне ту историю. Я ее и раньше от кого-то слышала, может, тоже от водителя Рахимджана. Здесь, на Памире, с одной экспедицией, говорят, шел в горы барсолов. Он ловил барсов и отправлял их в зоопарк. Однажды барс выскочил из клетки в сарае, и человек этот загнал его обратно в клетку, как теленка. А во время войны человек этот поднимал не раз в атаку солдат... И вот здесь ему пришлось идти через овринг... Овринг — это такая узкая навислая тропа, котроую прокладывают на отвесных скалах, где иначе не пройдешь. На выступы кладут настил или вбивают бревна в расщелины скалы и на них стелют ветки. Овринг дрожит под ногами, качается, а внизу — пропасть... Барсолов ступил на такой овринг, глянул вниз — и столбняк на него нашел. Прижался к скале, не может шага сделать! Пришлось проводнику-памирцу пробраться к нему. Опутал ноги и руки ему арканом, чтобы тот не дрыгался, взвалил на спину, как бревно, и понес...

— Ну, тут оврингов нет, — шутил Лева, — у вас под ногами будет твердая земля!

Твердая. Это, конечно, верно, что твердая...

Я вижу, как на горе по тропке быстро приближается человек. Я давно его вижу, он идет с той седловины, где застряли люди с буровым станком. Теперь я могу разглядеть — это Юра, молодой геолог. Он и Станислав Анатольевич помогли мне взобраться на этот зубец. Юра пробежал по хребтику и, запыхавшись, влез на площадку.

— Что там случилось? — спрашиваю я. — Отсюда кажется, что все застыло и вы там стоите на месте?!

— Да, за два часа прошли только тридцать метров! Сюда бы небольшую лебедку. Перенес ее с горы на гору — и подтягивай груз. А то на себе все. Средневековье! — говорит Юра.

Он очень худ и бледен, даже загар его не берет. Лева-радист говорил, что Юре приходится труднее других — он ведет поиск. Зубец, на котором стоят палатки, находится на высоте более четырех километров над уровнем моря, а Юра уходит за снежные перевалы, работает на высоте и в пять, и в пять с половиной километров, и выше. Он тащит по этим скалам на себе вверх палатку, ватный спальный мешок, банки с консервами. И одежда на нем (ватная фуфайка, ватные штаны) — это тоже тяжесть и вовсе не защита от здешних ветров.

Лева рассказывал, как на леднике Федченко Юра встретился с альпинистами — на тех невесомые, непроницаемые куртки на пуху и пуховые спальные мешки, которые весят всего четыреста граммов. И палатки — «памирки», или, как их еще зовут, «серебрянки», — легкие, не то что у геологов — брезентовые! И специальный «космический» рацион — витамины, овощи, растворимый кофе в пакетиках и т. д. и т. п. — все продумано, чтобы было легко, удобно, полезно... Здесь

ведь на такой высоте пища усваивается только процентов на сорок. Мясо целый день вари — не сваришь, вода закипает уже при 70°.

— Ну что альпинисты, — горячился Лева, — пришли, поставили рекорд и ушли. А геологи круглый год вкалывают!

Юра уселся на камень рядом с бидонами на самом краю площадки и, отдышавшись, показывает мне на горы, на эти гигантские каменные глыбы, ледяные вершины которых уже в самом небе, и говорит, что горы на Памире еще растут... Склоны этих гор были когда-то покрыты лесом, но считают — весь лес сгорел в очагах памирцев. Это, конечно, не совсем так, лес не только сгорел, изменились внешние условия. Памир поднимается! Археологи находят много доказательств, которые это подтверждают. Долина Маркансу, например, я проезжала ее, когда ехала через Восточный Памир. Ее зовут «долиной смерти» потому, что там не живут звери, нет никакой растительности... А археологи нашли в этой долине стоянку первобытного человека. Груды костей архаров, зайцев, кииков — горных козлов. Уголь обнаружили в очагах. Анализ показал, что в очагах древнего человека горели арча, ива... И возраст угля был определен — девять с половиной тысяч лет! Предполагают, что за последние десять тысяч лет Памир очень резко поднялся — на пятьсот, на восемьсот метров!..

Десять тысяч лет — восемьсот метров. Значит — восемь сантиметров в год. И это считается «очень резко поднялся»!.. Впрочем, геологи ведь мыслят масштабно и время исчисляют миллиардами лет... Юра говорит, что Памир очень богат. Здесь уже найдено золото — коренное и рассыпное. Серебро. Бурый уголь, графит. Сера. Селитра. Железо, которое еще в древние времена добывали в долине Ванч. Рубины. Ляджуар. Ляджуар — это ляпис-лазурь — удивительной красоты синий камень, которым украшали свои дворцы восточные императоры. Найдены слюда, тальк. Я не могла запомнить всех богатств, которые перечислял мне Юра, да и не все, конечно, богатства он мне перечислил, у геологов всегда есть свои тайны, и потом нас прервал телефонный звонок... Как-то странно было — здесь, на этой скале посреди неба, услышать такой привычный домашний телефонный звонок.

— Алло, Лева! — кричит Юра уже в палатке в телефонную трубку. — Как там радиogramма насчет трансформаторного масла? Катастрофа просто! Последний трансформатор отказывает. Либо на буровой вести работы, либо воздух подавать в штольню. Масло, я говорю!.. Слава просил, ты свяжись еще раз...

И здесь, скажу я вам, в самом небе, на четырех километрах по вертикали, — все та же земная сказка «про белого бычка»! Лева успел сообщить мне: нет трансформаторного масла, лавина обрушилась, сгребла все. Три месяца не могут добыть. У экспедиции нет денег, а денег нет потому, что план не дают, а план не дают... Говорят, кто-то из геологов нашел одно учреждение в Оше, которому позарез нужны бронзовые чушки для монтажных работ, а бронзовые чушки эти есть в экспедиции на Памире. И теперь чушки эти пойдут с Памира в город Ош. А в городе Ош обещали устроить за это время обмен с городом Душанбе на масло, а в городе Душанбе...

— Много наловил? Осман или маринка? — кричит Юра в телефонную трубку.

Лева уже успел рыбы наловить! Сколько же это я часов поднималась? Почти четыре часа.

— Гад будешь, если всю съешь. Оставь на завтрак. Я или Слава утром спустимся.

Это они утром собираются меня спускаты!.. По канатной дороге вниз медленно ползет деревянная площадка, и на ней привязана бочка. Если бы меня можно было привязать вместо этой бочки! Я было заикнулась, но начальник партии Станислав Анатольевич сказал, что это категорически запрещено. Трос уже не раз обрывался. Я делаю два шага к краю площадки. Кажется, я уже начинаю осваиваться и преодолевать «психологический барьер» — правда, держась обеими руками за полог палатки. Внизу, на дне ущелья, тонкая лента дороги, и вдоль дороги — Гунт. Даже отсюда видно, как пенится он по камням. А на дороге дом ради-

ста Левы, не больше спичечного коробка. Ну теперь-то я хоть по крайней мере буду иметь представление, что значит километр, поставленный на попа! А то ведь я привыкла мерить километр только по горизонтали...

## 2

Дорога бежит по ущелью, то приближаясь к Гунту, то отбегая от него. И на востоке она взбирается вверх, а на западе спускается вниз по ущелью. Ущелье — каменный коридор, ни дерева, ни куста. Последние кусты облепихи и тальника остались там, внизу, по течению Гунта... Николай Иванович Вавилов писал, что по Гунту земледелие кончается где-то в ста верстах от Хорога. Он был в этом ущелье в шестнадцатом году. И когда теперь я ехала сюда к домику радиста Левы, я заметила, что последние пашни, последние колхозные поля по течению Гунта кончаются тоже где-то километрах в ста от Хорога...

Интересно: по ущелью этому за один день можно проехать через зиму, весну, лето, спускаясь по течению вниз... Низ — это Хорог, две тысячи метров над уровнем моря! Но, впрочем, чтобы увидеть сразу все времена года, не надо тратить и дня. Стоишь у реки, где-нибудь недалеко от Хорога, где уже лето, все зелено вокруг, а взглянешь вверх на гору — там, этажом выше, на горной террасе, чуть пробиваются всходы. А еще этажом выше — пашня черная. Вол тащит омач, поднимает землю. А еще выше — снег не стаял. Там не скоро начнут сеять. На Западном Памире так мало земли, что колхозы здесь «многоэтажные». Когда-то русла рек проходили по верху, где теперь зубцы скал. С веками реки опускались, прорезая ущелья и оставляя на склонах гор, на зубцах, на террасах — даштах ил и песок. И человек хватался за каждый клочок земли, как бы ни было трудно добраться до него, как бы ни был мал этот клочок, и превращал его в пашню.

На даштах рядом с пашней прижались к скале из того же камня, что и скала, домики без окон. Эти домики здесь зовут кибитками. И обязательно рядом с домиком деревья — тутовник, или яблоня, или грецкий орех, и обязательно айван — терраска. Просто вторая половина домика без одной стены, без той, которая глядит на ущелье. На одном из таких айванов я жила. Меня привез туда водитель ЗИЛа Рахимджан к своему отцу и деду. На айване на полке стояли чироки — масляные светильники, а рядом с ними «летучая мышь» и керосиновая лампа, а с потолка на шнуре свисала электрическая лампочка. Но более всего мое внимание привлекли свечи. Два тонких прутика были воткнуты в щель стены. Это когда-то уже давно дед вставил и забыл про них. Он заготавливал эти свечи. Обмазывал прутики растертыми ягодами облепихи.

Может, при таких вот свечах-лучинах и делал свои записи на этом айване Николай Иванович Вавилов. Дед Рахимджана и отец его Ашукбек перечислили мне по пальцам: пятеро русских были у них в гостях за всю их жизнь. И первый был очень давно, он собирал семена и даже снопы увез с собой. Он был, когда еще с басмачами не боролись, и там, где теперь ботанический сад, жил еще ишан, и в России еще царь был. И тогда только родился старший брат Рахимджана... По времени совпадает.

...Он поздней осенью добрался до ущелья, где текут Гунт, Шах-Дара, Пяндж. Путь через Алайскую долину был закрыт — там было восстание киргизов и правительство послало казаков усмирять их. Пришлось выбрать путь более трудный и долгий. Восемнадцать дней шел его небольшой караван из Коканда в Хорог. Через ледники, где трещины были в метр шириной. Через перевалы, по тропам вдоль Пянджа, над пропастью чуть не в тысячу метров, по оврагам. Через бурные реки, где на крутом подъеме сорвалась одна из вьючных лошадей — с коллекциями, записями, дневниками. Однажды на такой вот горной узкой тропе лошадь, на которой он ехал, испугалась чего-то и понесла его, а навстречу низко навис над тропой карниз скалы... «Такие минуты дают закалку на всю жизнь, они делают исследователя готовым ко всяким трудностям, невзгодам, неожиданностям...» —

говорил он. Может, и правда это первое большое путешествие сюда, на Памир, и дало ему закалку, которой хватило до конца его дней...

Он стремился на Западный Памир, в эти горные долины, поднятые над уровнем моря более чем на две тысячи метров, в поисках скороспелых сортов сельскохозяйственных культур. Он предполагал, что если здесь так высоко, при таком коротком вегетационном периоде возделывают зерновые культуры, то, конечно, это будут только скороспелые сорта. А в этих сортах так нуждались наши северные нищие окраины!

Еще с первых лет своих исследований он был одержим идеей «привести в порядок земной шар». Обшарить все кладовые мира, собрать все самые лучшие растения, которые создала природа и человек, отобрать из этих лучших лучшие и создать новые совершенные растения и заставить их служить человеку. Он тогда еще только начинал эти сборы, а к концу его трагически оборванной жизни во Всесоюзном институте растениеводства, созданном им, насчитывалась коллекция более чем в двести тысяч растений, и иностранные ученые называли эту коллекцию «Лувром ботаники и Эрмитажем растениеводства».

Памир превзошел все ожидания Николая Ивановича. В этих горных долинах он нашел и диких родичей хлебных злаков, и примитивы, сближающие культурные сорта с дикими исходными формами, и удивительные своеобразные хлебные злаки в виде безлигульных — с упрощенной структурой листьев — пшениц и ржи. На высоте в две с половиной тысячи метров над уровнем моря он обнаружил оригинальные, неизвестные еще науке формы ржи. Рожь эта стояла в рост человека, и колос у нее был крупный, с крупным зерном, по-видимому, это была самая крупноколосая рожь, которая только существует на земном шаре. «Ради нее одной надо было быть на Памире!..» А безлигульные пшеницы с удивительно белым зерном, пшеницы, о существовании которых не ведал ни один ботаник! Царством эндемических пшениц назвал Вавилов долины Гунта и Шах-Дары. Здесь находила свое подтверждение его гениальная догадка о том, что центром формирования культурных растений и древнейшим очагом земледелия являются отнюдь не равнинные поймы великих рек, а именно такие вот горные изоляторы... На этих даштах «зарождалась, творилась и творится великая земледельческая культура». Здесь всегда было ограничено жизненное пространство, здесь человек не мог кочевать с места на место в поисках пропитания, здесь очень рано, в очень отдаленные от нас времена, человек вынужден был научиться добывать скудные средства к существованию на крохотных клочках земли, таких крохотных, что в прежнее время земля мрилась здесь тюбетейками! Сколько тюбетеек зерна можно посеять. Но землю эту еще нужно было «сделать». Здесь господь-бог ничего не давал даром, просто так. Сколько огромных, тяжелых камней перетаскал человек, освобождая землю. Сколько «выполол» мелких. И как трудно было эти горные дашты — террасы обложить каменными «плетнями», чтобы земля с этих даштов не сползала, чтобы снег, когда тает, не смыл с них земли. А если земли было мало, то еще приходилось где-то посреди камней у реки собирать эту землю и тащить ее в корзине сюда, вверх, на спине... А как вел человек на эти горные дашты воду! Как километр за километром пробивал он в скалах русло для арыка, тянул воду с верховья рек. И с одной скалы на другую скалу перебрасывал воду по желобам, которые долбил в стволах деревьев. И как точно работал, и все на глазок, без нивелира, без чертежей, и нигде не ошибся. А потом еще от большого арыка тянул воду по малым арыкам и подводил ее к каменным даштам, на которых сам уложил землю... И как до сих пор еще трудно дается эта памирская земля!

Рано, чуть свет поднимается отец Рахимджана — старик Ашукбек. Он выводит черного низкорослого быка и впрягает его в омач. Омач — это такое древнее орудие земледелия, только в старых книгах о нем и можно прочесть. Бык покорно дает надеть на себя ярмо и привычно тащит омач по пашне. Ашукбек направляет омач, нажимая на него своим весом, и омач деревянной ногой своей прокладывает в земле борозду за бороздой. Такие ровные борозды, что можно подумать, что пахарь разметил все поле и теперь по нитке ведет свой омач. И сосед Ашук-

бека, и соседа сосед идут по пашне за волами, а пашня идет по горе под уклоном чуть ли не в сорок пять градусов.

Когда я гляжу на эту пашню, на омач, на старика Ашукбека, мне вдруг начинает казаться, что время остановилось... Я снимаю со стены айвана кошт — приспособление для носки снопов на спине. Дощечка с ляжками, как у рюкзака, и в дощечку вделаны две спицы. На эти спицы можно нанизать до сорока снопов и взвалить их на спину. Когда поспевают хлеб, снопы надо снести вниз, на колхозный ток на первый этаж, а по узенькой тропке, которая ведет сюда, только человек и скотина могут пройти. Ашукбек говорит: он в этом году уже не сможет за один раз снести вниз сорок снопов... Ашукбек ушел на пашню допоздна, он вернется теперь, когда зайдет солнце. Омач — это не трактор. С омачом пройти поле борозда за бороздой долго, а весна не ждет, ее сменит лето...

К полудню пришел дед, отец Ашукбека. Он сбросил у айвана с плеча чахлую вязанку арчи и повесил на сук старого тута два гупсара — две козьи шкуры, которые надувают, как пузыри, когда переплывают реку.

Николай Иванович Вавилов тоже, когда был здесь, переправлялся через эти сумасшедшие памирские реки на таких вот гупсарах. Из них делали нечто вроде плота и путника привязывали к нему, чтобы от страха тот не кинулся в реку. Правда, Николай Иванович говорил, что ему довелось испытать это удовольствие «в ограниченной дозе»: он был осенью, а осенью реки мелеют...

Дед опустился на кошму, разостланную на айване, и сразу заснул и уже во сне по привычке калачиком поджал под себя ноги в полосатых шерстяных чулках — джурабах. Дед очень сухонький, невысокий. В старой спортивной курточке на молниях, которая досталась ему, должно быть, от Рахимджана или от правнука какого-нибудь, его можно было бы принять за мальчишку, если бы не руки и лицо! Деду восемьдесят девятый год, но он еще бодр, так бодр, что вчера ушел в горы, то есть за горы через перевал в соседнее ущелье за арчой для очага, а сегодня вернулся.

Из дома вышла невестка Ашукбека, уже немолодая, грузная женщина, и, присев на корточки, стала толочь в каменной ступе, просто на камне с углублением, коренья для похлебки. Мы с ней сегодня успели уже побывать на мельнице и смолоть муку. Мы переправлялись на ту сторону реки по такому шаткому и узенькому мостку, что не пройти бы по нему, если бы не два каната, натянутых через реку... А теперь я вижу, как на той стороне ущелья с дашта, на котором стоит такой же домик с таким же айваном, как и у нас, по камням, по круто обрывающейся вниз тропке спускается женщина. Она несет на плечах тяжелый мешок. Она спускается к реке туда, где среди камней из камня сложен крохотный домик-мельница. Эту мельницу строил дед, тот дед, который спит сейчас на кошме, и тубетейка съехала ему на нос. Говорят, дед поставил за свою жизнь двадцать мельниц! Надобно особое умение ставить эти мельницы. И умение это передается из поколения в поколение, из века в век, от отца к сыну. Отец сызмальства начинает обучать сына. Сначала он учит его находить нужные камни. Камни надо уметь выбрать и уметь обточить их. И пригнать один к одному, притереть их так, чтобы верхний камень, когда он начнет крутиться, не треснул бы, иначе вся работа полетит! Ведь камни надо не только приладить друг к другу, но и просечь камень с внутренней стороны особыми желобками, и надо уметь еще расположить их так по движению, чтобы в них попадали зерна. Разные зерна разной величины. Ведь на мельницу приносят молоть горох, просо, рожь и пшеницу. И при этом еще мука должна быть по желанию и крупного и мелкого помола. Оказывается, на мельнице достаточно только переставить какие-то деревянные втулки, и все, как по щучьему велению, дальше будет сделано так, как это тебе надо... Но, впрочем, в наш век реактивных двигателей и кибернетических роботов этого все равно не понять!.. Такие мельницы здесь встречал Марко Поло. Такие мельницы находят здесь археологи при раскопках и этим еще лишний раз подтверждают догадку Вавилова, что Памир — один из древнейших очагов земледелия...

Женщина с мешком на плечах дошла уже до половины пути. Ветер мешает

ей: длинное красное платье путается в шароварах, не дает ей ступать. Кажется, сейчас она слетит вместе с мешком с этой скалы. Женщина опускает мешок на камень, который на уровне ее плеча, и, обойдя камень, стаскивает с него мешок и перекладывает на другой камень. И так она долго спускается. Наконец она уже внизу у дверей домика, и вот она уже исчезла за дверью. Сейчас она высыплет зерно в ящик и переставит втулки, и река смеет ей зерно; как молола и ее прапрабабка... И мне опять вдруг начинает казаться, что время остановилось...

Но вот раздается крик:

— Салют! Эй!

Это Рахимджан поднимается по тропке к нам на дашт, и карманы его оттопыриваются от бутылок. Я иду ему навстречу. Его ЗИЛ стоит внизу, там, где школа, у интерната. Школа и интернат двухэтажные, белые. Детям колхозников неудобно бегать вниз, в школу, с этих даштов, а родителям неудобно жить внизу и каждый день лазить на дашты на работу. Да и места внизу, у реки, нет для поселка. Ущелье узкое, река разбросала камни, летом она разольется и все их покроет. Между рекой и горами совсем мало пространства, и по узкой полоске земли, после того, как на ней столько работал человек, столько вылол камней, может теперь работать трактор! И еще я вижу внизу, в долине, город Хорог. Самый маленький областной центр. И электростанцию перед въездом в Хорог. И тень крестом над рекой — самолет пошел на посадку, прилетел из Душанбе. И тополя вижу на центральной улице Хорога! Мне даже кажется, я вижу и людей на улице и знаю — почти у каждого второго встречного на груди значок, свидетельствующий об окончании института! Недаром же Хорог вышел на первое место по числу жителей, окончивших высшие учебные заведения. И еще мне кажется, я вижу, как по этой центральной улице, по единственной улице, которую можно назвать уже улицей, медленно катит по асфальту «победа» и молоденький памирец в форме сержанта милиции кричит в рупор: «Граждане, соблюдайте! Граждане, не нарушайте!»...

И я понимаю — время идет...

У айвана, где живет Ашукбек, стоит старый большой тутовник. «Тут-пихт» — зовет его Ашукбек и, как живого, гладит по стволу. Тут-пихт кормил Ашукбека и его детей в трудные годы, когда нечего было есть. Из сухих ягод тута делали муку, а из тутовой муки делали лепешки. Их даже и печь не надо было. Замесил на воде, и все... Эти творцы «великой земледельческой культуры» никогда здесь не ели досыта!.. Но кто знает: может, если бы в этой «естественной лаборатории», как называл Вавилов Памир, человеку приходилось легче, то современная наука и не получила бы в свое распоряжение более сорока разновидностей пшениц, удивительные экземпляры ржи, лучший в мире голозерный ячмень.

Может, памирцы бы тогда на своих даштах с омачом и мотыгой не старались бы вывести самые скороспелые, самые хладостойкие хлебные злаки, не стали бы добиваться, чтобы не только колос был больше, но и чтобы каждое зерно было больше...

Но когда теперь смотришь, как чуть свет поднимаются Ашукбек, и его сосед, и соседа сосед, и впрягают вола в омач, и выходят на пашню, кажется, что это просто по какому-то недоразумению, по недосмотру забыли «отменить» этот омач! Ведь хлебом, который добывают на этих даштах колхозники, они даже и себя самих не могут прокормить досыта. И потом как дорого обходится этот хлеб в наш век механизации!.. Ну, а что касается «великой земледельческой культуры», то творцы ее, эти памирские хлебопашцы, сделали уже все, что могли сделать, что положено им было сделать, и дальше творить уже дело науки!

— Скажу я тебе, неудобно устроен Памир для современной жизни, — говорит Рахимджан. Он сидит под тутом и моет в керосине в тазу какие-то гайки. — Механизация, скажу я тебе!.. Понимаешь, председателю колхоза говорят — процент механизации не выполняешь! А какой тут процент! Вон умная голова нашлась, из республики приезжал, загнал трактор на соседний дашт. Второй год спустить не могут! Механизации развернуться надо где, а тут что — гектар, полтора,

а то и полгектара обработал и дальше в гору лезь... Нет таких машин, чтобы по горам лазали и камни пахали! Тут одна машина — омач!..

Рахимджан жестикулирует, роняет гайки в таз.

— Я тебе скажу, сколько хлеба из Оша возим, еще привезти можно. Это, конечно, не дешево — хлеб на Памир везти! А на Памире свой хлеб сеять совсем дорого... Ты осенью приезжай, увидишь — хлеб с даштов убрали, а дождь прошел, дашты зеленые... Почему зеленые? Понимаешь, вручную хлеб убираем, зерна много теряем. Три центнера зерна теряем, пять центнеров на каждом гектаре! Это точно считали, ты у Мавлоназарова спроси. Ты с Мавлоназаровым из облисполкома, из плановой комиссии, говорила?

— Говорила.

— Что он тебе говорил?

— Он говорил, что колхозы не должны возделывать всех культур, что это наследие натурального хозяйства, что это тормозит экономическое развитие области. Что хлеб памирский очень дорого обходится, нет смысла здесь сеять рожь и пшеницу, колхозы надо специализировать...

— Вот, вот, — перебил меня Рахимджан. — А что председатель колхоза нашего тебе говорил?

— Он то же самое говорил...

— Понимаешь, на даштах многолетние травы посеять надо — скота в два раза больше. Понимаешь, мяса Памир больше даст... Сады на даштах сажать. Тутовник. Понимаешь, тутовый лист шелкопряда кормить. Огороды у реки, где трактор ходит... Давно Памир просит! Дорогой хлеб на Памире, понимаешь, очень дорогой... Человека освободить надо... Почему так долго согласовывают, почему не решают? Скажи, пожалуйста?!

Старик Ашукбек перебивает Рахимджана и что-то говорит. Он не умеет говорить по-русски, но понимает.

— В сите много дыр, он говорит, — переводит Рахимджан.

Ашукбек сидит на айване. Он и старик дед. Они сидят, поджав под себя ноги. И кажется, что айван — это сцена, и они сидят на сцене, и на стене этой сцены-айвана написано: «Чужая печаль, что узор на песке...» А мы с Рахимджаном под тутом — зрительный зал... Ашукбек кормит с ладони кеклика, горную серенькую куропатку с пестрой полоской на крыльях. Этот кеклик не просто так кеклик, это чемпион по колхозу! На Памире любят бон кекликов. И среди кекликов есть чемпионы районного значения, есть и областные кеклики! Но памирцы никогда не ставят деньги на кекликов. Памирцы даже торговать не умеют. В Хороге построен базар. Городу нужен базар, но базар всегда пуст. Говорят, на Памире долго не могли найти завмагов, их пришлось привозить вместе с товарами с Большой земли.

— Зачем торговать — люди смеяться будут, — объясняет Ашукбек, а Рахимджан переводит. — Закон говорит: отдай свою ложку соседу, если ему нужно, сам руками ешь...

Ашукбек очень красив. У него тонкие, правильные черты лица. Седая шеволюра, седая борода. Он похож на сенатора или профессора. Он нетороплив, уверен, немногословен. Когда я поднялась к его дому, он ждал меня, и у порога была привязана овца. И когда я переступила порог — он заколол ее. Я просила этого не делать, я знала, он беден. Но он произнес только: «Гость — пленник хозяина!» И все было, как и должно быть, как положено... Ашукбек живет с отцом. Жена Ашукбека давно умерла. Три невестки живут с ним в доме, жены убитых на войне его сыновей. Он поднимал внуков — шестнадцать человек! Он воевал с басмачами, он был ранен, и рану эту он носит, как орден. Он первым вступил в колхоз... Когда-то парнем он обошел пешком весь Памир и потом сложил из камней этот дом. Кибитку. Квадратная комната. Вдоль стен глинобитные широкие нары, покрытые кошмой. На нарах спят. На нарах едят, расстелив дастархон — скатерку. Днем к стенам складывают одеяла, подушки. Слева от входа на нарах ступенькой выше — очаг. Раньше он топился по-черному. Дым стелился по комнате и



поднимался к потолку. Потолок тут делают особый. Над квадратом, свободным от нар, посреди комнаты сооружают свод. Кладут большие балки, кладут их квадратами, квадрат над квадратом, суживая кверху, и на самом верху на потолке остается квадратная дыра. Она служит одновременно и дымоходом и окном. Стены в доме глухие, окон в них нет. Зимой дыру на потолке прикрывали плетенкой из веток, тряпьем. Теперь в домах делают отдельные дымоходы, а дыра на потолке служит только окном, и ее закрывают оконной рамой. Так теперь и в доме Ашукбека.

Ашукбек сам строил свой дом. И все эти квадратные балки с четкими гранями, и полка для посуды у очага, и дверная рама, и дверь — все сделано топориком. Других инструментов в доме Ашукбека нет. Топорик с острым клювом — и все. И еще Ашукбек поставил две четырехгранные колонны на айване, а на стене айвана, на камнях скалы, которая служит стеной, высек: «Чужая печаль, что узор на песке...» Он знает фарси. Он читает Насира Хисроу. Рахимджан говорил, у старика есть книга Хисроу, но старик не дал мне ее, сказал, что не знает, где она. Наверное, просто не захотел дать. Книга эта для него священна. Он исмаилит, на Памире живут исмаилиты, и Насир Хисроу для них не поэт, а пророк.

Ашукбек что-то тихо произнес, и дед грустно качнул головой. Оба эти старика, которые сидят на айване, как на сцене, кажутся мне мудрецами из какой-то очень древней пьесы. Они так долго и так многозначительно умеют молчать. Так кратки фразы, которыми они обмениваются, так глубокомысленно и всепонимающе они качают головами. О чем говорят они? О звездах, о вселенной, о мироздании...

Когда-то здесь, в кишлаке Ямг, жил поэт Мубарак Вахани, он родился в начале века минувшего и умер в начале века нашего. Он оставил пять толстых рукописей, переплетенных в дощечки, обтянутые кожей. «Трактат о сорока мирах», «Капли в море». Диван, газели, рубай... Семьсот тридцать листов — собрание сочинений! Он переписывал свои книги вместе с учеником своим. Говорят, за стихи Вахани только один раз в жизни получил несколько серебряных монет. Ему прислали их из Бухары. Как он жил, этот Вахани? Слагал ли он стихи под дутор и ходил из кишлака в кишлак и памирцы делились с ним куском лепешки? Или у него был клочок земли — дашт и он, как и эти старики, обрабатывал свою землю омачом, или земли было так мало, что только мотыгой и можно было работать на ней?.. А вечерами при свете масляного светильника, или свечи-лучины, или просто при свете звезд где-то под самым крылом у бога он вел спор с сатаной... Что ж, это, наверное, самое подходящее место! Вахани посылал свои стихи в Афганистан, в Бухару, в Багдад. Но наместник бога на земле — ага-хан — признал его еретиком!..

Никак не могу понять: как это памирцы, эти вольные жители гор, верят в какого-то живого бога — ага-хана? Здесь, кажется мне, можно верить в бога гор, в бога снегов, в бога льдов, в бога горных потоков, обвалов и рек, но только не в бога-человека!.. Но, впрочем, ага-хан от них еще дальше, чем папа римский от католиков, и так же недосыгаем, как бог-отец, бог-сын, бог — дух святой!.. Как они представляют себе этого ага-хана? Но ведь так просто все о нем не говорят. И не спросишь. Как только начинаешь заводить разговор о религии, тебя вдруг сразу перестают понимать. Между тобой и собеседником вырастает стена, и слова отскакивают, как мячи от стены. И в ответ тебе только цокают языками и качают головой. Это мне Ашукбека удалось разговорить. Его подкупило, должно быть, что я знаю семь заповедей посвящения и люблю Хисроу — поэта. И он стал мне объяснять, что у исмаилитов нет муллы, мечетей. Исмаилиты освобождены от каждодневных молитв. Молиться — это дело ага-хана. Он молится за спасение их душ. У него непосредственный контакт с богом. И сборщик подати—халифа зякет—собирает ага-хану. Ведь не станет же ага-хан молиться просто так. Сколько податей за свою жизнь выплатили ага-хану Ашукбек и старик его отец! Раз в год халифа переходят границы государств, где живут исмаилиты, и переносят через границы

золото для ага-хана. Что, теперь Ашукбек не платит зякет только потому, что мы наглухо закрыли нашу границу и халифа трудно через нее пройти?

Как мне рассказать этим старикам, что я видела их ага-хана... В Париже на ипподроме. «Ага-хан!» — сказал один из французских литераторов, которые привели нас сюда. Я стала искать в толпе того, кто в моем представлении мог бы соответствовать этой должности на земле. Мне показали обрюзгшего, грузного старика с надменным лицом азиата, в отличном европейском костюме, галстук бабочкой, роговые очки, трость... «У него две страсти: женщины и лошади! Теперь ему остались только лошади, он уже очень стар...» Мне говорили, он получает каждый год столько золота, сколько весит сам. На одну чашу весов ставят его, на другую кладут слитки золота... Ну, это-то, может быть, уже из области анекдотов, но он действительно один из самых богатых людей на земном шаре. И еще об этом господине ходили упорные слухи, что он связан с Интеллидженс сервис... Часть года он проводил в Лондоне, у него там свой особняк, часть года — во Франции в Каннах, на берегу Средиземного моря. Он был балетоманом, держал лучших в Европе скаковых лошадей, женился на девушке, которая в тридцатых годах была признана «королевой» красоты Франции и снимки ее в купальном костюме обошли все европейские журналы... Не знаю, оставалось ли время у него молиться за спасение душ!.. Сын ага-хана, который должен был стать после его смерти ага-ханом, прославился тем, что то и дело женился на новых кинозвездах, и светская хроника не успевала следить за его разводами, и ни в одной стране, ни в одной мэрии уже не соглашались регистрировать его браки. Он просаживал деньги в Монте-Карло и был чемпионом по теннису...

Как мне это все объяснить старикам?.. Они ведь ничего не поймут. Не поверят...

Ашукбек сидит на айване, и кеклик спит у него на коленях. И дед сидит рядом, тихонько раскачиваясь вперед и назад. Что он сказал? О чем говорят старики и глядят на темнеющее небо. и на горы, и на снег на горах, который никогда не тает? Оказывается, на горы можно смотреть, как на море. Здесь, как нигде, ощущается вечность, и кажется — словно тебя не было и нет, словно ты не более песчинки в океане... Где-нибудь в Подмоскovie, где эти милые березки, тихие заводы, перелески, луга, — там с природой говоришь на «ты». Там все так же недолговечно, как и твоя жизнь. Ну и что из того, что какой-нибудь дуб или сосна переживут тебя. Но ведь и человеку положено одному больше, другому меньше пробыть на земле. И дуб этот обязательно рухнет: какой-нибудь жук-древоточец, или молния ударит, или свалит грозой, или просто топором кто подрубит... А здесь? Здесь все на века. Здесь все было и будет — и эти гигантские скалы, врезанные в небо навечно, и ледяные шлемы, надвинутые на них, и безоблачная синева небес, и каменное ущелье, на дне которого брошена речка. И как ей ни биться, ей никуда отсюда не уйти, разве только все глубже и глубже врезаться в ущелье, но горы тогда еще выше поднимутся над ней... Здесь века отсчитываются за годы. Здесь, кажется, можно притронуться к вечности ладонью. И от этого становится зябко... О чем говорят старики?

— Рахимджан, — спрашиваю я. — О чем говорят старики?

— Они говорят — бык захромал...

### 3

Геологи спят в своих ватных спальных мешках и в зыбком свете, который падает с неба сквозь прожженную еще зимой дырку в пологе, кажутся серебряными мумиями, уложенными в ряд. А я не могу заснуть. Сердце, как булыжник, давит, и такая трезвость сознания, при которой, конечно, не заснешь. Говорят, это со всеми так в первые ночи, пока не освоишься с высотой. Который час уже? Наверное, скоро рассвет... Тихонько выбираюсь из мешка и, натянув на себя куртку, выскальзываю из палатки. Обожгло холодом. Должно быть, градусов пять мороза. Теперь совсем уже не страшно. И я спокойно могу двигаться по площад-

ке и подходить к самому краю. Ночь сузила пространство. Только черные силуэты скал и свет луны. Луна стоит над ущельем. А я где-то между луной и землей, и до луны от меня, кажется, ближе, чем до земли. И опять всякие мысли о жизни, о смерти. О времени, которое так быстро идет, о людях... И опять чувство неловкости охватило меня при воспоминании о том разговоре, который произошел утром в машине. Меня подвозили сюда дорожники, нам оказалось по пути. И, как это бывает при первом знакомстве, все говорили разом и обо всем. И я говорила о старике Ашукбеке и сказала, что если бы была поэтом, то написала бы поэму об омаче, о человеке, который всю жизнь проработал на земле с этим омачом. «Весьма актуально! — засмеялся один из товарищей. — Гекзамером, конечно?» — «Да нет, я серьезно». И тогда молодой памирец, который все время молчал, произнес вдруг с непонятной мне злостью: «Не будете вы писать об Ашукбеке!» — «Почему не буду?» — «Нет его, поэтому и не будете!» — «То есть как это — нет?» — «Нет. Я вам сейчас докажу». Он вытащил из полевой сумки книжку и открыл ее. «Зачем так писать? Зачем неправду писать?» — кричал он, тыча пальцем в снимок. На снимке был дашт, горная терраса, такая же, мимо которых мы ехали, и вол тащил по пашне омач, и за омачом шел человек, и он даже чем-то был похож на Ашукбека. Но под снимком гласила надпись: «Так обрабатывали землю на Памире в прежние времена». «Ну вот, — сказал парень, — не верь своим глазам, так получается? У меня, между прочим, отец тоже работает с омачом. Мы из Рошт-Калы... Нет, ты скажи. — И парень тряс книгой. — Я вижу — есть, а мне говорят — нет! Зачем так?..»

...Холодно. Кажется, холод этот идет от самой луны. Такая она начищенная, металлическая и близкая. Как от солнца тепло, так от луны — холод... Я запахнула куртку. Что-то твердое ударило по бедру. Это камень. Я подняла его в штольне, меня туда водили геологи. Штольня выше на скале. Там над входом сейчас горит электрическая лампочка. Там работают и ночью. Вот выкатилась вагонетка — силуэт вагонетки, — и за вагонеткой показался человек — силуэт человека. Человек подкатил вагонетку к самому краю откоса, и опрокинул ее, и откатил назад в штольню, и исчез. И потом опять появилась вагонетка и человек за вагонеткой. И отсюда, где я стою, и человек и вагонетка кажутся не больше кукушки, которая отсчитывает время на старинных стальных часах. В штольне холодно даже днем, когда на поверхности обжигает солнце. И сыро — туда просачиваются ручьи. Штольня пробита уже метров на двести. Мы шли по ней, прижимаясь к стене, уступая дорогу вагонетке, которая выбирает пустую породу. Там, где кончились электрические лампочки, Станислав Анатольевич зажег из бумаги факел, и мы прошли в древнюю выработку, на которую геологи случайно наткнулись, ведя работы. В этой выработке когда-то (когда именно — десять, одиннадцать веков тому назад, время точно не установлено) люди добывали серебро. В этой большой подземной пещере можно стоять во весь рост, и над головой высокий каменный купол, и из пещеры щель ведет в еще более просторное подземное помещение, и своды здесь еще выше. Предполагают, здесь была «обогащительная фабрика», и десятки людей работали, отбивая руду от пустой породы...

«Есть здесь горы, где, скажу вам, богатые серебряные копи... Народ, скажу вам, вырывает большие пещеры и глубоко вниз спускается...» — рассказывает нам Марко Поло. Он в 1271 году отправился с отцом и дядей, «торговым домом Поло», в Кашгарию, Китай, Индию. Говорят, они побоялись идти морскими путями, не доверили свои жизни и товары ненадежным кораблям, которые стояли в гавани Ормуз, и предпочли пробираться через Памир. Говорят, еще до начала нашей эры купцы знали пути через Бадахшан и Восточный Памир и водили по ним караваны из европейских стран в страны Азии и из Азии в европейские страны... Только никто из этих купцов не оставил свидетельства — не поведал миру об этих дальних путях. Может, ежели бы и Марко не заточили в генуэзскую крепость и не случись у него такого досуга, а главное, не случись рядом с ним узника Рустикана Пизанского, который сумел столь блистательно все записать, так мы ничего и не узнали бы о стране Баласиан-Бадахшан, о Памире.

«В этой стране, знайте еще, есть и другие горы, где есть камни, из которых добывается лазурь; лазурь прекрасная, самая лучшая в свете, а камни, из которых она добывается, водятся в копиях».

«Страна холодная, водятся тут, знайте еще, хорошие кони, быстрые; по горам во всякое время ходят неподкованные. В горах водятся красивые сероголовые сокола, летают они быстро»...

«В этом царстве узких проходов, неприступных мест много, и вражеских нападений народ не боится...»

«В Баласиане народ мусульмане; у него особый язык...»

Неподалеку от штольни, в скале, расчищая площадку под компрессор, геологи обнаружили скелет. Это был похоронен мусульманин. Он был положен лицом к Мекке.

Только на три градуса ошиблись — определили геологи по компасу. Они дали знать в Душанбе археологу Мире Бубновой. Но она не летела, а суевверные рабочие боялись ночью работать в штольне, и геологам приходилось дежурить. Рабочий из штольни, молодой рушанец, — рыжеватый, с карими светлыми глазами, с белой кожей (в Рушанской долине много «белых» таджиков) — говорил мне, что, когда был обнаружен скелет, не только лопнул трос подвесной дороги и груз рухнул в пропасть, но и луна была какая-то особая, и ветер даже свирепствовал по-особому все то время, пока скелет ждал, чтобы его забрали в музей... Наверное, и правда встреча со скелетом на такой узенькой тропке, на такой высоте могла бы доставить радость разве только что археологу. Но в музей скелет не забрали, в музее есть скелеты и в лучшей сохранности, а у этого были переломлены позвонки. И ему было суждено заново быть похороненным на той же скале. И трос больше не обрывался, и луна была, как обычно луне быть положено, и ветер буйствовал, как обычно, с одиннадцати до четырех, а потом перерыв на обед, а с семи опять, а к утру утихал...

Кто был этот человек? Придавило ли его в руднике, в одной из тех древних выработок, которые были обнаружены недавно, или он был убит? Мусульман не хоронят так высоко. Их хоронят неподалеку от жилья. А древний поселок рудников был внизу, в ущелье, где ручей. Там обнаружили и остатки древней плавильной печи. Между прочим, видно, отличную плавку давали в те отдаленные времена памирцы — в шлаке найден очень небольшой процент серебра. Как жили здесь эти первые рудокопы? Как вниз, к ручью, доставляли с такой высоты руду — в корзинах на спине по узеньким тропкам, пробитым в скале? Может быть, этот человек упал и сломал себе спицу? Он был рабом? И потому его похоронили на скале, где он умер? Его некому было оплакивать в глинобитном поселке в ущелье, где ручей?..

Внизу, где ручей, светит окно. В каком это веке? «Какое, милые, у нас тысячелетие на дворе?» Что это — Лева-радист не спит, читает Бальзака или слушает Москву, там еще вечер...

Мимо дома радиста по дороге ползет грузовик с запада на восток, из Хорога в Ош. Ночью машины идут только на восток. С Памира машины идут порожняком. С Памира пока нечего вывозить: чуть шерсти, сухие фрукты, мясо. Но мясо гонят своим ходом, оно «живым весом» идет. Обратный рейс, семьсот двадцать восемь километров, машина может и за полтора суток проскочить, только бы не заснуть за рулем. Правда, Рахимджан груженные машины ведет и ночью и из Оша в Хорог. У Рахимджана восемь человек детей. «Понимаешь, — говорил он мне, — при современной жизни всем высшее образование надо давать». Вот он и гонит тонно-километры Хорошо, когда полутчик в кабине, тогда не хочется спать, тогда Рахимджан без умолку рассказывает... Это он мне первый рассказал о геологах, которые работают здесь, на горе, когда мы пронеслись ночью по дороге в Хорог мимо домика Левы-радиста И тогда в окне тоже горел свет...

Лева жил в Душанбе, преподавал радиотехнику в клубе — и вдруг Памир. «Что вас занесло сюда?» — «Интересно...» Он уже семь лет в горах. Раскапывал древний город на Базар-Даре, за перевалом Ак-Джилга... Перевал этот, кажется,

тысяч пять метров над уровнем моря. А с перевала путь в долину, где течет Базар-Дара. На правом берегу этой реки был обнаружен самый высокогорный маленький средневековый город. Он находится в центре Памира на высоте три тысячи восемьсот метров. Дома сложены из камня. В домах «подпольное» отопление. Древний водопровод обнаружен — труба, выложенная из каменных плиток, по ней подавалась вода в город. Улицы четко распланированы. Площади в городе. Центр города ограждала каменная стена. За стеной суетливо, уже без планировки, — дома ремесленников, за ними кладбище. Потом опять дома. Тропа из города. Если по ней пройти несколько километров, попадешь в древнее поселение рудокопов. В скале карьеры, выработки, где добывалось серебро. Найдены отвалы шлака. Археологи предполагают, что город этот просуществовал недолго — лет двести, наверное. Во всяком случае думают, что в двенадцатом веке он уже прекратил свое существование. Люди, видимо, просто покинули город. Оставили дома, покойников на кладбище и подались на новое место. Почему они ушли? Прекратились ли у них торговые связи с другими городами? Или просто выбрали всю руду — и людям стало нечего делать в городе? Куда они ушли? Ушли... и все забрали с собой. И археологи добывают самые ценные сведения на «помойках». А где же еще в пустом городе можно узнать, как жили тут... Черепки чашки, покрытые глазурью. Обрезки кож, из которых шилась обувь. Войлочная туфля без задника, с особым срезом носка — видно, какой-нибудь модник той поры носил ее... Кусок шелкового шарфа с каймой. Стекланный флакон из-под амбры. Ее употребляла, наверное, какая-нибудь красавица, жившая в этом городе.

«Города их и крепости на высоких горах, в неприступных местах, — писал Марко Поло. — Люди здешние отличные стрелки и охотники; одеваются всего больше в звериные кожи, потому что сукна дороги. Знатные мужчины и женщины носят вот какие штаны: у иной на штаны, что на ногах, пойдет более ста аршин бумажной материи, у другой восемьдесят, у третьей шестьдесят, а все это для того, чтобы задница казалась потолще; толстых женщин мужчины очень любят». Носила ли эта красавица с Базар-Дары шаровары, сшитые из ста аршин материи или только из пятидесяти? Во всяком случае лоскуты бумажной материи найдены. Но, может, моды на Базар-Даре были иные. И потом Марко Поло попал на Памир, видно, когда этот город уже был покинут, да и путь его проходил стороной. А сюда, на Базар-Дару, иные торговые пути вели, иные купцы заходили...

Среди находок есть монеты, чеканенные в Фергане и Кашгаре, есть удивительные сосуды-сфероконусы, в которых возили в те времена благовония и ртуть. Шелк. Украшения из нефрита. Какими путями это все доставлялось, откуда? Даже фруктами снабжался этот город на Базар-Даре, о чем не без зависти мне говорили Лева-радист и геологи. В древних выработках и в жилых помещениях были найдены косточки винограда, персиков, урюка, сливы... Но одна из главных находок, которая сейчас больше всего интригует, — это письмо! Оно написано на бумаге арабским шрифтом. Кто писал его? Кому? Что написано в этом письме? Наверное, в недалеком будущем археологи сумеют рассказать много интересного, это ведь первый средневековый город, обнаруженный на Памире! А пока археологи молчат и ведут раскопки — за них говорят легенды. Уже столько придумано легенд об этом городе! Конечно, и Рахимджан не промолчал. Он рассказал мне, что в городе на Базар-Даре предводителем маленького народа, который жил там, была женщина! Да! И мужчины там были в подчинении у женщин. И мужчин даже не хоронили, когда они умирали, их сбрасывали со скалы... Он мне целую историю поведал о памирской Лисистрате. Один раз он закончил свой рассказ тем, что китайский император, прослышав об этом городе и об этой женщине, собрал войско. И пошел войной, и разбил город, хотя женщины и сражались не хуже мужчин. Император взял в плен предводительницу и сделал ее своею наложницей. Но в другой раз, когда вышел разговор об этом городе, Рахимджан забыл и ту же легенду рассказал уже с другим концом: Александр Македонский, когда покорял Памир, услышал про город, где царствовала женщина, и захотел ее увидеть, а увидев, даровал и ей и ее народу свободу, и дарственную запись эта женщина

носила на груди в серебряной ладанке. Рахимджан уверял, что при раскопках в одной из могил на скелете обнаружили ладанку, и дарственная запись в ней не истлела.

— А какой же из этих двух концов правильный?— спросила я Рахимджана.— Мне археолог Мира Алексеевна Бубнова рассказывала в Душанбе, что город найден целым. Его явно никто не завоевывал. Он не был разрушен. Там нет следов ни войны, ни пожара.

— Ну, тогда, значит, второй конец правильный, с Александром Македонским,— сказал Рахимджан.

— Но ведь Александр Македонский не был на Памире.

— Был Искандер на Памире, был! Народ знает, что говорит! А если он не был, откуда же его конь на Памир попал? Откуда тогда «балюч» пошел?..

Вот и пойди поспорь с Рахимджаном, когда он приводит такие неопровержимые доводы! У памирцев живет легенда, что бадахшанский горный конь балюч — потомок самого Буцефала, коня Искандера Элькарнайна — Александра Двурогого, как называли царя македонского в Азии.

— А вы знаете, при раскопках на Базар-Даре были обнаружены и мужские скелеты на кладбище. Значит, там и мужчин хоронили...— робко сказала я.

— Откуда ты можешь знать?— рассердился Рахимджан.— Мне киргиз говорил, Айбек. Он там кутасов пасет. Он знает.

Пастухи уверяют, что слышали эти рассказы от отцов, а отцы слышали от дедов, а деды... Пастухи рассказывают шоферам, а шоферы...

Впрочем, за Рахимджана я не поручусь, он мог и сам все придумать... Скучно крутить баранку семьсот двадцать восемь километров в один конец, семьсот двадцать восемь километров в другой конец! И четыре ездки в месяц, не меньше. И двенадцать месяцев в году. И двадцать пять лет — год за годом... Он рад, когда в кабине есть попутчик, вот он и говорит. Он и об Усойском завале рассказывал, когда мы проезжали реку Мургаб. В верховьях Мургаба стоял кишлак Усой, и люди в нем спали. И вот посреди ночи двинулась на кишлак трехкилометровая гора и рухнула, и люди в кишлаке даже и проснуться не успели... Это и на самом деле все так было в ночь с 18 на 19 февраля 1911 года. И только трое жителей этого кишлака спаслись. Они пошли в гости в другой кишлак — Сарез. Гора, которая рухнула и погребла кишлак Усой, преградила путь реке Мургаб. Стало быстро наливатьсь озеро. Озеро затопило кишлак Сарез. Потому озеро и зовут Сарезским... Тут уж Рахимджан ничего от себя не прибавил.

Он мне еще и про озеро Яшиль-Куль рассказал.

Мы вначале говорили о рыбе. На Памире, где столько рек, водятся только три вида рыб. Маринка — быстроходная небольшая рыба. Ее прозвали «альпинисткой» за то, что она перескакивает через камни, пороги, падает с водопадов. Усатый мур-май, как зовут по-таджикски гольца, или вьюна. Он всего сантиметров двадцать длиной, но зато он даже в ледяном озере Кара-Куль водится! И третья рыба — осман. Это очень вкусная и крупная рыба. И самые крупные османы водятся в озере Яшиль-Куль.

— Если попадешь на озеро, когда молодой месяц родился,— сказал Рахимджан,— можно услышать, как озеро кричит.

— То есть как это озеро кричит?

— Люди на дне озера кричат... Это когда еще было! Люди бежали от войны, от китайского войска, а их нагнали на берегу озера. Они не захотели сдаться и вошли в озеро на верблюдах, на лошадях, с женами, с детьми, ну и погибли...

Я хотела спросить Рахимджана, был ли он сам на этом озере, когда родился месяц, слышал ли крики со дна озера, но боялась, что он опять на меня рассердится.

— Недобрые вы мне все сказки рассказываете,— сказала я.— Все гибнут люди, уничтожают их.

— А от нас с тобой добрые останутся?..— спросил Рахимджан.

Он был на войне. А в сорок третьем, после ранения,— опять за баранку.

## 4

Дорога вниз, в ущелье, при свете луны кажется совсем белой, и Гунт рядом с нею дрожит мелкой серебряной чешуей, как в ознобе. Я не знаю, где начинается Гунт. Я это видела только на карте. А дорога нагоняет Гунт где-то посредине его пути. Но где начинается дорога, я знаю — полевой километр, Кыр-Арык, город Ош...

Ош — оттуда во все времена начинался путь на Памир. Оттуда шли караваны... Там неподалеку от базара, где стоит кинотеатр, где у тротуара выстраиваются такси в ожидании пассажиров, где через дорогу автовокзал, куда со всей Ферганы прибывают рейсовые автобусы, стоял раньше караван-сарай. Там догваривались с проводниками Северцов, Мушкетов, Федченко, Вавилов... Там нанимали лошадей, верблюдов. Там грузились караваны. Караванщик — это сложная и трудная профессия. Караванщик должен быть смел и находчив, терпелив и вынослив. Караванщик должен уметь переправить караван через горный поток и не растерять вьюки, должен подняться на перевалы и пройти через ледники, должен пересечь пустыню и пройти по оврингу, где кто-то высек на скале, предупреждая: «Путник, будь осторожен, ты здесь, как слеза на реснице!» У караванщика должны быть сильные руки и точный глаз. Он должен без весов уметь взвесить груз и разделить вьюки на две равные половины, чтобы не более трех пудов приходилось на каждый бок лошади. И надо уметь еще уложить этот груз на вьючном седле и привьючку, и обвить все арканом, и затянуть аркан так, чтобы и лошадь дышать могла, и груз чтоб не съехал под брюхо, не ерзал, не натер ей бока. Говорят, только годам к сорока пяти караванщик приобретал все нужные ему навыки... Был у караванщиков караван-баша — главный караванщик, он вожил на Памир караваны и в тысячу, и в две тысячи верблюдов и вьючных лошадей... Перевал Талдык, Сары-Таш, через Алайскую долину, перевал Кизыл-Арт и через Восточный Памир, мимо озера Кара-Куль, через перевал Ак-Байтал, а там памирский пост — Мургаб, Джиланды и дальше по ущелью, где течет река Гунт.

Караван больше месяца шел... Мы с Рахимджаном проскочили этот путь за двое с половиной суток. Ночевали в Сары-Таше и в Джиланды. Правда, ночи были короткие — два-три часа. Рахимджан знает песню караванщиков, и он пел ее. Песня эта долгая и трудная, как и путь каравана. И кончалась она тем, что караван далеко уходит в пустыню и звуки его замирают.

И Рахимджан смолк и, помолчав, вдруг произнес:

— Рохи сафет! — И, грустно улыбнувшись, высунул руку из окна машины и помахал в пустоту, словно невидимому этому каравану. — Доброго пути... Хорошая песня правду говорит...

Он в пятнадцать лет был погонщиком и ходил с караваном по Памиру.

— А у шоферов есть песня? — спросила я.

— Нет. Рано еще. Не придумали. Караванщики сколько ходили... Это еще деды дедов придумали. А первая машина пришла на Памир только в тридцать первом году. До Мургаба дошла. Еще наш памирский автомобильный трест караваны держал. Еще в тысяча девятьсот тридцать шестом году караваны ходили из Оша...

Я тоже ехала на Памир из Оша. В Оше есть широкие, прямые улицы и такие тенистые, что на скамейках там можно сидеть, как в саду, и слушать арык, он со звоном бежит по своему бетонному руслу. Дома многоэтажные и все белые. «Гастроном». «Фрукты — овощи». Универмаги. Стеклянные витрины залиты неоновыми огнями... А в чайхане над рекой Ак-Бура какой-нибудь толстый узбек, накурившись из-под полы анаши — зеленой конопли, — обалдело глядит на прохожих. На базаре чеканщик у тебя на глазах из куска старой жести делает удивительные кувшины с узкими длинными носиками, лебедиными шеями, и крышки на кувшинах, как купола мечети. Только покупатели на эти кувшины редки, теперь эмалированная посуда в ходу! И в ларьке, где продают манты, скучает продавец в белом халате и в белом поварском колпаке, а у девчонок в шароварах, в

тубетейках, из-под которых торчат жесткие, как плетки, косички, торговля идет бойко. Они те же манты — пельмени с луком и мясом, обсыпанные красным перцем, — продают в тазах, накрытых тряпками... Новый город наступает на старый, но старый еще не сдался, хотя и загнан в узкие тупички, в тесные улочки, где и «москвич» не пройдет, обобьет себе бока о дувалы! Глинобитные дувалы небеленые, и слепые стены домов без окон. И женщина здесь прошмыгнет торопливо и скроется за калиткой, за высокой стеной.

— Вы кого здесь ищете? — спросил меня парень-узбек. Он бил мячом о глинобитный дувал.

— Да я приезжая, город смотрю.

— Смотреть надо Черемушки!..

Конечно, и в Оше есть Черемушки! А напротив Черемушек — Сулейман-гора. Святая гора. Если попадете в Ош, обязательно поднимитесь на эту гору, с нее такой вид открывается! И потом на гору эту сам пророк Сулейман прилетал на белом коне... Сулейман этот жил в пятнадцатом веке. Он был визирем хана и не знал, должно быть, что по воле мулл и шейхов станет святым! И на гору эту он приезжал, конечно, — не прилетал. Здесь была его летняя резиденция, дача. А рядом стоял маленький белый домик Бабура, падишаха Индии, известного военачальника, историка, поэта. Он поставил его в 1497 году, пятнадцати лет от роду, когда после смерти отца стал правителем Ферганы. Домик Сулеймана не уцелел — муллы превратили домик Бабура в домик Сулеймана. В конечном итоге не все ли равно! Они поджидали в этом домике паломников и молились аллаху. Паломники со всей Ферганы шли сюда. В прошлом году, чтобы покончить наконец с предрасудками, домик сломали. Говорят, каменщики в пятнадцатом веке отличную кладку клали, в двадцатом — не так уж легко было ее ломать. Домик сломали, ну а паломники все идут... Едут на автобусах, слезают у «модерного» автовокзала из стекла и бетона, подъезжают в такси. И при мне в воскресенье целый день шли и лезли по отвесным камням на эту Сулейман-гору женщины, старики, и какой-то узбек в европейском костюме тащил больную мать, разбухшую от водянки, по самой отвесной тропе. Должно быть, чем труднее тропа к богу, тем ближе исцеление... А два муллы ждали паломников не на горе, а под горой, на кладбище.

— Мало сломать... Может, лучше бы газировкой в домике торговали, — сказал Рахимджан.

Может, и правда бы лучше: во-первых, домик этот пятнадцатого века, а Ош, хоть он и древний город и уже в девятом веке упоминается в рукописях, но памятниками старины ему не похвастаться. И потом предприимчивые девчонки и мальчишки, зачерпнув чайником воду из арыка, лезут на гору и продают по копейке стакан...

Рахимджан живет под горой Сулеймана. В Оше есть целая улица шоферов. В Памирском автомобильном тресте почти девятьсот машин. И почти столько же шоферов. Каждый день со двора этого треста въезжает на Памир машина за машиной. Мука, цемент, уголь, жидкое топливо, лес, консервы, мануфактура, мебель, игрушки, парфюмерия и прочее, прочее — все из Оша. Здесь на «попутке» всегда уедешь на Памир. Правда, можно на Памир и самолетом из Душанбе на Хорог, сорок пять минут. Но на небо памирское надежда плоха. Можно и машиной из Душанбе, там путь короче, но там машины ходят только летом. А из Оша круглый год каждый день на Памир идут грузовики, идут по самой высокогорной дороге. Может, поэтому и на дверцах машин памирского треста нарисованы белые крылья: ведь на пять тысяч метров над уровнем моря только самолеты и поднимаются!

С Рахимджаном познакомил меня Пату-баша. Так в Оше зовут директора Памирского автомобильного треста. Раньше был караван-баша, теперь Пату-баша! Пату-баша может весь город посадить на свои машины и вывезти. Рахимджан укрывал брезентом мешки с мукой в кузове, когда мы с Пату-баша подошли к его машине.

— Ну что же, — сказал Рахимджан, знакомься со мной, — если не боишься тупек, едем!



— Тутек, Талдык! Ведь люди же ездят!

Я тогда еще не знала, что тутек — это болезнь, которой страдают на большой высоте, на Памире. Я думала, Тутек — это название перевала, как и Талдык.

## 5

Полевой километр — Кыр-Арык. И напутствие на щите: «Доброго пути!» Это напутствие здесь, пожалуй, не лишнее... На полях цветет хлопок. Жара сорок градусов. Кабина раскалена. В радиаторе вот-вот закипит вода. А через несколько часов перевал Талдык. На Талдыке метель, мокрый снег засыпает зеленые ветки арчи. Арча ползет, стелется по горе — карликовые деревца! Дальше на Памире уже не увидишь деревьев, только близ Хорога, а туда ехать и ехать по каменной пустыне... Когда караваны ходили, здесь, на Талдыке, запасались арчой для костров на весь путь. Талдык. Вершины не видно, тучи сползли, накрыли серпантин. Где-то на верхнем ярусе гудят грузовики и в тумане расплываются желтые огни фар. Дорогу развезло, колеса буксуют... Только к ночи — Сары-Таш.

Сары-Таш — как базарная площадь в базарный день: грузовики один к одному. На Сары-Таше чуть запоздал — в кабине ночуй: койки все заняты. В линейном домике натоплено, грязь. Старик смотритель ворчит, белье не меняет, сидит при керосиновой лампе, клянет сары-ташскую жизнь, дает слово: последний месяц работает. Здесь все, на Сары-Таше, последний месяц работают. Лучше в Ош, на гроши там жить, чем здесь за деньги! Сары-Таш — пустырь, десяток строений, за машинами их и не заметишь, ни дерева, ни куста, только грузовик за грузовиком с белыми распростертыми крыльями на дверцах. Ночь согнала их сюда с дороги, как стадо в кошару. Зимой в мороз Сары-Таш всю ночь гудит. Дрожит земля. Ревут моторы. Каждые час-два водители выскакивают из дома и в кабину — прогревают мотор. А чуть свет Сары-Таш уже пуст. Ни одной машины. Заправился бензином, подлил масла — и в путь... Шоферы нигде не задержатся, гонят норму. Ведут счет тонно-километрам. Меньше четырех ездов в месяц нельзя — не заработаешь!..

А чуть свет я вышла из линейного домика, где всю ночь за перегородкой старик смотритель жаловался на свою жизнь, а теперь спал, накрывшись пятью запасными одеялами... Открыла дверь — Сары-Таш пуст! Все машины ушли. По-езмка метет, заметает пустырь. А за пустырем горы! Ночью они только угадывались, а теперь громоздятся одна на другой, гигантские, сплошь одетые ледяными панцирями. Еще солнце не вставало, еще только начинался рассвет, и снежные горы были иссиня-лиловые, и таким от них повеяло извечным мертвым покоем, таким леденящим холодом, что еще унылей показалось на этом и без того холодном и унылом Сары-Таше! И первое ощущение от Памира, от первого прикосновения к нему оком, — о господи, для чего это ты все сотворил, для чего ты трудился! Туда ведь и птица не долетит, и зверь не дойдет!.. Впрочем, теперь, в двадцатом веке, на это есть прямой и точный ответ: эта заоблачная ледяная пустыня, эти гигантские снежные вершины — всего только лаборатория по производству воды для реки Аму-Дарья! Ну да, все памирские реки работают на Аму-Дарью. Все они — Шах-Дара, Ванч, Гунт, Бартанг, Пяндж, — все по горным ущельям, как по каменным трубопроводам, несут свои воды в Аму-Дарью! В двадцатом веке все подчинено железному закону причинности, логике цифр! А цифры говорят, что та древняя река Оксус, которую знал еще Эратосфен, которую обозначил на карте Птоломей, указав, что истоки ее в какой-то неведомой горной стране, — это наша нынешняя Аму-Дарья собирает воду с ледников, площадь которых более 10 тысяч квадратных километров! А из них 7273 квадратных километра льдов приходится на Памир. А из них 6707 квадратных километров льдов приходится только на один ледник Федченко — самый большой ледник в средних широтах мира! Так что можно быть спокойным за Аму-Дарью: у нее хватит воды, чтобы поить Голодную степь!.. Не все, правда, памирские ледники заняты производством воды толь-

ко для Аму-Дарьи — 768 квадратных километров льдов она оставляет от щедрот своих другим рекам!

Отправляясь на Памир, я запаслась цифрами, справочниками, картами, указателями, которые не оставляли ни малейшего места для каких бы то ни было таинственных и мистических сил и чудес. Оказалось, что и само слово «Памир» расшифровывается теперь учеными вовсе не как величественное «Крыша мира», а как «Подножие гор»... Давно ведь уже известно, что первоначально Памиром назывался только приток Пянджа, по которому шли древние караванные тропы на Восток. Долина реки Памир огорожена высочайшими горами, потому-то, видно, местные жители и называли и реку и долину Памиром. И китайский путешественник Сюань Цзян, который в 628 году начал свои странствия по Азии, описывал именно «долину По-Мило», долину Памира. И только потом вся горная страна стала называться Памиром. Не знаю, почему ученые так долго искали созвучий и слов, схожих со словом «Памир». Почему соединяли иранские, санскритские, тюрские слова и добивались «возвышенного» перевода: «Центр вселенной», «Крыша мира»... Не берусь судить — может, и правда «Крыша мира» оказалась всего только «Подножием гор». Для меня это не имело значения. Я все равно, стоя у обшарпанного, грязного домика на Сары-Таше, где ночуют шоферы, с замиранием сердца и со священным трепетом следила за тем, как на моих глазах оживали снежные исполины, как пробегали по ним золотистые и розовые тени и стирали с них мертвенную их синеву... И я понимала — мир без чудес не стоит! Ведь даже игрушка, созданная подлинным художником, — это чудо. Так что ж тогда говорить о Памире...

Из Сары-Таша дорога вниз, в Алайскую долину. Низ — это три километра над уровнем моря! А за Алайской долиной — Заалайский хребет. Это его вершины были видны из Сары-Таша. Теперь он открывался весь, этот северный край Памира, — гигантская гряда гор... И представить себе только, что совсем недавно, в семидесятых годах прошлого века, можно было еще «открыть» такое! Не отдельную гору, не пик какой-нибудь, а целую горную гряду, покрытую вечными снегами... Радость этого открытия выпала на долю замечательного русского ученого Алексея Павловича Федченко, который был первым европейцем, подошедшим к Памиру, с северного его края и открывшим эту гряду гор, которой он дал название Заалайский хребет. И на запад и на восток идет эта гряда, и не охватить ее взглядом... А у подножия ее бескрайний Алай. Альпийские луга, юрты пастухов, стада и узкая бурая река.

— Кизыл-су... Знаешь, какая река Кизыл-су, — говорит Рахимджан, когда мы подъезжаем к реке. — Ты не смотри, что здесь Кизыл-су маленькая. Кизыл-су — большая река... Кизыл-су — Вахш — одна река, только три названия имеет: Кизыл-су, Сурх-об, Вахш... А Вахш — в Пяндж, в самую Аму-Дарью идет...

Рахимджан останавливает машину и, гремя ведром по камням, набирает воду. Вода в реке красная, глинистая.

— Кизыл-су — красная вода по-киргизски. Здесь Кизыл-су, туда, вниз, — Сурх-об. Там таджики живут, а Сурх-об по-таджикски тоже красная вода, — продолжает он, наливая воду в радиатор.

## 6

Кизыл-Арт. Красный перевал, как объяснил мне Рахимджан. Четыре тысячи четыреста сорок четыре метра над уровнем моря. А за перевалом Кизыл-Арт спуска уже почти нет. За перевалом плоскогорье — Восточный Памир. Теперь километр за километром высота — четыре триста, четыре пятьсот... Но высота — это если есть с чем сравнивать, а тут — гладкая поверхность. Километр за километром каменная пустыня, и горы где-то по краю, но отсюда они уже кажутся совсем невысокими.

— Странно все-таки, — говорю я Рахимджану, — даже не верится, что здесь больше четырех тысяч... Совсем не чувствуешь высоты.

— Мотор чувствует. Разве не слышишь, как хрипит, задыхается, кислорода ему не хватает. На обогатительной смеси идем. Половина мощности минус. А груз тот же тащит... Слышишь? Ты послушай, как дышит...

Он останавливает машину, выходит из кабины и залезает под капот.

— Иди сюда,— зовет он.

Я прыгнула на землю и почувствовала, что у меня сердце где-то справа колотится, нехорошо стало.

— Что-то со мной такое...— говорю я.

— Теперь веришь, что мы на высоте идем? Когда муха ползет по столу, она не знает, что у стола ножки есть. Здесь прыгать не надо и руками махать не надо... Иди ешь редис...

Он еще в Оше заставил меня купить редиску и леденцы, он уверял, что в Мургабе у меня обязательно будет тутек.

— Тутеком все хворают. Даже кто на Западном Памире живет — на Восточный не любит ездить. Тошнит, голова болит. Кто первый раз едет, очень плохо. Сердце заходится. Но никто не умирал, ты не бойся. Я тебя довезу. Ты только редис ешь, леденцы ешь. Все время ешь, помогает.

— Это уже есть тутек?— спрашиваю я его, осторожно усаживая себя в кабину.

— Тутек еще будет!— обнадеживает он меня.

И опять мы едем. И опять камни. Тощий терескен и какие-то кустики — «подушечники», и камни, камни... Видно, бог в минуту крайнего пессимизма создавал эту каменную пустыню! Даже в Каракумах больше жизни. Там хоть ветер песком шевелит, с бархана на бархан гонит, а тут — мертвые камни...

— Скучно?— говорит Рахимджан. — А вот так едешь один, может, в тысячный раз едешь, хоть бы голос живой услышать. В Москве, говорят, даже в такси радио. Сюда бы в кабину радио. Почему не положено? Культурного роста нет! Газет читать некогда, ничего не знаешь. Домой приедешь, говорят — Терешкову запустили...

И все камни, камни, и где-то вдалеке, в черном прорезе между гор, два-три домика. И опять все пусто, плоско и только терескен и «подушечники»! Странное это растение: глаза не радуется, а приглядишься к нему — вроде бы гениальное творение природы. Это же надо придумать такое, чтобы на камнях жило! Маленький плоский кустик. А попробуйте выдернуть — не выдернешь! Корни на несколько метров уходят в землю, не вглубь, вглубь не пробьешься — камни или вечная мерзлота. Корни пробираются по горизонтали, собирают влагу по капле. Кустик прижался к камням, дрожит от холода, словно живое существо. И до чего же оно разумное, это существо! Подобрал веточку к ветке, укрылся от ветра, от стужи старыми листьями. В клубок сбился, тепло бережет. Только листки к солнцу выставил, и на каждом листке мохнатая варежка, густым ворсом покрытая. Говорят, здесь, среди камней, до пятисот различных видов этих «подушечников»! Только за камнями их не видно...

И еще я вам скажу, есть здесь одно «чудо»: озеро Кара-Куль. Представляете, в этой каменной пустыне, которая зовется Восточный Памир, почти не бывает дождей и снега выпадает очень мало. Во всяком случае осадков здесь меньше, чем в пустыне Сахара... Восточный Памир — плоскогорье, оно поднято выше чем на четыре километра, а вокруг него горы на пять-шесть километров и выше. Эти горы, как погранзаставы, они не пропускают облака на Памир. Редкому облачку удастся беспешинно прорваться через эти заставы. И вдруг посреди каменной Сахары — озеро! Огромное озеро, глубинной более чем в двести метров и шириной в двадцать два километра! Самое высокогорное озеро! И на берегу этого озера песчаные барханы... Не знаю, я не была в Сахаре, но в Каракумах была. Здесь, у этого озера, барханы, как и в этой южной пустыне Каракум, а под барханами — лед... вечная мерзлота, как в тундре! Сотрудники гидрометеостанции, которая работает на этом

озере, говорили мне, что до сих пор еще ведутся споры о происхождении этих льдов...

А еще здесь водятся снежные барсы. В том районе, где Восточный Памир переходит в Западный, третьего дня один водитель придавил барса. Везет же людям! Он нам с Рахимджаном показывал расписку — сдал в Мургабе на загопункте за двадцать пять рублей. Барс этот прыгнул со скалы на дорогу и попал в луч фары. У водителя, конечно, с собой было ружье, это он уже потом для верности колесом еще придавил... Ну, уж если не барса, так хоть бы снежного грифа увидеть! Здесь и грифы водятся. Парил бы в небе или уселся бы где-нибудь на скале... Но на скале я только надпись и увидела. Это тоже, скажу вам, не всюду увидишь, чтобы так высоко! Выше уже разве только сам господь-бог может... Эта гора, наверное, километров пять будет, и по ней гигантскими белыми буквами — дадим столько-то процентов мяса, столько-то молока, шерсти! Написано по-киргизски, но Рахимджан перевел.

— Это какая работа! За сотню километров видно! Одной краски сколько ушло. А зачем писал? Для кого писал? Объясни, пожалуйста. Киргиз-пастух пойдет, для него писал? Да? Так он сам знает, ему уже объяснили! Для меня писал? Зачем для меня писал, для меня дело делай, писать не надо! Смотри, овцы лежат. Сколько овец лежит!

Мы проносимся мимо одиноко стоящего домика дорожника. У домика и правда на камнях лежат овцы.

— Это, понимаешь, недавно отара шла в Алай. Уже в Алай скот гонят из Рушана, Ванча. Через весь Памир гонят! А овца тощая, корма плохие, не может идти... На машине надо скот в Алай везти. Машины ПАТУ порожние с Памира идут. Но, понимаешь, дорого ПАТУ за обратный рейс берет. Колхозы бедные, не могут платить. А ПАТУ дешево брать не может, государственная расценка есть. Машина пустая идет, все равно шины бьет, бензин идет. Пускай колхоз дешево дает, скот целый будет! Понимаешь, как получается! Чей ПАТУ? Советский ПАТУ. Чей колхоз? Советский колхоз. А договориться не могут. Ай-я-яй... Когда уже совсем скот падает, тогда говорят — подвези, стихийное бедствие! А почему раньше не подвези...

Впереди среди камней зашевелилось наконец что-то живое — яки! Стадо яков, или кутасов, как их зовут пастухи-киргизы. Черные лохматые коровы! Юрта, конь привязан. Киргизка в высоком белом тюрбане донт ячиху.

— Дальше юрта будет, знакомый киргиз. Молоко будем пить. Знаешь, какое густое молоко — заяц пляшет и не тонет! Сама увидишь...

Ну и выбрали же себе местожительство эти хрюкающие коровы! Нигде больше в Союзе не живут, только здесь. И нагуливают на этих «подушечниках» по пятьсот—шестьсот килограммов живого веса!

— Нежное животное кутас, — говорит Рахимджан, — жару не любит. Осенью, когда их гонят забивать в Ош, спускают с Памира, еле живые ходят. Язык высунут, как собаки, жалко смотреть... Кислорода им много, задыхаются. Скажи пожалуйста! Тридцать пять процентов живого веса теряют! Считай, сто—сто пятьдесят кило с каждого кутаса! Это же убыток колхозу какой... Нам с тобой мяса меньше! Десять лет уже говорят: надо на Памире скот забивать. Почему только говорят, дела не делают!.. У нас на Памире поговорка есть: «Нож свою рукоятку не режет!» Получается режет. Почему режет? Сам думаю — ничего не понимаю! Говорю, радио в кабину ставить надо, когда радио говорит — все понимаю!..

И опять юрта и яки-кутасы. Удивительно вписываются они в пейзаж. Угрюмые, неповоротливые, с длинной шерстью, которая бахромой свисает с живота и волочится по земле. Пыльные, рыжевато-коричневые от пыли, которую они стирают со скал и камней, покрытых налетом «пустынного загара». Короткие тонкие ноги. Рога врзлет. Могучая грудь. Яки очень сильны, и волки боятся на них нападать, разве на одиноко бродящего яка стаей. но и тогда от них клочья летят! Яки могут жить на любой высоте, для них нет верхней границы, но на Западном

Памире они уже не живут: для них две с половиной тысячи метров уже низко! Для яков не нужны стойла, загоны. Яки живут вольно. Спят на снегу в любые морозы, лазают по крутым, отвесным скалам, добывают из-под камней «подушечники». Ячата не отстают, ячата быстро развиваются и крепнут на молоке ячих. Молоко у ячих жирное и, правда, такое густое, что в нем ложка стоит! Только мало молока у ячих, на ячат и хватает, зато из яченка шестьсот килограммов яка вырастало!.. Но был брошен лозунг — не ждать молока от ячих, брать молоко у ячих! И брали... Из области требовали сводки надоя. Доили ячих, как коров. Превращали яков в молочный скот. Но не могли ячихи дать молока больше, чем могли! Хирело стадо. Стали болеть яки. Чтобы яки болели — не было такого никогда! «Измельчали яки...» — жалуются пастухи-киргизы... Но, к счастью, якам теперь вышло послабление — план сдачи молока снижен. Якам разрешено быть просто рогатым скотом...

И так мы едем. Долго едем по этой каменной пустыне. Голова болит, словно кто-то обруч на нее надел и сжимает. Речки какие-то попадают медленные. Лениво текут. Что, им тоже кислорода не хватает, как и мне, задыхаются... Но я даже не спрашиваю названия рек. Мне все равно. На меня апатия напала. Спать хочется.

— На первой скорости, по пять километров в час... Больше машина не может. Видала? Подъем пошел... — стучит Рахимджан пальцем по спидометру.

Теперь пойдут перевалы — Ай-Бактал, Найзаташ, Койтезек. Один почти пять тысяч метров над уровнем моря, другой около четырех двухсот, четырех трехсот... Серпантин вверх — поворот, и еще поворот, и еще поворот, и еще, и еще, а потом вниз поворот за поворотом... Дорога узкая, прижата к скале, две машины не разойдутся. Мотор пыхтит, сбивается с ритма. Рахимджан нервничает, вцепился в баранку и ничего не рассказывает. Сидит, напряг спину и вперед подается рывками, в такт, когда сбивается мотор, словно подталкивает в эту минуту машину.

— У вас же спина потом будет болеть, — говорю я.

— И болит. На лесовозе привык. Там еще труднее... Слышала? — вдруг говорит он и прислушивается.

— Это охотник, наверное, где-то рядом выстрелил.

— Охотник! Гора стреляет... Камень трескается! Днем как солнце палило, а сейчас мороз!

Это правда. С утра солнце было холодное, и я дрожала в машине, а потом оно так разогрелось, что я и не заметила, как кивозь ветровое стекло сожгло мне руки. Можно было ехать в одном платье. А сейчас опять все кофты и платки на себя натянула. Здесь летом каждый день заморозки и такая резкая смена температуры, что в полдень может быть 33° жары, а через три-четыре часа минус 6°.

Впереди на дорогу ручейком сыплется с горы мелкие камни. Рахимджан прижался щекой к рулю и через ветровое стекло смотрит на гору.

— Проскочим... — произносит он не то утвердительно, не то вопросительно.

А когда мы проскакиваем, позади нас опять сыплется на дорогу камни.

— Вот так один наш водитель ехал, а на кабину камень свалился — тонны полторы!.. Еще татарин в кабине ехал. При мне уговаривал — возьми, торопился очень...

И опять поворот, и опять. И все выше. С одной стороны скала, с другой стороны пропасть, осыпь вниз, и узко так, что на повороте машина колесами по небу чиркает!.. И вдруг из-за поворота навстречу лесовоз... И мы только что ползли вверх, я не успела опомниться — ползем задом вниз. А на нас лесовоз шаг за шагом... И водитель лесовоза грудью навалился на руль, сейчас вышибет головой ветровое стекло! Господи, а если тормоза откажут... Рахимджан высочил из кабины, стоит на подножке, одной рукой крутит баранку, другой за дверцу держится. А за дверцей дороги нет, по самому краю идем, он в небе висит...

— Смотри, не сигай из кабины! — раздается неожиданно окрик, и я понижаю — это он мне.

Может, и сиганула бы, не знаю... Но какое там сигать, когда я и пошевелить-

ся не могу. Мне совсем уже плохо. Голову разламывает, в ушах звон, руки, ноги ледяные. Зеваю. Никкак не могу до конца вздохнуть. Черт знает что!..

— Давай-давай,— кричит Рахимджан, падая на сиденье, и двумя руками крутит баранку.

Что он делает? Здесь же не развернуться! Но наш ЗИЛ и не разворачивается, он на гору лезет вверх почти вертикально.

— Давай-давай!— кричит Рахимджан.

Водитель лесовоза тоже кричит и обходит нас, тарахтя пустым прицепом. Хорошо еще, что пустым!.. Мы сползаем с горы и вырुливаем на дорогу. И Рахимджан как-то сразу обмяк весь. Опять стал маленьким. Съежился под своей ватной телогрейкой, вытирает рукавом пот с лица... И опять мы ползем вверх по дороге, откуда только что съезжали, и руки у Рахимджана дрожат.

— Я тут одного стажера из Москвы зимой вез... Сиганул из кабины, покалечился...— говорит он и смотрит на меня. — Теперь у тебя тутек. Это тутек тебя разобрал! Ничего, оклемаешься! У меня на Ак-Байтале всегда башка трещит. Сво-лочь Ак-Байтал! Сколько раз еду — и каждый раз трещит. А пропустишь две-три ездки — и сердце барахлит... Теперь у нас на Памире опорный пункт по испытанию машин, — продолжает он. — ЗИЛ ваш здесь уже испытывал, и другие заводы будут. По всему Союзу говорят — первый опорный пункт. Если тут мотор выдержал — всюду выдержит. Специальный аппарат в машину ставят, он все записывает. Регистрацию ведет: как мотор себя чувствует на высоте, как рулевое управление, как тормоза на какой высоте, как давление, какая температура... Вот бы человека тут таким аппаратом записать... А?! Я одного ученого подвозил, так он подсчитал: есть у нас в тресте водитель дядя Яша Суходольский. Он тридцать лет машину по Памиру водит. Так ученый этот говорит, что дядя Яша два раза на Луну съездил и обратно вернулся. Больше пятидесяти витков вокруг земного шара сделал без кислородно:о аппарата! Так его же на Красной площади встречать надо...

## 7

На скале, где штольня, где все еще горит электрическая лампочка, выкатилась вагонетка. И человек за вагонеткой... В какой уже раз! Через равные промежутки времени — вагонетка и человек за вагонеткой. Кажется, это и впрямь гигантские часы, которые отсчитывают время... Я делаю несколько шагов, пытаюсь согреться. Какая-то птица вспорхнула у меня из-под ног и уселась на бидоне с водой. Как обыкновенная сорока, ночевала здесь!.. Луна уже не висит над ущельем, ее словно кто-то вдавил в небо. Она такая же бесцветная, как и небо, только запавшие глазницы видны. В ущелье серо — горы, река, дорога. По дороге мимо домика Левы-радиста уже поползли грузовики с востока на запад, в Хорог из Оша. В домике не светится окно. Лева спит.

— Спускаетесь сегодня?

Из соседней палатки вышел парень, зевая и ежась от холода.

— Спускаюсь.

Человек с вагонеткой не исчез в штольне. Он стоит на краю и подает сюда, вниз, какие-то знаки. Парень, потянувшись, прыгает на хребтик, взбирается на гору. На тропке он останавливается и машет мне на прощание рукой...

Потом взошло солнце, и мы спустились.

— Если по серпантину, это все пять километров будет, — сказал Станислав Анатольевич.

— А как вы спускаетесь?— спросила я.

— Прямо по осыпи, где можно! Да вы не бойтесь, давайте руку, я вас буду страховать...

Внизу нас ждала рыбка-маринка. Целая сковорода золотистой, только что зажаренной маринки. А «газик» за мной не пришел. И вчера не приходил. Я решила проголосовать, но машины как назло все шли не в мою сторону, не в Хорог. Лева потащил нас к Гунту, хотел показать место, где он вчера ловил маринку.

А тут пошли грузовики в Хорог один за другим, с белыми крыльями на дверцах. Последний вдруг затормозил. Водитель выскочил из кабины и, спрыгнув с дороги на камни, побежал к нам.

— Салют! Ты что, рыбу ловишь?

— Рахимджан! — обрадовалась я ему. — Это в какой же раз вы едете после того, как меня привезли?

— Третий рейс. У меня путевка в Рошт-Калу. ДДТ везу для садов. Ты была на Шах-Даре. в ущелье?

Была... В ущельях, где текут Банч, Бартанг, Гунт, Пяндж, Шах-Дара. Все это разные ущелья, и каждое по-своему удивительное. И характеры у рек в этих ущельях разные, и камни там разной окраски, и скалы срезаны по-разному. И люди живут там разные, даже на разных языках говорят. Природа нигде не повторилась, хотя, в общем-то, всюду те же камни, скалы до неба, река...

— Ты со мной едешь? — кричит Рахимджан и торопится к машине. Ему некогда, ему надо счет тонно-километрам вести.

— Конечно, еду.

И уже несется машина, и из-за выступа скалы, на обочине — столб. «Рохи сафед» — кто-то написал мелом на узенькой дощечке и приколотил к столбу: доброго пути...



---

---

# НА ЗАРУБЬЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Д. МЕЛЬНИКОВ

★

## ЗАПАДНЕЕ ЭЛЬБЫ

«Германия — наша проблема» — так озаглавил свою книгу о Германии известный американский политический деятель Генри Моргентау. Все беды Европы и мировые катаклизмы первой половины XX века он выводит из событий, происходивших на небольшом «пятачке» Центральной Европы, именуемом Германией. С большой убедительностью и страстью он доказывает, что жизнь по крайней мере двух последних поколений европейцев и американцев была исковеркана тем, что он называет вторжением «тевтонского вируса» — германским экспансионизмом, немецкой агрессией.

Можно, конечно, спорить с американцем Моргентау, напомнив ему, в частности, что первая и вторая мировые войны — это результат политики общественных сил, действовавших отнюдь не только в Германии. Но все же факт безусловный — ни одна страна не оказывала столь рокового влияния на мир в Европе, как Германия. В памяти нынешнего поколения — свидетелей и жертв немецкой агрессии и борцов против нее — судьба мира на европейском континенте прочно слилась с судьбой Германии. Этим во многом объясняется и тот жгучий интерес общественности самых разных стран к Федеративной Республике Германии, к ее жизни, психологической атмосфере, экономическому и политическому развитию.

...Осень 1965 года. После длительного перерыва — я снова в Западной Германии. Хожу по улицам и ловлю себя на том, что внимательно всматриваюсь в лица прохожих: чего следует ожидать от них, холечых, самоуверенных, беззаботных и, как мне кажется, полных истинно прусской спеси бюргеров, этого нового поколения западных немцев?

Германию веймарских времен я помню хорошо — детство и часть юности я провел там; фашистскую Германию мое поколение узнало, увы, достаточно хорошо. Кроме того, моя работа в годы второй мировой войны и научные интересы в послевоенное время давали мне доступ ко многим документам, приоткрывавшим тайные пружины политики и пропаганды рейха и современной Западной Германии. Вот почему поездка осенью 1965 года была для меня не просто случайным туристским турне — она дала мне возможность сравнивать наблюдения разных лет, сопоставлять сведения, почерпнутые из книг, журнальных и газетных статей, с жизнью Германии западнее Эльбы.

И еще в одном отношении поездка эта была для меня поучительной, особенно как для историка. Волею судеб наш маршрут оказался, так сказать, символическим. Начали мы наше путешествие в Мюнхене, где родился гитлеровский фашизм, где он предпринял первую попытку государственного переворота и откуда он, как эпидемия, распространился по всей Германии. А закончили мы его в Берлине посещением памятных мест прошлого, в том числе и того места, где когда-то находилась имперская канцелярия Гитлера. Сейчас бывшая «рейхсканцляй» превратилась в поросший травой пустырь, через который проходит стена, разрезающая на две части прежнюю столицу рейха и отделяющая социалистическую Германию от капиталистической...



Таким образом, факты и события, с которыми мне приходилось сталкиваться во время моего пути, невольно воспринимались мною как бы спроецированными на иной путь, тот двенадцатилетний путь фашизма, который кончился крахом гитлеровской империи и разделом Германии. На каждом шагу я убеждался в том, как современность переплетается с историей.

### ЧУДЕСА ПОЛИТИКИ

Чтобы попасть из Восточного Берлина в западную часть Германии, путешественник, пожелавший воспользоваться традиционным средством передвижения — железной дорогой, должен шесть раз пройти таможенный осмотр, шесть раз поклясться, что не везет в чемодане чужой валюты и не занимается контрабандой, шесть раз испытать на себе недоверчивые взгляды чиновников пограничной службы, сравнивающих фотокарточки на паспорте с физиономией его владельца. Дело в том, что по этому пути необходимо пересечь три границы: границу между демократическим Берлином и Западным Берлином, затем между Западным Берлином и ГДР и наконец между ГДР и ФРГ. До второй мировой войны такой шестикратный осмотр грозил лишь тем, кто задумал проехать всю Европу, попасть, скажем, из Парижа в Москву. Теперь же три границы сконцентрированы на совсем маленьком пространстве, да к тому же в пределах территории, на которой проживает одна и та же нация.

Первый таможенный осмотр происходит на берлинском вокзале Фридрихштрассе в ГДР. После этого поезд лениво преодолевает каких-нибудь триста — четыреста метров, и попадаешь... опять на Фридрихштрассе. Оказывается, в Западном Берлине сохранено то же название для вокзала, откуда поезда отправляются на запад. Поистине кафкианская ситуация: в мгновение ока одна Фридрихштрассе превращается в совершенно другую, и не дай бог тебе их перепутать! Если ты на западной Фридрихштрассе будешь вести себя так, как привык это делать в демократическом Берлине — читать «Нейес дейчланд», ругать западногерманских милитаристов и хвалить социалистический строй, то легко можешь попасть либо в тюрьму, либо в сумасшедший дом...

Впрочем, многие пассажиры — немцы из ФРГ — отлично приспособились к этой ситуации. Когда таможенный осмотр производили чиновники пограничной службы ГДР, на всех столиках в купе лежали издания Германской Демократической Республики — «Зонntag». «Нее берлинер иллюстрирте» и другие. Но на западной Фридрихштрассе все это исчезло, как по мановению волшебного жезла. На столиках заперстели обложки западногерманского иллюстрированного журнала «Дер штерн», комиксов и детективов — все готово, чтобы «во всеоружии» встретить таможенных чиновников Западного Берлина.

Пока поезд стоит на очередной границе, многие пассажиры выходят из купе покутить, побеседовать, посмотреть в окно. Теперь ясно, что большинство моих спугников — немцы. Все эти пограничные процедуры давно уже стали для них обыденностью; только маленькая девочка упорно пристает к своей матери с вопросами:

— Почему мы опять остановились?

— Это, дочка, новая проверка.

— А почему нас так часто проверяют?

— Не знаю, так уже заведено.

— А я знаю: это просто очень любопытные дяди!

В ее детском уме никак не могут уложиться политические реальности сегодняшней Германии.

Границу между ГДР и ФРГ мы переезжаем поздно вечером. Молодой чиновник таможенной службы ФРГ с военной выправкой настороженно смотрит на мой паспорт. Держать в руках советский паспорт — не такое уж частое дело для него. Культурные, научные и деловые связи между Советским Союзом и ФРГ пока крайне ограничены (не по вине первого). К тому же чиновнику наверняка сотни раз внушали, что с коммунистами надо быть настороже...

Когда мы просыпаемся на следующее утро, за окнами нескончаемый индустриальный пейзаж — мы въехали в Рурскую область, промышленное сердце Германии. Почти непрерывно тянутся высоковольтные линии энергопередач и склады, гигантские нефть- и бензохранилища, причудливо переплетенные трубопроводы и баки химических цехов — завод за заводом, здание за зданием. Кажется, что едешь по растянувшемуся на десятки километров городу, который произвольно разделен на несколько «отсеков», условно названных городами. И только когда читаешь названия на вокзалах, где останавливается поезд, осознаешь, что это действительно разные города — крупнейшие промышленные центры Европы: Гельзенкирхен, Бохум, Эссен, Дюссельдорф...

— Проехав Рурскую область, мы поворачиваем на юг, к Кёльну. Кёльн — наша первая остановка на западногерманской земле.

Вокзал здесь находится в самом центре города. Уже первое знакомство с Кёльном дает более или менее ясное представление о нынешнем облике западногерманских городов. В них есть нечто такое, что очень отличает их от любого европейского города. Сначала оглядние это замечаешь лишь смутно, подсознательно. Но вскоре замечаешь, в чем тут дело: на улицах и площадях крупных западногерманских городов (за исключением, пожалуй, Мюнхена) соседствуют только два типа зданий — либо очень старинные, либо сверхсовременные. Так получилось потому, что разрушенные доглы города восстанавливались по одному и тому же принципу: реставрировались и создавались заново только исторически ценные здания, памятники старины до шестнадцатого века включительно, остальные же коробки домов сносились, и на их месте вырастали современные здания из бетона и стекла. Почти полностью исчезли постройки «промежуточных» веков — от семнадцатого до первой половины двадцатого столетия. Война лишила многие города истории. Если не знать, что ты находишься в хорошо известном тебе, хотя бы по литературе, так сказать, исконном немецком городе, то трудно будет определить, старый ли это город или совершенно новый, выросший вокруг нескольких древних архитектурных ансамблей.

Кёльнский вокзал стоит рядом со знаменитым Кёльнским собором. Когда выходишь на вокзальную площадь, сразу же бросается в глаза, что средневековый красавец собор, высеченный как бы из одной глыбы и украшенный причудливым орнаментом и бесчисленными каменными скульптурами, окружен однообразными, лишенными всякой индивидуальности современными постройками, никак с ним не гармонирующими. Собор стиснут наступающим на него со всех сторон бетоном, и кажется, что ему трудно дышать.

В Западной Германии, как, впрочем, и в других капиталистических странах, хозяин улицы — реклама. Нас повсюду назойливо сопровождали призывы: «Пей кока-кола» — и глубокомысленные утверждения: «Перзиль есть перзиль» («перзиль» — название стирального порошка). Впрочем, некоторые города ФРГ специализировались не только на этих, но и на других рекламах: на вокзале в Майнце, например, меня встретил огромный транспарант: «Майнц — родина «блендакса» («блендакс» — тоже стиральный порошок). И это сообщение сопровождает повсюду, глуша другие впечатления о городе, который, как оказывается, родина отнюдь не только «блендакса», но и первопечатника Гутенберга.

У Кёльна тоже есть в этой области своя специализация — здесь явно преобладают плакаты, транспаранты и световые изображения с цифрами «4711». Четыре цифры — и больше ничего. Здесь каждому ребенку известно, что это обозначение фирмы, выпускающей знаменитую «кёльнскую воду» — одеколон.

Мы приехали в Западную Германию в разгар предвыборной кампании, и к рекламным фирмам и магазинам прибавилась реклама политических партий. Вся она, как это нетрудно было заметить, строилась на обещании — «зихерхейт». Это выражение постоянно мелькало перед глазами, и лишь при более пристальном взгляде на плакат можно было разобраться в том, какая, собственно, партия вербует здесь сторонников, обещая «зихерхейт».

На одном из высоких заборов, которым была огорожена строительная площадка на Розенгеймерштрассе в Мюнхене, я как-то увидел наклеенные подряд предвыборные

плакаты четырех основных политических партий, принимавших участие в выборах; распространители пропагандистской продукции этих партий в поисках свободного места, по-видимому, случайно украсили один и тот же пустой забор наиболее броскими лозунгами. Эффект оказался довольно неожиданным: лозунги были совершенно одинаковыми — все они варьировали на разные лады слово «зихерхейт».

«Зихерхейт» — труднопереводимое слово. Прежде всего оно означает «безопасность». Но включает еще множество других нюансов: «уверенность», «надежность», «прочность», «гарантия», пожалуй даже «неизменность». Христианско-демократический союз (ХДС) и Свободная демократическая партия (СвДП) почти дословно повторяли один и тот же вариант лозунга безопасности: ХДС — «за нашу безопасность» (прочность, надежность, уверенность и т. д.), СвДП — «безопасности для нас». Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) решила соригинальничать: «Что безопасно, то безопасно». А новая неонацистская партия, принявшая название «национал-демократической» (НДП), перешеголяла своих соперниц, обещав избирателям «полную безопасность».

Видимо, руководители всех политических партий полагали, что привлечь сердца избирателей можно, лишь начертав на своем предвыборном знамени слово «зихерхейт». Это меня заинтересовало, и я решил попытаться выяснить, что же вкладывают в это слово представители различных слоев населения? Может быть, некоторые ответы на мой стереотипный вопрос: «Что вы ожидаете от осуществления лозунга «зихерхейт?» — помогут разобраться не только в предвыборной обстановке, но и в психологии избирателей.

Руководитель отдела внешних сношений автомобильной фирмы «Байрише моторверке» («БМВ») объяснил мне, что главное содержание этого лозунга — обещание сохранить плоды экономического подъема; он лично жаждет лишь одного — чтобы политики как можно меньше вмешивались в его жизнь, не трогали установившиеся порядки, принесшие фирме столь ощутимые выгоды.

— Никакого экспериментирования, никаких перемен, — говорил он. — Мы должны вновь приобрести веру в прочность основ нашей жизни. Каждому слою нашего общества должна быть дана гарантия, что его положение в обществе не изменится, что то, чего он достиг, будет сохранено. И прежде всего это, конечно, относится к руководящему слою — вождям нашей промышленности, всей нашей экономической жизни. Если они сохраняют уверенность в своих силах, то и общество будет процветать.

Несколько иной ответ дал владелец гостиницы на Рейне, недалеко от горы Лорелей — излюбленного места прогулок туристов. Из разговора с ним за бутылкой рейнвейна выяснилось, что он происходит из старинной прусской семьи, которая имела свое родовое поместье на востоке Германии. Войну он закончил в чине подполковника, воевал во Франции, Югославии, Греции. К нацистской партии не принадлежал. Его объяснения лозунга «зихерхейт» носили преимущественно военный характер.

— Германия, — говорил он, — вновь окружена. Де Голль нас предал, он показал, что положиться на Францию или на других наших западных союзников нельзя. На востоке нам угрожают коммунистические страны. Все они покушаются на нашу безопасность. Безопасность означает силу. В нынешнем мире уважают только сильного. В экономической области мы уже многого достигли, а вот в военной — почти ничего. Новое правительство должно позаботиться о том, чтобы привести в соответствие нашу экономическую и оборонительную мощь. Тогда наша безопасность будет обеспечена.

И совсем уж откровенно реваншистскую интерпретацию лозунга безопасности дал молодой приказчик из магазина готового платья, который оказался моим соседом в мюнхенской пивной «Бюргербройкеллер». Эту пивную я решил посетить потому, что она вошла в историю Германии как центр пресловутого гитлеровского «пивного путча» 9 ноября 1923 года. После прихода нацистов к власти Гитлер ежегодно устраивал в ней 8 ноября собрания в честь путча, награждал старейших членов нацистской партии «орденом крови» — высшим партийным орденом, выступал с обращениями к нацистской партии и к германскому народу. Здесь же 8 ноября 1939 года гестапо инсценировало покушение на Гитлера. Бомба, спрятанная позади трибуны в одной из деревянных колонн главного зала пивной, взорвалась через двенадцать минут после ухода Гит-

лера, убила семерых и ранила шестьдесят трех участников собрания. Гестапо объявило покушение делом рук английской разведки и произвело массовые аресты по всей Германии.

До 1958 года «Бюргербройкеллер» был недоступен для посетителей. Во время войны здание было сильно разрушено, затем частично восстановлено командованием американской армии, разместившим здесь один из своих штабов. После передачи здания прежним владельцам здание было восстановлено полностью, и в конце концов пивная приобрела свой прежний вид. Не было забыто ничего из того, что говорило о «знаменательном» историческом прошлом фашистской пивнушки, даже деревянная колонна, в которую гестаповцы, инсценировавшие покушение на Гитлера, спрятали бомбу.

О мюнхенских пивных можно было бы писать много. У каждой из них — свой постоянный круг посетителей (так называемые «штаммгесте»). Пивные здесь — своеобразные политические клубы, причем под влиянием винных паров разговор идет здесь куда более откровенный, чем на официальных собраниях или дискуссиях.

«Вес» и влияние того или иного «штаммгаста» узнается по количеству поглощаемого пива. Обычный посетитель пьет пиво из полулитровых высоких стаканов или кружек. Перед более почтенными гостями стоит толстая литровая кружка. Некоторые же посетители заказывают двухлитровый жбан, они молодецково подымают его одной рукой (для этого требуется немалая сноровка) и выпивают залпом.

Перед моим соседом стояла литровая кружка, и я понял, что он гость уважаемый. После двух литров пива западногерманский мешанин становится сентиментальным. Действительно, опорожнив две литровые кружки, мой сосед заговорил о своей невесте. Она, оказывается, дочь владельца магазина, и женитьба на ней сулит молодому человеку множество благ. Сосед мой очень гордился своей невестой и еще больше тем, что он — простой приказчик — сумел увлечь ее и стать ее женихом. Социальная физиономия моего собеседника открылась, таким образом, быстро. На вопрос о том, как понимать лозунг безопасности, он выпалил:

— Враги нашей безопасности — коммунисты. Наша борьба всегда была борьбой во имя безопасности. За это гибли наши люди. Погибнем и мы, если так будет нужно. Германию надо избавить от коммунистов. А потом и другие страны. Но пусть об этом позаботятся они сами. Однажды мы им хотели помочь, но нас не поняли. Теперь будем бороться только за Германию. Мы должны ее очистить и обезопасить.

Я не стал с ним спорить. Таких словами не уедишь.

После этих бесед стала понятна «емкость» лозунга безопасности и то, сколь хитро поступили лидеры боннских политических партий, поставив его в центр своих предвыборных программ. В конце концов каждый слой избирателей может вкладывать в него что ему угодно.

В Бонне один либеральный депутат бундстага уверял меня, что само выдвижение лозунга безопасности свидетельствует о «дефензивности», то есть оборонительном характере, боннской политики. Привлекательность его он объяснил тем, что политическая жизнь ФРГ напоминает, мол, стоячее болото; главное — чтобы ничто не нарушало его покой. Но после поездки по стране такая оценка показалась мне по меньшей мере наивной и односторонней. Если и сравнивать политическую жизнь ФРГ с болотом, то необходимо добавлять, что над ним поднимаются ядовитые испарения, они губят все живое и создают угрозу взрыва. Ничего «дефензивного» в толковании лозунга безопасности реакционно и антикоммунистически настроенными элементами ФРГ нет. Западногерманская реакция, спекулируя на стремлении масс сохранить достигнутый жизненный уровень, отстаивать социальные завоевания и обезопасить себя от вторжения разрушительных «деструктивных» сил, пропагандирует под видом «безопасности» ремилитаризацию и антикоммунизм как средства «защиты» ныне существующих порядков и призывает к отказу от прогрессивных реформ и социальных изменений.

Спекуляция на лозунге «зихерхейт» оказалась исключительно выгодной для правящей партии — Христианско-демократического союза (ХДС). В самом деле, если все усилия должны быть направлены на то, чтобы ничего не менять в политическом и экономическом положении ФРГ, то кто же лучше ХДС мог бы справиться с этой задачей? Ведь ХДС уже свыше полутора десятка лет только тем и занимается, что укрепляет

позиции монополистического капитала внутри страны да трудится над созданием «позиции силы» и приобщением к атомному оружию вовне? Символом «неизменности» и «незыблемости» политического строя ФРГ, конечно, в гораздо большей степени могут быть Аденауэр и Эрхард, нежели руководители СДПГ Брандт и Венер. Социал-демократическая партия, решившись проводить предвыборную кампанию под тем же лозунгом, что и ХДС, обрекла себя на неминуемое поражение. Главные козыри неизбежно должны были оказаться в руках ХДС.

На массовом предвыборном митинге, который устроила СДПГ в Кёльне вечером 2 сентября, кандидат в канцлеры обер-бургомистр Западного Берлина Вилли Брандт выступил с пространным изложением своей программы. Митинг происходил на большой площади, освещенной прожекторами. Два прожектора были направлены на сооруженный по случаю митинга помост с трибуной, где разыгрывался заранее подготовленный спектакль. Главное действующее лицо этого спектакля, Вилли Брандт вложил немало актерского искусства в свое выступление. Его представляли собравшимся социал-демократические «отцы города» (магистрат в Кёльне находится в руках СДПГ), тучные пожилые господа, с виду типичные представители чиновничьей бюрократии. На их фоне высокий, сравнительно молодой и хорошо сложенный Вилли Брандт выглядел, как голливудская звезда.

Однако в том, что он говорил, несмотря на внешнюю аффектацию, сквозила неуверенность. По сути дела речь его состояла из набора противоречащих друг другу заверений: вслед за обещанием проводить более независимую внешнюю политику следовала клятва в верности НАТО и внешнеполитическим обязательствам, принятым правительством ХДС; за уверениями, что в случае победы он, Брандт, улучшит отношения с социалистическими странами, — брань по адресу ГДР и требование восстановить границы Германии 1937 года; за провозглашением задачи защищать демократию — призыв «забыть» прошлое (то есть «простить» нацистов) и антикоммунистическая клевета. Не удивительно поэтому, что одна часть аудитории аплодировала, другая — свистела. То, что устраивало одну категорию избирателей, явно было не по душе другой. Попытки «въехать» в Шаумбургский дворец (резиденцию канцлера) с такой двойственной программой не могли не кончиться провалом. Победителями на выборах оказались не социал-демократы, а Христианско-демократический союз.

## «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО» № 2

Гнилая атмосфера самоуспокоения, бездумной веры в непогрешимость руководителей боннского государства — все это стало возможным потому, что западногерманского обывателя убаюкивает, дает призрачную уверенность в незыблемости нынешнего уклада жизни высокая экономическая конъюнктура. Нынешнее экономическое положение ФРГ в Бонне часто определяют как «второе экономическое чудо».

Впервые это выражение «второе экономическое чудо» я услышал во время беседы с руководящими деятелями известного автомобилестроительного завода «БМВ» в Мюнхене. Когда-то автомобили «БМВ» считались самыми фешенебельными в Германии — фирма эта производила машины марки «майбах» и «хорх», на которых разъезжали Гитлер и его высшие чиновники. После войны фирма временно потеряла позиции на западногерманском рынке: во-первых, она сильнее других пострадала от воздушных бомбардировок, во-вторых, часть ее предприятий, расположенных на востоке Германии и производивших добрую половину продукции, оказалась безвозвратно потерянной. Теперь эти былые заводы «БМВ» стали народными предприятиями ГДР.

По рассказам руководителей «БМВ», фирма их возрождалась дважды: в первый раз она была восстановлена и оснащена новым оборудованием в 1950—1955 годах, второй раз ее основной капитал — здания, станки и т. д. — возобновился почти полностью в 1962—1964 годах. Проходя по заводской территории, мы наблюдали, как велось строительство новых цехов: вокруг старого здания возводили гигантский каркас нового корпуса, он еще не был остеклен и издали казался театральной декорацией в конструктивистской манере; здание внутри этого каркаса имело невзрачный,

жалкий вид, хотя, когда мы приблизились, оно оказалось довольно внушительных размеров; из труб валил дым, до нас доносился шум работающих станков: нам объяснили, что, как только каркас оденут в стекло, старое здание снесут и машины разместят в новых просторных помещениях; производственный процесс будет продолжаться почти безостановочно.

— Как вы оцениваете перспективы развития концерна? — спросил я коммерческого директора фирмы, принимавшего нас в зале для приемов вместе с тремя другими руководящими работниками «БМВ».

— Мы сейчас переоборудуем почти все цеха. В следующем году капиталовложения еще больше возрастут. Вы видели — наши рабочие работают на станках выпуска 1963—1964 годов. Все новое, что есть в автомобилестроительной технике, мы внедряем в производство. Это стоит денег. Пока мы слишком много тратим, скорс мы все это вернем с лихвой.

— Значит, вы считаете положение на рынке сбыта благоприятным?

— Оно еще никогда не было столь благоприятным, как сейчас. И наши экономисты предсказывают, что в 1966 году ситуация будет еще лучше. Мы намерены в этом году увеличить наше производство по крайней мере на одну треть.

— А чем вы объясняете столь благоприятное положение?

— Так это ведь «второе экономическое чудо». Мы можем только констатировать факты, а теории — это дело экономистов и историков. Впрочем, в ваши теории кризисов мы больше не верим. Достаточно вы нас ими пугали.

Вскоре мне пришлось еще раз услышать выражение «второе экономическое чудо» — и на этот раз из уст рабочего. Это было во Франкфурте-на-Майне. В последний раз я был там в 1958 году, — тогда город был уже почти полностью восстановлен и главная улица Цейль — одна из самых красивых улиц во всей Западной Германии — выглядела очень нарядной и даже роскошной. Теперь Цейль, как и большая часть центра города, приобрела вид огромной строительной площадки. Вокруг грохотали экскаваторы, пневматические молоты, строительные машины. Улица была перерыта, пешеходам сплочь и рядом приходилось пробираться по деревянным мосткам. На площади Альте Вахт высились подъемные краны, несколько зданий стояло в строительных лесах. На одном из таких вновь строившихся зданий — большом многоэтажном универсаме, который возводился на месте старого, более скромного, висел транспарант: «Мы строим для вас».

На площадке, огороженной невысоким забором, двое рабочих — наступило время обеденного перерыва — ели бутерброды, запивая их кофе из термоса.

— Что вы строите? — спросил я.

— Тут дело сложное, — ответил один из них, длинный черноволосый парень в шеголеватой сшитой «спецовке» и в темных очках. — Мы вот роем туннель для метро, вон там — меняют канализацию, а на том углу — роют новый подземный переход.

— Значит, работы для строителей хватает?

— Работы больше, чем надо, не хватает строителей.

В разговор вмешался второй рабочий, более пожилой, грузный, в засаленной кепке с большим козырьком из темного плексигласа.

— Второе экономическое чудо — ясно?! — сказал он не то насмешливо, не то вызывающе.

— И что это дает вам?

— Прежде всего сколько хочешь работы, а работа — это деньги, нам ведь платят пять, а то и шесть марок в час! Вот он молодой — ему что — отработал свои сорок часов в неделю — и баста. А я делаю по шестьдесят, у меня семья, ее кормить, одевать надо.

— Смотри на джорвешья, — сказал молодой явно неодобрительно.

Кроме Франкфурта-на-Майне, метро строится еще в трех других городах ФРГ — Кёльне, Мюнхене и Гамбурге. Вырастают не только новые заводские корпуса, но на месте старых коммунальных, административных и жилых зданий возводятся новые. Наспех сооруженные коробки, выросшие в 1950—1955 годах, заменяются современными постройками из бетона, стекла, алюминия и пластика. Шедевр строительной техники

тридцатых годов, бывшее здание «ИГ Фарбен-индустри» во Франкфурте-на-Майне (ныне там находится штаб НАТО в Западной Германии) выглядит весьма скромным и явно устаревшим по сравнению, скажем, с небоскребом «Цюриххауз», в котором находится правление некоторых крупнейших страховых компаний ФРГ. Рядом с «Цюриххауз» возникли еще два «свеженьких» небоскреба, отделанных синеватым пластиком. Франкфурт-на-Майне приобретает столичный и вместе с тем и американизированный вид.

Итак, второе экономическое чудо...

На чем основана пропаганда этого «чуда», которой так энергично занималась правящая партия — ХДС — в период предвыборной кампании?

Почему оно «второе» и что было между «первым» чудом и «вторым»?

Выражение «экономическое чудо» появилось во второй половине пятидесятых годов. К этому времени Западная Германия сделала огромный скачок: из страны, по сути дела выжившей в результате тотального поражения во второй мировой войне из числа крупных промышленных держав, она вновь превратилась во второе по своей экономической мощи государство в империалистическом мире. Максимальный прирост производства достигал более двадцати трех процентов в год (1950), и еще в 1955 году он держался на уровне почти пятнадцати процентов. Это и было «первым экономическим чудом».

Однако в начале шестидесятых годов темп прироста промышленного производства в ФРГ резко упал. В 1961 году прирост составил только шесть процентов, в 1962 — около четырех с половиной, а в 1963 году — уже менее четырех процентов. Творцы «экономического чуда» забеспокоились. В экономической прессе появились статьи, содержавшие весьма мрачные прогнозы. Печать монополий зашумела о том, что надо «подтянуть пояса». И вдруг в 1964 году начался новый и притом довольно бурный подъем. Темпы прироста промышленного производства снова повысились против предыдущего года более, чем в два раза, а предварительные данные 1965 года говорят о сохранении высокой конъюнктуры — в этом году прирост находится на уровне почти семи процентов. Два года назад о таком развитии производства немецкие промышленники и мечтать не могли.

Пессимизм западногерманских экономистов сменился крайним оптимизмом. Рынок труда реагировал на новый подъем большим повышением занятости; начала ощущаться нехватка рабочих рук. За два года в Западную Германию были ввезены сотни тысяч иностранных рабочих — общее их число к 1966 году составило свыше 1,5 миллиона человек. Они образовали низший слой пролетариата — его неквалифицированную, наиболее плохо оплачиваемую часть. На заводах «БМВ» число иностранных рабочих составило более трети всех рабочих — в основном они приехали из Турции, Греции и Италии. Поэтому, например, надписи в цехах — «курить запрещено» — пришлось сделать на трех языках. Что же касается объяснений, необходимых в процессе работы, то они столь несложны, что не требуют от немецкого мастера или инженера специального знания языка — турецкие, греческие и итальянские рабочие заняты на самых примитивных операциях.

Какова природа нового подъема? «Чудо» ли это?

Послевоенное развитие западногерманской экономики отмечено определенной цикличностью — интервалы между высшей и низшей точками такого цикла составляют приблизительно четыре-пять лет. В 1955—1959 годах наблюдалось примерно такое же снижение прироста промышленного производства, что и в 1960—1963 годах. В последние два года оно просто достигло высшей точки нового цикла. Поэтому шумиха о стабилизации экономики явно преждевременна.

Но, как бы там ни было, подъем налицо и монополии могут извлечь из него немалые выгоды.

Реальные доходы имущих классов резко повысились. Выросло не только число крупнейших капиталистов-миллионеров (их в ФРГ уже не сотни, а тысячи, в конце 1963 года согласно официальным данным здесь насчитывалось 11 663 миллионера), но в еще большей мере возросло количество собственников «просто» крупного и среднего достатка.

По мере обогащения класса капиталистов и его количественного роста меняется облик и поведение каждого из его представителей. Немец с доходом в триста — пятьсот тысяч марок чувствует себя иначе, ведет себя по-иному, нежели немец с доходом в пятьдесят тысяч марок. Такой капиталист уже не разговаривает, а повелевает, он считает себя «сверхчеловеком», которому все дозволено. Принято считать, что в Западной Германии возродились в основном лишь старые промышленные семьи. В действительности же ФРГ — страна нуворишей. Большинство крупных состояний возникло совсем недавно, их обладатели — вчерашние мелкие лавочники, бывшие чиновники фашистского рейха, деклассированные военные, оставшиеся без дела после крушения гитлеровской империи. И все они чувствуют себя хозяевами Западной Германии и视зряют на многие западноевропейские страны как на будущие свои вотчины. При взгляде на самоуверенные лица некоторых таких буржуа невольно вспоминаются известные строки гимна штурмовиков: «Сегодня нам принадлежит Германия, а завтра — весь мир».

Но «экономическое чудо», высокая конъюнктура имеет огромные последствия и для неимущих классов. Они тоже извлекают из них немалые выгоды.

Вот уже много лет рабочий и служащий Западной Германии почти не знает бедствий безработицы. Официально количество безработных — около двухсот тысяч человек. Но на каждых сто безработных — двести пятьдесят вакантных мест. Иначе говоря, спрос на рабочую силу в два с половиной раза выше предложения. Потому-то и возникла потребность во ввозе иностранных рабочих.

Выросла и заработная плата. По подсчетам профсоюзов, в 1964 году номинально она повысилась на восемь процентов, а реально, с учетом повышения цен, — примерно на шесть процентов. Правда, это повышение немало стоит рабочим: оно идет в большой мере за счет интенсификации труда, вследствие чего резко повысилось количество травм, несчастных случаев на производстве, болезней и т. д. Однако, как бы то ни было, непосредственно в руках рабочих и служащих ныне больше средств, чем раньше. Они могут покупать не только товары, нужные для непосредственного поддержания жизни, но и предметы длительного пользования: магнитофоны, телевизоры и даже автомобили.

Государство может позволить себе роскошь тратить немалые средства и на социальное обеспечение. Накануне выборов, например, были повышены на 8,3 процента пенсии — таким образом, довольно широкий слой населения получил ощутимую прибавку к своему скромному бюджету. И это было сделано не только без сопротивления монополий, но с прямого их благословения: в условиях повышения профитов правящие круги ФРГ сознательно идут на то, чтобы выделить часть прибылей на подачки массам. Такова современная классовая стратегия монополий: чтобы приглушить социальные конфликты, они готовы делать уступки трудящимся.

Передовая часть рабочего класса, многие крупные профсоюзные организации и некоторые прогрессивные политические объединения и группы знают, что чем сильнее напор масс, тем больше уступок можно вырвать у монополий. Они отдают себе отчет в том, что уровень благосостояния трудящихся находится в прямой зависимости от степени организованности масс, от накала классовой борьбы. Об этом свидетельствуют ожесточенные забастовочные бои, потрясающие время от времени социальную жизнь ФРГ.

Но для понимания обстановки и настроения масс важен конечный итог — высокий жизненный уровень населения ФРГ.

Для обывателя, не разбирающегося в причинах и следствиях социальных явлений, эффектная экономическая формула легко превращается в фетиш. Формула «немецкое экономическое чудо», несомненно, сыграла важную роль в пропагандистской обработке широких слоев западногерманского населения в угодном для реакции духе. Она содержит те же самые компоненты, на которых строилась в свое время геббельсовская пропаганда, — мистицизм («чудо») и шовинизм («немецкое»). Пользуясь аполитичностью обывателя, его бездумностью, приверженностью к таинственным и успокоительным формулам, реакционная пропаганда сумела внушить ему, что так называемое «экономическое чудо» — не что иное, как результат, во-первых, «гениальности» новых фюре-



ров — Аденауэра и Эрхарда, и, во-вторых, превосходства немецкого бюргерства с его дисциплиной и прилежанием над населением других стран.

Так, «экономическое чудо» стало в нынешней Западной Германии источником чрезвычайно опасной идеологии, сходной с идеологией «железного кулака» и агрессивного шовинизма в старой империалистической Германии. На «экономическом чуде» и держится власть руководителей Христианско-демократического союза, распоряжающихся страной вот уже в течение шестнадцати лет. Напомним, что однопартийное господство фашистов в Германии продолжалось всего двенадцать лет. Поэтому такой срок правления ХДС в ФРГ может показаться еще более знаменательным и зловещим. Вера в непогрешимость фюреров ХДС — Аденауэра и Эрхарда — пустила глубокие корни в населении. Раболепие перед властью имущими, вновь возродившееся в Бонне, в известной мере напоминает пресмыкательство немецкого мещанина перед военным мундиром в прошлом, которое беспощадно бичевали еще Маркс и Энгельс, Лессинг и Гейне, Курт Тухольский и Бертольд Брехт.

С другой стороны, пропаганда «чуда», совершенного немецкими мюллерами и шульцами под эгидой христианских демократов, возродила веру в «особый склад» немецкого обывателя, способствовала распространению идей «превосходства» немцев над другими народами. Эта идеология и служит в наши дни питательной почвой для шовинизма и неореваншизма. Но именно потому, что новый взлет шовинизма основывается не на нищете и кризисе, как это было у немцев конца двадцатых — начала тридцатых годов, а на сытом существовании и жажде наживы немцев второй половины шестидесятых годов — нынешний реваншизм носит совершенно иной, особый характер.

### СТАРЫЙ И НОВЫЙ РЕВАНШИЗМ

Мюнхен — колыбель фашистского движения. Гитлер в «Майн кампф» воздает хвалу этому городу, противопоставляя его «разложившейся» и «погрязшей в грехах» Вене, где он провел годы юности.

Фюрер утверждал даже, что он переселился из Вены в Мюнхен весной 1912 года, хотя согласно полицейским актам, хранящимся в Мюнхенском институте современной истории, переселение это произошло только в мае 1914 года. В Мюнхене Гитлер вступил добровольцем в германскую армию (хотя до 1932 года оставался австрийским подданным). сюда он вернулся в ноябре 1918 года после проигранной войны, здесь он начал свою политическую карьеру и наконец здесь же разыгрался его первый весьма мрачный роман с некоей Гели Раубал, его племянницей, который закончился трагически для молодой женщины; после очередного скандала, вызванного не то мазохистскими наклонностями Гитлера, не то его болезненной ревностью, Гели Раубал нашли застреленной в квартире Гитлера. Официальная версия гласила, что Раубал покончила жизнь самоубийством, но ряд исследователей утверждает, что она была убита либо самим Гитлером, либо Гиммлером.

С Мюнхеном связаны многие важные страницы биографии Гитлера и истории национал-социалистического движения.

После захвата фашистами власти Мюнхен был провозглашен «столицей движения», а в «коричневом доме» — первой штаб-квартире нацистов — разместилось правление партии.

Во время второй мировой войны этот центр нацизма был разрушен бомбой; пока его не восстановили и на его месте разбит небольшой сквер. Я говорю «пока», потому что другие нацистские «памятные места» восстановлены, отчасти возрождены.

Фашистские мятежники, собравшиеся 9 ноября 1923 года в уже упомянутой раньше пивной «Бюргербройкеллер», двинулись во главе с Гитлером и одним из руководителей вермахта в 1914—1918 годах Людендорфом к центру города, чтобы захватить основные узлы связи и управления в баварской столице. На площади около «Фельдхернхалле» — мавзолея, выстроенного в память двух баварских полководцев, — их встретили армейские части (отряды рейхсвера), открывшие по ним огонь и быстро подавившие мятеж. «Фельдхернхалле» была объявлена фашистской реликвией, — ежегодно

там устраивались траурные манифестации в память фашистских «героев», погибших во время перестрелки в ноябре 1923 года. Безвкусный милитаристский и фашистский памятник, пострадавший от воздушных бомбардировок, теперь восстановлен. Когда я осматривал его, к «Фельдхернхалле» прибыла группа немецких туристов. Я услышал слова гида: «И вот здесь, на этом месте, лежал раненый Адольф Гитлер после того, как солдаты напали на демонстрацию». — «Где именно, вы не можете уточнить?» — спросил один из слушателей. «Да вот между плитами, находящимися впереди меня и правее, ближе к «Фельдхернхалле». — «А кто еще пострадал в этот день?» — «Было убито шестнадцать человек — коммерсант Феликс Альфарт, шляпник Андреас Бауридль, банковский служащий Мартин Фауст, обер-кельнер Карл Кун...» — и далее гид перечислил фамилии еще нескольких фашистских «героев». Туристы слушали кто со скучающим видом, кто почтительно.

В строительных лесах находится площадь Кенигсплатц, которая носила во времена фашизма имя Адольфа Гитлера. В фашистские праздники на ней принимались парады войск и проходили демонстрации. Площадь тоже очень пострадала во время войны. Сейчас ее уже почти полностью восстановили — это довольно большое четырехугольное пространство, покрытое каменными плитами, вокруг него возвышаются помпезные постройки в стиле классицизма.

Мюнхен — единственный крупный город в Западной Германии, который восстанавливается точь-точь таким, каким он был до войны. Многие разрушенные улицы воссозданы в прежнем виде; гигантский труд вложен в то, чтобы здания были точными копиями построек предыдущих эпох, с какой-то фанатической педантичностью повторены также и уродство, безвкусица и неудобство домов, решительно не имеющих никакой исторической ценности. Так возрождены в своем довоенном облике две важнейшие артерии города — Людвигштрассе и Принцрегентенштрассе. На первой из них поднята из руин триумфальная арка — символ «непобедимости» немецкой армии, а на второй — вновь высятся дом, в котором в двадцатых годах жил Гитлер. Он занимал в нем квартиру в девять комнат, и в одной из них как раз и была убита или покончила с собой его любовница. Я мысленно представляю себе, как экскурсовод будет объяснять своим слушателям: «Вот тут лежал труп Гели Раубал, и безутешный Гитлер склонялся над ним. С тех пор фотографии Гели висели в кабинетах Гитлера в Берлине и в Берхтесгадене, и ежегодно в день ее гибели, 18 сентября, Гитлер самолично украшал их цветами».

И наконец на полном ходу работы по реставрации здания фашистских партийных съездов, только это происходит уже не в Мюнхене, а в Нюрнберге, и там же — втором центре фашистского движения — завершается гитлеровский проект «величайшей арены мира» — места сбора нацистской элиты — будущих «властителей мира». До начала войны Гитлер только лишь приступил к осуществлению своего замысла — созданию комплекса сооружений, которые должны были символизировать могущество нацизма. И поныне нетронутой осталась площадь для парадов отрядов СС в Нюрнберге. От огромных трибун полукругом расходятся земляные валы, гигантская копия крепостных стен, которыми окружали свои стоянки древние германцы. Сами трибуны каменные. Их ослепительно белые ступени, длиной в несколько сот метров, завершаются на высоте примерно пятнадцати метров двумя башенками по сторонам — над ними каменные чаши, в которых горел вечный огонь. В середине трибун — площадка с железным барьером. Здесь стоял фюрер.

Недалеко от площади для парадов войск СС в Нюрнберге — зал нацистских съездов. Он был разрушен во время войны, и американское командование первоначально приказало снести его. Двадцать лет это уродливое сооружение смотрело пустынями проемами окон на город; за это время в нем выросли высокие деревья и стены покрылись мхом. Теперь здесь большая стройка, кишущая людьми. Восстановить здание будет стоить колоссальных средств и огромных усилий. А если архитекторы действительно намереваются завершить проекты фюрера, то строительство займет много лет — ведь Гитлер задумал соорудить зал, который сможет вместить свыше ста тысяч человек.

Я столь подробно остановился на восстановлении памятников фашистской эпохи потому, что это отражает важную сторону процесса усиления реваншизма в ФРГ — попытки тем или иным путем реабилитировать фашистское прошлое Германии.

Отношение к историческому прошлому — немаловажный показатель уровня политического мышления, распространения демократических убеждений, степени влияния реакции в тех или иных слоях народа. Мещанин не хочет ничего знать о темных страницах в прошлом своей страны, он ищет в истории «сильных личностей», смакует успехи завоевателей и тиранов и их преступления. Для него размер преступлений — лишь мерило «масштабности» политического деятеля.

Господство мещанства сказалось и на том, как определенные слои западногерманского населения воспринимают страшные страницы истории фашизма, — все большее число людей в ФРГ идеализируют нацистский режим и «самого» фюрера. Пока эта «идеализация» идет по двум главным направлениям: во-первых, довольно значительная прослойка «старшего поколения» проповедует мысль о том, что следует различать разные периоды в деятельности Гитлера — период «положительный», когда он якобы выполнял «национальные задачи» немцев, и «отрицательный», когда он стал на путь преступлений. Этот взгляд нашел свое отражение даже в исторической литературе. Например, западногерманский историк Бодо Шойриг, который отнюдь не принадлежит к числу крайних реакционеров, пишет: «Если бы Гитлер понял, на какую высоту он поднялся заключением Мюнхенского соглашения 1938 года, то он вошел бы в историю как подлинно выдающийся государственный деятель. Однако он не смог этого понять, потому что был ослеплен иными целями».

Итак, до осени 1938 года Гитлер был «хорошим» — аннексия Австрии, оккупация Судетской области полностью оправдываются, не говоря уже о поджоге рейхстага и кровавой расправе с коммунистическим, социал-демократическим и буржуазным оппозиционным движением, о нюрнбергских расовых законах и антисемитских погромах конца тридцатых годов.

«Неправильными» были лишь те шаги, которые вели к военной катастрофе, к «чрезмерным» расправам с другими народами. В зависимости от вкусов и воззрений обывателя период «правильных» действий Гитлера можно растянуть до любого срока.

Ныне все чаще встречаешься с упрямым утверждением, что Гитлер, мол, сам ничего не знал о злодеяниях — преступления, в основном, творили лишь Гиммлер и Кальтенбруннер. Особенно удивил меня в этой связи шофер нашего туристского автобуса Зигфрид. Он — из рабочей семьи, двадцать с лишним лет сидит за «баранкой», голосует за социал-демократов. В целом придерживается достаточно трезвых взглядов на политику, но как только речь заходит о Гитлере, здравомыслие и трезвость покидают его: Зигфрид убежден, что фюрера обманывали Гиммлер, Геринг, Кальтенбруннер. Нефашистская пропаганда делает свое дело — даже рабочие становятся ее жертвами.

Я подчеркиваю, что говорю не о пропаганде «экстремистов», как называют в Бонне откровенных фашистов, а о пропаганде, предназначенной для массового потребления и исходящей из официальных идеологических ведомств ФРГ. Что же касается «экстремистов», то их выходки широко известны: осквернение еврейских могил в Бамберге, сожжение книг в Дюссельдорфе, нападения из-за угла на прогрессивных деятелей в некоторых городах в западной и южной частях ФРГ, сборища членов гиммлеровской лейб-гвардии — отрядов СС в городе Рендсбурге, — эти и подобные факты, к сожалению, уже прочно вошли в политический быт Федеративной Республики.

Каксва же природа этого? Можно ли говорить о возрождении нацистской идеологии в старом ее виде или же это совершенно новое явление?

Чтобы ответить на этот вопрос, придется снова углубиться в историю. Для фашиста старого образца единственным аргументом превосходства немцев над другими народами было иное строение черепа у арийца по сравнению с представителями других рас. Чтобы придать этому аргументу «научный вес», идеологи нацизма создали свою лженаучную френологию — «учение» о расовом превосходстве длинноголовых над круглоголовыми. Сотни сотрудинок научно-исследовательских институтов френологии были заняты измерениями черепов — «живой материал» для опытов, которые должны

были показать неполноценность круглоголовых, часто отбирали среди заключенных концентрационных лагерей.

Фашизм гитлеровского образца расцвел на почве мирового экономического кризиса 1929—1932 годов. Его опорой был обнищавший деклассированный мелкий буржуа. Этот опустившийся мещанин двадцатых годов взбесился от нищеты и бесперспективности. Чтобы внушить ему веру в свою «избранность» и чувство презрения к чужим народам, идеологи фашизма обращались к самым примитивным и низменным его инстинктам.

Экономическая база современного реваншизма — совершенно иная. Совершенно иное ныне и международное положение немецкого милитаризма. Сузилась пространственная сфера его влияния. Не в его пользу сложилось соотношение политических и военных сил в Европе, которую носители «тевтонского вируса» всегда рассматривали как область его естественного распространения. Все это меняет облик современного реваншизма и его идеологию.

Питательной почвой нынешнего реваншизма служит все то же «экономическое чудо». Из реальных и мнимых хозяйственных успехов неореваншист черпает материал для обновления старых идей превосходства немцев над другими народами. Теперешний неореваншист — сытый бургер, вновь уверовавший в свою «избранность» в результате ловкой пропаганды «непостижимости» успехов хозяйственного строительства в ФРГ и превосходства западногерманского образа жизни.

Самый опасный вид внушения — самовнушение. В ФРГ он дал свои плоды: приверженец неореваншистской идеологии убежден, что причина достигнутых ФРГ успехов кроется не в сочетании ряда благоприятных политических и экономических факторов (достаточно назвать хотя бы два из них: отсутствие в течение целого десятилетия в ФРГ — одной из крупнейших индустриальных держав мира — военного производства и обильная американская помощь в первые послевоенные годы!), а в свойстве немецкого национального характера. Это создает благоприятную почву для возрождения расистского лозунга: «Немецкий дух оздоровит весь мир!»

Современный неореваншист вновь уверовал в то, что он может и даже обязан учить уму-разуму другие народы, что он выполняет некую миссию в Европе.

Нередко пропаганда «мессианской роли» немцев из ФРГ принимает курьезные формы. Один из ведущих идеологов неореваншизма Иоганнес Ф. Барник считает, например, что «немецкий дух» определил не только культуру западного мира, но все революционное движение в Европе, в том числе и в России. Задача заключается теперь, мол, в том, чтобы «немецкий дух» вновь оказал свое влияние на Россию, научил русских, как жить дальше.

Мы привели этот «тезис» для того, чтобы показать, в сколь чудовишно превратном свете рисуется неореваншисту картина мира. Потерпевший только что неслыханную кагастрофу, побитый и опозоренный, немецкий националист не утратил все же своей спеси и самонадеянности. Он вновь входит в роль наставника, который должен нести другим народам достижения «немецкого духа», стать духовным, а затем и политическим властелином Европы. Барник готов даже пожертвовать немецким народом — лишь бы бороться с коммунизмом, лишь бы утвердить немецкие идеи. «Если мы не будем готовы предпочесть коллективную смерть как нации подчинению (коммунизму. — Д. М.), то нам следует сразу же отказаться от ведения военных, а также политических интрижек». Разве это не напоминает известные слова Гитлера о том, что если немецкий народ будет уничтожен в войне, то это значит, что он оказался недостойным фюрера и заслужил гибель.

И тем не менее неореваншизм не гитлеризм, и не видеть разницы между ними — значило бы закрыть глаза на политические реальности Бонна. Многое из того, чем пользовался Гитлер в своей пропаганде, неореваншисту сейчас совершенно не нужно.

К тому же западногерманский неореваншист хорошо понимает, что современное положение в мире не оставляет места надеждам на то, что Западная Германия одна может добиться господства над миром, победить Америку, Советский Союз и заодно все крупные западноевропейские государства. Гитлеровские идеи завоевания мирового господства одним лишь «немецким мечом» уже непригодны при современной расста-

новке сил. Поэтому неореваншисту нужна не пропаганда «обособленности» немцев, не противопоставление их другим «западным» народам, а распространение идей «общности судьбы» населения всего «западного сообщества» и ведущей роли в нем немцев из ФРГ. Фашистская философия основывалась на некоей смеси из пророчеств Шпенглера о «закате Европы», Чемберлена<sup>1</sup> о грядущем господстве арийцев над миром и учения Ницше о «полноценных» и «неполноценных» расах, об «иерархическом» обществе будущего, где каждый народ займет подобающее ему место — одни (нордическая раса) будут господами, а другие (неполноценные) — рабами.

Эти теории ныне заменены «универсальным» учением об «абендланде» — западном мире, объединяющем все «христианские народы» Европы и противостоящем Азии, атеизму и коммунизму. В нем нет, разумеется, места теориям «заката» Европы (в подлиннике книга Шпенглера называется «Закат абендланда»), неполноценности и неизбежности гибели старых, «усталых» европейских наций и единоличного господства арийской расы. Неореваншист создал свое учение «абендланда». И центром этого «абендланда» он считает немцев (вернее, западногерманских обывателей).

Вот как определяет один из крупных идеологов теории «абендланда» Губертус принц цу Левенштейн место немцев в западном мире: «Под словом «рейх» мы понимаем христианское сообщество, основанное на праве, мире и свободе, которое охватывает не только Германию, но «абендланд» в целом, весь западный мир. С самого начала своей истории немецкий народ был движущей силой этого сообщества».

В обосновании и разработке философии «абендланда» объединились представители различных направлений. Здесь и старый фаворит Геббельса — фашиствующий писатель, философ и публицист Эрнст Юнгер, которому нельзя отказать в таланте, и злобный антикоммунист, создатель новой теории «героя» и «толпы» ницшеанского толка — старый испанский философ Ортега-и-Гассет, пользующийся сейчас наибольшей популярностью у неофашистов всех мастей. Но наряду с такими откровенными проповедниками идеологии человеконенавистничества и антигуманизма немалую лепту в теорию «абендланда» внесла и целая плеяда философов-идеалистов либерального толка, которые в свое время находились в оппозиции к фашизму и даже подвергались преследованиям — Ганс Ясперс, Фридрих Мейнеке, Людвиг Дехио, Герхард Риттер.

Неореваншист — типичный эклектик, собирающий «с миру по нитке», он проповедует причудливую смесь воззрений представителей различных школ — главное, чтобы эта смесь была начинена идеями об избранности западногерманского немца, о выполнении им миссии защиты «абендланда» и освобождения мира от коммунизма.

Конечно, старые фашисты играют в этом пестром лагере немаловажную роль. Примеров восстановления на высоких государственных постах бывших рьяных приверженцев Гитлера можно привести тысячи. Из сорока восьми членов федерального суда в Бонне сорок были прежде членами фашистской партии. Почти все руководители отделов кадров министерств в рейнской столице выполняли аналогичные функции в фашистском рейхе. Руководители полиции в Аахене, Бонне, Мюнхене-Гладбахе, Кёльне, Крефельде, Дюссельдорфе, Эссене, Дортмунде и Гельзенкирхене имели при гитлеровском режиме эсэсовские чины штурмфюреров и выше. Десятки судей и адвокатов в ФРГ были за последние годы изобличены как организаторы и соучастники массовых убийств. Но никто из них не был привлечен к ответственности, а некоторые получили даже повышение по службе. Укрывательство фашистских убийц стало даже как бы делом чести чиновников федеральных ведомств. В Шлезвиг-Гольштинии мне рассказали такой случай: недавно там был изобличен и арестован бывший эсэсовский врач, профессор Хейде, который производил эксперименты над людьми, заключенными в концентрационных лагерях. Он скрывался под фамилией доктора Заваде и имел врачебную практику. Это стало возможным только благодаря тому, что эсэсовскому преступнику покровительствовали многие официальные лица. В связи с тем, что разразился скандал, земельный парламент (ландтаг) назначил комиссию по расследова-

<sup>1</sup> Х. С. Чемберлен (1855—1927) был одним из создателей «расовой теории», он оказал большое влияние на Гитлера.

нию обстоятельств дела. Комиссия установила, что в укрывательстве Хейде принимали участие восемнадцать чиновников земельного управления. Прошел год. Но никто из этих чиновников не был уволен, а двух из них назначили на более ответственные посты.

Правда, время от времени проходят судебные процессы над непосредственными исполнителями приказов Гимmlера об уничтожении «неполноценных» рас. Но чем они завершаются? Вот два примера судебных приговоров: бывший штурмфюрер СС, избитый в убийстве девятнадцати польских военнопленных, был приговорен судом всего лишь к пятнадцати месяцам тюремного заключения, причем ему были зачтены одиннадцать месяцев предварительного заключения. Другой более высокий чиновник СС был признан виновным в убийстве пятнадцати тысяч человек. Процесс привлек внимание зарубежной печати, и убийцу пришлось приговорить к десяти годам тюрьмы. Но вместе с тем суд отказался лишить его гражданских прав — таких людей в Бонне считают «своими».

Бывшим фашистам живется в Западной Германии вольготно. Но ведь из них не сколотишь и рога солдат. Даже тем, кто начал войну юношей, теперь уже под пятьдесят, а те, кто занимал ответственные посты, — уже глубокие старики.

Главная забота неореваншистов — не о них, представителях уходящего поколения. Самой важной задачей считается сейчас сохранить преемственность реваншистских целей и устремлений, приспособившись к образу жизни, вкусам и настроениям молодежи.

Поэтому шансы на успех в Бонне имеет лишь тот старый нацист, который «перестроился», понял «веление времени». Бывшие рьяные поклонники Гитлера сплошь и рядом играют в прогресс, в демократию. Мы уже называли Эрнста Юнгера — когда-то он считался столпом фашистской литературы, и если бы он сейчас взялся просто отстаивать свои старые позиции, то шансов влиять на формирование общественно-литературных и социально-политических вкусов подрастающего поколения у него бы не было. Но дело в том, что Юнгер сейчас выступает как «оппозиционер», «бунтарь», человек, находившийся якобы во «внутренней эмиграции» в период господства фашизма и тайно всегда защищавший «благородные идеи» «абендланда». Ни об одном западногерманском писателе не написано в ФРГ столько, сколько о Юнгере. Литературоведы и критики, комментируя его старые произведения, превращают самые невинные в свое время для фашизма фразы о «европейской культуре» и общности судьбы западноевропейских народов в антигитлеровские высказывания. Причем Юнгера еще хвалят за хитрость, с которой он якобы смог обойти рогатки фашистской цензуры. Юнгер противопоставляется честным писателям-антифашистам, порвавшим с нацизмом и эмигрировавшим за границу. Так махровый националист, поборник фашизма и фаворит нацистского министра пропаганды превращается чуть ли не в героя-антифашиста.

Подобных примеров можно привести множество. Кумиром боннской демократической прессы стал опытный фашистский журналист Фридрих Зибург. С тем же пылом и профессиональным мастерством, с которым он когда-то доказывал французам необходимость подчиниться более сильной немецкой «расе господ» (Зибург много лет жил в Париже и был ведущим нацистским публицистом, сотрудничавшим во французской прессе), он теперь проповедует идеи о том, что только немцы могут предотвратить гибель европейской демократии. Мол, он, Зибург, — горячий поборник демократии и полон забот обо всех европейских народах, и, конечно, о тех же французах, которых он в свое время так сильно поносил.

«Перестроившиеся» нацисты — самый активный элемент в боннской общественной жизни, причем гораздо более опасный, чем откровенные приверженцы фюрера. Они, разумеется, охотно прощают друг другу прежние грехи, веру в Гитлера считают «общенациональным» гипнозом, выполнение варварских приказов фюрера объясняют принуждением или верностью присяге, проповедь расизма и антисемитизма — заблуждением молодости. Сейчас тысячи тех, кто душой и телом был предан Гитлеру, но не выступал ранее по разным причинам на первых ролях, шествуют во главе «прогресса», как его понимают в Бонне. Понятно поэтому восклицание одного из писателей, с ко-

торым мне пришлось беседовать в Мюнхене: «Избавь нас боже от «прогрессистов», а от открытых фашистов мы уже сами себя защитим».

«Законодатели» общественного мнения в западногерманском государстве проявляют чудеса эквилибристики, оперируя термином «демократия». Когда Гитлер запретил коммунистическую партию и гестапо начало бросать коммунистов в концентрационные лагеря, никто не скрывал, что таким образом уничтожались демократические установления Веймарской республики. Теперь же в Бонне коммунистов загнали в подполье и травят их под сладкоголосое пение о «защите демократии». Не мудрено, что это сбивает с толку западногерманского бюргера, успокаивает общественное мнение Запада.

Когда Геббельс сжигал книги, озверелые бурши в германских университетах и специально мобилизованные штурмовики и эсэсовцы кричали: «Долой евреев и марксистов», «Смерть демократии». А теперь сожжение книг совершается под религиозные песнопения, оно изображается как акт протеста против «развращения молодежи» «модернистской» литературой, пропагандируется как мера по защите нравственности и других ценностей «христианской демократии». Ну кто же станет вспоминать при таких обстоятельствах о Геббельсе, этом гонителе христиан?

Когда 23 марта 1933 года рейхстаг под дулом пистолетов, наведенных на депутатов оппозиционных партий, проголосовал за предоставление чрезвычайных полномочий канцлеру германской империи Гитлеру, было ясно, что немецкий парламент подписал смертный приговор Веймарской республике.

Теперь законы о чрезвычайных полномочиях правительству и канцлеру ФРГ в случае «особой нужды» (кстати, на «особую нужду» ссылался и Гитлер) обосновываются необходимостью защиты демократии. Не фашисты, а руководители Христианско-демократической партии, столпы боннского государства, ныне их инициаторы. Правда, на этот раз миллионы рабочих оказались настороже: Объединение немецких профсоюзов, насчитывающее шесть с половиной миллионов членов, высказалось против этих законов и охарактеризовало кампанию за их утверждение как попытку «возврата к фашизму». Но нет сомнения, что механизм боннского парламентаризма, позволяющий крайне реакционной партии держать власть в своих руках в течение шестнадцати лет, и на этот раз не откажет; опираясь на свое большинство, ХДС сможет рано или поздно добиться их принятия. И разумеется, лишь из бескорыстных забот о благе демократии!..

Открытый бандит с кастетом в руках вряд ли может сейчас делать политическую карьеру в Бонне. Демократию в Западной Германии убивают без шума. Реваншистская политика делается руками благородных господ, клянущихся в верности демократическому строю. Закон о применении срока давности для нацистских преступников отстаивают, например, не просто палачи из гиммлеровского имперского управления по охране безопасности, а «с в о б о д н ы й д е м о к р а т» Бухер и социал-демократ Якш. С призывом «забыть прошлое» выступают уже не генерал СС Хаусер (автор книги «СС в бою») и гросс-адмирал Дениц, а председатель социал-демократической партии Вилли Брандт. Буржуазные политики, дорвавшиеся до власти, не любят копаться в прошлом людей, которые занимали «трон» до них, даже если они были преступниками. Ведь это, так сказать, создает прецедент!

В борьбе же с инакомыслящими меры воздействия теперь совершенно иные, чем при нацизме. Их обрекают на медленную политическую и общественную смерть. Впрочем, лучше на сей счет привести слова западноберлинского профессора Флехтхейма, большого знатока политической кухни Бонна и отнюдь не коммуниста.

«С исчезновением — начиная с 1960 года — и без того совсем ручной официальной оппозиции... каждый, кто осмелится критиковать правительство «слева», должен быть готов к тому, что его будут рассматривать как человека, поставившего себя вне «народной общности». Правда, такого еретика не будут сжигать (и за это уже спасибо!), но наше сверхорганизованное и сверхказенное общество загонит его в изоляцию. Только немногие не пойдут после этого по пути примирения и капитуляции».

Вот та атмосфера, в которой бактерии неофашистского тоталитаризма, узколобой нетерпимости, расизма и антисемитизма и наконец идеологии милитаризма и реваншизма незаметно могут проникнуть в организм общества, вызвать распад его здоровых

клеток, заразить его бешенством, толкнуть на погромы и войны. Пока обыватель беззаботно нежится в лучах «экономического чуда», политики готовят для него цепи, которыми он будет прочно прикован к колеснице боннской политики. Когда же он очнется и захочет вырваться из плена, может оказаться, что будет уже поздно.

### «НЕПРУССКАЯ» ЗАПАДНАЯ ГЕРМАНИЯ

Во время нашего путешествия мне часто приходилось задумываться над тем, что достоинства и недостатки не только людей, но и народов часто тесно переплетены и что почти невидимая грань отделяет одни их качества от других. Очень трудно определить, например, где знаменитая немецкая точность и пунктуальность превращается в бездумный педантизм, дисциплина — в слепое поклонение власти, гордость за свой труд — в презрение к чужому труду и любовь к родной стране — в неприязнь и ненависть к другим странам, в национализм и шовинизм. Если бы миллионы немцев на протяжении своей истории не переходили столь часто этой грани, то немецкому народу не пришлось бы пережить так много тяжелых, поистине страшных событий.

Достоинства и недостатки соседствуют рядом и в современной Западной Германии. До сих пор мне приходилось говорить лишь о рецидивах прошлого, о том, что среди определенных прослоек населения ФРГ вновь берут верх нетерпимость, самодовольство, национализм и реваншизм.

Но путешественник и наблюдатель видит не только возрождение «пруссачества» и милитаризма, но и ростки нового, большие достижения труда и творческой мысли западных немцев. Они действительно превратили Федеративную Республику в богатую страну.

Нельзя не оценить и того энтузиазма и прилежания, с которыми немцы в ФРГ возродили из руин свою страну. Неправильно было бы считать, что при этом они просто подражали американским образцам. Наряду со стандартными зданиями американского образца в ФРГ создан и свой архитектурный стиль, в котором сочетается высокая строительная техника с традицией и своеобразием немецкой архитектуры. В ФРГ почти не строят, например, небоскребов американского типа. Для старинных немецких городов они были бы чуждым телом. Большая выдумка вложена в планировку городов — западногерманским архитекторам удается зачастую добиться гармоничного единства старого и нового в облике города. Западногерманские города не производят впечатления однообразных и унылых, они не состоят из одинаковых домов, площадей. А ведь многие из них были построены на развалинах, воздвигнуты на утрамбованных обломках старых зданий. В связи с этим многие районы Гамбурга, например, оказались на полтора-два метра выше прежнего уровня — развалины образовали возвышения и горы. В Кёльне не было почти ни одного целого здания, на восемьдесят процентов оказались разрушенными Нюрнберг, Франкфурт-на-Майне и другие крупные центры.

С любовью, тщательностью и научной добросовестностью восстановлена старина. В Мюнхене восстановлены не только реликвии фашистского режима, но и множество красивейших старинных зданий. Церковь святого Петра на площади Видуалленмаркт — великолепный образец ранней готики; восстановление ее стоило многих лет упорного труда. Эпоха ренессанса представлена церковью святой Марии в центре города. Этот храм — подлинная жемчужина, он поражает благородством и простотой пропорций. Между Зендлингерштрассе и Крейцштрассе запряталась небольшая церквушка — Азамкирхе, — одно из самых интересных старинных зданий Мюнхена в стиле немецкого рококо. Внутренность церкви напоминает изящную шкатулку — сотни резных и лепных украшений, похожих на безделушки в доме богатого аристократа, придают ей вполне светский и даже игривый вид. Пышные и несколько тяжеловесные формы эпохи барокко демонстрирует церковь Театинеркирхе на площади Одеона. И наконец холодный, казенный и — на мой взгляд — довольно безвкусный стиль немецкого классицизма воплощен в архитектуре церкви святого Людовика на Людвигштрассе.



Мюнхен — город искусства. В нем находится знаменитая пинакотека, одно из лучших в мире собраний картин великих мастеров прошлого. В новой пинакотеке и в городской картинной галерее собраны также многочисленные образцы искусства XX века. В городской картинной галерее — лучшее собрание картин русского художника Василия Кандинского. Его считают основоположником западной абстрактной живописи XX века. Судьба его сложилась трагически: после революции, не приняв новый строй, он эмигрировал в Мюнхен, где прожил большую часть жизни, а после прихода фашистов к власти бежал в Париж и там в 1943 году кончил жизнь в неизвестности и стчаянии.

Неизгладимое впечатление производят культурные и архитектурные ценности Кёльна. Монхи «гидами» по Кёльну в течение двух дней, которые я там жил, была семья Бёлей — Генрих Бёль, его жена Аннемари и младший сын Рене. Вчетвером мы объездили город на большой машине Бёля, неуклюжей из-за своих размеров и очень уж «неухоженной» по сравнению с надраенными до блеска машинами, плотно заполняющими улицы города.

В своем автобиографическом рассказе, написанном для сборника по случаю годовщины окончания войны, Бёль говорит: «Почти сто лет он (Кёльн.— Д. М.) являлся крепостью и крупным гарнизонным городом. Жестокосердие кёльнцев, скрывающееся за рейнским юмором, то жестокосердие, которое может довести и до уголовного, было не по плечу помещанским на порядке, корректным пруссакам». И полемизируя с теми, кто ставит вопрос: «Как можно жить в Кёльне?» — Бёль замечает, что узнает в этом вопросе «старое прусское недоверие к Рейнской области», которая была присоединена к Пруссии только в 1815 году.

Семья Бёлей познакомила меня с «непруским» Кёльном, возникшим как римская крепость, старым вольным городом, стойко сопротивлявшимся князьям и императорам, которые посягали на его права; перекрестком разных культур, родиной Стефана Лохнера и многих других великих художников, зодчих и архитекторов, «столицей» красивейшего уголка Германии — Рейнской области.

Кёльнские граждане вложили титанический труд в восстановление «традиционного» Кёльна в лучшем смысле этого слова. Десятки реставрационных мастерских заняты спасением и восстановлением памятников искусства. В одной из них и трудится старший сын Бёля, она находится при Кёльнском соборе и занята реставрацией каменных украшений фасада собора. Перед нами раскрылся тяжелый кропотливый труд скульптора-реставратора. Годы напряженнейшей работы требуются для воссоздания мельчайших деталей фасада — ведь на его сооружение ушло целых четыреста лет!

Совсем недавно — в 1953 году — строители натолкнулись на «первооснову» Кёльна — старый римский город и его «кремль» — преторий. Преторий оказался под другим историческим зданием — ратушей. Решено было восстановить и преторий и ратушу. Поэтому под зданием ратуши было создано гигантское подземелье, хранящее остатки римской крепости. Стены римских времен, возвышающиеся в этом подземелье, искусно освещенные прожекторами, воспроизводят контуры древних зданий и улиц. Вот здесь была торговая часть города, вокруг нее ясно видны остатки стен римских лавчонок, там выступили очертания римской бани, а в центре подземелья сохранились обломки стен дворца наместника Квинтия Тарквиния Катулла с большим залом для приемов и с могучими колоннами по сторонам. Так ожили памятники архитектуры 3—4 века нашей эры.

Но жители Кёльна украсили свой город не только памятниками старины. Новые храмы, школы, административные здания, универсальные магазины построены с большим вкусом, раскрывают таланты современных художников и архитекторов.

Из новых храмов наибольшее впечатление производит церковь святого Албана. Старая церковь того же названия была сильно разрушена во время войны — она принадлежала к четырем древнейшим кёльнским молитвенным домам. Ее сохранили в виде руин и презратили в памятник жертвам нацистского террора. На том месте, где раньше был алтарь, теперь стоит копия скульптурной группы Кэте Кольвиц — мать и отец, оплакивающие сына, выполненная известным западногерманским скульптором Эвальдом Матаре.

Новая церковь построена по проекту архитектора Ганса Шиллинга в 1957—1958 годах. В ней можно увидеть ряд талантливейших произведений крупного западно-германского скульптора Эльмара Хиллебранда (его бронзовый алтарь находится также и в Кёльнском соборе).

Церковь поражает своей благородной простотой, она построена в виде куба, приставленного к широкой цилиндрической башне. Два портала ведут внутрь — один в основное здание, другой в капеллу для причастия. Второй портал, как и алтарь внутри капеллы с пятиугольной башенкой-дароносицей, — работы Хиллебранда. Им же созданы чугунные решетки вокруг алтаря, каменный пол-«ковёр» перед главным алтарем и скамьи для молящихся, стоящие на «ковре». Эти произведения дают достаточное представление о творчестве знаменитого скульптора. Секрет его успеха, мне кажется, в удивительных пропорциях, в своеобразном примитивизме, никогда не оскорбляющем глаз, в четких контурах, целеустремленно выражающих мысль художника, в подлинно изваторском сочетании различных материалов — мрамора, чугуна, меди и т. д. Портал его работы, например, сделан из французского мрамора в сочетании с бронзой, алтарь в капелле — из итальянского мрамора и шифера, башенка, возвышающаяся над алтарем, — из бронзы и т. д.

В вызывающе модернистском стиле построено здание театра оперы и балета в Кёльне. Споры вокруг этого здания не утихают и ныне. Внешне оно походит больше на огромный ангар, чем на театр. Но зрительный зал, построенный в виде амфитеатра с ложами, далеко продвинутыми под косым углом к сцене, производит большое впечатление.

Замечательное сооружение и мост святого Северина — его единственный пилон высотой в семьдесят метров виден со всех концов города, и на нем на толстых железных канатах висит проезжая часть моста...

Но дело, разумеется, не только в тех материальных ценностях, которые западные немцы сумели создать за двадцать лет. Немцы всегда были хорошими организаторами, а Германия — одной из наиболее развитых стран мира. Гораздо большее значение для будущего немцев имеет то, что в Западной Германии растет новая культура, новая литература и, главное, новое мировоззрение, направленное не только против фашизма, но и против реваншизма. Существует не только Западная Германия монополий и мешанства, милитаризма и неонацизма. В ней имеются и иные силы, отстаивающие идеи гуманности и мира.

## У ГЕНРИХА БЁЛЯ

Я довольно пространно рассказал об архитектуре Кёльна. Но для меня Кёльн — это не только памятники старины и современной техники. В Кёльне родился, живет и творит замечательный писатель-гуманист Генрих Бёль.

Десятки людей, приезжающих в Кёльн, устремляются к Бёлю, произведения которого стали для миллионов читателей олицетворением высокой этической нормы поведения, символом порядочности и непримиримости к подлости и фальши. Для всех многочисленных посетителей Бёля гостеприимно раскрываются двери домика в Мюнгерсдорфе. Их с неизменным радушием встречает его хозяин — высокий, немного сутулый, с широким, открытым лицом и очень грустными глазами. Бёль не прочь пошутить и посмеяться, но во всем его облике все же преобладает какая-то печаль, лежит печать раздумий и пережитых страданий, раздумий о прошлом и настоящем немецкого народа, о его судьбе, о его будущем. И любой посетитель покидает этот дом с чувством глубокого уважения к его гостеприимному хозяину — человеку, защищающему с такой страстью и талантом человеческие ценности, попранные фашизмом и его вольными или невольными последователями в наши дни.

Домик Бёля расположен в тихом зеленом районе Кёльна. Он выделяется среди множества вилл (Мюнгерсдорф — район, где селятся обычно рейнские богачи) своим скромным видом. К тому же домик явно тесен для большой семьи Бёля — у него трое сыновей. Правда, года два назад Бёль поставил на том же участке шведский летний домик дачного типа. В нем большой кабинет и маленькая комнатка для секретаря,

который время от времени помогает Бёлю справляться с его обширной корреспонденцией. Но зимой работать там почти невозможно: в нем нет отопления.

Говорят, что устройство дома отражает характер его хозяев. Если это так, то главная черта характера семьи Бёля — необычайная простота. Это простота не от «рацио», она органическое свойство людей, живущих в этом доме. Местом сбора семьи и приема гостей служит большая комната на первом этаже — одна стена ее сплошь в книжных полках, вдоль другой тянется длинный сервант, а над ним портреты двух сыновей Бёля, работа друга-художника. На серванте стоят также две маленькие скульптуры, сделанные младшим сыном, который мечтает стать скульптором. А скульптура старшего сына, который работает каменотесом в одной из реставрационных мастерских. Кёльна, — большая рыба, или, вернее, скелет рыбы, отлитый из чугуна, — установлена в садике рядом с домом.

Да, домик Бёля совсем не похож на квартиры состоятельных интеллигентов ФРГ: нет там ни поддельной старины, ни холодного блеска современного интерьера. Он гармонирует с обликом хозяина и, я бы даже сказал, с философской сутью его произведений и его моральным кредо.

Я никогда не говорил с Бёлем о том, что дом его удивительным образом отличается от обычных западногерманских квартир, и особенно квартир многих его коллег-писателей, которые мне довелось видеть. Думаю, что он даже был бы удивлен такими моими словами, поскольку никакой нарочитости, заранее обдуманного намерения в устройстве его дома нет. Но тем не менее мне кажется, что и в самом облике домика Бёля, как и в его манерах и поведении, сквозит протест против мешанства и обывательщины, порожденных «экономическим чудом», против вкусов и обычаев крупных и мелких нуворишей, которых так много сейчас в ФРГ.

Популярность Бёля растет из года в год, круг читателей его произведений все больше расширяется. Одна из последних книг Бёля — сборник рассказов, телевизионных пьес, статей и выступлений — достигла неслыханного в условиях ФРГ тиража — более двухсот тысяч экземпляров! А общий тираж книг Бёля в ФРГ превысил полтора миллиона экземпляров.

— Кто же раскупает ваши книги, кто ваш главный читатель? — спрашиваю я.

— Я думаю, что это в основном молодежь, — отвечает Бёль, и его жена подтверждает:

— Генриха больше всего читают студенты, учащиеся старших классов, ну, и, конечно, часть интеллигенции.

Для страны с населением в пятьдесят пять миллионов человек тираж в полтора-два миллиона экземпляров чрезвычайно внушителен. Конечно, далеко не все, кто покупает или читает книги Бёля, — его единомышленники. Но так или иначе широкое распространение его произведений — свидетельство того, что слово Бёля доходит до ума и сердца многих миллионов граждан ФРГ.

Замечания о том, что в среде западногерманской молодежи происходят весьма знаменательные процессы, что молодые немцы из ФРГ все чаще выходят из повиновения официальных властей, тянутся к подлинному прогрессу и нередко активно выступают в его защиту, я слышал неоднократно и не только от Бёля. Все виденное мною говорит о процессе «размежевания» среди молодого поколения немцев в ФРГ, об определенной поляризации сил.

Безусловно, засилие бывших нацистов в общественной жизни ФРГ, особенно в школах, где большой процент преподавателей — бывшие офицеры вермахта и члены фашистского объединения учителей, — не могло не дать свои плоды. В хулиганских вылазках фашистского характера участвует главным образом молодежь. Это наследники «вервольфов» (оборотней) — подпольной нацистской организации, которая начала создаваться гитлеровцами еще во время войны в тылу союзнических армий на освобожденных от фашизма территориях. Фашистские молодежные группы вновь щедро финансируются старыми монополистами, носившими в гитлеровские времена звание «вождей военной экономики» («вервиртшафтсфюрер»).

Сказывается это и на большом росте преступности среди молодежи. Западногерманские газеты полны жалоб на моральное разложение широких слоев юношества.

Но есть и иная молодежь, и она составляет не меньшинство, а большинство молодого поколения ФРГ.

...В Мюнхене есть свой Монмартр — район Швабинга. Днем этот район принадлежит художникам. Они прямо на улицах расставляют свои картины, многие приходят с мольбертами и тут же «в присутствии заказчика» делают зарисовки Швабинга или пишут портреты. Это живописная и разномастно одетая толпа — кто в бархатной блузе с белым кашне, завязанным бантом, кто в шортах и в цветастых рубашках, кто в сверхмодных ботинках с усеченным носком, заданным кверху, а кто и просто босиком.

Три итальянских молодых художника — два парня и одна девушка — рисуют цветным мелом прямо на асфальте все, что потребует заказчик. Они здесь проездом, их машина стоит рядом — и намерены они исколесить всю Европу, зарабатывая себе на хлеб насущный своим искусством.

Молодые люди перебрасываются шутками, на улицах царит атмосфера товарищества и доброжелательства.

Среди полотен, выставленных здесь, редко можно увидеть хорошие картины, но большое впечатление производит энтузиазм молодых художников, их протест против мещанства, вера в то, что человек рождается свободным и не должен терпеть никакого насилия над собой. У этой молодежи — иммунитет против фашизма и милитаризма, проповедуемого казенной пропагандой.

Когда начинает темнеть, полотна сворачиваются, мольберты исчезают, улицы пустеют. Вечером открываются десятки маленьких кафе, винных погребков, закусовых, куда устремляется молодежь уже со всего Мюнхена. Многие из молодых людей подлаживаются под вкусы богемы.

Я спускаюсь в один из таких погребков, где встречаются художники. В зале полно народу. На стене большой транспарант: «Жажда хуже тоски по родине». Гостей обслуживают бородатые юноши. Стоит страшный шум, не слышно собственного голоса. Но какая разница между этим молодежным кафе — и знаменитыми мюнхенскими пивными, где сплошь и рядом можно услышать фашистские песни и тон задают бывшие солдаты вермахта, вспоминающие свои «боевые подвиги».

Насколько я могу судить по обрывкам разговоров, большинство посетителей — студенты университета. Мюнхенский университет носит имя брата и сестры Шолль — руководителей антифашистской молодежной организации «Белая роза». В феврале 1943 года эта группа организовала антигитлеровскую манифестацию в Мюнхене. Ганс и Софья Шолль были схвачены гестапо. Их зверски пытали, затем устроили публичный процесс. Так вся страна узнала о героических делах группы «Белая роза». Все организаторы этой группы были казнены. Их борьба — славная страница в истории антифашистского движения в Германии.

Это вспомнилось мне, когда я сидел в ресторанчике в окружении студентов. В их внешности, поведении, нравах — много ребяческого, но то, что, как мне кажется, я уловил из многочисленных разговоров с ними, говорит о понимании ими тех опасностей, которые проистекают из нынешнего курса Западной Германии, об их презрительном отношении к милитаризму в любых его формах, о живом любопытстве ко всему новому, исходящему из стран социализма. Этой молодежи трудно привить любовь к казарме и милитаристской муштре. Службу в бундесвере они воспринимают как кошмар, воспоминания о фашизме вызывают у них презрение и ненависть.

Среди западногерманской молодежи есть немало последователей Ганса и Софии Шолль, и именно они и читают Бёля и Энциенсбергера, Шаллюка и Рихтера, Гайслера и Грасса — писателей, мужественно борющихся против реакции и реваншизма, грозящих захлестнуть Западную Германию.

Наше пребывание в Западной Германии совпало с большой кампанией руководства ХДС против «возмутителей спокойствия» из числа видных западногерманских писателей. Дело в том, что накануне выборов группа писателей ФРГ предприняла мужественную попытку расшевелить обывателя, разъяснить ему истинное положение дел, показать ему, что политика «безопасности», как ее понимают в Бонне, в действительности чрезвычайно опасна для Западной Германии, ибо она ведет во внутренней области к укреплению реакции, уничтожению демократии, а во внешней — к конфликтам и —

в конечном итоге — к войне Основатель и руководитель известного писательского объединения «Группа 47», Ганс Вернер Рихтер издал сборник под названием «За образование нового правительства», в котором опубликовали свои статьи очень известные западногерманские писатели Рольф Хоххут, Гюнтер Грасс и другие.

В ответ на это канцлер обрушился на «критиканов» из числа интеллигенции. Литераторов, «вмешивающихся в политику», он обозвал «невеждами» и «бездельниками», в том числе Рольфа Хоххута, приобретшего мировую славу своей пьесой «Наместник», он обругал «мелкой шавкой».

Но это было только начало. Слова канцлера возбудили дремлющие в каждом обывателе чувства ненависти к интеллигенции. В нескольких городах прошли хулиганские манифестации, направленные против писателей. Группа молодчиков положила дом Грасса. А вскоре запылали и костры: в ряде мест бесчинствующая толпа начала сжигать книги передовых литераторов — того же Гюнтера Грасса, Эриха Кестнера и других.

Отношения между правительством и передовой интеллигенцией, как показывает опыт Германии, могут служить в определенной степени мерилем здорового развития нации. Там, где господствует реакция, где угнетается свобода и ведется поход против культуры, передовая интеллигенция находится в оппозиции, подвергается преследованиям.

Наступление фашизма против сил прогресса сопровождалось в Германии погромами передовой интеллигенции, фашисты ловко играли на чувствах ненависти мещанина к ней. Вот почему нынешнее положение передовой интеллигенции в ФРГ вызывает тяжелые ассоциации.

Это положение никак нельзя назвать нормальным. Господство мещанства в общественной жизни создает атмосферу духовной изоляции прогрессивных деятелей культуры ФРГ в их собственной стране. Сплошь и рядом приходится констатировать, что виднейшие западногерманские писатели пользуются большей известностью и любовью за границей, чем в Западной Германии. Однако в той стене подозрительности и замалчивания, которой правители в Бонне пытаются окружить передовую интеллигенцию, прогрессивная общественность пробивает все более заметные бреши. Передовая интеллигенция ФРГ не сложила оружия. Она с поразительным мужеством и настойчивостью борется за душу «маленького человека», за мирное и демократическое будущее Германии.

Правители ФРГ сделали все, чтобы сокрушить всякую организованную оппозицию. Они загнали в подполье коммунистическую партию. Единственная легальная прогрессивная партия в ФРГ — Союз мира — подвергается преследованиям, вокруг этой партии создается атмосфера остракизма, на членов партии организуют нападения, их всеми мерами пытаются запугать. Тем не менее Союз мира получил на последних парламентских выборах более пятисот тысяч голосов. Героическую борьбу против ремилизации и подготовки войны ведет в подполье Коммунистическая партия Германии. Даже реакционная печать вынуждена признать, что влияние коммунистической партии в западногерманском населении растет.

Роковой вопрос, который задал более трех десятилетий назад, в канун прихода фашизма, немецкий писатель Ганс Фаллада: «Маленький человек, что же дальше?» — стоит и сейчас перед рядовыми гражданами в ФРГ. Но теперь выросли могучие силы, в том числе в самой Западной Германии, которые служат опорой для иного выбора пути западногерманскими «маленькими людьми», чем путь, по которому Германия пошла в тридцатые годы. Мы верим, что здоровые силы в западногерманском обществе все же возьмут верх.



---

# ПУБЛИЦИСТИКА

Е. ГНЕДИН

★

## БЮРОКРАТИЯ ДВАДЦАТОГО ВЕКА

*Социологические заметки о современном буржуазном обществе*

**З**а двадцатым веком закрепилось уже немало прозвищ: век атома, век космоса, век кибернетики... Но исследователь буржуазного общества мог бы добавить еще одну его приметку — это век бюрократизации. Процесс всесторонней бюрократизации капиталистического общества Ленин осветил еще во время первой мировой войны. Он писал:

«Изменения после 1871 года? Все таковы или общий их характер, их сумма такова, что бюрократизм везде бешено вырос (и в парламентаризме, внутри его, — и в местном самоуправлении — и в акционерных компаниях — и в тресте и т. д.)...»<sup>1</sup>.

В настоящее время в условиях государственно-монополистического капитализма рост бюрократизации проявляется еще явственнее и принял новые формы.

### ВЕЗДЕСУЩИЙ ДЬЯВОЛ БЮРОКРАТИЗМА

Этой темы я уже частично коснулся в предыдущих социологических заметках<sup>2</sup> и закончил их горестными словами американского сенатора Фулбрайта насчет того, что «вездесущ дьявол», воплощающий несовершенство современного буржуазного общества. Этот образ применим и к такому злу, как бюрократизация государственной, общественной и экономической жизни.

Жалобы на тлетворное влияние бюрократизма слышатся со всех сторон, на всех континентах. Тем не менее мировая конференция критиков бюрократизма, если бы она была созвана, не стала бы собранием политических и идейных единомышленников. Они не были бы согласны между собой даже относительно содержания самого этого понятия. Очевидно, что и автору заметок о современном бюрократизме следует предельно подробно объяснить по этому вопросу с читателем.

Если бы в начале и даже в середине прошлого века речь зашла о бюрократии, все понимали бы, что говорится о государственном аппарате, о том особом слое, которому принадлежит власть в государстве. Однако, говоря о бюрократии двадцатого века, надо иметь в виду и бюрократизацию экономической деятельности в условиях частнокапиталистического хозяйства, и бюрократические злоупотребления в управлении национализированными секторами промышленности. Более того, можно было бы нарисовать картину бюрократизации культуры, искусства, всей повседневной жизни современного буржуазного общества.

Победоносиков из «Бани» Маяковского напрасно опасался, что могут «обесцелярить планету». Наоборот, с каждым годом на планете растет число «канцелярий» и регулирующих центров, выросла численность людей, им подчиненных. В перенаселенных городах сосредоточены огромные массы людей, привыкших к всесторонней регла-

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 33, стр. 229.

<sup>2</sup> «Новый мир», № 9, 1964. Е. Гнедин. «Модель и действительность»

ментации их деятельности. начиная от строгих правил передвижения и кончая отрегулированными условиями труда и даже развлечений (телевизор). Гигантские системы управления контролируют жизнь человеческих масс. Любопытно, что и под кибернетическим углом зрения исследуются условия функционирования такой «суперсистемы», которая обеспечивала бы эффективное управление экономикой большой страны или группы стран и гарантировала бы невозможность ошибочных решений. Правда, еще не доказана реальность такой гарантии: эта воображаемая «суперсистема» может привести к бюрократизации и к чрезмерному ограничению «степеней свободы», которыми располагает отдельный человек. Именно это происходит в результате перерастания монополистического капитализма в государственно-монополистический капитализм...

Герцен еще сто лет тому назад писал, что в мещанском обществе комфорт находился под защитой полицейских плотин, судов, казарм, церкви, и в результате «за эту чечевичную похлебку, хорошо сервированную, мы уступаем долю человеческого достоинства, долю сострадания к ближнему и отрицательно поддерживаем порядок, в сущности нам противный». В эту характеристику общественного развития Герцен вкладывал определенный социальный смысл, под морально деградирующим мещанским обществом он понимал буржуазное общество: «Мещанство, последнее слово цивилизации, основанной на безусловном самодержавии собственности».

В наших заметках речь и пойдет о той бюрократии двадцатого века, которая разрослась в условиях самодержавной власти собственности, ныне принявшей формы государственно-монополистического капитализма.

А теперь мы можем вернуться на воображаемую всемирную конференцию критиков бюрократизма, о которой говорилось в начале.

Как ни странно, первую самокритическую речь мог бы произнести представитель той прослойки в современном капиталистическом обществе, которая кичится «демократическими традициями» и часто клеймит социализм именно за бюрократизацию экономической жизни. Вот что, например, сказал генерал Роберт Е. Вуд, один из виднейших деятелей американской промышленности: «Мы жалуемся на вмешательство правительства в бизнес, мы подчеркиваем преимущество системы свободного предпринимательства, мы осуждаем тоталитарное государство, между тем в своих собственных организациях, стремясь добиться большей эффективности, мы создаем более или менее тоталитарную систему в промышленности, особенно в крупной». Это мнение полностью разделяет автор недавно изданной содержательной книги о современном американском капитализме Бейзлон, бывший поверенный крупных фирм, в частности, возглавлявшихся известным государственным деятелем США Стивенсоном. Бейзлон посвятил свою книгу характеристике американского капитализма, вступившего, по его утверждению, в эпоху «бюрократического индустриализма». Мы можем отметить реплику этого американского исследователя на нашем воображаемом собрании: «Организации бизнеса ныне крайне авторитарны по своей структуре, они более авторитарны, чем другие бюрократии в нашем обществе». А «другие бюрократии» в США — это прежде всего Пентагон, гигантский бюрократический аппарат для организации больших и малых войн.

Разумеется, различные бюрократические сферы не отделены одна от другой. Военный аппарат непосредственно связан с бюрократией бизнеса. Автор переведенной на русский язык интересной книги «Властвующая элита» Райт Миллс говорит, что члены властвующей элиты «не просто «бюрократы» — они руководят бюрократией». Именно «сфера действия правительственно-административной бюрократии становится не только центром политической системы, но также и единственной ареной, на которой разрешаются (или остаются неразрешенными) все политические конфликты».

Сфера действия бюрократии становится также единственной ареной, на которой разрешаются (или остаются неразрешенными) повседневные проблемы экономической жизни. Колумбийский университет издал в 1957 году коллективный труд, посвященный «человеческим отношениям» в исследовательских учреждениях промышленности. Описывая положение в отдельных секторах (одна из глав называется «Бюрократия в лаборатории»), авторы перечисляют важнейшие черты бюрократизации: строгое разделение компетенции, иерархическая структура, составление правил внутреннего распорядка лицами, специально и только этому обученными, отрыв администрации от про-

цесса производства, передача решений и административных распоряжений только в письменном виде, жесткие правила продвижения по службе и т. п. Бюрократизация стала очевидным тормозящим фактором и для развития научных исследований.

Такое тормозящее влияние вовсе не предполагает обязательно вмешательство в конкретную исследовательскую работу. Известно, что в США существует эффективная система организации и субсидирования научных работ. Речь идет о процессах более общего характера, например, о распределении научно-технических кадров в масштабе страны. В этой области явственно сказывается влияние военно-бюрократического аппарата. На это указал в 1963 году, то есть еще до нынешнего пароксизма империалистической агрессивности США, Кеннеди в послании к конгрессу. Он констатировал, что такие сферы, как военное ведомство и программа развития атомной энергетики, поглотили две трети обученных людей, нужных и пригодных для научно-технической деятельности. За это, сказал Кеннеди, «мы заплатили тем, что резко ограничили скудные ресурсы научных и инженерных кадров, которыми могли бы располагать гражданские секторы экономики».

Выслушаем мнение некоторых европейских наблюдателей. Оказывается, на растущую бюрократизацию жалуются и западногерманские апологеты ныне уже скомпрометированного «свободного социального рыночного хозяйства», и французские сторонники крупнокапиталистического программирования экономики.

Западногерманский орган промышленных и банковских кругов «Фольксвирт» время от времени сетует по поводу болезненных явлений в общественной жизни ФРГ, и прежде всего ее бюрократизации. В 1961 году он атаковал главным образом государственный аппарат. Заведующий боннской редакцией журнала воскликнул: «Всевластие министерской бюрократии — пора это сткрито сказать — все больше парализует парламент и обрекает его на бесплодие». А через три года редакция уже выступила с критикой бюрократии монополий. Автор статьи «Требования изменившегося мира» привел доказательства того, что вырождение буржуазной демократии связано не только с банкротством парламентаризма, но и с увеличением роли новой бюрократии. Он писал: «Политика защиты интересов организованных групп (то есть монополий.— Е. Г.) ведет к постоянному расширению компетенции государства и к ограничению свободы личности»; но одновременно падает авторитет государства, ибо монополистические объединения «все чаще навязывают государству свои близорукие групповые интересы». Так или иначе человек все больше превращается в «управляемого человека» — «находящегося под властью растущей бюрократии».

«Человек... превращается в лилипута перед лицом «аппарата». Раньше он склонял голову перед двумя властями: церковью и монархией, теперь — перед многими административными властями». Эти слова уже не продолжение статьи западногерманского автора, это цитата из французской книги «Человек и государство», изданной от имени «Клуба Жан Мулен» — общества, которое объединяет несколько сот представителей различных профессий, порой находящихся в оппозиции к личному режиму, но чаще стремящихся «внести свой вклад» в систему управления государственно-монополистической экономикой. Авторы книги тревожат перспектива развития двух параллельных и сходных процессов: в сфере экономической жизни — образование привилегированной технбюрократии, а в сфере политической и государственной — укрепление власти аппарата (правительственного, партийного, армии); «мы являемся свидетелями усиления политической бюрократии».

Очевидно, что процесс бюрократизации находит свое воплощение в конкретных формах, и прежде всего в расширении самого аппарата. Так, например, в гитлеровской Германии за шесть лет численность чиновничества увеличилась на сорок семь процентов, а за четыре года аденауэровского правления численность государственных чиновников выросла на тридцать семь процентов. В США число гражданских служащих федерального (центрального) правительства возросло с 1930 года по 1962 год в четыре раза. А надо иметь в виду, что в США такие области, как школьное дело, здравоохранение, дорожное строительство, находятся в ведении штатов и, следовательно, учетверился типичный централизованный бюрократический правительственный аппарат. В Вашинг-



тоне имеется семьдесят федеральных департаментов и агентств, насчитывающих свыше двух тысяч бюро и отделов.

Но в двадцатом веке сила и влияние государственной бюрократии измеряется вовсе не только численностью подчиненного ей аппарата. В известном современном американском курсе политической экономии Самуэльсона мы читаем: «Правительство Соединенных Штатов — это самое крупное предприятие в мире. Оно покупает больше пишущих машинок и больше цемента, выплачивает большую сумму заработной платы и имеет дело с большей суммой денег, чем любая организация где бы то ни было». При этом «основная часть текущих федеральных расходов и долга — это результат «горячей» и «холодной» войны, а не депрессии или программы социального обеспечения».

Самуэльсон считается классиком современной буржуазной экономической науки и претендует на строгую научность изложения в своем учебнике. Хотя характеристика американского правительства, данная Самуэльсоном, отражает психологию бизнесмена, тем не менее его слова — свидетельство надежное. Американский государственный аппарат в целом предстает как огромная военно-бюрократическая организация, обладающая большой экономической мощью.

В пятидесятых годах английский публицист С. Норткот Паркинсон в остром социальном памфлете, направленном против английской бюрократии, показал стремление организации, обладающей властью, расширять сферу и объем своей компетенции и власти. Памфлет назывался «Закон Паркинсона, или Пути прогресса»<sup>1</sup>. С тех пор не только публицисты, но и социологи охотно оперируют таким понятием, как «закон Паркинсона», употребляя его не только в ироническом плане.

Я напомнил об этом понятии потому, что в условиях современного капиталистического общества «закон Паркинсона» получает еще более широкий смысл. Когда бюрократия располагает и экономическими рычагами, она не только стремится увеличить свой аппарат, но также расширить и свою финансово-экономическую базу. Деятельность бюрократической касты сочетается с существованием централизованного хозяйства; ее власть и привилегии опираются уже не только на аппарат репрессий, но и на возможность распоряжаться огромными материальными ценностями.

В результате образовалась новая мощная бюрократическая прослойка. К этой современной бюрократии надо причислить и высшую администрацию промышленности, находящейся в ведении государственных органов; как известно, удельный вес национализированных отраслей промышленности в Западной Европе довольно велик. К этой же прослойке принадлежат в своем большинстве менеджеры — представители предпринимательской бюрократии. Менеджер — управляющий огромным промышленным комплексом — в не меньшей степени, чем сановный бюрократ, возглавляющий государственное учреждение, принадлежит к крупнокапиталистической элите. Между бюрократией, возглавляющей монополистические предприятия, и государственной бюрократией существуют постоянные связи и контакты. Монополия на управление государственными делами сочетается с управлением крупнокапиталистическими монополиями. В этом специфика бюрократии финансового капитала.

Возникает правомерный вопрос: если буржуазная бюрократия двадцатого века по своему месту в государстве и по своим функциям отличается от бюрократии прошлых времен, то не потеряла ли она некоторые черты, присущие ей ранее, и не приобрела ли новые свойства? Можно ли, например, утверждать, что административный аппарат, обслуживающий частнокапиталистическую монополию, лишен чувства государственной ответственности, которой не лишены вовсе государственные чиновники? Но возможен и обратный ход мыслей: а не затрудняет ли бюрократическую мистификацию, подмену реального дела формалистикой — участие административного аппарата в организации экономической жизни? Ведь «средние» менеджеры и в особенности их подчиненные — инженеры, техники, служащие — по своему месту и роли в государственной и экономической жизни отличаются от чиновников.

<sup>1</sup> «Иностранная литература», № 6, 1959.

Не приходится отрицать и тот простой факт, что не всякое администрирование есть проявление бюрократизма и не всегда руководство строится на использовании бюрократического аппарата. Следовательно, чтобы вскрыть роль бюрократии в нынешнем буржуазном обществе, необходимо рассмотреть современные явления с более общей точки зрения.

### ТАИНА, АВТОРИТЕТ, ЧУДО

Классики марксизма не раз указывали на то, что государственный бюрократический аппарат может приобрести самостоятельность, пагубную для общества и порой вредную даже для тех классов, которым он призван служить. Маркс конкретизировал эту мысль в «Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта»; во Франции, говорил он, государственная бюрократическая машина настолько укрепила свое положение, что во главе ее она может иметь «авантюриста, поднятого на шит пьяной солдатней»<sup>1</sup>.

Стремление бюрократии к приобретению самостоятельности в прошлом облекалось в различные политические и идеологические формы, но оно заложено в самой природе буржуазной бюрократии, которая, пожалуй, в еще большей мере, чем бюрократия абсолютной монархии, рассматривает государство как свою частную собственность и во всяком случае как орудие для защиты интересов частной собственности. Эти исконные черты бюрократической касты в особой степени присущи бюрократии финансового капитала, которая, как сказано выше, располагает огромной экономической мощью.

Разрыв между интересами части буржуазии и порожденной ею бюрократией может быть обусловлен тем, что бюрократия приобрела чрезмерную силу. Но возможна и обратная ситуация. Когда царизм переживал в 1917 году свой исторический кризис, наметилось расхождение между русской буржуазией и царской бюрократией из-за слабости последней. Сложившееся тогда положение ярко осветил не кто иной, как Александр Блок в книге «Последние дни императорской власти». Блок, в частности, писал: «Круги бюрократические... давно были лишены какого бы то ни было мирозерцания»; «обыкновенным бюрократам» только «многолетний чиновничий опыт помогал сохранять видимость государственного смысла». Бюрократия, у которой почва уходила из-под ног, подменяла государственную деятельность неэффективным формализмом и этим ускорила кризис режима. А Октябрьская революция доказала, что и царская бюрократия, и русская буржуазия — исторические банкроты.

Исторические примеры и современные наблюдения над буржуазным обществом одинаково свидетельствуют о стремлении бюрократии расширить свою власть и навязать обществу собственные интересы, продиктованные порой ее силой, а порой и ее слабостью. Между тем известно из истории, что реакционеры не раз осуждали критику бюрократизма за то, что она якобы подрывает престиж государства и носит анархический характер. Бюрократия как общественный институт действительно неотделима от государства. Марксистов отличает от анархистов не отрицание этой связи, а убеждение, что против бюрократической касты нужно и можно бороться, вовсе не впадая в утопическое или анархическое отрицание роли государства.

Все дело в том, что бюрократия по природе своей — явление антиобщественное. В этом можно убедиться, если раскрыть тайну бюрократии и ее власти.

Достаточно простого здравого смысла, чтобы обнаружить в поведении бюрократии элементы мистификации. Тот, кто встречал на своем пути оскорбленного в своем мнимом достоинстве чиновника или не терпящего критики бездушного администратора, должен был заметить, что эти лица реагируют с возмущением только на те обвинения в бюрократизме, которые направлены по их личному адресу. Обобщенную критику бюрократизма они к себе не относят.

Чинovníк, составивший по всем правилам канцелярского искусства инструкцию, не применимую в реальных условиях, полагает, что он выполнил свою служебную обязанность. Судья, вынесший обвинительный приговор в противоречии с законом и увер-

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. т. 8 стр. 207

ждающий, что он делает это во имя государственного блага, мнит, что он не бюрократ, а государственно мыслящий человек. Такова же психология чиновника, покрывающего ошибки или правонарушения другого чиновника ради мнимой либо плохо понятой охраны престижа государства.

Своеобразие проблемы заключается в том, что, как общее правило, лицо, считающее себя бюрократом, всегда было редкостью, а бюрократия, бюрократическое словие, связанное круговой порукой, иерархия, оберегающая тайну своей власти, — общественное явление далеко не редкое. Понять натуру бюрократа можно, только поняв природу бюрократии.

Не потому ли в художественной литературе образы бюрократов и их поведение столь часто отмечены элементом не то мистики, не то мистификации? Тыняновский призрачный подпоручик Кижэ был детищем бюрократических ухищрений. Салтыков-Щедрин, направляя свою сатиру по вполне определенному адресу, рисуя реальную картину произвола властей в царской России, вовсе не только по цензурным соображениям прибегал к приемам гротеска и сказа. Характеризуя суть грубого и жестокого правления, Щедрин придал правителю города Глупова обличье манекена с «органчиком» вместо мозгов; устрешенные обыватели считали его оборотнем или упырем. Если щедринский Угрюм-Бурчеев питал присрастие к «виртуозности прямолинейности», то сановный бюрократ Аполлон Аполлонович Аблеухов в «Петербурге» Андрея Белого предстает уже как призрак в замкнутом пространстве геометрических фигур, как математическая точка, откуда несетя стремительный поток циркуляров, как некий пузырь, который «из черного куба кареты вдруг расширился во все стороны и над ней воспарил». Между тем Аполлон Аполлонович — это обобщенный образ бюрократа — душителя России в пору назревания революции 1905 года. Мир, в котором зло конкретно, а его источник ирреален, мир анонимных запретов и весьма ощутимого произвола предстает перед читателем и в произведениях Кафки.

Блестящую иллюстрацию бюрократического механизма содержит рассказ Герцена в «Былом и думах» о губернском чиновнике в Вятке, который, получив написанную на канцелярском наречии никому не понятную бумагу, составлял столь же непонятный ответ, причем странным образом это был действительно ответ на полученную бумагу; бюрократическая акция была совершена с полным соблюдением правил, хотя и без всякого полезного эффекта. Этот губернский чиновник отнюдь не считал себя пустым человеком, а наоборот, дельным, нужным слугой государства. А молодые чиновники стремились перенять у него тайну служения государству. Не только произведения, отмеченные прискорбной печатью «декаданса», но и вполне реалистическое повествование Герцена подсказывает мысль, что в бюрократизме есть элемент, конечно, не мистики, а мистификации.

Подоплеку этой мистификации раскрыл Маркс, критически анализируя гегелевскую философию права. Он показал, что бюрократия, находясь на службе у государства, есть не что иное, как каста, противопоставляющая себя подлинным интересам общества и даже того государства, которое она обслуживает. «Действительная цель государства представляется, таким образом, бюрократии противо государственной целью». Государственные задачи, констатировал Маркс, превращаются в канцелярские задачи, и, наоборот, канцелярские задачи — в государственные (пример — чиновник, о котором писал Герцен). Иерархия бюрократии, говорил Маркс, «есть иерархия знания». «Авторитет, — писал он, — есть поэтому принцип ее знания, а обоготворение авторитета есть ее образ мысли»<sup>1</sup>

Власть бюрократов опирается на тайну и авторитет. Прибавьте к этим понятиям чудо, и перед вами те три силы, на которые опирался Великий инквизитор в легенде, рассказанной Иваном Карамазовым Алеше. «Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков, для их счастья, — эти силы: чудо, тайна и авторитет».

Напомню, что Великий инквизитор, по словам Ивана Карамазова, был «с ним»,

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 1, стр. 271, 272.

то есть заодно со злым духом, хотя и творил расправу во имя божие. Не такова ли сущность и Великого бюрократа? Он умерщвляет жизнь общества, причиняет вред государству, действуя от имени государства. Цель мистификации, которой служит дьявольская мистика Великого инквизитора, раскрыта в словах Алеши Карамазова: «Самое простое желание власти, земных грязных благ, порабощения... вроде будущего крепостного права, с тем, что они станут помещиками... вот и все у них».

Такова она, тайна бюрократии: защита монополии касты на управление государством с помощью обмана и фикции, система слепого подчинения вопреки разуму и совести и под прикрытием авторитета — корысть, стремление к власти и обогащению.

Гегель не отрицал, что даже благословенная прусская бюрократия способна злоупотреблять своей властью, но гарантию против произвола видел в строгом иерархическом порядке. Но ведь испокон века иерархия брала под защиту своего слугу тогда, когда совершенный им «грех» бросал тень на всю бюрократическую систему. Снова вспоминается опыт Герцена. Поводом для его вторичной ссылки было то, что он в письме к отцу рассказал, как «у Синего моста будочник убил и ограбил ночью человека». «Об этой истории говорил весь город», — указал Герцен жандармам; ответ николаевского жандарма гласил: «Да, я слышал и говорил об этом, и тут мы все равны; но вот где начинается разница — я... клялся, что этого никогда не было, а вы из этого слуха сделали повод обвинения всей полиции». За «разглашение вредных слухов» Герцен был выслан из Петербурга...

Правда, Гегель полагал, что зло, причиняемое бюрократическим механизмом, может быть нейтрализовано «нравственной и умственной культурой» чиновничества. Маркс высмеивал подобные надежды на благое последствия раздвоения личности бюрократа. Теперь даже буржуазные социологи, хотя и косвенно, подтверждают его скептицизм. Так, например, изданный в ФРГ философский словарь констатирует, что «функционеру механизма цивилизации» присуще честолюбивое стремление «отождествлять себя со своими функциями. Происходит раскол личности на функционера и более или менее быстро гибнущий остаток человека. Функционер в состоянии совершать поступки в высшей степени бесчеловечные».

«Здесь кончается Достоевщина и начинается мир роботов» Так сформулировал свои впечатления от методов самозащиты обвиняемых на Нюрнбергском процессе Илья Эренбург. На недавних процессах в ФРГ военные преступники снова заверяли, что они «только» дисциплинированные исполнители полученных свыше бесчеловечных приказов. Палач или тюремщик, оправдывающий свои злодеяния тем, что он лишь добросовестный исполнитель «законно оформленных» распоряжений, есть самое мерзкое воплощение бюрократического бездушия, доведенного до последней степени в обстановке беззакония. В предыдущих социологических заметках о современном буржуазном обществе я отметил такие новые явления, как фашизм, не выступающий открыто, «фашизм под маской» и «фашизм секретности». Я напоминаю об этом потому, что питательной почвой для подобных явлений может стать именно бюрократический аппарат, связанный круговой порукой, не подчиненный демократическому контролю да еще состоящий из чиновников, убивших в себе человека.

«Если были еще малейшие сомнения в том, что нацистская мафия, эта «бюрократия убийц», действует на высшем административном уровне, то такие сомнения отпали в 1959 году», — писал американский полуофициальный «эксперт по германским делам» Тетенс в книге «Новая Германия и старые нацисты», изданной в Лондоне в 1962 году. Выражение «бюрократия убийц» американский автор позаимствовал из статьи западногерманской буржуазной газеты «Зюддейче цейтунг», которая раскрыла смысл этого термина в следующих словах: «Многим актам массовых убийств и пыток было положено начало в административных канцеляриях. Те господа, которые издавали распоряжения, обрабатывали досье, штамповали документы, несут полную ответственность. Сейчас они представляют собой бюрократию убийц, даже если они самолично не участвовали в убийствах».

Совершенно очевидно, что, освещая важнейшие стороны бюрократии финансового капитала, необходимо особо остановиться на опыте германского фашизма.

### «БЮРОКРАТИЯ УБИИЦ»

Вообразим себе некоторый мысленный эксперимент: применение кибернетической методологии к социальным проблемам. Составлена программа, содержащая на машинном языке характеристики типовых бюрократов, показатели возможных результатов их деятельности, а также сочетания различных форм их активности. Тогда «на выходе» обработанной программы мы должны были бы получить картину общества, соответствующую определенным комбинациям на входе. При этом, вероятно, обнаружилось бы, что система управления обществом, при которой преобладали бы «идеальные» tecnократы и подчиненные им обезличенные роботы, возможно, была бы относительно эффективна в производственной сфере, но обречена на конечное вырождение в силу отсутствия демократических форм общественной жизни и стимулов для развития духовной культуры и человеческой личности. Система, в которой преобладала бы комбинация менеджеров и мракобесов, походила бы на существующую в США. А если бы удалось моделировать систему, в которой главенствовали бы мракобесы, подчинившие себе технократов, чиновников, превратившие своих покорных слуг в роботов, то получилась бы картина фашистского режима.

В открытой диктатуре монополистической буржуазии были сконцентрированы все самые отрицательные, пагубные черты антинародного бюрократического правления. Антинародные силы не отказались еще от использования этого опыта. Хотя в минувшем году человечество отметило уже двадцатилетие победы над германским фашизмом, влиятельные группы не только в Западной Германии, но и за ее пределами добиваются того, чтобы напоминание о прошлом не подрывало престижа нынешних властителей и не мешало вернуться, хотя бы частично, к прежним преступным методам порабощения народов.

В гитлеровской Германии сочетание государственно-монополистических форм экономики с господством бюрократической касты получило чудовищное воплощение. Был создан централизованный механизм антиобщественного хозяйничания, всецело подчиненный задачам подготовки и ведения войны. Не мешает напомнить, что фашисты запланировали подготовку кровавых злодеяний, составив в 1936 году свой четырехлетний хозяйственный план, осуществлением которого и была война, начавшаяся через три года. Тогда и была пущена в ход «кровавая бухгалтерия»: составлялись, регистрировались и рассылались в огромном количестве бюрократические ведомости, инструкции, циркуляры и отчеты об уничтожении миллионов жизней.

Конечно, и «традиционные» элементы бюрократизма были воплощены в гитлеровской Германии в идеологии и практике нацистов в крайне гипертрофированном реакционном виде. Кагговый дух насаждали с помощью расистского мракобесия и проповеди авторитета «сильной личности». В гитлеровском «Майн кампф» можно было прочесть такие рассуждения: «То миросозерцание, которое отвергает демократический принцип массы и ставит своей задачей отдать власть над всем миром в руки лучшей из наций... логически должно применять тот же аристократический принцип внутри самого данного народа... Вся организация общества должна представлять собой воплощенное стремление поставить личность над массой, то есть подчинить массу личности»<sup>1</sup>.

Уже в разгар войны, в мае 1943 года, военный преступник Лей потребовал, чтобы немцы соблюдали, как он выразился, две догмы. Первая догма: представитель германского народа — фюрер, следовательно, «если он издает приказы, я должен безоговорочно повиноваться». Вторая догма: «Человек должен признавать авторитеты. Это источник вождизма и общности... Таким образом фюрер, воплощающий авторитет нашей общности, для нас неприкосновенен... Если фюрер повелевает, мы повинемся. Ни у кого не должно быть внутренних оговорок»<sup>2</sup>. Две «догмы» — один фюрер.

Гитлеризм довел до логического конца пороки бюрократической касты; государственное мышление он подменил антигосударственным авантюризмом, защиту общест-

<sup>1</sup> Кэриад Гейден. История германского фашизма. Соцэкгиз. 1935. Предисловие И. Дворкина, стр. XIII.

<sup>2</sup> Leon Poliakov, Josef Wulf. Das Dritte Reich und seine Denker, Dokumente. Berlin-Grünwald. 1959. Ss. 18--19.

венных интересов преследовал как предательство, он опирался на слепое подчинение искусственно созданному авторитету, обоготворение которого должно было стать господствующим образом мыслей.

Такие приемы, присущие «бюрократическому духу», как ставка на «тайну» и даже «чудо», занимали немалое место в арсенале фашизма. Как бы в согласии с проповедью Великого инквизитора, легенда о сверхъестественной, гениальной одаренности фюрера использовалась для подавления народных масс. Цинично внушая оглуленным сторонникам режима, что фюрер обладает чудесной и таинственной способностью представлять волю народа, фашистская бюрократия тем самым бдительно охраняла неприкосновенность «иерархии знания», о которой писал Маркс.

Известно, что фашисты воплотили в самых разнузданных, отвратительных формах присущее бюрократической касте враждебное отношение к свободному научному мышлению. Гитлеровские власти разгромили высшую школу и научные учреждения. Новейшие открытия предали анафеме, Эйнштейна заочно приговорили к смертной казни, немцу Гейзенбергу угрожали уничтожением за его согласие с теорией еврея Эйнштейна. Недавно была опубликована секретная переписка между гитлеровскими высшими чиновниками, из которой видно, какая атмосфера царил в бюрократических кругах, ведавших наукой. Например, в докладной записке Розенбергу от апреля 1944 года «О положении в физике» фашистский чиновник так охарактеризовал последствия хозяйничанья нацистских партийных инстанций в науке: «Связь (физики.— Е. Г.) с именем Эйнштейна была достаточным поводом для того, чтобы многие деятели естественных наук (первоначально не физики) отвергли всю современную физику. Нападки приняли грубые формы... Как и в других отраслях, был поднят шум по поводу того, что отдельные клики решают вопрос о занятии кафедры... Преждевременная поддержка партийными инстанциями одного определенного направления привела к тому, что уже ряд лет и немногие сохранившие работоспособность теоретики физики относились скептически ко всем мероприятиям партии в области науки. А так как плодотворность их теоретических взглядов подтвердилась всюду вплоть до военной промышленности, то они имеют основания считать, что были правы в своем скептицизме»<sup>1</sup>. В этом докладе фашистского чиновника интересно не только вынужденное признание того, что невежественное вмешательство расистов принесло урон и науке, и государству, и режиму. Показательно то, что характеристика фактического положения была засекречена: бюрократия тщательно охраняет и тайну своей власти, и тайну своего банкротства.

Это можно было бы проиллюстрировать с помощью ряда ныне опубликованных документов вплоть до таких, как секретная переписка (с приложением справок, копий документов и проч.) между Геббельсом и Розенбергом относительно того, следовало ли разрешать постановку оперы Штрауса по либретто Стефана Цвейга, или строго секретная переписка между гестапо и министерством иностранных дел о том, что в цветочном магазине употребляли в качестве обертки запрещенные к распространению американские и швейцарские газеты, выброшенные после чтения видным сотрудником министерства.

## БЮРОКРАТИЯ И ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Лютая ненависть фашистов к интеллигенции — факт широко известный. «Когда я слышу слово интеллигент, я спускаю предохранитель моего револьвера» — было их девизом. Гитлеровцы в свойственной им особо низменной и примитивной форме выражали отношение бюрократической касты к мыслящей части общества, ибо — наломаную слова Маркса — государственное мышление и научный анализ бюрократия считает покушением на ее тайну, на ее авторитет. Гитлеризм предстает как реально существовавшая модель, в которой собраны в сконцентрированном виде явления, в менее явной форме встречающиеся и в наши дни.

Впрочем, речь идет не только о позиции бюрократии, но и о современных проявлениях той «мещанской цивилизации», о которой, как я указывал вначале, писал еще

<sup>1</sup> Там же, стр. 102—103.

Гернеи. Французский профессор Альфред Гроссер, бывший руководитель отделения ЮНЕСКО в ФРГ, ранее расписывавший успехи боннской политики, вынужден был констатировать в своей книге «Боннская демократия», что нажившиеся на экономическом «чуде», как он выразился, «преуспевающие немцы» относятся резко враждебно к интеллигенции. Он цитирует, в частности, статью немецкого журнала «Политише штуднен», автор которой заявил, что «одна из трудных проблем еще не освоенного развития — это отчужденное отношение к государству, политический космополитизм интеллигентов. Ни федеральной республике, ни руководящим группам общества не удалось получить признание со стороны интеллигенции». На том основании, что режим, расчищающий путь реваншизму, и возглавляющие его монополистические группы «неприемлемы» для критически мыслящей интеллигенции, западногерманский автор обвиняет ее в космополитизме и утверждает, будто «народная речь» окрестила интеллигенцию «подрывным элементом, лишенным корней». Эти рассуждения привели в смятение французского друга «боннской демократии», который с беспокойством и вполне справедливо указал, что подобные выражения и выпады против интеллигенции вовсе не принадлежат к народному словарю, а относятся к фашистско-националистическому жаргону. В ФРГ, пишет Альфред Гроссер, интеллигент должен «рассматривать свободу как возможность показать, что он всем доволен и со всем согласен». Но уверен ли французский профессор, что такое положение не может сложиться во Франции? Можно было бы показать, что и во Франции сформировалась прослойка, которой присущи признаки бюрократии двадцатого века.

Французский буржуазный автор, заметивший, что отношение боннских «преуспевающих немцев», то есть крупнокапиталистических кругов, к интеллигенции напоминает гитлеровские времена, не заметил многие другие аналогичные и опасные явления: открытый реваншизм, разжигание антикоммунизма, преследование лучшей части рабочего класса. А ведь во всех этих процессах и прежде всего в наступлении на рабочий класс движущей силой служит именно военно-бюрократический аппарат.

Было бы грубым упрощением, если бы мы стали отождествлять парламентарный строй с фашистской диктатурой. Но тем важнее подчеркнуть, что западногерманская монополистическая олигархия всемерно стремится к созданию реакционного режима. В открытом письме двухсот пятнадцати виднейших ученых ФРГ, опубликованном в апреле 1965 года, прямо говорится об угрозе установления диктатуры. Единичное правление Аденауэра само по себе было сплошным попранием парламентской демократии. Но важнее постоянно действующие факторы.

Западногерманский публицист Альфред Рапп, когда он был руководителем боннской редакции «Франкфуртер альгемайне цейтунг», издал книгу, посвященную перспективам внутриполитического развития ФРГ. Он показал, что боннский парламент, независимо от того, какие партии в нем верховодят, превратился в «представительство объединений», то есть монополий, хотя «конституция не упоминает об объединениях». Хорошо осведомленный боннский редактор разъяснял: «Без риска можно выругать министра. Но безопасно ли обвинить председателя объединения (то есть главу финансово-промышленной монополии.— Е. Г.) в бездарности? Целая организация выступит против наглеца. Можно заявить, что правительство не справляется с делом, приносит вред обществу. Но если сказать, что объединение (то есть монополия) приносит вред обществу, плохо работает, вы рискуете оказаться в осинном гнезде».

Почтительно описанная власти монополистической олигархии Рапп дополняет восхвалением государственной бюрократии. Крупнобуржуазный публицист утверждает, что, «какие бы смены государственных форм и революционные изменения ни происходили в германском обществе, кадровое чиновничество всегда оставалось живой немецкой традицией...».

Прославляя бюрократию, приверженец боннского режима осуждает интеллигенцию за ее склонность к критике: «Писатели, публицисты, а также журналисты, критически оценивающие состояние культурной, общественной, политической жизни, это они прежде всего именуют себя и чувствуют себя интеллигентами. А интеллигент неразлучен с критикой». Надо учитывать, что Рапп имеет в виду не коммунистическую интеллигенцию — ее просто сажают в тюрьмы,— он говорит даже не о левой социал-демо-

кратической интеллигенции, он направляет свои упреки по адресу буржуазных «нон-конформистов», то есть вообще против мыслящих и критически высказывающихся ученых, писателей, журналистов.

Небезынтересно, что и в «тоталитарной системе американского бизнеса» (я повторяю выражение генерала Буда) наблюдается тупая вражда к интеллигенции, хотя среди менеджеров встречается немало образованных людей. Уже цитированный выше американский исследователь Бейзлон пишет: «Не случайно идеология бизнеса, последовательно опирающаяся на воинствующую посредственность, характеризуется глубоким и даже яростным антиинтеллектуализмом»... «Смесь страха, ненависти и презрения — таково отношение многих бизнесменов к образованным экспертам разного рода — к тем самым, которых они часто используют, и это отношение проистекает от многих причин. Администраторы фирм подозревают, что интеллигентные эксперты знают то, что им не следует знать. К тому же администратору предприятия не всегда ясно, что, собственно, он сам знает. Ведь вся его премудрость имеет чисто практический и не систематизированный характер».

Вражда мракобесов к интеллигенции сплошь да рядом перерастает в травлю. Общеизвестно, что «охота за ведьмами» в США тесно связана с преследованием интеллигенции. «Нью-Йорк таймс» писала еще в 1954 году: «Слово «благонадежность»... прикрывает... грубую политическую кампанию, направленную к устранению из государственного аппарата людей с высокими интеллектуальными и моральными качествами».

Вспоминается мистер Твайвт из «Треста Д. Е.», книги, написанной И. Эренбургом более сорока лет назад; мистер Твайвт решил уничтожить Европу, когда ознакомился с ведомостью, в которой среди «абсолютно ни на что не годных людей», живущих в Европе, были названы «поэты, художники, литераторы, артисты и прочие тунеядцы».

Даже на основании фактов, приведенных в этой статье, можно было бы наряду с «законом Паркинсона», согласно которому бюрократия стремится расширить сферу своего влияния, сформулировать другую закономерность: бюрократизм, будучи явлением антиобщественным, неразрывно связан с преследованием интеллигенции, мыслящей части общества. Наблюдаются и точки соприкосновения между враждой бюрократии к науке, к интеллигенции и враждой к интеллигенции отсталых слоев населения или деклассированных слоев. Элементарное невежество — простая неосведомленность о достижениях культуры и эмоциональная тупость, невежество, интеллектуальная ограниченность бюрократа-демагога — родственные явления и могут иметь сходные последствия в общественной жизни. Именно в такой социально-психологической атмосфере действовала гитлеровская «бюрократия убийц».

## БЮРОКРАТИЧЕСКИЙ «АНТИМИР» И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРОГРЕСС

Всякому здравомыслящему человеку ясно, что бюрократия — препятствие для общественного прогресса. Нет надобности писать статьи для обоснования этой мысли. Но, обрисовав специфические черты бюрократии двадцатого века, необходимо сказать хотя бы несколько слов о ее особой роли в эпоху перехода от капитализма к социализму.

Идейный мир бюрократии противостоит как «антимир» идейному миру социализма. Все понятия общественной жизни фигурируют в этих двух мирах под противоположными знаками. Бюрократия опирается на слепое подчинение авторитету, а социализм немислим без широкой демократии и сознательного активного отношения людей к действительности. Бюрократизм враждебен науке, а социализм с ней органически связан. Для бюрократа интеллигенция — понятие отрицательное, а социалистическая идеология видит в ней положительную творческую силу. Военно-бюрократическая каста видит в войне источник обогащения и укрепления своей власти — социализм стремится обеспечить для народных масс мирную жизнь.

Будучи антиподом социализма, бюрократия двадцатого века становится важнейшей опорой господства монополий. Не случайно уже упомянутый выше боннский пуб-



лицист Рапп доказывал в своей книге, что уничтожение бюрократии было бы «революцией, по сравнению с которой крушение монархии показалось бы только незначительным эпизодом». Иными словами, идеологи капитализма видят в свержении власти современной бюрократии не политическую, а социальную революцию.

С другой стороны, демократические общественные силы видят в бюрократии государственно-монополистического капитала своего важнейшего противника. Рабочие организации, профсоюзы и коммунистические партии в своей повседневной борьбе за ближайшие и дальние цели все чаще сталкиваются лицом к лицу именно с бюрократией монополий.

Непосредственно на предприятиях рабочие сплошь да рядом имеют дело не с единственным предпринимателем, а с аппаратом, действующим по поручению финансовой олигархии. Самые завоевания рабочего класса ведут к тому, что его представители все чаще, например, при заключении долгосрочных коллективных договоров, поднимают вопросы, касающиеся целых отраслей промышленности. Защищая свои требования, они сталкиваются с бюрократической верхушкой монополий. Добиваясь того, чтобы коренные технологические усовершенствования проводились с учетом интересов рабочих и по возможности под контролем профсоюзов, рабочие партии и организации должны суметь преодолеть сопротивление той самой предпринимательской бюрократии, сущность которой была охарактеризована в этих социологических заметках. Коммунистические партии, в особенности в Италии и Франции, борются за то, чтобы вопросы технологической революции, автоматизации решались не келейно правительственной бюрократией, в кабинетах финансовых заправил и крупнокапиталистических менеджеров, а при участии общественных и демократических организаций, охватывающих не только представителей рабочих, но и представителей всех демократических слоев населения. Наконец важнейшей задачей антимонополистических сил становится борьба за то, чтобы экономическое планирование не было монополией замкнутой бюрократической касты.

Именно по мере углубления и расширения научно-технического переворота в высокоразвитых капиталистических странах становится ощутительнее отрицательное влияние государственной бюрократии. Это ощущают даже те круги, которые сумели поставить на службу своим интересам современные научно-технические достижения. Приведу в качестве иллюстрации отрывок из речи, произнесенной на конференции руководителей монополистических корпораций в Гарварде профессором Гарвардского университета Джемсом Брайтом. Открывая обсуждение вопросов планирования «на уровне корпораций», он, в частности, сказал:

«После второй мировой войны правительство и в условиях экономики мирного времени стало самым крупным и порой единственным покупателем. Этот покупатель желает получать изделия невероятной сложности, все более совершенные и новейшие. Обычно требования о самом выполнении заказа решительно преобладают над соображениями стоимости... По мере увеличения роли правительства в нашей экономике политические решения становятся в ряде инстанций самым важным фактором, определяющим, следует ли продолжать идти по линии технологического прогресса или надо его тормозить либо заменить технологической деятельностью другого рода».

В вышедшей в 1964 году книге известного американского журналиста Джека Раймонда «Власть в руках Пентагона» нарисована картина всеобъемлющего бюрократического контроля Пентагона над промышленной деятельностью в США. По словам Раймонда, многие фирмы вынуждены распространить бюрократически преподанный режим не только на военные заказы, но и на все предприятие. По расчетам Раймонда, исключительному режиму, навязанному Пентагоном, подчинено более восьми миллионов рабочих и служащих.

Далеко не всегда речь идет только об экономических и материальных интересах. События наших дней свидетельствуют о том, какую огромную опасность для благополучия народов представляют произвольные и бесконтрольные действия именно-бюрократической верхушки финансового капитала. Агрессия американского империализма в Юго-Восточной Азии была бы попросту немислима, если бы военно-бюрократическая каста, или, используя распространенное выражение, военно-промышленный комплекс

американских монополий, не получила бы возможности действовать бесконтрольно и вопреки ясно выраженной воле американских избирателей. Авантюристическая внешняя политика боинского государства сейчас определяется в первую очередь военно-бюрократической реваншистской кастой. Лейбористское правительство в Англии попало в зависимость от нажима и шантажа английской и американской финансовой олигархии и подчиненной ей государственной и предпринимательской бюрократии. В этой связи английский журнал «Нью стейтсмен» прямо обвинил английские финансовые круги в антинагиотических действиях, наносящих вред английскому обществу.

В современном буржуазном обществе дело общественного прогресса тесно связано с борьбой против бюрократии двадцатого века, со свойственными ей, как всякой бюрократии, кастовыми чертами и с присущими ей специфическими чертами бюрократии финансового капитала.

Если современная бюрократия противостоит как «антимир» общественному прогрессу, то, естественно, и в условиях послекапиталистического развития бюрократизм — чрезвычайно опасное зло. Освещение этой важной темы, естественно, выходит за рамки социологических заметок о современном буржуазном обществе.



---

ФЕЛИКС НОВИКОВ

★

## ВОЗРОЖДЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ

Врач может похоронить свои ошибки,  
но архитектор может только посоветовать  
заказчику посадить вьющиеся растения.

*Франк Ллойд Райт.*

**Г**оворят, «Москва не сразу строилась». Старая эта поговорка, по-видимому, не утратит своего смысла и в будущем, однако же огромные районы новой Москвы застраиваются в наши дни именно сразу и такими будут служить нам, такими и предстанут через столетия нашим потомкам. Именно «сразу». И не только в Москве — в любом городе страны на наших глазах возникают массивы жилых кварталов. Это действует мощная строительная индустрия, в корне изменившая наше представление о самом процессе строительства. Современный дом мы сделали предметом конвейерного промышленного производства и уже привыкли к тому, что башенные краны поднимают на монтажные площадки стеновые панели с остекленными оконными переплетами и здания растут буквально день ото дня. Теперь уже никого не удивляет, что за год или за два появляются новые проспекты и целые жилые районы. И потому, что мы строим так много и так быстро, нам совершенно необходимо всесторонне анализировать сделанное — ведь каждая ошибка в условиях массового строительства множится и повторяется повсюду. Не случайно же мы все чаще слышим голоса неудовлетворенности. И сами архитекторы, непосредственно участвующие в созидательном процессе, и не-архитекторы, воспринимающие только внешние его результаты, критически оценивают опыт градостроительства последних лет.

Архитектор, создающий современный город, решает комплекс сложнейших проблем: он определяет зоны промышленных и жилых территорий и транспортные связи между ними, компокует генеральный план застройки и выбирает типы стандартных домов. Он должен рассчитать сеть учреждений, обслуживающих население, и запроектировать благоустройство. Вопросов множество, и решение любого из них непосредственно сказывается на жизни людей. Но даже если все сделано разумно и целесообразно, этого еще мало. При всем том город должен быть еще и красивым.

В последнее время стало очевидным, что и красота города тоже совершенно необходима людям. Особенно очевидно потому, что художественная ценность новой застройки нередко оказывается невысокой, потому что в наших городах появилось немало однообразных, невыразительных, а подчас и небрежно выполненных сооружений. А это, к сожалению, уже не поддается решительному исправлению.

В самом деле, как бы густо ни разрослись деревья, как бы ни были изысканны малые архитектурные формы, разве они восполнят отсутствие пространственного композиционного замысла, пластических качеств архитектуры, силуэта застройки?

Как ни досадно, но во многих случаях эстетические достоинства того, что мы строим, не соответствуют затраченным человеческим усилиям и не оправдывают расходы миллионов тонн ценных материалов.

Посмотрите, как застраиваются Саратов и Новосибирск, Владимир и Горький, и вы увидите, что похожие друг на друга дома образуют похожие друг на друга кварталы и микрорайоны и уже сами города становятся похожими друг на друга. Индивидуальный облик городов постепенно растворяется в массе одинаковых корпусов.

Однообразие стало характерной чертой строительства последнего десятилетия. Это отрицать невозможно — такое однообразие проявляется в той или иной степени решительно по всей стране. Важно другое — чем объясняется это явление? Повинны ли в нем архитекторы или, быть может, таково неизбежное следствие индустриализации?

Как вообще сложилось противоречие между современными методами строительства и эстетической неполноценностью его результатов? Можно ли устранить причины подобного противоречия?

## 1

Прежде чем попытаться ответить на эти, как мне кажется, самые актуальные для нашей архитектуры вопросы, обратимся к ее недавнему прошлому и сопоставим то, что сооружается сегодня, с тем, что строилось всего семь—десять лет назад. Контраст поразительный! Как же могло случиться, что архитектура, в которой направления и стили формируются веками, преобразилась столь решительно и в столь короткий отрезок времени?

Вспомните, ведь это строилось совсем недавно — высотные здания, роскошные станции метро, помпезные колоннады санаториев и вокзалов. Архитекторы воздвигали величественные дворцы, отделанные мрамором, гранитом, бронзой. Одни вдохновлялись образцами классицизма, другие были приверженцами итальянского ренессанса, третьи искали источник вдохновения в памятниках нарышкинского барокко. Работали искренне и увлеченно, с глубокой верой в то, что это и есть архитектура социалистического реализма, полагая, что создание подобных сооружений и есть призвание архитектора.

Направление, развивавшееся под лозунгом «освоения классического наследия», господствовало безраздельно. Оно опиралось на архитектурную науку и поощрялось премиями.

А вот как, например, оценивались проекты тогда: «Особенностью архитектуры здания являются спаренные эркеры, объединенные несколькими ярусами колонн, представляющие собой крупные, пластические богатые выступы. Такое лаконичное (!) решение фасада весьма удачно». И это о жилом доме!

Минареты Ташкентского театра, кокошники гостиницы «Ленинградская» и лепные своды станции метро «Комсомольская» почитались образцами архитектуры социалистической по содержанию, национальной по форме. Все казалось правильным и не подлежащим сомнению.

Критика архитектуры — резкая и обоснованная — обрушилась на архитекторов, как гром среди ясного неба. «Классическое» направление было развенчано беспощадно. Тем самым по сути дела перечеркивался двадцатилетний опыт нашей архитектуры.

Критика опиралась на конкретные факты и цифры, базировалась на веских экономических доводах и доказывала, что архитекторы, увлекаясь внешне показной стороной архитектуры, занимаются главным образом украшением фасадов зданий.

А между тем далеко не все было сказано и осознано до конца.

Осталась нераскрытой истинная природа возникновения «классической» школы в нашей архитектуре. Вся тяжесть грехопадения легла на плечи архитекторов. Сложилось такое впечатление, что колоннады и портики воздвигались во имя тщеславных интересов автора, во имя создания «памятников себе». Зодчий тем самым стал как бы тормозом прогресса в строительстве и в решении жилищной проблемы. Слова «архитектор» и «расточитель» звучали как синонимы.

А мы, архитекторы, искали свое объяснение происшедшего, пытались уяснить причины столь глубоких творческих заблуждений. Вспоминали двадцатые годы, когда советская архитектура была в авангарде мировой архитектурной мысли. В ту пору работы братьев Весниных, Гинзбурга, Леонидова, группы молодых создателей харьковского Госпрома и других были воплощением передовых архитектурных идей. Нам казалось, что, столкнувшись с ограниченными возможностями строительного

производства, мы просто вынуждены были обратиться к подражанию классике, так как именно «классические формы» соответствовали кустарному уровню строительства. И любопытно: позднее подобное объяснение встретилось у французского искусствоведа Мишеля Рагона. В книге «О современной архитектуре», изданной в Париже в 1958 году, он пишет: «Резкая реакция Советской России против архитектуры XX века частично была следствием разочарования. После революции многие современные сооружения были построены поспешно, не хватало соответствующих материалов, не было специалистов, квалифицированной рабочей силы. Неприглядный вид этих сооружений привел вскоре революционный народ к традиционализму и академизму».

Такова была профессиональная версия. Она выглядела убедительной и в какой-то мере оправдывала архитекторов в их собственных глазах.

Как бы то ни было — строить необходимо. Строить по-новому, на ходу осмысливая и исправляя ошибки. В творческих мастерских бились над снижением стоимости строительства. Заседали комиссии. Они уменьшали выносы карнизов, упрощали рисунки лентных капителей. Но существо архитектуры оставалось прежним. И это вовсе не было следствием инерции мысли. Ведь только после XX съезда партии стали понятными истинные корни «классического» направления в архитектурном творчестве. Так уж случилось, что архитектура стала предметом критики прежде, чем другие, более значительные явления жизни, которые ее породили.

Только после XX съезда партии в умах архитекторов постепенно складывалась правильная оценка пройденного творческого этапа. Постепенно в новых сооружениях и районах застройки стали проявляться новые градостроительные принципы, начала формироваться новая архитектура. Вновь осмысливались задачи творчества, определялись новые пути в работе зодчего. Современная архитектура возникала как выражение духа времени, широкой демократизации всей жизни нашей страны.

Однако этот процесс обновления был полон противоречий и трудностей. И не только потому, что трудными были задачи. Критика деятельности зодчих, высказанная вне связи с решениями XX съезда, форма этой критики поставили архитектурный цех в сложные условия. Многочисленные «волевые» решения и организационные выводы, последовавшие за этой критикой, привели к новым ошибкам, получившим широкое распространение в силу размаха и темпов строительных работ. Последствия этих решений и выводов по сей день мешают работе архитекторов, успешному развитию нашей архитектуры.

## 2

Если архитектор строит жилище, выполняя заказ частного лица, он может учесть любые его пожелания, вкусы и склонности каждого члена его семьи. Но разве мыслимо на такой же основе решить жилищную проблему в масштабе огромной страны? Кто сегодня усомнится в том, что без индустриализации строительства, без стандарта просто невозможно было бы возвести столько сооружений, сколько их было возведено за семилетие? Несомненно и то, что без индустриализации не удастся обойтись и в будущем. Очевидно и то, что стандартизация необходима, и мы все к ней давно привыкли. Мы пользуемся стандартной мебелью, стандартными телевизорами и холодильниками, с комфортом передвигаемся в стандартных автомобилях. Стандарт — основа материального изобилия.

Поэтому-то массовое жилищное строительство ведется на базе типовых квартир, из которых формируется стандартный дом — исходная единица современного градостроительства.

А это означает, что архитектор, разрабатывающий проект квартала, микрорайона, города оперирует определенными типами домов. Архитектурные качества этих зданий, их объем и пластика фасадов, высота и протяженность, контрасты между зданиями различной этажности и длины определяют композиционные возможности градостроителя и самый облик городов. Значит, именно однообразие самих стандартных домов служит первопричиной однообразия застройки.

Попытаемся разобраться в том, как делаются эти дома и почему они таковы.

Создание стандартного дома разделяется на два этапа. Первый — изготовление в заводских условиях элементов и конструкций здания, и само собой разумеется, что массовое производство требует минимального числа этих элементов и конструкций. Второй этап — монтаж здания на строительной площадке, и здесь принципиально важным становится другое: сколько вариантов зданий с различной планировкой квартир, различных по этажности и объему, можно выполнить из данного числа элементов. И, естественно, чем их больше — тем лучше, — ведь тогда можно строить квартиры, которые будут соответствовать численному составу семей, нуждающихся в жилье, и в то же время создавать интересное, разнообразное композиционное решение квартала и микрорайона.

Иными словами, в основе методологии строительства стандартных домов должна лежать серия конструктивных элементов, число которых ограничено, а возможности монтажа в различных вариантах максимальны. Ведь даже ребенок ценит «конструктор» в зависимости от того, сколько моделей он может из него собрать.

Надо сказать, сама по себе типизация вовсе не была для нас делом новым. Послевоенное восстановительное строительство велось в основном на базе типовых проектов жилых домов. Разумеется, им были присущи все аксессуары псевдоклассики, но проекты эти представляли собой серии различных зданий, строящихся на принципе единой модульной системы и на одних и тех же конструктивных элементах. И каждая серия сопровождалась рисунками и схемами, показывающими многочисленные возможные варианты компоновки застройки в самых разных градостроительных ситуациях.

Однако теперь методология типового проектирования практически сложилась совсем иначе. За единицу типизации был принят дом. Для каждого типа дома разрабатывался свой автономный комплект деталей. При этом основой проекта стандартного дома становится конструктивная система (кирпичные стены, блоки, каркас, панели и т. д.), которая служит средством для достижения определенных планировочных решений, определенной структуры здания и его художественной выразительности, но никак не является целью его строительства.

В результате такой методологии мы получили множество типов стандартных домов с одинаковыми квартирами, похожих друг на друга, как близнецы, но зато основанных на различных конструкциях, причем каждый элемент применим только в данном доме, а взаимозаменяемость практически исключена. И потому строительная промышленность Москвы выпускает ныне более трех с половиной тысяч различных деталей. Множество вариантов лестничных маршей и площадок, колонн и элементов перекрытий. И все это для десятка типов домов, одинаковых в своей архитектурно-планировочной основе и, в сущности, одинаково безликих.

Приняв такую методологию, мы стали ее рабами. Налаженное производство домов остановить невозможно. Это значило бы поставить под угрозу срыва выполнение плана строительства. И вот из таких домов архитектор должен создавать пространственные композиции новых жилых районов. Задача крайне неблагоприятная!

Однообразие застройки, ведущейся на такой основе, стало очевидным уже в первые годы строительства по типовым проектам. Но принятая методология была следствием «волевого» решения и она не подлежала пересмотру.

Еще на III съезде архитекторов многочисленные ораторы высказывались за расширение градостроительной палитры архитектора, за разнообразие типов домов. Их объема и этажности: города практически застраивались лишь двумя-тремя типами домов — одинаковыми по своему внешнему виду и внутренней планировке, одинаковыми для севера и юга, запада и востока страны.

Подводя итоги обсуждения, один из руководителей строительного фронта категорически не согласился с этой претензией архитекторов. Весь вопрос, по его мнению, упирался в профессиональное мастерство. «Обходятся же писатели всего тридцатью двумя буквами, — шутливо заявил он в заключение своей речи. — И хватило их Толстому для «Войны и мира». А у композиторов — у тех и вовсе семь ног, а пишут что? Симфонии!»

Между тем на заседаниях градостроительных советов нередко появлялись мастерски нарисованные, привлекательные перспективы и выполненные в условной манере

заманчивые макеты застройки. Их рассматривали и утверждали. На страницах газет иногда появлялись любопытные рисунки, снабженные многообещающими аннотациями. А в натуре? В натуре выростали все те же одноликие корпуса, выстраивавшиеся строчкой или торцами вдоль красных линий проездов. Почему происходила эта метаморфоза? Это может рассказать любой автор. Рассказы их будут так же однообразны, как и сама застройка.

Прежде чем приступить к реализации проекта, собираются строители, представители промышленности и работники Горплана — все заинтересованные организации. Приглашают автора. И, рассмотрев проект, устанавливают, что он нереален. Что дома типа «х» промышленность пока не выпускает и потому их следует заменить типом «у». Что многоэтажные дома неэкономичны и потому вместо них автор должен поставить только пятиэтажные. Перетрясут весь проект и здесь же, без чертежей и макетов, прямо за зеленым сукном обсчитают сумму жилой площади и решат — быть по сему. Вы спросите: «А как же композиции?» У нас уже утвердился новый термин — «размещение жилищного строительства», и архитекторы «размещают», и не только жилье, но и кинотеатры, универмаги, плавательные бассейны. Ведь крупные общественные здания тоже строятся по типовым проектам. Однако разумно ли это? Так ли уж нам необходима глобальная типизация? Не слишком ли мы ею увлекаемся?

Общественные здания всегда занимают наиболее выигрышное положение в застройке. Градостроитель с особым вниманием выбирает для них место, ставя по оси проспекта или в курдонере, в окружении зелени. Для них отводят самые возвышенные площадки, заботятся о том, чтобы они хорошо просматривались, привлекали бы к себе внимание, служили украшением города. Общественному сооружению архитектор всегда стремится придать индивидуальный облик, определенный местом, которое оно занимает, окружением, в котором находится. Однако и такие здания, как правило, строятся по типовым проектам. В планах типового проектирования фигурируют объекты, которые строятся один раз в десятилетие — разве не очевидно, что такой проект устареет прежде, чем будет применен вторично?

Много ли мы строим ресторанов, рассчитанных на тысячу посадочных мест? Но такой типовой проект существует. Зачем он? Такое здание может быть расположено и на городской площади, и в парке, на берегу водоема. И в любом случае композиционное решение должно отвечать условиям места. Здесь стандарт не оправдан.

А разве необходимо, чтобы все московские кинотеатры были одинаковы? Неужели строительная индустрия пострадает, если в каждом случае архитектор, пользуясь стандартными деталями, скомпонует здание по-своему и, учитывая специфические градостроительные требования, проявит свое мастерство, талант и вкус, свое отношение к творческой задаче? А вот если отказаться от такой возможности, город пострадает безусловно.

Мы приступаем сейчас к сооружению крупных высотных административных зданий, и вновь возникают предложения строить их по одному проекту. Типизация и стандартизация строительства, бесспорно, необходимы, но ведь есть же пределы повторяемости в архитектуре, есть разумные границы типизации, за которыми она утрачивает смысл, вступает в противоречие с элементарными принципами градостроительства.

Широкая стандартизация различных типов зданий проводилась у нас весьма настойчиво, в условиях самого строгого соблюдения типовых проектов во всех деталях.

Этот принцип вполне понятен, если иметь в виду, что всякое изменение отражается на заводском конвейере. На первый взгляд все выглядит именно так. Однако архитектор, занимающийся конкретной «привязкой» дома к условиям местности, знакомясь с производством элементов здания, нередко убеждается в том, что дело обстоит иначе. Именно знакомство с технологией заводского изготовления пробуждало у архитектора творческую мысль. Глубокая авторская заинтересованность в результате своего труда подсказывала ему решение, которое без ущерба для предприятия, простыми средствами позволяло улучшить проект, планировку квартиры или рисунок ограждения балкона. Но в этом случае «беспокойный», творчески мыслящий человек сталкивался с непреодолимым сопротивлением. Типовое не подлежит ни малейшему изменению. Даже если предлагается заведомо лучшее и здание будет удобнее, привлекательнее —

все равно не подлежит. «Железная» дисциплина в применении типовых проектов сплошь и рядом вступала в противоречие со здравым смыслом, с тем, во имя чего она провозглашалась — с интересами людей, для которых ведется строительство. И лишь в редких случаях, ценой огромных усилий, архитектор добивался своей цели.

Находились архитекторы-энтузиасты. Они на свой страх и риск меняли типовые проекты, как-то убеждали строителей выполнить по их эскизу те или иные детали, и тогда на фоне однообразной застройки возникали дома, отличавшиеся от унылого стандарта. Всего одну железобетонную плиту перекрытия ввел архитектор дополнительно к типовому проекту, и на Ломоносовском проспекте появились дома с треугольными эркерами, с индивидуальной черточкой в облике.

Архитекторы стремились хоть в чем-то, пусть даже в малом, внести в здание элементы художественной формы — вход, балкон, лоджию. Нередко переделка типового проекта — недозволенное самоуправство — стоила автору административного взыскания, однако тот, кто сознательно отваживался на это наказуемое деяние, по сути дела способствовал украшению города.

Относительно просто изменить архитектуру кирпичного дома, несравненно труднее — полносборного. В этом случае творческие предложения, направленные на улучшение планировки или облика здания, встречают наибольшее сопротивление.

Налаженное производство того или иного элемента, естественно, становится преградой на пути к новому. Ведь в самом существе всякой стандартизации, и в частности стандартизации строительства, заложено неизбежное противоречие. Пущенный конвейер, отработанная технология по истечении какого-то времени становятся тормозом прогресса.

Рождаются новые мысли, новые решения — они закономерно будут лучше решений вчерашних. Тем более необходима гибкая организация производства, способная в разумных пределах идти навстречу творческой мысли, откликаться на все новое, что может быть реализовано в рамках данной технологии. Только при этом условии созданный нами промышленность можно поставить на службу архитектуре.

А пока положение обратное: машины управляют архитектором и диктуют ему решения. Средство явно господствует над целью. Архитектор уподобился всаднику, потерявшему поводья. Не потому ли некоторые типы полносборных зданий выглядят настолько примитивно, как если бы архитектор и вовсе не принимал участия в их создании?

Однако есть и другие проблемы, которые ставит полносборное домостроение. Прежде всего оно требует принципиально нового отношения к выполнению проекта в натуре. Напомним, что процесс типизации происходил у нас крайне поспешно. И понятно почему. Ведь от этого зависело выполнение государственных планов строительства. В таких условиях возможны непродуманные решения, и в известных пределах они были даже оправданы. И все же их могло бы быть меньше, если бы индустриализация строительства в должной мере сочеталась с необходимым в условиях массового производства экспериментом.

Мы давно привыкли к тому, что всякая новая модель автомобиля тщательно отработывается прежде, чем пускается в серию. Новая модель не просто строится в одном экземпляре — она проходит всесторонние государственные испытания и только после успешного их завершения ставится на конвейер. Все качества машины и каждого ее узла проверяются многократно. И никакому руководителю не придет в голову дать «добро» на массовое производство новой модели на основе внешнего ее осмотра. Срок службы автомобиля восемь — десять лет. Современные дома должны служить человеку столетия. И тем не менее случалось, что судьба дома решалась именно так: взгляд на фасад, осмотр двух-трех квартир — и одобрение. Без испытаний «огнем и водой», жарой и стужей. И вот строятся заводы, выпускаются массовым тиражом дома и монтируются в сотнях экземпляров. И только после заселения выясняются отрицательные качества, недостатки и недоработки конструкций и узлов. Неожиданно обнаруживаются протечки в швах, неудовлетворительная звукоизоляция. Таким образом, предметом эксперимента становятся не дома, а живые люди. Тогда на ходу дорабатываются конструкции, меняется не амортизировавшаяся еще оснастка, заделываются герметиком



стыки панелей, словом, ремонтируются в массовом масштабе только что возведенные сооружения, реконструируются совершенно новые заводы. Это стоит немалых денег. «Экономичный» на первый взгляд дом требует все новых и новых затрат.

Вывод напрашивается сам собой: в основе массового строительства должен лежать всесторонний, тщательно запланированный эксперимент. Не образцовое, не показательное строительство, а именно экспериментальное, проводимое по всем правилам науки.

И сегодня в этом направлении уже ведется большая работа. Идет подготовка к строительству крупного экспериментального жилого комплекса на Юго-Западе Москвы, в районе Тропарева. Здесь пройдут проверку новые планировочные решения квартир, новые типы жилых домов и зданий общественного назначения.

Между тем множество проблем, которые возникают в условиях массового строительства стандартных домов, еще нуждается во всестороннем обсуждении. Некоторые архитекторы, не удовлетворенные эстетическим обликом таких домов, видят выход в использовании различных вариантов балконов и крылец, полагая, что это придаст застройке достаточное разнообразие.

Другие предлагают перейти к строительству жилищ из типовых деталей. Но это, мне кажется, было бы шагом назад. Мы должны совершенствовать более прогрессивную форму производства — домостроительные комбинаты. Очень важно найти правильную организационную основу для совместной работы комбинатов и проектантов, для постоянного творческого контакта между ними. Так, например, в домостроительных комбинатах Вильнюса были учреждены должности главных архитекторов, и это дало определенные положительные результаты. Важно понять: задачи, стоящие сегодня перед архитекторами и строителями, в корне отличны от тех, которые мы решали в недавнем прошлом. Загодское, серийное изготовление стандартных зданий, массовая застройка городов, ведущаяся на этой основе, требуют совершенно иной организации, поиска новых форм совместной работы архитекторов и строительной промышленности. Возможно, образцом организационной структуры могла бы послужить та, что принята в самолетостроении. По аналогии можно было бы создать творческие объединения во главе с генеральным архитектором, у которого имелась бы проектная мастерская, опытный полигон для эксперимента в натуре и наконец домостроительный комбинат для серийного производства и монтажа домов. Именно здесь отработывалась бы новая методология производства стандартных зданий.

Стандартные дома, созданные такими творческими объединениями, будут выражать творческую мысль различных коллективов архитекторов и конструкторов. Пусть это будут дома АНы, ИЛы, ТУ, отличающиеся по планировочным и объемным решениям и по своему художественному облику.

Такая организация, обеспечивающая непосредственную и постоянную связь между проектантом и производством, устраним многочисленные препятствия, мешающие реализации прогрессивных творческих предложений, и в большой мере будет способствовать улучшению качества и архитектурных проектов, и самих домов. К тому же важно подчеркнуть, что такая организационная структура подразумевает единство процесса проектирования, эксперимента, производства и монтажа домов и, на мой взгляд, в наибольшей степени отвечает современным задачам и уровню индустриализации строительства. По этому же принципу можно было бы вести проектирование и строительство школ и детских учреждений — всех типов стандартных зданий, подлежащих массовому серийному производству.

Я представляю себе, что архитектор-градостроитель выступал бы в этом случае в качестве заказчика — выбирал бы нужные ему типы зданий. Несомненно, что тогда у него появились бы куда большие возможности для создания разнообразной и художественно выразительной застройки жилых районов и городов.

Все это, понятно, относится к стандартному домостроению.

Другое дело крупные общественные сооружения — их, на мой взгляд, следовало бы строить по индивидуальным проектам. Наряду со сборными конструкциями здесь применимы и индивидуальные, изготовленные в условиях строительной площадки, в том числе из монолитного железобетона. В отдельных случаях мы и сейчас строим

уникальные здания подобным образом, и это всегда оправдывает себя: как правило, они действительно украшают города. Но число таких сооружений крайне ограничено.

Сфера индивидуального проектирования должна быть расширена. От этого во многом зависит будущее нашей архитектуры.

### 3

Архитектура стоит немалых денег, и, как ни досадно, плохая тоже. Ведь архитектор творит в сфере материального производства, и потому каждая ошибка, ложный композиционный прием, просчет в проекте — это выброшенные на ветер деньги, неразумно израсходованные материалы, непроизводительный труд людей. И, кроме того, — неудобства, испытываемые теми, кто живет в здании или работает в нем. Значит, каждое свое решение архитектор должен всесторонне продумать и обосновать, и не только функционально, композиционно и технически, но — что очень важно — экономически. Вопросам экономики строительства мы в последние годы уделяем особое внимание, и это, естественно, приносит значительную выгоду государству. При тех же затратах стало возможно строить больше промышленных предприятий, больше жилищ. В масштабах страны снижение стоимости строительства даже на какую-то долю процента дает огромный экономический эффект.

Однако далеко не всегда вопросы экономики строительства ставятся и решаются правильно. Во многих случаях мы подходим к этой проблеме с конъюнктурных позиций и в погоне за малой экономией, за «сиюминутным» рублем жертвуем тем, что многократно окупится завтра.

Только во имя такой экономии были созданы проекты кинотеатров с сокращенной площадью фойе. Расчет прост: уменьшится кубатура здания — уменьшится и стоимость. Площадь фойе сведена до минимума, зрители перед началом сеансов накапливаются непосредственно в зале. (Такого типа кинотеатры широко распространены на Западе, но только там впуск зрителей в зал осуществляется непрерывно во время сеанса.) Уже построено немало таких зданий, и, казалось бы, немало сэкономлено государственных средств. А каков результат подобной «экономии»? Из-за отсутствия фойе администрация кинотеатров вынуждена увеличить перерывы между сеансами и, следовательно, сократить число самих сеансов. Стало быть, сокращаются ежедневные доходы множества зрелищных предприятий — доходы того же государства. И вот для нового московского кинотеатра «Космос» уже заказан проект реконструкции — фойе будет расширено. Так приходится расплачиваться за необдуманную экономию.

Правда, экономические неспоспобы редко выступают в столь простой и очевидной форме. Гораздо чаще они скрыты разными условными показателями, осложняющими понимание истинной сути вещей. Нечто подобное и происходит в экономике жилищного строительства. Здесь таким показателем служит стоимость одного квадратного метра жилой площади.

Что это означает и какие влечет за собой последствия? Принято считать: чем дешевле стоимость метра, тем экономичнее проект. А раз так, архитектор вынужден «выжимать» максимум жилой площади и, следовательно, сводить к минимуму подсобную площадь квартиры. Тогда стоимость метра жилья будет относительно наименьшей, а экономические показатели будут выглядеть наилучшим образом. Стремясь к минимальной стоимости квадратного метра, мы закономерно пришли к широкому распространению квартир с сокращенными до предела кухнями и прихожими, с совмещенными санитарными узлами. И все-таки ничего тем самым не сэкономили. Решительно ничего, потому что теми же силами, за те же деньги и с теми же затратами материальных ресурсов можно было бы построить столько же квартир, но более удобных. Ведь на одной и той же общей площади квартиры и при одинаковой стоимости можно сделать различную планировку. Но квартира, в которой за счет площади комнат будет увеличена прихожая, разделены санитарные узлы и тем самым созданы большие удобства, при существующей системе оценки проектов будет считаться менее экономичной. Иными словами, из двух квартир, одинаковых по стоимости, худшая утверждается для

массового строительства на основе «экономических» соображений. Такова цена условностей!

Мы ставим перед собой задачу в самые ближайшие годы предоставить благоустроенную квартиру каждой семье. Но разве жизнь семьи, живущей в отдельной квартире, замыкается в рамках жилых комнат? Удобная кухня и каждый метр подсобной площади имеют не меньшее значение, чем пресловутая жилая площадь. Именно разумное соотношение жилой и подсобной площади и есть то главное условие, которое определяет комфортабельность квартиры. Однако противоречия между устаревшими экономическими категориями и требованиями жизни мешают решительному улучшению планировки жилища.

Да и планирование строительства жилья в метрах — также анахронизм, оно осталось у нас со времени покомнатного расселения и коммунальных квартир.

Статистика, как известно, не самоцель, а средство для научного ведения народного хозяйства. И чем точнее в статистических показателях выражена цель производства, тем лучше служит статистика этой цели. Совершенно очевидно, потребность населения в жилище носит вполне конкретный характер. В каждом городе и населенном пункте страны ведется учет семей, нуждающихся в жилье, и изучение этих потребностей должно бы служить основой для составления государственных планов жилищного строительства для каждого города и для всей страны в целом. Вот почему было бы целесообразным предопределять объем строительства не в метрах, а в количестве квартир, и не квартир вообще, а в зависимости от числа и состава семей, нуждающихся в жилье. При этом экономическим критерием оценки проектов должна служить стоимость квартиры в целом. Такая система планирования способствовала бы скорейшему решению жилищной проблемы, а архитекторы могли бы предложить населению более комфортабельные квартиры.

С экономическими проблемами архитектор сталкивается в самых различных сферах своей деятельности. И, в частности, в тех случаях, когда он выбирает материалы для воплощения своего замысла. Каждому материалу присущи те или иные физические свойства и декоративные качества. Они-то и определяют область его применения. Достоинства гранита известны. Полированная или кованая поверхность естественного камня, обладающего богатой палитрой цвета, применялась в строительстве с древнейших времен. Гранитные полы, ступени, цоколи здания практически вечны. Наша страна располагает огромными запасами гранита и мрамора, неисчерпаемыми лесными богатствами. Тысячи лет строит человечество, используя естественные материалы. Но сегодня, выбирая материал, мы думаем не о прочности и не об эстетических его достоинствах — выбор определяется ценой. Гранит дорог — мы бойкотуем гранит. Бойкотуем мрамор и твердые породы дерева. Внимание архитекторов привлекает современный материал — алюминий, легкий и прочный, обладающий отличными эстетическими качествами. Но тонна алюминиевых конструкций, изготовленных для оконных переплетов и витрин, стоит дороже, чем тонна... телевизоров. Так парадоксально складываются цены.

Архитекторы ныне обращаются и к искусственным материалам. Химия дала нам новые возможности. Полы и стены, поручни и скобянка, санитарные приборы и многие другие изделия для строительства выполняются с применением полимеров. Но свойства их изучены еще недостаточно. Эти материалы весьма перспективны, но область их применения также ограничена: они не оправдывают себя в отделке зданий, в которых скапливаются большие массы людей. Только год пролежал пластик на полу вестибюля московской гостиницы «Варшава» и был заменен мрамором. Немногим дольше продержался релин в зале игр Дворца пионеров, его пришлось заменить паркетом. Быстро разрушаются бетонные ступени и штукатурные цоколи. Их ремонтируют ежегодно. Правда, такие расходы не столь явны, сколь высокая стоимость строительства. Деньги, отпускаясь на ремонт, проходят уже по другим, новым сметам, для этих последующих затрат изыскивают иные источники финансирования. Но в конечном счете у нас один источник средств — государство.

Видимо, куда разумнее было бы механизировать карьеры, модернизировать дере-

вообрабатывающие комбинаты, сделать граниты, мраморы и изделия из твердых пород дерева дешевле и строить прочно на многие годы.

Проблема этажности — тоже экономическая проблема. Пятиэтажный дом можно строить без лифта, а это дает прямую экономию. Вопрос был решен «волевым» образом и сразу для всей страны.

И вот пятиэтажными домами застраиваются кварталы и микрорайоны, городские территории разрастаются, прокладываются десятки километров коммуникаций и дорог, усложняется решение транспортных проблем. Все это стоит колоссальных денег. И если рассчитать действительную стоимость пятиэтажного дома в комплексе с инженерной подготовкой территории и благоустройством, с учетом дорожного строительства и организацией транспорта, то экономический эффект от пятиэтажной застройки будет совсем иным. Дело в том, что городская земля — ценный капитал, и потому в крупных центрах выгоднее строить относительно более дорогие девятиэтажные дома.

«Волевая» экономия проявлялась иногда и по-другому. Нередко в утверждающих инстанциях эксперты, руководствуясь инструкциями и распоряжениями, просто «срезали» стоимость сооружения. Проект утверждался с заведомо заниженной сметой. Открывалось финансирование, начиналось строительство, но завершить его было невозможно. Денег не хватало. Стройка консервировалась, и изыскивались дополнительные средства, не предусмотренные государственным бюджетом. А делалось это во имя экономии!

Мы беседуем с членом коллегии одного министерства. Речь идет о столовой крупного промышленного комплекса. Авторы настойчиво предлагают выполнить в столовой подвесной акустический потолок. В обеденном зале на семьсот человек будет шумно. Звукопоглощающая поверхность потолка значительно улучшит его акустические свойства. В обеденный перерыв рабочий должен не только поесть, но и отдохнуть. Собеседник слушает нас внимательно. Он заказчик — лицо, отвечающее за строительство, в том числе и перед финансовыми органами. Он согласен с нами. Но решить вопрос не хочет. «Нас не поймут, — замечает он. — Это будет расценено как излишество».

Термин «излишество», отнесенный первоначально к декоративным атрибутам «классической» архитектуры, получил в дальнейшем широчайшее распространение и произвольно применялся к любым элементам рассматриваемых проектов. Излишеством стало называться все, что отвечало элементарным требованиям удобства и комфорта. Снижение высоты жилых комнат до двух с половиной метров в жарких районах страны отрицательно сказалось на условиях жизни людей. Сплошь и рядом приходилось отказываться от акустических мероприятий, от кондиционирования воздуха в общественных зданиях. Душно в магазинах, столовых, кинотеатрах и клубах. Шумно в цехах, тесно в заводских «бытовках». И, само собой разумеется, излишество — все, что относится к эстетическому облику сооружений. Излишество — высококачественный, прочный отделочный материал. Излишество — монументальное декоративное искусство, скульптура, малая архитектурная форма. Стоимость строительства «эффективно» снижается и за счет благоустройства и озеленения жилых районов.

Знаменитые путешественники Зикмунд и Ганзелка, знакомясь с новой архитектурой Москвы, дружески высказывают свои критические замечания. Их особенно интересуют объекты промышленного строительства. Они рассказывают о впечатлении, произведенном на них одним из новых японских предприятий. На любом участке огромного цеха экспонометр показывает одну и ту же цифру — все пространство освещено равномерно. Не слышно шума станков — в цехе звучит музыка. Рабочие каждый день надевают свежие белые халаты. Такие условия непосредственно способствуют повышению производительности труда.

Экономия, которая сказывается на условиях работы и жизни человека, способствует утомляемости, нервозности, снижению работоспособности, по сути дела — расточительство. Рубль, сэкономленный за счет снижения удобства и комфорта на предприятии и в быту, приводит к огромным убыткам, к растрате сил и энергии человека и прямо отражается на результатах производственной деятельности людей.

Японский предприниматель, построивший комфортабельный цех, создал рабочему условия, при которых он работает с максимальной эффективностью. Это и есть большая экономия. Не должно называться излишеством то, что создается для удобства и здо-

рevity человека. В конечном счете экономия — это не только и не столько затраты на строительстве. Об этом, пожалуй, не скажешь лучше, чем в книге Андрея Бузова «Об архитектуре»: «Архитектура — это здоровье народа, экономия сил народа... Окончательным критерием экономичности строительства должны служить не только показатели стоимости кубического или квадратного метра жилья и не только экономичность в эксплуатации, но и сохранение здоровья и трудоспособности человека... Архитектура дома и города должна преодолеть частные противоречия экономики во имя главной экономики здоровья, моральных и физических сил народа».

«Частные противоречия» экономики мне хотелось бы показать на одном примере.

Есть в нашей практике еще и такая форма экономии — на стоимости проектных работ. Принято считать, что они год от года должны стоить дешевле. Быть может, кто-то из года в год планирует повышение производительности труда проектантов. Тем не менее труд этот становится все сложнее. Прогресс современной техники ставит и перед архитектором все более сложные задачи. В сферу строительного проектирования вовлекается широкий круг специалистов. И подобно тому, как со временем становится сложнее насыщенный техникой самолет, технически сложнее становится и архитектурное сооружение.

Но дело не только в этом. Снижение стоимости проектных работ непосредственно связано со временем, отведенным проектанту на обдумывание композиции, решение элементов и узлов проекта. И, стало быть, чем больше сэкономлено на проекте, тем больше поспешных решений, просчетов и ошибок.

Не только проекты, но и сметы на строительство нередко составляются наспех. И здесь возникают ошибки со всеми вытекающими последствиями. Штурмовщина, авралы достаточно широко распространены и в проектной деле. Спешь и рядом устанавливаются «директивные» сроки, нарушающие нормальный процесс проектирования. И если архитектору и конструктору не хватает времени на обдумывание проекта, его тем более недостаточно для всестороннего экономического анализа различных вариантов решений. Варьировать и выбирать некогда. Такая «экономия» приводит лишь к увеличению стоимости строительства. Любопытно, что за рубежом стоимость проекта составляет шесть—восемь, а иногда десять процентов стоимости сооружения (то есть в четыре—пять раз выше, чем у нас). Это соотношение вряд ли следует рассматривать в связи с проблемами социального характера. В нем попросту находит экономическое выражение старая, но непреходящая мудрость — «семь раз отмерь — один раз отрежь». Ведь стоимость здания определяется прежде всего качеством проектного решения.

Всесторонне продуманный проект — первооснова экономичного строительства, в особенности если он выполняется в натуре многократно.

#### 4

Поэт, композитор, художник создают произведение искусства своим личным творческим трудом. Их творческая мысль выражается непосредственно в поэме, в партитуре, на полотне. Иное дело архитектурный проект. Сам по себе он не представляет цели творчества архитектора. Истинное призвание зодчего — созидание. Судьба современного архитектурного сооружения решается не только в проектной мастерской, но и на заводах, изготавливающих материалы, элементы и детали будущего здания, и, конечно, на строительной площадке. Очень многое зависит от того, чьими руками оно возводится.

Замысел зодчего воплощается в натуре трудом тысяч людей, и поэтому исключительно важно, как складываются взаимоотношения между участниками сложного процесса создания архитектурного сооружения. Исполком века архитектор, что в переводе с греческого означает высший строитель, был ведущим лицом, дирижером этого процесса. Он автор проекта и лучше других представляет себе конечную цель общего труда. Он координирует все элементы проекта, подчиняет частные решения своему общему замыслу, несет ответственность и за качество его исполнения. Так было всегда. Однако в последние годы сложилось иное положение. Организационными мерами были нарушены установившиеся связи и зависимости процесса строительного производства. Архитектор оказался в подчиненном положении. Ведущее место занял строитель. Это

нашло отражение даже в названиях академий и профессиональных журналов. Слово «строительство» заняло в них первое место перед словом «архитектура». Так исполнитель был поставлен над творцом.

Строитель может принять или не принять проект к исполнению, отказаться от выполнения слишком сложного, на его взгляд, решения. Более того, прежде чем проект принимается к рассмотрению градостроительным советом, он должен быть согласован со строительной организацией и промышленностью.

Строитель и зодчий работают плечом к плечу. Контакт и взаимопонимание между ними, общая увлеченность делом крайне важны. Архитектор должен прислушиваться к мнению и совету инженера, мастера, рабочего, но решающее слово должно принадлежать ему, автору.

Возглавляя процесс проектирования и строительства, строитель стремится упростить свою задачу — он предпочитает делать то, что умеет. Начиная строительство Дворца пионеров в Москве, авторы проекта знакомились с опытными строителями треста Мосстрой-4, только что завершившими сооружение монументального здания китайского посольства. Позиция строителей определилась сразу: сделайте облицовку, как на посольстве, окна, кровлю, как на посольстве. И каких усилий стоило авторам убедить их выполнить первое, второе и третье, да и многое другое так, как оно было задумано.

А в скольких случаях интересные и новаторские проектные решения, наталкиваясь на сопротивление строителей, заменялись элементарными каталожными конструкциями, рассчитанными по карманному справочнику для строительных вузов. И нередко — в ущерб технологии здания, экономике, скорости монтажа и всегда, разумеется, в ущерб эстетике.

Архитектору диктуют, что и как он должен делать, где и какие детали применять. Что можно и что нельзя. А можно очень немногое. Стремясь осуществить свои замыслы, он должен постоянно преодолевать чье-либо сопротивление. В быт архитекторов прочно вошел глагол «пробовать». Каждый успех, удача, достижение цели — результат «пробойной силы» автора. «Пробойная сила» — мерило оценки специалиста и предмет уважения в профессиональной среде.

Сопротивление прежде всего встречаешь в утверждающих инстанциях, а их множество. Проект должен пройти сквозь строй экспертиз и обсуждений.

Сперва промышленность — необходимо согласование с главком. Все изделия только по каталогу. Не предлагай новых колонн, ригелей, панелей. Конструкции — обязательно сборные. Все решается в сборном железобетоне. Крупное инженерное сооружение — саратовский мост через Волгу — было первоначально запроектировано с применением металла. В металлических конструкциях были решены только главные его пролеты. Проект был отклонен. Мост целиком выполнен в сборном железобетоне, хотя такой вариант дороже и сложнее в производстве работ. Он удлинил сроки строительства. Все это было известно заранее, но идея зоркости восторжествовала.

Архитектор должен еще учесть запрещения и ограничения в применении материалов. Не применяй кирпич (запрещен!), не применяй штукатурку (мокрый процесс!), мрамор и гранит (дорого!), дерево (горит!).

Допустим, автор захотел бы облицевать панель цветной стеклянной плиткой по своему эскизу. Ему предложат отказаться от своей затеи, предложат принять не только размеры, но и фактуру и цвет панели, уже освоенной для других сооружений, и он вынужден будет согласиться: другого ему ведь попросту не дадут, не сделают.

Затем проект рассмотрят строители. Отменяй монолитные конструкции, пространственные заменяй балками, фермами и настилами. В итоге всех этих согласований автор получит протокол: «Принять для облицовки фасадов... принять для перекрытий зрительного зала... принять..» и т. д. Без эскиза, без чертежа. Принять, и никаких. И сверху на листе гриф: «Утверждаю». И подпись. Но не авторская. Подпись администратора! В конечном счете автор не узнает своего проекта: в нем все нивелировано в процессе согласований, утрачена индивидуальность, зато полностью приобретены черты уже знакомых сооружений, он втиснут в рамки стандартов. Это уже другой проект, среднее арифметическое или же производное многочисленных указаний, обязательных советов и рекомендаций. Так возникают серость и однообразие.

Но проект в конце концов утвержден. И архитектор, упрямый и настойчивый, стремится осуществить хотя бы малую толику своих замыслов. Он затрачивает на это уйму энергии. Снабженцу в высшей степени безразлично, из какого материала будет выполнена та или иная деталь здания, чем будет отделан интерьер. Ему лишь бы полегче и в срок получить фонды и наряды. Поэтому архитектор часто сам становится снабженцем. Он «пробивает», ездит на заводы, убеждает, и на этот род деятельности у него уходит несравненно больше времени, чем на творчество. Усилия иногда увенчиваются успехом. И это приносит удовлетворение. Как приятно, когда коллеги обращаются к тебе с вопросами: «Где достал?», «Как удалось?»

Архитектор, разумеется, заинтересован в наилучшем выполнении своего проекта в натуре. Но нередко он сталкивается с равнодушием и даже с противодействием исполнителей. Было время, когда автор проекта был председателем комиссии по приемке здания и исполнитель сознавал свою зависимость от автора — главного лица на стройке. Он определял эталон для выполнения тех или иных работ. Строители были дисциплинированы. Неделки нельзя было не устранить. Требовательный авторский глаз заметит каждую мелочь. Сегодня у архитектора совещательный голос. Выслушать его можно, но выполнить его указание необязательно.

Так ли важно то, что он требует? Важнее план, сроки. Пусть пишет списки недоделок. Здание все равно примут. А как же может быть иначе, если инспекция Государственного архитектурно-строительного контроля в подчинении тех же организаций, которые отвечают за план и сроки сдачи домов? И если один инспектор будет упрямиться, направят другого — и он подпишет акты приемки.

Вот так и возникает архитектура, однообразная по горизонтали и вертикали, невыразительная, небрежно выполненная.

Качество строительства. Уже много лет говорится об этом. А тем временем уже утрачено представление о том, что же действительно хорошо и что по-настоящему плохо. Бывают случаи, когда дома принимаются с оценкой «удовлетворительно». Практически же «удовлетворительно» — это плохо, порой просто из рук вон плохо. При строгом подходе к делу такое здание следует немедленно ремонтировать. И тут множество упреков обрушивается на архитекторов. Но упреки эти не по адресу! У автора проекта нет сегодня необходимой власти, чтобы активно влиять на исполнителя и требовать должного качества строительных работ.

Настоящая ответственность, творческая и профессиональная, возникает лишь тогда, когда определены права специалиста. Речь в конечном счете идет об авторском праве архитектора. Сегодня у архитектора нет узаконенных авторских прав. Ни по отношению к проекту — воля исполнителя выше авторского решения, ни по отношению к процессу строительства — не он решающее лицо при приемке здания и оценке работ, ни по отношению к уже готовому сооружению. Любой хозяйственник, получив новое здание, волен делать все, что ему угодно, — ломать и перестраивать его по своему усмотрению. Так и поступил начальник панорамы «Бородинская битва». По его указанию перестилаются полы, перегораживаются помещения, перекрашиваются стены. И все это без всякого согласования, и более того — вопреки протестам авторов.

Почему в любой нашей газете вы можете встретить фотографию нового здания с обязательным указанием автора фотографии, но не автора здания? Почему работа фотографа оказывается значительней, чем многолетний творческий труд архитектора? Потому, что авторское право фотографа охраняется законом, а архитектор и здесь бесправен. Разумеется, это далеко не главное в том, что называется авторским правом творческого работника, но и это имеет некоторое значение.

Архитектору по сей день продолжают указывать, как он должен проектировать. И указывают не только строители. Немало «ценных указаний» получает он от многочисленных уважаемых и авторитетных, но — увы! — некомпетентных руководителей. Нередко встречаешь людей, которые не считают зазорным честно признаться в том, что они не понимают в музыке, не очень разбираются в живописи или в поэзии. Другое

дело архитектура Администраторы всех рангов уверенно судят о проектах, без колебаний передвигают «кубики» на макетах, утверждают свою точку зрения. И переубедить их очень трудно. Решать крупные градостроительные вопросы они считают своим правом, более того — обязанностью.

А что, если бы так руководить электроникой, математикой, ракетостроением?

На строительство клуба в районном центре Азербайджана явился председатель исполкома. Взглянув на контур фундамента будущего здания, он решительно заявил: «Это помещение нам мало». Он не обязан знать, что непокрытое пространство всегда кажется меньше своих истинных размеров, и, ничтоже сумняшеся, отмерив четыре шага, приказал раздвинуть стены зала. И раздвинули. И возвели. А потом выяснилось, что фермы перекрытия оказались короче пролета между опорами и помещение кинопроекционной почему-то оказалось сдвинутым в сторону.

Но дело не только в правах и обязанностях архитектора. Нередко он и сам поступает творческой принципиальностью. Ведь не секрет, что те или иные принятые в прошлом «волевые» решения так или иначе были согласованы с кем-то из архитекторов. Но они принимались без учета, а порой и вопреки мнению архитектурной общественности, без обсуждения в профессиональной среде. Общественная творческая организация — Союз архитекторов — оставалась в стороне от решения многих принципиальных вопросов. Однако и в тех случаях, когда в Союзе обсуждались те или иные проблемы и проекты, мнение специалистов зачастую не принималось во внимание. Обсуждение проектов проводилось уже после официального их утверждения, а то и тогда, когда строительство шло уже полным ходом. Так было с гостиницей в Зарялье. Сегодня каждый из архитекторов испытывает неловкость, отвечая на вопрос о том, как могла произойти такая ошибка. Каждый из нас ощущает и ответственность за случившееся. Теперь считают, что здесь вообще не следовало бы строить гостиницу, а ведь с этой точкой зрения многие выступали и прежде.

И это не единственный случай, когда архитекторы оказываются перед лицом коллективной ответственности за градостроительные ошибки. Принципиальные вопросы архитектуры должны быть предметом творческих дискуссий и споров. Это необходимо: когда не спорят, под личной истиной нередко выступает догма. Законом установленное авторское право архитектора и должное отношение к мнению архитектурной общественности избавят нас от случайных решений и серьезных градостроительных ошибок.

## 5

Десять лет назад архитектура — «застывшая музыка» — была отлучена от искусства и переведена в область техники. Спору нет, современная архитектура включает в себя множество технических проблем. Эти проблемы относятся не только к процессу строительства, но и непосредственно к объекту строительства. В каждом архитектурном сооружении решается комплекс конструктивных и инженерных вопросов. Крупное современное здание, например, Дворец съездов в Кремле, оснащено техникой не в меньшей степени, чем линейный корабль. Но это Дворец съездов, а если обратиться к массовому строительству, нередко наталкиваешься на технически отсталые решения.

Окно автомобиля открывается вращением рукоятки, а фрамуга школьного окна — с помощью веревки. В салоне ТУ-104 установлен компактный кондиционер, а в столовых и парикмахерских можно встретить врезанный в форточку примитивный вентилятор. Он смешон даже в сравнении с аппаратурой, которой оснащен парикмахер. На улицах городов появились бесшумные трамваи, но звукоизоляция квартир остается нерешенной проблемой. Домашняя хозяйка убирает квартиру электропылесосом, а затем несет ведро с мусором по лестнице и через двор на помойку. Новые модели автомашин украшают улицы города — гаражи их уродуют. Это контрасты высокого уровня промышленной продукции и технических анахронизмов в строительстве.

Но архитекторы нередко и сами недоценивают роль техники в современном здании. И за модным фасадом подчас скрывается архаичное сооружение. Современной постройке должны быть присущи не только формы, отвечающие сложившимся эстетическим представлениям, не только экономичность, отличная планировка и продуманная



технология, но и высокая степень технической оснащённости. Сам процесс возведения здания — это множество технических проблем, материалы, их работа в тех или иных конструкциях, расчёты сооружений, организация строительства — тут архитектору неразрывно связана с техникой. Архитектору необходим широкий круг технических знаний.

Но, кроме технического совершенства, истинное произведение архитектуры обладает ещё одним свойством — огромной силой эмоционального воздействия.

Архитектура — искусство. Афинский Акрополь и московский Кремль — произведения искусства. Ансамбли Парижа и Ленинграда, памятники Пскова и Новгорода, Бухары и Самарканда, площади Флоренции и венецианские дворцы — искусство. Все эти великолепные сооружения, представляющие собой национальную гордость народов, воплощение технической мысли и интеллектуального духа своего времени. И как всякое искусство, архитектура всегда была активным выразителем общественной идеологии, средством идеологического влияния. Во все времена и у всех народов это понимало духовенство. Архитектура служила религии не в меньшей степени, чем проповеди и песнопения. Храмы Египта и древнего Рима подавляли человека, утверждая величие и мощь фараона и императора. А готика? Помните у Гоголя? «Вступая в священный мрак храма, сквозь который фантастически глядит разноцветный цвет окон, поднявши глаза кверху, где теряются, пересекаясь, стрельчатые своды один над другим, один над другим и им конца нет — весьма естественно ощутить в душе невольный ужас присутствия святости, которой не смеет и коснуться дерзновенный ум человека» — готика — яркий пример материализованной идеи, влияния архитектуры на состояние и мироощущение людей. Но именно идейную сторону архитектурного творчества недооцениваем мы в должной мере. Архитекторы не зря говорят о том, что можно не прочесть книгу, можно не увидеть фильма, но человек всегда в архитектуре и архитектура всегда вокруг него.

Что архитектура — искусство, доказано многовековой её историей. И все-таки сегодня тезис этот нуждается в защите. Более того, само упоминание о принадлежности архитектуры к искусству нередко вызывает раздражение. Многочисленные оппоненты архитектурного цеха отождествляют, как ни странно, понятия искусство и излишество. Искусство — излишество, а с излишеством в архитектуре мы покончили — покончили, стало быть, и с искусством.

Вопрос этот действительно не так прост, как кажется на первый взгляд. Искусство начинается там, где проявляется индивидуальность художника.

Выдающийся бразильский архитектор Оскар Нимейер, провозглашающий абсолютную свободу архитектурного творчества, прав по крайней мере в том, что «архитектура не может быть ограничена только проблемами чисто техническими, она является прежде всего проявлением духа, воображения и поэзии». «Произведение архитектуры может стать произведением искусства только при условии, если в нём содержится, пусть даже минимальное, проявление творческого труда, иными словами, если оно содержит личный вклад архитектора». Каждое здание выдающихся мастеров советской архитектуры братьев Весниных, Гинзбурга, Щусева, Фомина, Щуко, Власова, Бурова — проявление их индивидуальности, выражение мировоззрения зодчего, материальное воплощение его мыслей и чувств.

Я видел дом Корбюзье в Марселе — его «жилую единицу». Много написано об этом доме, и помнится, читал я памфлет об этом здании в какой-то из наших газет. Дом действительно был предметом ожесточенных споров. Сегодня это гордость марсельцев, достопримечательность города. Это программный дом, дом-манифест. В нём каждое положение программы Корбюзье, каждая его мысль выражены с предельной ясностью. Когда осматриваешь здание, его вестибюли, магазины, ресторан, квартиры (в доме более двадцати различных типов квартир), когда поднимаешься на плоскую кровлю, на которой расположены спортивные сооружения, все время ощущаешь присутствие автора. Можно спорить по существу программы Корбюзье, но его отношение зодчего, мыслителя и художника к проблеме современного жилища, к проблеме современного города выражено в его творении в полной мере. Это здание — произведение искусства, проявление индивидуальности автора.

Соберите десять, сто, тысячу архитекторов, предложите им один и тот же участок, одну и ту же программу проекта, и вы получите десять, сто, тысячу различных решений. Потому что они сделаны людьми творящими, мыслящими и чувствующими по-разному.

Я иду по новым районам Москвы. Передо мной огромные массивы застройки. Дома. Кто их делал? Я не могу отличить их друг от друга. Впрочем, я выразился не вполне точно, я отличаю их по конструкции: вот дом Лагутенко — инженера, автора панельных конструкций дома. Вот дом Козлова — автора прокатного способа производства панелей. А кто архитекторы? Курьезный случай: первый девятиэтажный дом из прокатных панелей Козлова был смонтирован на проезде имени Ольминского. Кто-то назвал его по ошибке «домом Ольминского», и архитекторы, толпами посещавшие эту стройку, недоуменно спрашивали друг друга: «Что это за Ольминский, в какой мастерской он работает?»

Типовое строительство обезличено. Зато наметанный глаз архитектора, осведомленного о всех перипетиях развития архитектуры последних лет, отличит дома друг от друга. Но по какому признаку?! Можно точно сказать, между какими решениями исполкома они построены. До или после запрещения падающей керамической плитки «МК» или непадающей, но почему-то снятой с производства плитки «мелня», до или после введения плоских крыш и керамичных цоколей. У этих зданий как будто бы и нет авторов — они лишены индивидуальности.

Меня могут удивить в том, что я противоречу самому себе, выступаю за стандартизацию и вместе с тем говорю об индивидуальности. Но я не вижу в этом противоречия. Архитектура вообще никогда не отрицала повторения. В конечном счете даже самая пышная колоннада есть не что иное, как ритм одинаковых форм. Но повторение само по себе никогда не может стать композицией.

Сколько бы ни повторялся на плоскости стены один и тот же оконный проем, такой фасад не станет носителем архитектурного образа жилого дома. Только контрасты стены и пластики, форм и объемов, объемов и пространств и самих пространств могут сложиться в композицию, которой должны быть присущи соподчинение элементов, их единство и образное начало. Именно в этом и должно проявиться мастерство архитектора. И я не могу не напомнить изречение Дидро о том, что «единство и единообразие так же отличны друг от друга, как красивая мелодия от непрерывно тянущегося звука».

Мы признаем необходимость технической эстетики, участие художника в создании предметов промышленного производства. Изделия промышленности становятся «рукотворными». Как же может быть создана настоящая архитектура, если в ней не проявится эстетическая мысль автора? Да, прежде архитектура была жертвой ложного понимания ее задач, ложного величия, которое она стремилась выразить, однако сегодня она нередко становится жертвой упрощенчества. Но если мы создадим достаточное количество разнообразных и выразительных стандартных домов, если признаем целесообразность индивидуального проектирования крупных общественных сооружений, свое искусство проявит и архитектор-градостроитель. Учитывая географические условия города, климат, рельеф, окружающий ландшафт, он сумеет найти приемы застройки, отвечающие конкретным условиям, и создаст из стандартных зданий выразительные и неповторимые композиции. И тогда новосел не заблудится в своем квартале и путешественник не спугает города. А пока можно говорить о том, что в одних районах застройка выглядит относительно лучше, в других — относительно хуже, однако в целом она все же остается однообразной и невыразительной. Глядя на эти дома и улицы, люди вправе задать вопрос: «А не перевелись ли у нас мастера архитектуры, где талант и вкус наших зодчих?»

Но посмотрите на творения советских архитекторов за рубежом! В последние годы по нашим проектам в ряде стран Европы, Азии и Африки строятся здания посольств, стадионов, университетов, гостиниц и больниц. И надо сказать, что они делают честь советской архитектуре. Госпиталь в Пном-Пене и стадион в Джакарте, университет в Конакри и гостиница в Рангуне — все эти сооружения и по архитектурным достоинствам, и по качеству исполнения лучше аналогичных сооружений, построенных у нас в стране. Почему? Да потому, что архитектор творит без оглядки на каталоги, на огра-

ничения в материалах. Он ограничен только в денежных средствах, они, разумеется, определены точно. Правда, и в этих сооружениях нет-нет да и скажется многолетняя привычка мыслить в рамках стандартов. Почему-то и наши домостроительные комбинаты, смонтированные за рубежом, дают продукцию лучшего качества. Очевидцы утверждают, что типовые дома, построенные с помощью нашего технологического оборудования в югославском городе Скопле, выглядят привлекательнее, чем те же дома в Москве.

Но вот и другой пример. В Дубне жилой квартал и гостиницу построили по проекту наших болгарских коллег. Архитектура Болгарии занимает сегодня весьма достойное место в мировой архитектурной практике. Болгарские курорты — предмет изучения для архитекторов многих стран. Однако жилые дома, построенные в Дубне, ниже творческих возможностей наших болгарских коллег. При взгляде на квартал можно представить себе замысел его авторов, но если нет материалов нужного качества, если небрежно работает строитель — архитектор не в силах сделать что-либо оригинальное, как бы талантлив и опытен он ни был.

А вот гостиница построена хорошо. Здесь были созданы особые условия, позволившие авторам довести свой замысел до конца, — это лучшее здание города.

Невольно возникает вопрос: могли ли бы виднейшие мастера мировой архитектуры, оказавшись на месте нашего архитектора, оправдать свой творческий авторитет, если бы не были поставлены в особые условия?

Иногда такие особые условия складывались и у нас для немногих уникальных зданий. Вокруг них возникал своеобразный «микроклимат», в котором архитектор мог проявить свой талант и мастерство. Заказчик доверялся его опыту и авторитету или его молодому таланту и творческой смелости. В этих случаях архитектор располагал относительно большей палитрой материалов, большей свободой в выборе конструкций. В этих случаях строитель, понимая особую роль автора, отступал на второй план, подчинялся его воле и безоговорочно выполнял проект. На таких стройках был строгий надзор за качеством, их нельзя было сдать с недоделками. В условиях такого «микроклимата» возникали лучшие наши сооружения, в которых архитекторы искали, экспериментировали, утверждали принципиальные положения новой советской архитектуры. Здесь архитектура выступает как искусство. Принципы ее реально воплощены в здании Дворца съездов, гостиницы «Юность», в новых аэровокзалах, в комплексе Артека, в ташкентском киноконцертном зале.

Можно назвать десятки имен наших архитекторов — и почтенного возраста, и молодых, — которые проявили себя в этих работах как талантливые мастера архитектуры, как подлинные новаторы. И это нашло широкое признание. Значит, новая советская архитектура реально существует.

Что же характерно для новой архитектуры? В чем суть ее принципов? Почему архитекторы говорят о новом творческом методе?

Принципиальное отличие новых сооружений особенно бросается в глаза, если сопоставить их с тем, что мы строили в начале пятидесятых годов. Формально понятый тезис «национальное по форме и социалистическое по содержанию» применительно к архитектуре привел по сути дела к отрыву формы от содержания. Нередко архитектурная композиция возникала в представлении зодчего предвзято. Она была самоцелью творчества. Функция и технология здания насильственно втискивались в эту форму. Современные материалы металл и бетон, способные перекрывать большие пролеты, концентрировались в массивных, нерациональных конструкциях во имя ложных представлений о классике, о масштабе, об ордере и пропорциях. Нередко конструкция существовала сама по себе, а архитектура «оформляла» конструкцию, противоречила истинной конструктивной схеме здания. Выражавшаяся внешне в тяжелых, монументальных формах, такая архитектура подавляла человека гигантскими масштабами колоннад, мощными лепными карнизами.

Присмотритесь к современным общественным зданиям. Здесь композиция возникает как следствие функции и назначения сооружения. Архитектор komponует план и пространство, стремясь добиться четкой взаимосвязи элементов. Форма является следствием функции сооружения.

Современные материалы «работают» в полную силу своих возможностей, и архитектор не декорирует конструкцию, а стремится показать ее, придать ей выразительную художественную форму. Современные здания легки и соразмерны с человеком, они не подавляют его. Новая архитектура демократична. Вместо узкого проема в массивной стене входящего встречают широкие остекленные поверхности. Внутреннее содержание здания правдиво выражается во внешней его архитектуре.

В новых наших сооружениях проявляются черты подлинной классики, без кавычек, в которой содержание, форма, конструкции, материалы и художественный образ выступают в органическом единстве.

У нас есть такие сооружения, но немногим посчастливилось участвовать в этой увлекательной работе. Подавляющее большинство архитекторов — в стороне от нее. Сотни одаренных людей лишены возможности проявить свои способности, внести свой вклад в развитие нашего зодчества. Тем более досадно, что мы забыли о конкурсах. Они проводятся крайне редко. Без конкурсов проектируются и строятся здания, занимающие принципиально важное положение в городе. Мы упускаем возможность найти лучшее решение, привлечь лучшие силы архитекторов, и прежде всего молодежи.

И все же как бы ни были хороши и удачны уникальные сооружения, они еще не определяют лицо города. Напротив, они подчеркивают контраст между уникальным и стандартным, между исключением и нормой, между образцово-показательным и обычным.

Именно массовое строительство, стандартные дома должны быть предметом главного внимания архитекторов. И в них должно проявиться искусство архитектуры.

Главная задача состоит в том, чтобы поднять уровень стандарта в полносборном домостроении. Вся наша промышленность стремится довести свою продукцию до уровня лучших мировых стандартов.

Что означает понятие «мировой стандарт» применительно к архитектуре? Наши архитекторы изучают зарубежный опыт — и в натуре, и по журналам. На Западе немало посредственных сооружений, хотя даже плохое здание, если оно добротное построено, в журнале нередко выглядит привлекательно. Но речь будет идти о лучших мировых образцах. Понятие «мировой стандарт» в архитектуре содержит, на мой взгляд, несколько положений.

Во-первых, безусловно высокое качество строительства. Это вертикальность вертикали и горизонтальность горизонтали. Это соответствие прямого угла девяноста градусам. Это доброкачественность и долговечность применяемых материалов, устойчивость красителей и соблюдение нормативной влажности древесины и так далее. Все это условия само собой разумеющиеся. Высокое качество строительства должно стать абсолютной нормой. Архитектор, в сущности, и не должен тратить усилий на то, чтобы добиваться доброкачественного выполнения проекта в натуре. Оно должно быть обеспечено объективными условиями, в которых работает промышленность строительных материалов, монтажные и отделочные организации.

Во-вторых, высокий стандарт подразумевает также техническое совершенство сооружения: современные системы вентиляции и кондиционирования воздуха, надежную звукоизоляцию и рассчитанные акустические условия. Тщательная отработка каждой детали: надежность фрамужного прибора и солнцезащитных устройств, удобная форма дверной ручки, розетки выключателя — каждой мелочи в здании. В этом смысле нам есть чему поучиться у зарубежных коллег.

И наконец высокий мировой стандарт обязательно подразумевает смелость мысли, конструктивных решений, богатство творческой фантазии архитектора. Короче говоря, все то, в чем архитектура проявляет себя как искусство.

\* \* \*

Условия, в которых работали наши архитекторы в последние годы, не благоприятствовали реализации смелых творческих замыслов, сдерживали развитие архитектурной мысли, сковывали фантазию зодчего.

Но условия меняются. Не администрирование и субъективизм, а научное обоснова-

ние и глубокий экономический анализ становятся ныне условием нашей работы. Наука и опыт — основа решения технических, экономических и творческих проблем.

За последнее десятилетие в нашей архитектуре сделано многое, осуществлено немало положительных решений. В иных обстоятельствах их могло бы быть больше, но и то, что создано, нуждается в объективном анализе и оценке. Огромная работа проделана в области градостроительства. Реальное воплощение получили новые градостроительные идеи. Вместо застройки жилых кварталов по периметру улиц утвердились новые градостроительные понятия жилых районов и микрорайонов, принята иная система обслуживания населения, иначе решаются теперь транспортные проблемы.

Мы должны сочетать эти достижения с высокими эстетическими достоинствами стандартных жилых домов, с богатством пространственных композиций застройки.

Наша архитектура прошла сложный и противоречивый этап в своем развитии. По разным причинам, о которых шла здесь речь, далеко не все сделанное может удовлетворить и нас, архитекторов, и тех, для кого создается архитектура. Но мы построили очень много, сколько не строили никогда прежде. Миллионы людей живут теперь в новых, благоустроенных квартирах. А это ведь самое главное и это всегда надо иметь в виду.

Теперь последствия субъективистских решений в области архитектуры отходят в прошлое. На совершенно иной технической основе разворачивается строительство многоэтажных зданий, открывая для архитекторов большие творческие возможности.

Важные решения, направленные на повышение качества архитектуры, приняты Московским Советом депутатов трудящихся. Ставится вопрос о восстановлении архитектора в правах председателя комиссии по приемке зданий, указания авторов проектов признаны обязательными для всех строительных организаций Москвы. Расширяется сфера индивидуального проектирования. Московский Совет признал необходимым выделить специальные ассигнования на монументально-декоративное оформление районов массовой застройки.

Решение Московского Совета благоприятствует успешной работе московских зодчих. И было бы разумно принять подобное решение и в масштабе всей страны.

У нас есть все возможности, чтобы создать наилучшие условия для успешного развития архитектуры. Отводя научной деятельности особую роль, важно правильно организовать научную работу. А для этого совершенно правомерно воссоздание необоснованно распущенной Академии архитектуры и строительства. Необходимо восстановить право архитектуры называться искусством, вернуть архитектору руководящее положение в процессе проектирования и строительства. Труд архитектора, многосложный и творческий, заслуживает высокого общественного внимания и уважения.

Человек живет, работает, отдыхает в материальной среде, именуемой архитектурой. И нет, пожалуй, другой области человеческой деятельности, которая в такой степени затрагивает интересы каждого члена общества, как архитектура. Она оказывает повседневное и непосредственное влияние на каждого из нас. Она влияет на работоспособность и настроение, может подавлять человека или доставить ему ощущение удобства и комфорта, доставить эстетическое наслаждение. Зодчий — создатель этой среды — выступает как «режиссер» жизни. Ведь миллионы людей двигаются и действуют в городе, на заводе, в учреждении, в школе, в квартире так, как предопределил архитектор. Он должен помнить, что плоды его творческого труда будут служить не только современникам, но и последующим поколениям.

Но архитектура не только материальное, но и духовное начало. Будучи выражением идеологии общества и духа времени, в которое она создается, архитектура вместе с тем воспитывает идейно и сама формирует этот дух. И все мы — архитекторы и неархитекторы — должны помнить об этом и строить так, чтобы не только масштабы и темпы строительства, не только его техническое совершенство, но и высокие художественные достоинства были бы предметом гордости нашего народа и сегодня, и в будущем.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

В. ЛАКШИН

★

## ТРИ МЕРЫ ВРЕМЕНИ

**К**ниги очерков выходят обычно в свет малыми тиражами и не находят легкого сбыта. Но не потому, что очеркисты пишут плохо. За очерком установилась репутация «скучного жанра». Еще в журнале, по свежему следу событий, читатель, бывает, заинтересуется им, но в книге... Слишком еще многие читатели первым достоинством книги признают ее занимательность и даже в романах пропускают «рассуждения» и описания, оставляя себе лишь действие и «картины». Да, очерк — литература мысли, требующая и от читателя известной работы, от этого никуда не уйти. Вот самый свежий и заслуживающий раздумья факт: уцененное собрание сочинений Глеба Успенского в девяти томах продают ныне на Кузнецком мосту за 2 рубля 70 копеек. Девять объемистых, умных, блестяще написанных книг не дороже килограмма колбасы, — видно, не слишком много находится им покупателей.

Может быть, этот писатель безнадежно устарел и отстал от нас? Или мы не доросли до того, чтобы читать его не по принуждению, а из собственного удовольствия? Для меня во всяком случае репутация Глеба Успенского не страдает от того, что он временно забыт, что читают его мало. Ну, пусть в конце концов и отдохнет немного на книжной полке, — верю, что к нему не раз еще потянется рука читателя.

Есть книги, внимание к которым в читательской среде уступает успеху нашумевшего романа или стихотворения, но которые как бы несут в себе достоинство литературы, защищают ее честь, охраняют ее серьезность, ее озабоченность коренными вопросами народной жизни. Такие книги могут явиться в разных жанрах, в том

числе и в жанре очерка, как будто ближе всего стоящего к злобе дня, к той минуте, в какую он пишется, и не претендующего на долгую жизнь. Но вечность, по афоризму Вильяма Блейка, бывает «влюблена в творения времени». И то, что написано прочно и всерьез, может переживать те или иные приливы и отливы читательского успеха, но не старится по существу. Примером тому может служить и творчество таких наших очеркистов, как В. Овечкин, Л. Иванов, Г. Троепольский, Е. Дорош, добившихся за последние полтора десятилетия признания как раз в том жанре деревенского очерка, одним из родоначальников которого был Глеб Успенский.

Выдвижение на Ленинскую премию очерков Ефима Дороша, вошедших в его книгу «Дождь пополам с солнцем», позволяет вновь обратиться к этой работе писателя, хотя о ней было уже немало сказано, в том числе и в «Новом мире». Напомню, в частности, обстоятельную статью И. Виноградова, показавшего, что своеобразие и сила Дороша-писателя заключаются в самом его взгляде на жизнь нашей деревни с точки зрения современного крестьянина («Новый мир», № 7, 1965).

Дорош принадлежит, однако, к числу тех авторов, о которых можно еще раз подумать и порассуждать, не боясь повториться.

Вот один из вопросов, которые лишь вскользь были затронуты в критике очерковой книги Дороша: отчего автор выбрал для своего рассказа с деревне форму дневника? Почему не воспользовался обширным запасом своих наблюдений для сочинения если не романа, повести, то хотя бы цепи сюжетных очерков с хорошо организован-

ной интригой? Может быть, таково тяготеение таланта писателя, скромного в своих притязаниях? Или тут иная причина? Тогда какая?

Попробую предложить одно возможное объяснение. Дневник — привольная форма, куда без насилия входят случайные наблюдения, подслушанные словечки, пришедшие на ум мысли, картины, пейзажи, зарисовки с натуры, экономические выкладки, дорожные разговоры. Автор не стал придумывать рассказчику какого-либо специального дела или поручения в деревне, даже рискуя выслушать упрек в праздности; ведь он только тем и занят, что гуляет по улицам, заходит в гости к местным жителям, ездит по окрестностям Райгорода — и наблюдает, замечает, сравнивает. Он прежде всего сам хочет понять то, что видит и слышит, и тем завоевывает доверие читателя, как бы говоря ему: «Я не приготовил тебе заранее никаких выводов и назидательных картин, пройдемся рядышком по деревенской улице, поговорим с людьми и подумаем».

Эта свободная от обязательности и почти документальная форма явилась, быть может, своего рода реакцией на иллюзорное, графетно-кинематографическое изображение жизни села в тех послевоенных повестях и романах, где общая картина плодородия, изобилия и благополучия заслоняла то, как и чем живут крестьяне, о чем говорят между собою, что их поит и кормит и в каких отношениях стоят они к колхозу, к своему председателю и местному руководству. Дух свободного и непредвзятого сопоставления фактов, без «натаскивания» на заранее определенные выводы должен импонировать читателю, который любит разбираться в жизни самолично и не терпит подсказок. Но не менее должна привлекать его и личная, доверительная интонация, столь естественная для дневника.

Правда, можно представить себе и такого читателя, который, не найдя у автора романической интриги и даже просто развития действия, заскучает, потерявшись в пестроте этих записей, регистрирующих тысячи мелочей сельских работ и районного быта, примет, обычаев, приемов труда — как ворошить сено да как высевать лук, — обыденных тягот и незадач председателя колхоза или агронома, вечно озабоченных тем, чтобы удовлетворить требования начальства и сдать что положено, а в то же

время самим не остаться без кормов и без хлеба.

Но читатель думающий и заинтересованный заметит, что все агрономические, бытовые и фенологические наблюдения автора, все эти разговоры, зарисовки, рассуждения неприметно вяжутся у Дороша в единое целое, то, что обнимает все существующие и раздельно элементы произведения, записи дневника, и создает впечатление общей идеи, притом идеи не сухо логической, а идеи того рода, которую лучше было бы назвать поэтической мыслью книги.

Понять эту мысль поможет нам одна особенность в характере автора дневника, одна черта его облика, на первый взгляд чисто индивидуальная и необязательная. Рассказчик не равнодушен к старой архитектуре, русской древности, памятникам прошлого. Это можно расценить как некое увлечение, личное пристрастие, своего рода «хобби», никак, естественно, не связанное с темой современной деревни, хотя и прибавляющее автору обаяние разносторонне образованного и культурного собеседника.

Дорош перемежает деловые записи описанием кремлевских стен старого Райгорода, глядящих в воды тихого озера, шатровых башен, розовеющих на закате, куполов Дмитриевского собора, Красных палат и иных достопримечательностей. А среди его приятелей и знакомцев, рядом с председателем колхоза Иваном Федосеевичем и агрономом Николаем Семеновичем, мы найдем архитектора Сергея Сергеевича, реставрирующего райгородский кремль. С ним он часами может беседовать о назначении тех или иных покоев в старинных хоромах или об обычаях, внешнем виде и говоре мерян, живших когда-то в этих местах по берегам озера Каово. Да и с Иваном Федосеевичем он не прочь поговорить не только о свойствах луговых трав, о покосах и удоях, но и о первоначальном месте погребения Багратиона в Симе, и об усадьбе Остен-Сакенов, одна из владелиц которой, по словам любогостицкого председателя, выведена Толстым в «Войне и мире».

Исторические предания, память о минувшем постоянно присутствуют в рассуждениях автора. Воображение легко уносит его в давно забытые времена, к теням предков, событиям прошедших веков. Трудно сказать, то ли это сама древняя райгородская земля настраивает на такой лад,

то ли рассказчик выбрал этот уголок именно потому, что здесь всего очевиднее дает себя знать память о тысячелетнем прошлом русского народа. А вернее, и то и другое. Во всяком случае читателя не должно удивить, что Дорош, только что толковавший об оплате трудодня, выгоде огородничества и тому подобных предметах, глядя на озеро, вообразит вдруг, как в незапамятные времена подплывали сюда по реке ладьи древних новгородцев, или, толкуя о достоинствах владимирской вишни, заметит невзначай, что она завезена в эти края из Киева едва ли не Андреем Боголюбским.

Но прошлое, история для Дороша не красивая декорация, не русская экзотическая тема, на которой отдыхает глаз. Надо сразу же отделить его от тех любителей старины, для которых русская древность с ее соборами и иконописью — последнее модное увлечение, искусство для немногих, стоящее где-то невдалеке от Пикассо и Модильяни и своей наивной простотой ласкающее утонченный вкус.

Старая наша архитектура не в последнюю очередь дорога автору тем, что она «свидетель жизни предшествующих поколений». Дорош задумывается о связи времен и поколений людей в истории, потому что имеет случай наблюдать, как прошлое порою доживает в современной жизни, существует не только поодаль, но и в прямом соотношении с ней. В пейзаже Райгорода купола соборов и колоколен мирно соседствуют с фабричными трубами и силосными башнями, а на улице райцентра «московский» запах бензиновой гари мешается с исконными деревенскими запахами соломы, лошадиного навоза, овчины. В этой детали — не одно щегольство внешней наблюдательностью, сопрягающей былое, отжившее и новое, уже привычное, но как бы принцип понимания жизни.

Иногда автор с намеренным заострением сводит на одной книжной странице и даже в пределах одного абзаца «обе полы времени». Только что припомнился ему живший полтора столетия назад сельский попик, у которого умер сыншишка (писателю попал в руки его дневник поры 1812 года). Сострадав его горю, автор приводит древний текст: «Имена их ты, господи, веси». И тут же, без всякого перехода и подготовки: «Я иду в обком партии, рассчитывая повидать Алексея Петровича, бывшего секретаря райкома в Райгороде».

А вот другой пример резкого «стыка» времен, на этот раз из описания вечернего Райгорода: «За тюлевыми занавесками открытых окон, в черноте комнат вспыхивают голубые экраны и принимается говорить диктор. Этот его отдельно существующий отчетливый говор сопровождает меня до зеленой моей улицы, в конце которой белится Дмитриевский монастырь с почерневшим от времени огромным сферическим куполом над фронтоном ампириного собора». Дневник сельского попика — и поездка в обком партии, телевизор — и фронтон ампириного собора...

Словом, Дороша нельзя упрекнуть в одностороннем пристрастии к старине. Автор «Деревенского дневника» с удовлетворением отмечает и новую мебель в избе, и хорошо одетых людей с баянами и фотоаппаратами на сельском празднике, и тягу молодежи к образованию, учению. Да что там молодежь! Пожилая колхозница говорит у Дороша «ерген» и «шаса» вместо «шоссе» и «рентген», но отлично знает, для чего служат эти блага цивилизации и как ими пользоваться. Автор не пропустит случая указать на всякую полезную новость, на всякий пририск в хозяйстве колхоза.

Живая связь времен — прошлого, настоящего и будущего — становится, таким образом, ведущим мотивом книги, главной поэтической ее темой. Но поэзию здесь приносит с собою не только то, что в собственном и узком смысле относится к ее владениям, как, скажем, прекрасное древнерусское искусство. Насущные заботы и нужды нашего сельского хозяйства автор сопрягает с уважением к древнейшему на земле труду крестьянина. Культура прошлого открывается для него не в одних материальных ее остатках — камнях древнего собора или почерневших досках икон, но и в навыках труда, народном опыте, традициях отношения к земле. В спорах о выгоде и невыгоде тех или иных способов содержания скота и обработки земли Дорош, помимо всего прочего, знает один простой, но сильный аргумент: «По меньшей мере тысячу раз, каждую весну, человек пахал эти поля. Они лежат вплоть до дымчатого горизонта — чуть побелевшие ржаные нивы, сербристые с зеленью овсы и совсем сиреневые пары...»

Герои «Деревенского дневника», такие, как Иван Федосеевич, отлично понимают и умеют использовать все достоинства круп-



ного машинного социалистического хозяйства. Но вопрос о культуре земледелия включает в себя не только химические удобрения и машины. Это понятие не равнозначно и последним новшествам, внезапной моде на какой-нибудь сельскохозяйственный знак или агротехнический прием, вдруг ставший фаворитом и внедряемый силой указаний и проработок.

В очерке «Райгород в феврале» Дорош вспоминает, к слову, о том, какой шум был поднят в свое время вокруг выращивания рассады в торфо-перегнойных горшочках. В этом полезном, но частном по значению мероприятии стали видеть едва ли не главную задачу сельскохозяйственного производства, панацею от всех бед. Прошел какой-нибудь год, и вот уже дотошный старик Михаил Васильевич, зашедший «на огонек» потолковать с образованным человеком, требует от автора дневника объяснений: «...горшочки, видать, отменили — о них и в газете перестали писать, и по радио ничего не говорят...»

А не тот же ли вопрос спустя некий срок рискует услышать наш рассказчик от дотошно старика о «королеве полей», «квадратно-гнездовом методе», навозно-земляных компостах, выращивании свиней по методу Ярослава Чижя и иных шумных кампаниях, изрядно мешавших спокойной и сосредоточенной работе земледельца?

Нельзя, пишет Дорош, в порядке внедрения последних требований науки заставлять колхозников доить коров то два, то три раза в день. Это разрушает налаженное хозяйство, ибо «из повторяемости приемов складывается культура». Автор «Деревенского дневника» понимает слово «культура» не в расхожем его смысле. Под «культурой на селе» нередко разумеют развлечение в сельском клубе с затейником и гармонистом, самодеятельные спектакли, танцы и кино. Иногда под этим словом понимают еще и внешнее, наносное знание — плакаты по агротехнике, вывешенные в правлении колхоза, рекламные рисунки вроде знаменитого кукурузного початка, из каждого зерна которого торчала забавная порослячья мордочка. Но для Дороша культура — это лишь то знание, которое входит в плоть и кровь, отвечает интересам крестьянина и усваивается им без принуждения. Оттого-то культура так враждебна налету, нахрапу, кампанейщине, приказу

«сверху». Культура и конъюнктура не уживаются вместе.

Дорош понимает слово «культура» в том широком и существенном его смысле, в каком употребил его В. И. Ленин в одной из последних своих статей «Лучше меньше, да лучше». «Именно о культуре ставлю я здесь вопрос, — писал Ленин, — потому что в этих делах достигнутым надо считать только то, что вошло в культуру, в быт, в привычки. А у нас, можно сказать, хорошее в социальном устройстве до последней степени не продумано, не понято, не прочувствовано, схвачено наспех, не проверено, не испытано, не подтверждено опытом, не закреплено и т. д.... Надо вовремя взяться за ум. Надо проникнуться спасительным недоверием к скоропалительно быстрому движению вперед, ко всякому хвастовству и т. д., надо задуматься над проверкой тех шагов вперед, которые мы ежечасно провозглашаем, ежеминутно делаем и потом ежесекундно доказываем их непрочность, несолидность и непонятость. Вреднее всего здесь было бы спешить. Вреднее всего было бы полагаться на то, что мы хоть что-нибудь знаем...»

Эти слова, сказанные в статье, которую мы вправе расценивать как часть идейного завещания Ленина, в применении к сельскому хозяйству приобретают особый смысл. Ведь земля, веками возделываемая крестьянином, природные и экономические условия сельского труда — это та объективная основа, почва, твердь, которая особенно не терпит поспешности и авантюризма и с которой шулки плохи. Тут, говоря словами Ленина, «ничего нельзя поделаться нахрапом или натиском, бойкостью или энергией, или каким бы то ни было лучшим человеческим качеством вообще».

Наука и техника, городская культура с такими материальными знаками своего влияния, как машины, радиоприемники, телевизоры, с властной неизбежностью завоевывает село, и можно только радоваться, глядя, как наступает она на всякую отсталость, косность и непросвещенность. Но нет ли в народной крестьянской культуре таких черт и особенностей, которые вредно было бы торопиться похоронить и разрушить?

Тот же широкий, исторический взгляд на вещи, который вызывает у автора уважение к древности, позволяет ему доказать, что народная культура, знание хлеборобом земли и его привязанность к ней — не по-

меха ни передовым достижениям науки, ни прогрессу общественного устройства. Сама наука выступает в благородной роли тогда, когда она воюет с невежеством и «пошехонской идиотичностью», но она выглядит совсем иначе, если авторитет ее имени используется против того, что выстрадано опытом земледельца. И разве мало нам было случаев наблюдать, как в союзе с канцелярщиной и субъективизмом, уродливо гипертрофирующими всякое частное новшество, наука становилась из созидательной силы силой тормозящей и разрушительной.

Дорош не устает сожалеть о том, что прожектёрская погоня за новым, надежда на чудодейственную силу благих пожеланий и указаний (что само по себе есть знак невысокой общей культуры) привели к вырождению некоторых былых отраслей сельского хозяйства и прибыльных, надежных крестьянских промыслов. Агроном Николай Семенович пытался, да не смог достать для хозяйки рассказчика — Дарьи Васильевны — «на полгрядочки» семян сельдерея. И это служит для автора и его приятеля поводом вспомнить названия утерянных ныне пряных растений, какие прежде возделывались в этих местах: базилик, эстрагон, майоран, иссоп, чабер, калуфер, мелисса, рута... Названия этих культур (опять это слово «культура», то есть то, что давалось долгим трудом, отбором, традицией) звучат ныне нашему уху как-то непривычно, будто заимствованные из ученой книги.

С терпением и наружным спокойствием, с каким высказывают не сегодня пришедшие в голову мысли, Дорош, знакомя нас с окрестностями Райгорода, всякий раз обращает внимание на то, как враждебны культуре канцелярское прожектёрство и административный пыл. Если новшество, даже само по себе привлекательное, противно интересам людей, которые имеют с ним дело, и вводится силой, ничего, кроме разрушения сложившихся форм труда, хаоса и неразберихи, ждать не приходится.

Острый ум может, правда, приготовить туг автору историческую контроверзу: де заставила же Екатерина русских крестьян сажать чужеземный фрукт — картошку, и ничего, не обижаются, едят ее уже два столетия, а как поначалу не хотели! Надо, однако, отдать должное здравому смыслу державинской Фелицы: заставляла она все-таки возделывать картофель, легко акклиматизировавшийся в нашей полосе, а не, ска-

жем, кокосы или бананы — иначе вряд ли затея эта легко сошла бы ей с рук.

Да и вообще говоря, как-то обидно слышать такое сравнение нам, современникам иной эпохи, приступившей к освоению космоса, — разве сколько-нибудь похож на прежнего темного крестьянина нынешний советский колхозник, разве так уж надо стараться втолковывать ему его выгоду?

Дорош показывает, как на своем приусадебном участке самый несознательный колхозник демонстрирует меру своей сметки и понимания — тут все приемы исконного опыта и новейшей агротехники идут в дело. Никакой косности! И упрасивать не надо следовать тем способам обработки земли, содержания скота и т. п., которые приносят наибольшую выгоду. Таким образом, ратуя за культуру, Дорош не опускается до «культурничества», просветительства. Его точка зрения реальная, земная. Речь идет о том, чтобы и на колхозном поле крестьянин всегда чувствовал себя таким же хозяином, как на приусадебном участке. А для этого он должен быть заинтересован в колхозном труде и материально, и, так сказать, морально, нравственно. Он должен знать, что никто не попускает его, не стоит над ним с палкой, не поучает его, как «ленивого простачка», а его труд, его добытое и выстраданное опытом знание земли признается и уважается всеми. «Я ведь знаю, я возле этого жизнь прожила», — говорит у Дороша колхозница. И в этом ее гордость, ее чувство собственного достоинства, не замечать или третировать которое попросту преступно.

То, что говорилось о производственной, так сказать, стороне народной крестьянской культуры, надо дополнить стороной нравственной. Народная культура складывалась из вековых навыков общения крестьянина с землей и природой, с восходами и закатами, дождями, солнцем и суховьями, со строгим распорядком сельскохозяйственных работ, диктуемых естественным календарем, с тончайшим знанием всех злаков и трав, законов поля и луга, — и из обихода дома, отношения к своему двору, коню... Уважительность, благорасположение, взаимоподдержка «мира» тоже составляли часть крестьянской бытовой культуры, упорно сохранявшейся в недрах дикого, темного, уродливого строя жизни старой деревни, какую мы представляем себе по повести Бунина «Деревня» или чеховским

«Мужикам». И в том, как вежливо, по имени-отчеству называет своих героев Дорош, слышится отголосок этого деревенского благообразия. Крестьянин должен был заботиться о своей семье, о близких, загадывать на год и на два вперед, чтобы прокормиться в предвидении неурожая, задумываться над тем, какое наследство оставит после себя детям. И здесь в простейшей, наивной как будто форме закреплялось то коренное нравственное качество всякой культуры, которое состоит в преемственности, в сознании своего места во времени — мысль, что ты не первый родился на земле и не все умрет с тобой.

У героев Е. Дороша — Ивана Федосеевича или Николая Семеновича — эти исконные черты народной культуры обогащены современным знанием и тем пониманием вещей, какое дала им советская власть. Духовный склад этих людей позволяет отнести их к народной интеллигенции в полном смысле слова. Интеллигентность, поясняет автор, защищая в разговоре с секретарем райкома Ивана Федосеевича, «мне кажется, начинается с того, что у человека обо всем есть свое, выработанное им, быть может даже выстраданное суждение, тогда как мешанин, напротив, руководствуется так называемым общепринятым мнением, расхожей истиной, не обременяющей ни ума, ни совести». Надо быть крепкой индивидуальностью, сознавать свое достоинство, чувствовать себя личностью, чтобы, как Иван Федосеевич, ни в чем не уронить себя, устоять даже тогда, когда приходится идти против течения.

Иной скажет, что в Иване Федосеевиче есть черты донкихотские, что его самобытность архаична и не приносит ему ничего, кроме неприятностей. Пусть! Мы все равно видим в нем настоящего героя современной деревни. Вот он напрочь отказывается выполнить нелепое указание и скосить на силос рожь почти восковой спелости. Его пробирают уполномоченные, честит местная газета, а он стоит на своем. Он не пуглив, и его не возьмешь «словесностью», демагогическими обвинениями в «антигосударственной практике». Человек, многие годы руководивший самым богатым в районе колхозом, Иван Федосеевич подходит к делу во всеоружии опыта и никогда не поступает своей совестью.

Культура, интеллигентность подразумевает, между прочим, и сопротивление «кам-

панейшине», которую так легко поддерживает слепая исполнительность, темный разум. Иван Федосеевич, человек партийный по своей сути, то есть деятельный и неравнодушный к народному благу, нетерпим к «шуму скоротечных кампаний». И автор имеет полное право сказать о нем, что «своеобычность его, неуступчивость, пренебрежение многими, по сути своей мешанскими условностями есть не что иное, как преломившиеся в ярком крестьянском характере черты большевистской принципиальности, стойкости, самоотверженности».

Е. Дорош замечает, между прочим, что не учить бы нам нужно Ивану Федосеевичу, а учиться у него. Речь идет не столько об агрономии, сколько о стиле руководства. Нелепо учить Ивана Федосеевича, что, как и в какие сроки удобнее сеять на земле, которую он изучил как свои пять пальцев. Иван же Федосеевич тем и силен, что сам ходит в учениках у жизни и умеет думать о завтрашнем дне.

Когда он слышит: «Слай, слай, слай...», — он не может вновь и вновь не задавать себе вопросов, от которых пошла кругом не одна председательская голова. Сегодня мы скосим травы до Петрова дня — будем рапортовать, что мы первые, а в будущем году рукой махнем на этот луг, где семя не успеет лечь на землю и дать хороший травостой? Сегодня мы выполним поставки по мясу, перерезав молодняк, а завтра будем горевать о сократившемся поголовье? Сегодня соскрежем по амбарам все до зернышка на хлебосдачу, а весной нам нечего будет сеять?

Короткий расчет, добровольное или вынужденное очковтиральство трудно уже объяснить лишь недостатком культуры: тут безволие и приниженность ходят об руку со своекорыстием и хищничеством, всем тем, что следует морали холопией поговорки: «После нас хоть трава не расти». И она в самом деле не растет, если очень постараться...

Но автора «Деревенского дневника» и его героя, напротив, сильно беспокоит мысль о будущем, о завтрашнем дне — живое чувство, враждебное произволу, своеволию, конъюнктуре, губительным в сельском хозяйстве. И это нимало не противоречит уважительному вниманию к прошлому, а, можно сказать, питается им, находя в нем опору для понимания бега времени, движения истории. Субъективизм

не выносит очной ставки с большими масштабами времени, ему несносно историческое чувство. Он не заглядывает ни назад, ни вперед и фабрикует героев сегодняшней конъюнктуры, рыцарей минуты, вся психология которых исчерпывается словами старинного романа:

Мне мгновенье — наслажденье,  
Остальное — трин-трава...

Сознательное отношение к прошлому и забота о будущем — признак устойчивости и жизнеспособности. Тот, кто не знает, не ценит опыта прошлого, старается поскорее забыть, что было вчера, не делает уроков из минувшего, тот и о будущем заботится мало. Самые глухие эпохи истории имеют самую короткую память. Это верно и по отношению к отдельному человеку.

В председателе колхоза из Любогостиц Дорош с уважением отмечает широту его духовного опыта, кровную связь сразу с тремя мерами времени — настоящим, прошедшим и будущим, а иначе сказать — с традицией, практикой и перспективой. В «Деревенском дневнике» мы найдем множество ценных экономических свидетельств, практических советов и ненавязчивых указаний, как лучше поставить хозяйство. У автора есть свое мнение и об укрупнении колхозов, и о сроках сенокоса, и о порядке закупок хлеба, и о многом другом. Но главное, что остается в сознании читателей Дороша, — это движение времени, ответственность всех нас перед историей.

События, описанные в книге «Дождь по полям с солнцем», относятся к 1957—1960 годам, и нынешний читатель этих очерков с удовлетворением отметит, что многие недостатки в жизни деревни, остановившие на себе внимание автора, исправляются ныне в согласии с последними решениями партийных Пленумов. Но надо отдать должное и гражданской ответственности, мужеству писателя, который давно начал говорить о том, что его волновало и тревожило. Он не иллюстрировал своими очерками уже принятых законов и постановлений, не вступал безопасно в проложенный до него след, а был одним из тех наших публицистов, статьи и очерки которых создавали подпор общественного мнения, призванный помочь партии улучшить положение в деревне.

Дорош писал вне расчета на конъюнк-

турный успех, а потому и заслуга его книги прочна. В пору, когда субъективизм в сельском хозяйстве не был еще развенчан, он выговаривал вещи серьезные и даже дерзкие тем спокойным, уравновешенным тоном, каким говорят правду давным-давно очевидную, сто раз обдуманную, но оттого не ставшую лишней.

И в этом отсутствии суетности, в достоинстве свободного рассказа мы слышим речь, обращенную не только к нашему времени, для которого все это прямая и понуждающая к действию злоба дня, но и к будущему. В каком-то смысле отношение Ивана Федосеевича к земле должно напоминать и отношение писателя к своему пахотному наделу — литературе. Как озабочен завтрашним днем герой Дороша, так не может не думать о нем и сам писатель, рассчитывающий на сколько-нибудь прочное значение им созданного. Можно сказать даже, что ответственность писателя перед своим временем неполна без чувства ответственности перед великой русской литературой, стоящей у него за спиной, и перед будущими его читателями. Вот когда не спасут ссылки на временные обстоятельства, на те или иные личные затруднения и опасения, помешавшие высказать правду.

Вспомним строгие слова Гоголя: «Если писатель станет оправдываться какими-нибудь обстоятельствами, бывшими причиной неискренности, или необдуманности, или поспешной торопливости его слова, тогда и всякий несправедливый судья может оправдаться в том, что брал взятки и торговал правосудием, складывая вину на свои тесные обстоятельства, на жену, на большое семейство, словом, мало ли на что можно сослаться. У человека вдруг явятся тесные обстоятельства. Потомству нет дела до того, кто был виной, что писатель сказал глупость или нелепость, или же выразился вообще необдуманно и незрело. Оно не станет разбирать, кто толкал его под руку: близорукий ли приятель, подстрекавший его на рановременную деятельность, журналист ли, хлопотавший только о выгоде своего журнала. Потомство не примет в уважение ни кумовство, ни журналистов, ни собственную его бедность и затруднительное положение. Оно сделает упрек ему, а не им».

Перечитывая этот горячий монолог, думаешь: почему мысль о потомстве, об ответственности перед людьми будущих поколе-

ний, такая естественная для наших классиков, так часто приходившая к ним, беспокоившая их совесть и понуждавшая к работе, так редко вспоминается писателями и критиками в наши дни?

Может быть, мы уже можем отдыхать спокойно, обеспечивши себе лавры, какими увенчают нас наши внуки? Или просто в том дело, что великие наши предшественники не могли рассчитывать на признание в настоящем и оттого обращали взоры к будущему, а нам апеллировать к потомкам — дело лишнее, отчасти даже неловкое...

Да, наши писатели не обижены вниманием своих современников. Но разве перед нами не возник гораздо более отчетливый,

чем когда-либо прежде, идеал будущего, того счастливого общественного устройства, который лишь в тумане виделся нашим предкам и который особой мерой ответственности должен проверять наши перья?

Тут нет, пожалуй, заносчивости и для самого скромного, но честного таланта иной раз оглянуться на себя и задуматься: а как ково буду выглядеть я со своим писанием через каких-нибудь десять, двадцать, пятьдесят лет, не говоря уж о более дальних исторических сроках.

Мне кажется, Дорш, склоняясь над рукописью «Деревенского дневника», временами задумывался и об этом. И потому я не сомневаюсь в почетном и долгом успехе его остро современной книги.



Д. ГОРБОВ

★

## ХУДОЖНИК И ЭПОХА

(Чешский роман об итальянском Возрождении)

### I

**П**олтора века тому назад Пушкин, совершая свой подвиг создания русской литературы, подвиг дарования ей внутренней свободы, расковал ее также и в том отношении, что научил говорить о чужом, как о своем, выражать свое через чужое, перевоплощаться в это чужое, вольно дышать своим собственным дыханием в чужом воздухе. Именно здесь — великий смысл «протезизма» Пушкина, его «вселенскости».

А в двадцатые—сороковые годы XX века мы наблюдаем нечто подобное в чешской литературе. Долго созревавшая в борьбе против чужеземного, через отталкивание от этого чужеземного и замыкания в своем, она, достигнув окончательной зрелости в условиях последнего великого Сопротивления, тоже перешла в наступление; в ней начался знаменательный процесс овладения чужеземным, процесс творческой переработки и усвоения его. Появилось не одно только умение глядеть окрест, но и искусство узнавать свое в чужом, познавать свое не только непосредственно, но и через чужое, подобное. Познавать и выражать это познание в исторически соответственных прекрасных формах.

И не случайно, конечно, первый взгляд переживающей свое возрождение чешской литературы притянула к себе именно эпоха итальянского Возрождения.

В 1948 году в Чехословакии вышел роман Франтишка Кубки «Улыбка и слезы Палечка»<sup>1</sup>. «Содержание моих историче-

ских произведений всегда злободневно,— говорит Кубка.— Впервые я всерьез обратился к историческому жанру, когда в Чехии свирепствовал террор оккупантов. Мои друзья умирали в тюрьмах и концлагерях. Незванные пришельцы и коллаборационисты пытались затемнить самосознание чешского народа и разорвать все его связи с отечественной исторической и культурной традицией. Я считал своим патриотическим долгом, насколько это было в моих силах, распахнуть окна в чешскую историю и в отрезанный от нас мир». Явилась книга о Палечке. «Это мой первый роман,— говорит Кубка.— Я писал его восемь лет, с 1941 по 1948 год». Создававший отчасти в годы оккупации, а затем в годы бурных послевоенных событий, приведших к краху буржуазной республики и возникновению народной социалистической Чехословакии, роман уже не ограничивается показом домашнего исторического прошлого: внимание его тянется к событиям мировой истории.

Герой романа Кубки — королевский шут Палечек, лицо полусторическое-полулегендарное. Но автор наполняет этот образ вполне конкретным современным содержанием: «Мой Палечек XV столетия стал для меня родным братом чешского прогрессивного интеллигента времен фашистской неволи».

Прототип — «друг молодости автора, коммунист-врач, который до самой смерти колесил и блуждал по Праге, принося знакомым и незнакомым утешение и надежду на лучшее будущее». Однако здесь важно подчеркнуть, что это только одна сторона дела, только одна составная часть того

<sup>1</sup> На русском языке роман Франтишка Кубки вышел в 1963 году в издательстве «Художественная литература».

сплава, каким является этот образ Кубки. «Я видел в нем человека Возрождения... Яркий свет Ренессанса, увиденный Палечком в Италии, развеял в его душе средневековую мглу...»

## II

В романе «Улыбка и слезы Палечка» тема итальянского Возрождения еще не заполняет всего поля зрения; это еще роман на чешские темы; продолжается борьба чешского народа за свое национальное лицо, а итальянская тема связана с тем, что всенародно избранный чешский король Иржи вступает в борьбу с папой за частичную независимость Чехии от Рима в области религиозно-политической.

Но образ Италии в преддверии к Высокому Возрождению (вторая половина XV века) дан очень цельно, с большой прелестью и значительной исторической содержательностью. Этот образ не только противопоставлен суровому образу послегусистской Чехии, но и контрапунктирует с ним, оттеняя его и проникая внутрь него. Король Иржи показан как политический деятель европейского масштаба, а главный герой — чешский патриот Палечек, кончивший курс в Падуанской академии, — живое воплощение Ренессанса в некоем чешском варианте. Повествование играет яркими красками, изобилует острыми положениями, полно воздуха и отличается чисто ренессансной пышностью, непринужденностью, свободой.

Другой чешский роман на тему об итальянском Возрождении — «Камень и боль» писателя Карела Шульца (кстати сказать, принадлежавшего вместе с Фучиком, Чапком, Ванчурой к замечательному литературному объединению «Девятсил» и участвовавшего в его творческих поисках) — уже безраздельно посвящен итальянскому Возрождению, притом эпохе высшего его расцвета, периоду Высокого Возрождения (конец XV — начало XVI века). Речь в нем идет о жизни Микеланджело. Оба романа писались одновременно: Кубки — с 1941 по 1948 год, Шульца — с 1942 по 1943 год, когда смерть прервала работу писателя. Вещь осталась неоконченной; повествование доведено до 1508 года, до переезда Микеланджело в Рим для росписи потолка Сикстинской капеллы. Перед нами, таким образом, роман о молодости и творческом становлении великого художника.

Написанные в условиях оккупации, оба

исторических романа чрезвычайно актуальны, представляя собой особую форму борьбы с ней; в них чешский народ, с помощью своих художников слова, через голову немецко-фашистского варварства, протягивает руку к высшим культурным достижениям человечества, как бы говоря: я принадлежу человечеству, и эти ценности принадлежат мне, и никакое насилие не в состоянии этого изменить. Мастерство, свобода и красота, с которыми я перевоплощаю их в своем творческом слове, — непрерываемое свидетельство моего права на них. И в этом — мой ответ нацистскому разбою, не менее веский, чем те удары, которые он получает на других фронтах.

Таков общественный смысл обоих романов. Но в Шульцевой трактовке материала есть и нечто большее. Герой Кубки — чех; он принимает к роднику Возрождения и упивается его живой водой, всем существом своим ощущая всю ее необходимость для развития, процветания и счастья чешского народа; автор в какой-то мере, очень тактично, не нарушая художественной цельности, все же присутствует в повествовании, глядя на события глазами своего мудрого шута и произнося суд над ними его словами.

А у Шульца не так. Тут мало говорить об артистической свободе и раскованности воспроизведения. Тут надо говорить о другом.

## III

Общеизвестна классическая характеристика эпохи Возрождения, данная Энгельсом во введении к «Диалектике природы». «Это был величайший прогрессивный переворот из всех пережитых до того времени человечеством, эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страсти и характеров». И несколько выше: «В Италии наступил невиданный расцвет искусства, который явился как бы отблеском классической древности и которого никогда уже не удавалось достигнуть»<sup>1</sup>.

Эта итоговая характеристика очевидным образом требует раскрытия явления, проникновения в глубь процесса, его породившего. И Энгельс тут же указывает путь к такому проникновению. Он говорит, что

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 346.

«герои того времени не стали еще рабами разделения труда... Но что особенно характерно для них, так это то, что они почти все живут в самой гуще интересов своего времени, принимают живое участие в практической борьбе, становятся на сторону той или иной партии и борются кто словом и пером, кто мечом, а кто и тем и другим вместе. Отсюда та полнота и сила характера, которые делают их цельными людьми»<sup>1</sup>.

Речь идет, таким образом, о динамической цельности — цельности, осуществляемой и отстаиваемой в борьбе духовной и практической.

Понятая в этом смысле цельность является тем критерием, который позволяет судить о степени глубины и верности того или иного отражения той эпохи. Именно с этой точки зрения, конечно, и следует судить о романе Шульца: насколько глубоко и цельно воспроизведен там характер Микеланджело, характеры других действующих лиц — тех великих и малых титанов, которыми наполнены страницы романа, — наконец характер эпохи в целом.

#### IV

Роман Шульца о Микеланджело (он в скором времени выйдет в русском переводе в издательстве «Художественная литература»), конечно, не первая попытка дать цельный образ той великой эпохи. И нам будет легче оценить его по достоинству, если мы поставим рядом с ним два произведения, созданных прежде, но уже в наше время или на подступах к нему.

Известный роман Д. Мережковского «Леонардо-да-Винчи» вышел как раз на рубеже нашего столетия — в 1900 году, в самый канун тех грандиозных событий, которые привели человечество, говоря словами поэта, к «невиданным переменам». Русско-японская война, 1905 год в России, первая мировая война, Октябрь и возникновение советской власти, ряд европейских революций, появление фашизма и его разгром — вся эта цепь великих мировых катаклизмов, все, что присутствовало в сознании Шульца, когда он писал свой роман, — для автора «Леонардо-да-Винчи» еще не существовало. Символист и мистик Мережковский писал свой роман в некоем

(хотя и кажущемся) историческом затишье; он мог делать вид, что не замечает надвигающегося исторического урагана — вернее, мог выражать предчувствие его грозного приближения лишь в отраженной форме борьбы двух мистических ипостасей — Христа и антихриста. А когда гроза разразилась, пришел Октябрь, — автор «Леонардо» попросту удалился в эмиграцию, где и умер.

Но роман его, в котором широко использован архив Леонардо, интересен прежде всего как документ той эпохи, когда он был написан, и — само собой — документ, рисующий общественную позицию автора. «Тишина» этой эпохи и этой общественной позиции отразилась прежде всего в выборе главного героя: это — отнюдь не бунтарь Микеланджело, это — созерцатель Леонардо; да и его образ дан сугубо «тишайшим»: это — свободомыслящий мудрец, отнюдь не деятель. Такое понимание предопределило весь стиль романа. В нем, конечно, даны исторические события, но как необходимый фон. Если там что и рокошет, то лишь в отдалении, чтоб мы еще ясней почувствовали царящую в душе Леонардо тишину. Изложение — спокойное, ясное. Основная идея — безнадежность, одиночество и бесплодность всякого дерзновенного мыслительного поиска самого по себе. Что же ему противопоставляется? Слияние мысли с действием? Нет, с верой. Начало антихриста — познание — должно слиться с началом Христовым — верой, — вот единственный выход для человечества и конечная цель исторического процесса. Что же касается действия, то оно, наоборот, отмечается. Именно из-за этого не попал в герои романа Микеланджело. Это очень важный момент, и мы на нем остановимся.

Известно, что между Леонардо да Винчи и Микеланджело не было приятни. Слишком многое разделяло их в самом подходе к тому, что составляло дело жизни обоих — к искусству. Как-то раз произошло открытое столкновение. О нем повествуют и Мережковский и Шульц. Как выглядит эта сцена у Мережковского?

«Проходя мимо навеса, увидел Леонардо собрание полужнакомах людей... «Мессере, мессер Леонардо! — окликнули его. — Пожалуйте сюда, разрешите-ка наш спор». Он остановился. Спорили о нескольких загадочных стихах... в тридцать четвертой песне Ада..» Пока ему читали неясный

<sup>1</sup> К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 347.



текст, «Леонардо, немного прищутив глаза от ветра, смотрел вдаль, в ту сторону... откуда... тяжелою, неуклюжею, точно медвежьей поступью шел небрежно и бедно одетый человек, сутулый, костлявый, с большой головой, с черными, жесткими, курчавыми волосами, с жидкой и клочковатой козлиной бородкой, с оттопыренными ушами, с широкоскулым и плоским лицом. Это был Микель-Анжело Буонаротти». Далее следует подробное описание неприглядной наружности Микеланджело.

«Леонардо всегда надеялся, что ссора его с Буонаротти кончится миром... Такая тишина и ясность были в сердце его в эту минуту, и он готов был обратиться к сопернику с такими добрыми словами, что Микель-Анжело, казалось ему, не мог не понять. «Мессер Буонаротти — великий знаток Аллигиери,— молвил Леонардо с вежливою, спокойною улыбкою, указывая на Микель-Анжело.— Он лучше меня объяснит вам это место». Микеланджело, услышав имя свое из уст Леонардо, остановился и поднял глаза. Увидев ясную улыбку соперника и пронизательный взор его, устремленный невольно сверху вниз, потому что Леонардо был ростом выше Микель-Анжело, робость, как это часто с ним бывало, мгновенно превратилась в ярость... Наконец, он с усилием проговорил глухим, сдавленным голосом: «Сам объясняй! Тебе и книги в руки, умнейший из людей, который доверился каплунам-ломбардцам, шестнадцать лет возился с глиняным Колоссом и не сумел отлить его из бронзы — должен был оставить все с позором...» (Разрядка моя.— Д. Г.)

Как мы видим, вся сцена отмечена печатью решительного морального превосходства Леонардо над Микеланджело... Последний «чувствовал, что говорит не то, что следует...». Ему не хватает обидных слов для унижения Леонардо. Он глядит на противника «с презрительной усмешкой, которая ему не удавалась, только искажала лицо его судорогой, делая еще безобразней».

Итак, все совершилось, как предупреждала Монна Лиза во время одного из сеансов, когда она позировала Леонардо, писавшему ее знаменитый портрет: напрасно, мол, Леонардо думает, что Микеланджело, в конце концов преодолев свою ревность, порожденную робостью и неуверенностью в себе,

поймет всю его, Леонардову, благожелательность, готовность признать превосходство Микеланджело. «Может быть, возражает Монна Лиза, мессер Буонаротти силен, как ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом. Но нет у него тишины, в которой — Господь. И он это знает и ненавидит вас за то, что вы сильнее его,— как тишина сильнее бури».

Таков смысл знаменательнейшего по своему «ноуменальному» значению события эпохи — спора двух титанов Возрождения, изображенного русским писателем-символистом на рубеже нашего века.

## V

Но пройдет еще какое-нибудь пятилетие — и многое, очень многое изменится. Обстановка, художник, картина. Грянул первый раскат мировой бури — русский 1905 год. На авансцену выступили новые, демократические силы. Ромен Роллан в 1908 году выпускает свою книгу на великую тему о Возрождении. Его герой — уже не Леонардо. Он создает «Жизнь Микеланджело». В книге нет Леонардовой тишины, уводящей прочь от бурь — в созерцание. Но можно ли сказать, что вот она-то уже вторит буре с небосклона? Посмотрим.

«Леонардо был человек статного сложения, обходительный и вежливый. Однажды он прогуливался с приятелем по улицам Флоренции. На нем была длинная до колен розовая туника; волнистая борода, искусно завитая и расчесанная, струилась по его груди. Возле церкви Санта-Тринитта несколько флорентийцев обсуждали какое-то непонятное место из Данте. Подозвав Леонардо, они попросили его разъяснить им смысл этого отрывка.

Мимо как раз проходил Микеланджело, и Леонардо сказал: «Вот Микеланджело, он вам объяснит, что значит этот стих». Микеланджело, думая, что Леонардо насмехается над ним, желчно ответил: «Сам объясняй, ты ведь великий мастер, сделал гипсовую модель коня, а когда надо было отлить его из бронзы — застрял на полдороге, опозорился». С этими словами он повернулся спиной и продолжал свой путь. Краска бросилась в лицо Леонардо, но он промолчал. А Микеланджело, не довольствуясь этим и желая еще сильнее уязвить соперника, крикнул: «Только твои остолопы-миланцы могли поверить, что ты спра-

вишься с такой работой!..» «И вот этих-то двух людей,— заключает Ромен Роллан,— гонфалоньер Содерини решил противопоставить друг другу, поручив им одну работу... Так начался поединок между двумя величайшими мастерами Возрождения».

Было бы большой ошибкой за протокольным сходством (если не тождеством) обоих отрывков не заметить разительной разницы: у Романа Роллана этот эпизод — столкновение всего лишь двух лиц, в котором едва намечены характеры; а у Мережковского тут — столкновение двух начал, двух резко обозначенных принципов, двух символов, противоречие которых составляет внутреннюю духовную драму эпохи.

«Отдаваясь безраздельно своим страстям и своей вере, Микеланджело ненавидел противников своих страстей и своей веры,— комментирует этот эпизод Ромен Роллан,— но еще сильнее ненавидел он тех, кто был чужд всяких страстей и лишен всякой веры». А именно таков был Леонардо. Мягкая, несколько даже застенчивая натура и ясный скептический ум, ничем не скованный и все понимающий, далекий от родины, от религии, от всего мира, чуждающийся кипевших тогда во Флоренции страстей и чувствовавший «себя хорошо только в обществе тиранов, как и он сам, свободных духом».

Мы видим, что, переместив свое авторское внимание с Леонардо на Микеланджело и удалившись от индивидуалистического, символистского понимания эпохи, Ромен Роллан (не забудем, это еще только 1906 год) делает все же попытку дать конфликту «объективное», «беспристрастное» толкование. «Поединок между величайшими мастерами Возрождения» в конце концов сводится к тому, что им обоим заказано по фреске в зале дворца Синьории. «Флоренция разделилась на два лагеря, одни горой стояли за Леонардо, другие — за Микеланджело. Время сравняло все,— ставит точку Ромен Роллан.— Оба произведения погибли».

Конечно, задача биографа не вполне совпадает с задачей романиста; первому объективность более пристала<sup>1</sup>. Но и ему не избежать необходимости истолкования

фактов и характеров, тем более, если в роли биографа выступает художник слова. И Ромен Роллан истолковывает события, создает образ и характер своего героя. В чем же видит он драму жизни Микеланджело, смысл его борьбы?

«Трагедия Гамлета! Мучительное несоответствие героического гения отнюдь не героической, не умеющей желать воле и неукротимым страстям...»

Отсутствие гармонии между человеком и действительностью, жизнью и законами жизни даже у великих людей всегда порождается не величием их, а слабостью...» «Судьба, описанная нами здесь, трагична потому, что она являет пример врожденного страдания, которое коренится в самом человеке, неустанно подтачивает его и не отступится до тех пор, пока не завершит своего разрушительного дела...»

Итак, заменив титана-созерцателя Леонардо титаном-борцом Микеланджело, Ромен Роллан затем делает резкий шаг назад, выдвигая на первый план навязанные облику Микеланджело исторической обстановкой черты слабости и растерянности, одиночества, он превращает своего героя в смиренного и бессильного перед лицом своей эпохи страстотерпца-христианина. «Это — один из наиболее ярких представителей того великого человеческого племени, которое вот уже девятнадцать веков оглашает Запад стенаниями скорби и веры; это — христианин», — говорит он.

Мережковский — весь в старом — признает титанизм Микеланджело, хоть относится к нему враждебно, видя в нем слепую силу; Ромен Роллан (в 1906 году) — тут уже новое — всей силой своей гуманной природы симпатизирует Микеланджело, делает его своим героем, но отказывает ему в титанизме, несмотря на такие цитаты, как вот эта из биографии, написанной учеником Микеланджело Асканио Кондиви: «Однажды, проезжая верхом по окрестностям Каррары, он (Микеланджело.— Д. Г.) увидел возвышающуюся над морем скалу; ему страстно захотелось превратить ее всю, от подножия до вершины, в статую колосса, который был бы виден издали мореплавателям. Он и выполнил бы свое намерение (в котором, однако, не видно ни слабости, ни христианского смирения, прибавим мы от себя.— Д. Г.), если бы имел на то время и соизволение папы (с которым

<sup>1</sup> Блестящий образец такого рода объективной научной биографии — книга А. Дживилевова «Микеланджело» (в серии «Жизнь замечательных людей». «Молодая гвардия». 1938).

был связан контрактом на постройку папской гробницы.— Д. Г.)».

Немало еще воды утечет, прежде чем фигура Микеланджело будет измерена в полный рост — во всех ее правильно понятых противоречиях.

## VI

Пройдет ровно три с лишним десятилетия. Но за это время не только много воды утечет. За это время обрушатся миры и на их месте возникнут новые. И вот новый художник слова, находясь отнюдь не в затишье и не в преддверии великого социального катаклизма, а в самом эпицентре его, создает новую книгу о Микеланджело. Все здесь иначе — и, конечно, отнюдь не по прихоти автора. Не спокойный, ясный, стройный, упорядоченный роман о художнике-мыслителе, не уснащенную цитатами научно-образно-объективную биографию или житие непонятого своим временем художника-страдальца пишет он. Перо в руках у этого писателя — резец. Он не рассказывает о своем герое. Он перевоплощается в него. Перевоплощается в его эпоху. Кидается в нее стремглав, как в бурные волны своей собственной современности. На всем повествовании лежит печать того самого неистова, которую носит на себе и творчества главного героя. Действительность? Эпоха? Вот она — вся перед нами. И не в сторонке, как фон, а мы сами — в ней. Недаром чешская критика называет стиль романа барочным — за избыток кипения жизни. Мы не только все видим воочию, мы соучаствуем во всем.

И прежде асаго, конечно, в становлении Микеланджело — ваятеля и борца Он выплывает откуда-то из недр эпохи, с которой у него один и тот же подслушанный автором единый ритм. Неразрывно связанный с эпохой, он в то же время жестоко единоборствует с ней Первая работа его — «Мадонна у лестницы» «Моей Мадонне не хватает улыбки. Привыкли, чтоб она улыбалась. Мария снисходит к человеческим скорбям. А моя Божья мать не улыбается. Моя Божья мать не снисходит. Она — повелительница, царица А все-таки сидит у лестницы. Так сидят одни нищенки». И младенец не благословляет, «как привыкли». Так рожденный в недрах своей эпохи титан сразу начинает поднимать голову Ничуть не страдательно, совсем не по-христиански. Неплохое начало для че-

ловека, которого пытались объявить гонимым судьбой жертвенным христианином.

Следующий шаг — «Битва кентавров с лапифами» Царь лапифов Иксион полюбил Юнону, Юпитер послал ему призрак великой богини, и смертный, соединившись с этим призраком, стал родоначальником дикого племени получеловеческих чудовищ — кентавров; их битва с народом лапифов и победа последних над ними знаменовали торжество человеческого начала над звериным, или духа над материей, в толковании придворного философа Медичи — платоника Полициано. «Но Микеланджело, после первых же ударов по камню, забыл о смысле поучительно-философского сказания...» Его сознание художника заполнено другим. «Он нашел форму. Почувствовал до тех пор не испытанное острое наслаждение пропитать камень пленительной, гибкой формой борющихся друг с другом тел, создать произведение из сплетенных рук и ног... Заставить играть множество форм, слив их при этом в единый образ силы и напряженных мышц,— человеческие тела, яростно связанные в узел и спутанные, обрисовать в борьбе разнообразнейшие и сложнейшие движения мужской фигуры — выпрямленной, замахнувшейся, падающей, поверженной, вырвавшейся из тисков вражеских рук. Какое ему дело до античности!. Тело!. Не античное, спокойное тело, а тело в стремительнейшем напряжении форм.. Вся картина кричит. Это формы, обладающие голосом. Формы горячие, распаленные. Жизнь, хлещущая сквозь пластическое напряжение сражающихся мышц...»

Нет, не христианином — вопителем вступил Микеланджело в жизнь, с первых же шагов отмечая противоречия и подымая на щит властное, жесточенное, победоносное творчество. Творчество форм, а не правил морали, не претворение материи в дух, а претворение ее в образ.

Вот Микеланджело стоит в раздумье перед приобретенной им каменной глыбой... «Он... положил на мрамор обе ладони. Это было движение чистое и любовное. как если б он нежно прикоснулся к любимой голове, успокаивая ток крови в ее висках. Он чувствует, чувствует. Таинственная, стремительная, лихорадочная жизнь бушует где-то там, в темной материи, он слышит, как она зовет, кричит ему, чтоб он освободил ее, дал ей форму и язык... Обнаженный и морозно-холодный, камень пылал жарчайшим внутрен-

ним огнем. Со суды, которыми он пронизан, были напряжены и наполнены пульсирующей мраморной кровью.— сухие на поверхности и горячие внутри... Он передвинул руки немного выше. Здесь трепет затихал, здесь наступило гайное спокойствие, но и оно было глухое, там была большая глубь... Но чуть дальше руки его пронзила острая боль, там было, видимо, самое уязвимое место камня, вся материя вздрогнула, словно он коснулся обнаженной раны, всади он сюда резец, сердце камня тут же разорвется, и глыба рассыдется. Нет, сюда нельзя, нанести удар здесь — значит умертвить камень... Даже если б не раскололся, все равно умер бы, стал бы медленно чахнуть и, в конце концов, рассыпался бы в прах... Под этим местом в камне таится смерть. И наоборот, вот здесь — сила камня, узлы его вздутых мышц, которые нужно раззять, чтобы открыть доступ к сердцу. Здесь он раскроет камень и вырвет его сгорающую внутри жизнь, здесь мощь и объем, и начало удара. Он выпрямился. Ничего вокруг не видя, ничего не слыша, думая только о камне. Сердце его билось где-то там, внутри глыбы, кровь его текла по мраморным жилам, камень стал сильнее его, он высился перед ним, как огромные тяжелые ворота, как судьба. И он сжал в руке резец, как единственное оружие, как оружие и против самого себя...»

Раскрытие этого внутреннего процесса построено Шульцем на основании свидетельства самого Микеланджело. «Когда совершенное и божественное искусство порождает идею формы и движений человеческой фигуры, то первым преломлением этой идеи будет простая модель из скромного материала. Затем в диком и полном силы камне осуществляются обещания молота, и идея обретает новую жизнь в столь совершенной красоте, что никто не может ограничить ее вечность», — говорится в одном из его сонетов. И еще яснее — в другом: «Величайший художник не имеет ни одной идеи, которую глыба не таила бы в себе. И она — то единственное, чего может достигнуть рука, повинующаяся разуму».

Итак, поиск формы, ничего больше? Столько нравственных усилий, такая напряженная духовная борьба, столь острые и даже ожесточенные драматические коллизии, и в итоге — всего-навсего художественная форма!

Тогда заслуживает ли этот открыватель форм названия титана?

Или что же она такое — эта художественная форма, служившая не для одного Микеланджело только, но и для всех «титанов Возрождения», а вслед за ними — для каждого светского (то есть не работающего на определенную церковь) художника великой целью?

Исчерпывающий ответ на этот вопрос дает глава романа под названием «Боязнь чего-то, не имеющего формы». Микеланджело с детских лет страдал припадками панического ужаса перед бесформенным (отчасти напоминающими страх Паскаля перед бездной или страх Ипполита в «Идиоте»). Ромен Роллан увидел в этом лишь изъян нервной системы, индивидуальную слабость, болезненно развившуюся вследствие внутреннего одиночества. Шульц раскрывает глубокий творческий смысл этого явления: художник воплощает в наиболее чистом и сильном виде великое неистребимое свойство человека — жажду быть «демиургом», преобразователем враждебного бессмысленного хаоса в радостный светлый космос. Движущая Микеланджело ненависть к хаосу — начало творческое, и одно из величайших достижений эпохи Возрождения состоит в обмирщении этого чувства, до тех пор отчуждавшегося в пользу бога, который, по библии, создал мир, надо думать, тоже из страха перед хаосом.

Пересказывать главу нет надобности. Здесь приведем лишь одну фразу, сказанную (вернее, подуманную) великим ваятелем по поводу его «Лапифов и Кентавров»: «Все требует формы, чтобы быть познанным». Что же еще можно ждать от художника? Ведь это и есть его историческое, вселенское дело. Для кого-кого, а уж для него-то форма полна содержания. У Микеланджело эти поиски скрытой в диком камне формы приводили к созданию Давида, Бруга, рабов... Ибо когда художник говорит о форме, он говорит о воплощенной идее. И это — единственное содержание, которое он знает. Идея не воплощенная для художника не существует: она для него бессодержательна.

## VII

Как же подан в романе Шульца конфликт между Микеланджело и Леонардо? Это очень существенно, так как ссора между

двумя великими творцами нового искусства, при всей биографической эпизодичности столкновения, является как бы оселком, позволяющим установить ценность и глубину философской позиции биографа-художника. Мы уже видели изображение этого драматического момента у Мережковского и Романа Роллана. У первого смысл эпизода вскрыт применительно к основной философской идее автора: неистовый волюнтаризм Микеланджело посрамлен в угоду аналитической созерцательности Леонардо. А Роман Роллан вовсе не ставил себе задачи вскрыть идейный смысл столкновения; его занимает лишь психологическая сторона вопроса: измученный трудностями жизни, неуверенный в себе страдалец допускает несправедливый, но прощительный в его положении выпад против раздражающего своей сдержанностью и учтивостью конкурента:

С позицией Романа Роллана стоит сопоставить еще одно изложение означенного события: в вышедшей в 1961 году в Лондоне книге американского писателя Ирвинга Стоуна «Муки и восторги. Биографический роман о Микеланджело». Биография, написанная Стоуном, содержит много ценного материала: излагается в беллетристической форме жизнь художника, не выходя за пределы фактов. По Стоуну, вся ссора сводится к тому, что Леонардо недооценивал значение и возможности скульптуры, ставя гораздо выше живопись, и это больно заделало Микеланджело, который чувствовал себя прежде всего ваятелем. К тому же пренебрежительный отзыв о ваянии со стороны такого авторитета, как Леонардо, мог повредить оценке Давида. Отсюда едкие слова Микеланджело о неспособности Леонардо к ваянию, сказанные в лицо последнему. А через некоторое время Микеланджело и вовсе мирится с Леонардо, придя к нему на дом, чтоб перед ним извиниться и выразить ему сожаление по поводу гибели его фрески «Битва при Ангиари».

Вернемся теперь к Шульцу. У него мы видим и сцену столкновения на улице (как у Мережковского и Романа Роллана), и сцену посещения (у тех двух отсутствующую). Но все здесь по-другому. В обеих сценах Микеланджело — это не иступленный, яростный слепец, неукротимо действующий, но плохо отдающий себе отчет в смысле своих действий (Мережковский), не угнетаемый жизненными неудачами, гонимый

вихрями судьбы странник (Роман Роллан) и не задетый собратом по ремеслу самолюбивый художник (Стоун), хотя и у Шульца он и неистов, и гоним судьбой, и профессионально дорожит своим искусством больше жизни. В чем же существенное, радикальное отличие его образа у Шульца от того, что дали другие?

В том, что здесь Микеланджело — великий правдоискатель, глядящий в глубь явлений, с которыми ему приходится иметь дело, сметающий все, с чем не может мириться его совесть, отстаивающий каждым творческим шагом своим свойственное ему понимание жизненных ценностей.

Разница ощутительна уже в первой, «уличной» сцене. У Шульца Микеланджело не зря пришел в неистовство. Леонардо не просто уступает ему роль толкователя Дантовых темнот. Он говорит: «Вот здесь великий Микеланджело Буонаротти... Он истолкует вам неясные стихи об искусстве. Он! Потому что для него нет ничего неясного ни в Данте, ни в Искусстве... Мы жаждем, а вы заставляете нас так долго ждать... Дайте же нам хоть объяснения Данте... хоть этого не скрывайте от нас забором (Ядовитый намек на то, что Микеланджело ваял в это время под открытым небом своего Давида, до поры, до времени окружив его от посторонних глаз глухой изгородью.— Д. Г.)».

«Микеланджело почувствовал себя так, словно со всех сторон по нему бегают маленькие хитрые глаза ящериц, насмехающиеся над его запыленным, окаменелым лицом, порванной рабочей одеждой, натруженными руками (Он возвращался домой с работы над своим Давидом.— Д. Г.)». Язвительность Леонардовых слов, величественный, княжеский тон, каким они были сказаны, обшитый серебром лиловый хитон Леонардо и распространенное им благоухание духов асфоделей — вот что приводит в бешенство Микеланджело, недомогающего, усталого, с глазами, полными едкой пыли, с руками, стертymi резцом и молотком, с мраморной крошкой в волосах... Последовал взрыв, полный уже знакомых нам оскорбительных выпадов по адресу Леонардо.

Уже в этой сцене социальный смысл конфликта — благодаря резко обозначенной, выразительной светотени — раскрыт глубже, чем у Романа Роллана. Но философское

содержание здесь еще не затронуто. Для того, чтобы раскрыть и исчерпать его до дна, раскрыв через это и свое философское понимание эпохи, Шульц вводит совершенно новую сцену — сцену посещения. Но только это не учтивый визит одного художника другому, равно великому. Это тайное, ночное посещение. И приходит не Микеланджело к Леонардо — извиниться за то, что наговорил лишнего, а наоборот: Леонардо приходит к обидевшему его Микеланджело — для того, чтобы... Сейчас увидим для чего. Но сперва — почему ночью? Потому что, по словам Леонардо, «ночь всегда обнажает сердце человеческое больше, чем дневной свет... есть такие правдивые слова, которые мы находим только ночью... Это как бы речь глубины...»

И вот он пришел договориться. О чем? О новом заказе? Нет. Сказать, что Флоренция для нас двоих мала?.. «Я думаю, — холодно возражает Леонардо, — что весь мир мал для нас двоих. Но нам надо либо стать открыто врагами, либо заключить вечный мир, чтобы не доставлять миру зрелище борьбы двух великих». — «Но с какой стати нам вступать в борьбу?.. Мы ведь идем каждый своей дорогой...» В ответ на это Леонардо предлагает свое объяснение их вражды, последовательно отвергая более поверхностные толкования и доходя до самого существенного: «Вы шли с работы, усталый, измученный, весь в грязи и пыли. Я не могу жить без блеска и роскоши, без благовоний, изысканности и т. д. Но не в этом причина вашей в спышки. Здесь есть что-то глубже, загадочней. Вы не скажете — что?» — зондирует Леонардо своего собеседника. «Пусть скажут другие, которые будут судить о наших творениях», — отвечает Микеланджело. «Нет, зачем предоставлять другим то, что мы можем сказать друг другу сами?» И Леонардо дает свое объяснение разделяющей их обоих вражды. Ее источник — противоположный взгляд на творчество. «Вы набрасываетесь на все... Одолеть, овладеть. Покорить. Поработить». А «цель не в том, чтобы навязать материи свою волю — излить в нее свои мысли и страсти... дело идет о чем-то гораздо более трудном и драгоценном... оставить ей ее жизнь... раскрыть загадку этой жизни... постичь ее... материя хочет жить своей жизнью... не мешайте ей... укажите только на ее тайны...» — «Нет, — возражает Микеланджело, — ...я должен сперва понять

свое собственное сердце... Только так можно творить по-настоящему...» — «А что значит — творить по-настоящему?»

Этот скептический вопрос Леонардо заставляет Микеланджело сравнить своего собеседника с Пилатом. И это первое, что их разделяет — проникновенного созерцателя жизни и борца. Расселина уходит вглубь. Между ними не только разногласие — между ними ненависть (со стороны Микеланджело). «Вы правы, я ненавижу вас... оттого, что вы один из тех... других... Те... там снаружи... огромное стадо, к которому я чувствую отвращение... Время! Все вы, создающие это время... Я задыхаюсь в этом времени, оно валится на меня, как поток... стою, увязнув по плечи в какой-то грязи, мерзости, нечистотах... Меня мучает и терзает это время... я не могу от него убежать, но должен как-то его одолеть. Этому миру уже ничего не спасти. Он окончательно погиб. Но я не хочу гибнуть. Я должен победить вас всех, вставших передо мной, как великан в чешуйчатой броне...» — «Чем?» — «Да хсть просто камнем... как он... Давид!» — «Но Савонарола тоже хотел победить время и пустил в ход самое сильное оружие — мученичество. Разве камень — ваше мученичество?» — иронически спрашивает Леонардо. «Не один только камень... — тихо возразил Микеланджело. — Еще боль. Удары».

Смысл творчества Микеланджело как борьбы против своего времени, борьбы, основанной на «понимании своего собственного сердца», встает во весь рост. «Символ вашей жизни — победить ударом, камнем, — говорит Леонардо. — А меня вы считаете частицей великана, которого сразил Давид. Да, я рад, что работал в такое время, которое позволило человеку пустить в ход все свои способности, которое освободило его... Но... разве я не отвергаю этого времени, не презираю его? Все мы, люди духа — изгнанники, слуги сильных, которые торгуют нашими именами... Тут мы поняли бы друг друга скорей всего... Ведь никому не убежать безнаказанно от своего времени». Истинная и конечная причина другая. Леонардо выражает ее несколько сложно, но смысл предельно ясен. Проследим за его мыслью. Она имеет очень важное значение для понимания его самого, а главное — для понимания Микеланджело. «Я все время стремлюсь раскрывать новые и новые тайны, в этом мое бегство от вре-

мени... в том, чтоб познать, проникнуть, исследовать, постичь!.. Где-то есть точка, из которой все исходит и в которую все возвращается... события жизни и судьбы... добро и зло — единый источник всего... для меня искусство только проводник к великим тайнам... все выходит из одной точки и возвращается в нее... нет различия между добром и злом...»

И тут наступает окончательный разрыв. «Вы навострите ужас, Леонардо... Уходите!.. Теперь я знаю, что нас разделяет... Я всегда буду помнить, куда упал бы, если б пошел по твоему пути...»

### VIII

Но реален ли такого рода конфликт между двумя гениями, делавшими (вместе с третьим, тогда только начинавшим свой путь Рафаэлем) одно и то же дело? Вернее, имел ли право современный романист прочитать этот исторически достоверный конфликт именно так? Дает ли творчество этих гениев пищу для такого толкования разделявших их противоречий? И поскольку любой гений — сын своей эпохи, благоприятствовала ли эпоха Высокого Возрождения возникновению такого рода противоречий, были ли они тогда возможны и неизбежны?..

Старое рухнуло Италия (а в ней, как в своем прообразе, все средневековье) превратилась в атомный котел, где все сместилось, сорвалось со своих якорей, помчалось в пространство. Каждая часть, стремясь утвердиться в своей отдельности и самостоятельности, но продолжая свой распад, выделяла огромное количество скрытой «внутриатомной» энергии, но в то же самое время самым процессом этого излучения закрепляла свою ограниченность и недостаточность. Ибо ничто обособленное, какие бы ни таило оно в себе запасы энергии, не может быть полным и совершенным. Все хочет вернуться к истинному своему значению и не в силах сделать это. Церковь, превратившаяся в светскую блудницу и архисводню, едва выдвигнув из собственных недр своеобразного очистителя Савонаролу, тут же и уничтожает его. Мирская власть, рассыпавшись на отдельные куски в виде княжеств-тираний, стремится к высшему своему единству — цезаризму, но ни один из рвущихся к цезарской власти кандидатов, даже самый талантливый и безжалостный из них — Цезарь

Борджиа, не в состоянии совершить этого исторически еще не созревшего перехода. И по-своему гениальный провозвестник деспотизма, апервые возведший политику в ранг высшего искусства, задолго до Ницше выдвинувший перед человечеством идеал мощи — без внутреннего величия, Макиавелли осужден испытать до дна горькую чашу сознания своей недостаточности, передав своего «Князя» в виде завещания тем, кто спустя два века будет строить уже не в Италии, а на всем пространстве Европы «просвещенный», а в дальнейшем и непросвещенный абсолютизм. Элегантная философская и филологическая мысль сплоченных вокруг Лоренцо Медичи платоников тоже не ко времени: возрождая древнюю мудрость, она не способна воплотить ее, не способна воплотить себя — оставаясь совершенно чуждой широким кругам: к тому же, отвергая аристотелизм как основу схоластики, она отвергала его и в целом, вместе с его реально-познавательными научными устремлениями. А время было такое, что даже астрология, алхимия, магия — и те вождели стать подобием науки.

### IX

Все эти и многие другие грани эпохи нашли отражение в романе Шульца.

Повторяем, это не спокойное, плавное повествование. Это — действие, в котором мы участвуем. Эффект присутствия достигается стремительностью непрерывной смены картин, внезапными изменениями места действия, смещением планов внутреннего и внешнего, через неожиданные переходы от внутренней к прямой авторской речи и обратно — в пределах одного и того же предложения, повторением фраз в виде взвихренных перечислений — и целым рядом других приемов, отнимающих у читателя всякую возможность созерцать описываемое с одного фиксированного пункта и порывисто перебрасывающих его из одной социальной, бытовой, психической стихии в другую.

Ошеломив нас симфоническим переизбытком жизненных звучаний, автор заставляет нашу мысль, отказавшись от обычного читательского «противостояния» тексту, двигаться по предуказанным авторской волей орбитам

Роман воспринимается как музыка — не как литература. И это — несмотря на свой-

ственную ему большую точность словесного рисунка. Нелегко было бы подсчитать всех выведенных там лиц. Но ни одно не промелькнет перед нами вскользь обозначенной тенью. Каждое получает исчерпывающую и действенную характеристику, каждое дано в наиболее содержательном ракурсе, каждое, самое незначительное, необходимо для понимания целого, так как не введено извне, а выросло из него. Страницы романа испещрены этими как бы беглыми, но в действительности тщательно выписанными миниатюрами. И они не только не теснят друг друга, не создают толчеи, но все точно знают свое место, как каждое маленькое стеклышко знает свое место в огромном мозаичном панно. Поначалу изумляешься этому искусству, умеющему сочетать ораториальный симфонизм целого с мельчайшей подробностью тонкой миниатюры. Но вскоре изумление уступает место пониманию: здесь все — и крупное и мелкое, все эти великие люди и малые людишки, эти знаменитые лица и безвестные, а подчас и вовсе темные личности — равно неотделимые, а потому и равно значительные частицы эпохи, плоть от плоти и кость ее,— эпохи, понятой органически, на основе единого начала, проникающего не только все члены организма, но и все молекулы его — от великого противоборца Микеланджело или гениального созерцателя Леонардо, запечатлевших свои победы, до какой-нибудь полубезумной старухи колдуньи, тоже по-своему противоборствующей и постигающей, но терпящей полное крушение, обезличенной и раздавленной. Столь неравные перед лицом грядущих столетий, все они равны здесь как участники великой исторической драмы,— драмы высвобождения общественных сил, высвобождения личности из пут распадающегося общественного целого, драмы неистовых самопоисков нового человека, раскрывающегося и в ничтожестве, и в величии, и в зверстве, и в добре. Безоглядно устремленная к самостоятельному совершенству недостаточность, жаждущая независимой полноты ограниченность — в этом противоречии смысл всех, больших и малых, драм, изображаемых в романе. И в этом смысл драмы эпохи в целом.

## Х

Но как же так? Ну, недостаточна и ограничена полубезумная старая колдунья Лаверна и подобные ей бесчисленные жал-

кие твари, считавшие себя людьми, но безжалостно лишенные этого звания эпохой. Недостаточен и ограничен Савонарола, жаждущий влить новое вино в старые мехи. Недостаточен и ограничен Цезарь Борджиа, претендующий на роль властителя нового времени, но неспособный вложить в толкование этой роли никаких новых идей, которые отличали бы его от прежних и современных ему тиранов. В силу того же противоречия между порывом к новому и недостаточностью средств для его осуществления или хотя бы полноценного и всестороннего понимания не выдержали исторического экзамена ни Лоренцо Медичи со своей Платоновой академией, ни вышедший сеять не в пору Макиавелли со своим «Князем».

Пусть все эти и им подобные явления — от мала до велика — ограничены и противоречивы в силу резкого несоответствия между их жаждой самоутверждения и средствами для этого, предоставленными им эпохой. Но можно ли говорить о недостаточности и ограниченности мировых гениев, подаривших человечеству совершеннейшие шедевры искусства? Разве здесь предельная, полная, сверхдостаточная осуществленность не самоочевидна?

Шедевры, которыми любуются и никогда не перестанут любоваться поколения, насыщая ими свой внутренний мир, как хлебом насущным,— сами есть результат борения, которое создатель их вел с самим собой, со своим временем и с другими творцами, ему современными, предлагавшими свои пути и способы решения тех же исторических проблем. Борения, их породившие, проходят в непрерывных притяжениях-отталкиваниях, испытываемых гением по отношению к самому себе,— за наиболее точное осуществление своего замысла (см. приведенный нами отрывок об осмотре камня), по отношению к своей эпохе (см. цитированный нами отзыв Микеланджело о его времени), от которой художник хочет бежать, но, конечно, никуда не скроется; наконец по отношению к своим современникам — соперникам по творчеству.

Эти борения кроются за всяким шедевром или, вернее, внутри него. И чем содержательней, переломней, революционной эпоха, тем более напряженные борения ведут к созданию данного шедевра. В муках нет ничего прекрасного. Но прекрасное рождается только в муках. Огромное до-



стоинство романа Шульца в том, что он показал эту неразрывную связь «камня» (понимая под «камнем» не только материал творчества, но и весь противостоящий художнику объект в целом) и «боли» со всей возможной выразительностью и глубиной. Мы видим не только творческие муки Микеланджело, но и его сложные отношения с эпохой, от которой он то хочет бежать, то бросается в самую гущу ее, как строитель, а то и каменотес, то, уйдя в себя, преодолевает ее гигантским творческим усилием, воплощая вырванные у нее же откровения в своих немилостивых мадоннах, кипящих жадой жизни и ненавистью к неправде юных атлетах, грозных пророках или в виде умудренного жизнью старца, который в стремительном полете передает проснувшемуся к бытию юноше эстафету поколений.

Мы видим, что победу над своим временем великий художник одерживал лишь в творческие минуты, а в жизни изнемогал от непосильного единоборства с эпохой (и этим, конечно, объясняется, но все же вряд ли оправдывается переоценка жертвенно-христианского момента в его облике, допущенная Роменом Ролланом). Потому что он был одинок, не имея возможности опереться на ту силу, которую жадно искал и угадывал в своем творчестве, но на которую в то время художнику еще нельзя было опереться,— и в этом была его историческая неполнота и ограниченность, которую он чувствовал не менее ясно, чем свой титанизм. В мире духа он был полный властелин — и не только над камнем (которым владел до такой степени, что порой даже частично не отделявал своих статуй, давая зрителям почувствовать силу «дикого камня», подобно тому как укротитель оставляет своим хищникам немного их былой непокорности для контраста, чтоб отчетливей выделялось его торжество), но и над стихом, который он тоже иссекал (а не пел, как Петрарка): недаром знаменитое четверостишие о статуе «Ночь», пройдя веков завистливую даль, ровно через три столетия захватило Тютчева как выражение его собственной ненависти к Николаю I, доведшему Россию до крымской катастрофы, и заставило нашего поэта в поисках наибольшей точности выражения трижды перевести это четверостишие: один раз на близкий к итальянскому французский и два раза на русский язык.

Но властелин над камнем и словом в жизни был рабом. Его замыслы стоили дорого: ведь он мыслил в масштабах горных вершин, жаждал ваять утесы. Кто же мог обеспечить их осуществление? Только тогдашние хозяева жизни: папа, тираны, знать, патриции. Эти выбрасывали несметные суммы на роскошь и разврат, но заставили гения скомкать грандиозный замысел гробницы Юлия II, навязывали ему чуждые по духу предприятия (гробница Медичи), делали из его творческой мысли шутовскую потеху (снежный великан). Эта эпоха родила невиданных генеев, но ставила их под контроль утонченных (а случалось — и невежественных) самодуров-толстосумов.

Но не это налагаемое эпохой ограничение было самым существенным. В конце концов «раб» разрывал оковы и умел осуществлять замыслы, которые выше эпохи. Самым существенным, что приходилось преодолевать, были рабство по отношению к наследию и борьба с другими титанами — за свое место в мире духа. Эта внутренняя борьба была много глубже, значительней и творчески неизмеримо содержательней, чем борьба с препятствиями внешними, неизбежная во всяком классовом обществе и лишь приобретающая в эпоху Высокого Возрождения огромный размах.

Преодоление средневековья — вот что составляло суть противоречивого процесса создания идеала личности нового времени. Эта победоносная борьба велась с переменным успехом.

Величайший гений, идя вперед, не может, да и не должен вполне отрываться от прошлого. Изобретая свои летательные аппараты, Леонардо был целиком ограничен понятиями средневековья: человеку суждено было летать не как птицы, не с помощью гребли, а совершенно по-новому — с помощью винта, о чем изобретатель не мог подозревать, не имея идеи мотора. Тут боренье гения с прошлым не увенчалось успехом: победа осталась за прошлым. Но в другом случае эксперимент великого анализатора природы прошел блестяще, дав результат постинне эпохальный — на века: взяв из рук мадонны младенца и тем самым рассредоточив внутренний мир женщины, прежде сведенный к материнству, он переплавил ее в женщину нового времени, созерцательную и скептическую, чувственную и вещую, как душа самого великого мастера. Прекрасная сво-

ей юностью и чистотой, хотя уже лукавая Мадонна Литта стала загадочной зрелой Джокондой. Но разве этот по существу первый в истории светский портрет женщины — поворотом фигуры, ее внешней неподвижностью, сосредоточенностью всего движения во внутреннем мире, снисходительностью улыбки, обращенной к зрителю и ко всему человечеству в его лице, самой условностью пейзажа наконец не уводит мысль к тем живописным мадоннам и еще дальше — иконописным богоматерям, чей канон он так дерзко и так победоносно нарушает. Джоконда — не только первый женский портрет, открывающий новый жанр мировой живописи, но и великий пример преодоления средневекового титаном Возрождения — не путем отверженья прошлого, а путем его органического переплечения... А чудо слитности противоположностей — взволнованное многообразие фигур в строгом прямолинейном единстве целого, неповторимое согласие линий в вихревом смятении чувств, претворение мировой трагедии в воздушную гамму мягчайших тонов, Леонардова «Тайная вечеря», — разве это не христианский витраж, просквозженный лучами античной свободы и меры?

У Микеланджело было меньше счетов со средневековым: он боролся с ним, опираясь на древнюю традицию — не классическую, казавшуюся ему, быть может, слишком статуарной, неподвижной, а в значительной мере — на библейскую, дававшую больше простора и свободы его титаническому иступлению. Все же, думается, мысль, создававшая «ветхозаветного» Давида, не миновала при этом и средневековой идеи эмбеорчества, глубоко, органически переработанной, как глубоко переработаны им были традиционный образ мадонны — с младенцем и в группе Пьета, а также картина страшного суда, где Христос выступает не как грозный, но справедливый евангельский судья, явившийся «с силой и славой великой» чинно творить нелюбимый суд, а скорей в роли иступленного, беспощадного пророка-бичевателя, чуждого новозаветной «благодати», знающего одно лишь «отмщение», один немилосердный ветхозаветный «закон». Правда, в последнем случае католическое понимание с его беспощадным *Dies irae* шло ему навстречу. Но, в общем, гордиев узел, приковылающий художника к эпохе через тяготившую над ним традицию, Микеландже-

ло сумел попросту разрубить, отступив в смысле выбора сюжетов — патриархи, пророки — на шаг в глубь истории; ведь Ветхий завет по сравнению с христианством и классической предоставлял титанической воле художника значительно больший простор. (Это относится и к сивиллам, поскольку эти «теневые» фигуры античности не оставили по себе никакой иконографической традиции.)

У младшего из троиц — Рафаэля — отношения с традицией были сложней. Он высоко ценил христианскую культуру. Его мадонна не сядет «у лестницы», как «нищенка», устремив взор в пространство, не взглянет на мир смелым, ироническим взглядом Джоконды. Она парит, обратив к нам взгляд теплящихся, как две кроткие лампы, не ведающих лукавства и гнева очей. Течет среди облаков. Без движения. И откуда взяты движение? Ведь она — мечта, мечта о добре, виденье, плывущее в воздухе, застывшее в нереальном, почти иконописном пространстве, среди облаков-ангелочков, и ветер райских куш надувает ее покрывало, словно парус корабля, спускающегося с небес, чтобы «выпрямить» нас, освободив от непосильного бремени противоречий. А в самом «языческом» из творений Рафаэля — фреске «Афинская школа» — в центре две фигуры: Платон и Аристотель. Они спорят. Первый свободным и величественным жестом воздел правую руку ввысь, к миру «идей», второй, прекословя, ровным, но сильным движением протянул свою вперед, к зрителям. Направляющая нашу мысль в «горняя» вертикаль и направляющая ее к познанию дальнего мира горизонталь составляют вместе завуалированный, но внятный для мысли знак креста — в своеобразном, неброском ракурсе.

Как видим, и Рафаэлю пришлось в его поисках нового человека вступить в определенные отношения со старым мировоззрением. Он не отошел от него, как Микеланджело, в порыве невиданной мощи и не подверг его разьедающему анализу мысли, как Леонардо. Он сохранил его, приняв в себя целиком, но наполнив совершенно новым содержанием.

Каждый из троиц в борьбе с традицией действовал по-своему. Ибо все трое великий спор друг с другом, и способ их борьбы с эпохой, ее данностью, целиком определялся содержанием этой главной

борьбы — их борьбы между собой. Больше, чем все другие, они были связаны друг с другом великим борением, полным притяженья-отталкивания. Каждый из них глубоко сознавал и чувствовал в одно и то же время и свою призванность осуществить великую историческую переплавку старого, ущербного человека в нового, совершенного, и необходимость осуществить это дело своим собственным путем, и невозможность сделать это только своим путем, все же недостаточным, ограниченным, несмотря на всю его гениальность. Эти титаны боролись с эпохой ради общего им всем трем исторического дела, одновременно борясь между собой — каждый ради своего собственного утверждения в этой борьбе, — иными словами, ради собственного понимания ее смысла и способов ведения. Именно таково содержание уже знакомого нам конфликта между Леонардо и Микеланджело. Такими же были и отношения обоих с третьим участником великого спора — Рафаэлем, в романе лишь намеченные.

Творя единое, все грое друг от друга отмежевывались, ища своей полноты не в сочетании усилий, а в индивидуальном творческом самообособлении. Ни один из них не был в силах разрешить историческую задачу в одиночку — в противовес двум другим. Но каждый, споря с двумя другими, разрешал свою часть задачи. И вместе они разрешили ее всю.

Гениям казалось, что они теснят друг друга — в ту эпоху, когда все друг друга теснили, помогая своей полноты. Но история и на этот раз оказалась непревзойденным режиссером. Она распорядилась по-своему. Сперва выпустила на сцену Леонардо, возложив на него обязанность сказать миру: вначале было Слово, то есть мысль. Новый человек найдет свое совершенство в познании. Познание спасет мир. Тогда на сцену истории неистовым оппонентом выступил Микеланджело: нет, сказал он, вначале было Дело. В действительности — вот в чем новый человек найдет свое совершенство. Деятельность спасет мир.

И это был огромный шаг вперед в развитии исторической драмы: мысль и деятельность, познание в сочетании с действием — это было уже много на пути к человеку нового времени. Все ли? Нет, не все. Надо было сохранить еще одну ценность, неизвестную ни античной свободной мысли (источнику Леонардова познания), ни ветхозаветной мироустрояющей деятельности (существенному источнику Микеланджеловой действительности), — высокое умиление, то есть способность «благоговеть перед святыней красоты», понимаемой не как эстетическая только, но и нравственная категория. И вот последним пришел Рафаэль со своим словом: вначале была Красота, то есть добро, сказал он. Новый человек найдет свое совершенство в прекрасном. Красота спасет мир.

Раскованный ум, раскованная сила, раскованное чувство красоты-добра... Каждое из этих начал, взятое в отдельности, свободно развитое, ничем не ограниченное, обнаруживало свою внутреннюю ограниченность: абстрактный характер процесса познания у Леонардо, механистическое перенесение им принципа «наблюдения» с мира природных явлений на мир явлений общественных, идея сведения всего сущего в «одну точку»; «странничество» Микеланджело и безудержный волюнтаризм его, не всегда подчиненный суровой дисциплине замысла, чем, быть может, объясняется наличие незаконченных работ; слишком легкое, не без оттенка полемичности, снятие противоречий у Рафаэля, этого, можно сказать, единственного смертного, не изведавшего горечи изгнания из рая. Но вместе взятые, взаимно друг друга ограничивая и углубляя, они и составили координаты духовного мира нового человека.

Вместе эти три гения сделали то, что никто из них не был в силах сделать один. Открылась новая страница истории. Родился образ новой человеческой цельности и совершенства, образ «выпрямленного» человека. Теперь оставалось только воплотить этот идеал в жизнь...



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**Ф. Левин.** Зоркость сердца.— **Э Исаанов.** Мундир — с иголки.— **Ал. Михайлов.** Душевного тепла запас...— **Г. Трефилова.** Вместо идиллии.— **А. Наревич.** Записные книжки А. Блока.— **С. Ларин.** Как и двадцать лет назад.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**В. Максановский.** Экономическая география вчера и сегодня.— **Ф. Светов.** Книга о трибуне Французской революции.— **Б. Кафенгауз.** Сельское хозяйство в древней Руси.

## Литература и искусство

### ЗОРКОСТЬ СЕРДЦА

**Лев Славин.** Портреты и записки. «Советский писатель». М. 1965. 256 стр.

Читая этот небольшой томик, иной человек скажет: автору повезло, он встретился со многими замечательными писателями, дружил с ними, он стал свидетелем и участником событий, вошедших в историю; не удивительно, что он написал столь богатую содержанием книгу.

Дело, однако, не в везении. Для того, чтобы участвовать в событиях, надо искать и действовать, чтобы дружить с яркими, талантливыми людьми, надо самому быть значительной личностью, а чтобы хорошо написать о виденном и о людях, надо прежде всего уметь видеть — не только глазами, но и умом и сердцем.

В книге Льва Славина «Портреты и записки» рассказывается о Юрии Олеше, Илье Ильфе и Евгении Петрове, Эдуарде Багрицком, Борисе Лапине и Захаре Хацревине, Михаиле Кольцове, Всеволоде Иванове, Ное Лурье, Андрее Платонове и Викторе Кине. Олешу, Ильфа, Багрицкого Лев Славин знал с юных лет, с другими познакомился позже, уже став зрелым писателем. Нетрудно заметить, что не литературная известность опре-

деляла выбор имен; очевидно, решали иные критерии — прежде всего, конечно, знакомство и дружба, но в иных случаях и «дружба на расстоянии», то есть духовная близость и интерес к творчеству хотя бы и мало знакомого лично писателя. Вероятно, перед нами лишь часть задуманных портретов и за ними последуют другие. Можно пожалеть, что в этой книге нет Бабеля: известно, что Лев Славин уже выступал публично с воспоминаниями о создателе «Конармии» и «Одесских рассказов».

Каждый портрет, написанный Львом Славным, не биография, не очерк творчества и общественной деятельности, не воспоминания, но сплав элементов и того, и другого, и третьего. Здесь и эпизоды, характеризующие рисуемого человека, черты его внешнего облика, его меткие реплики, замечания, остроты; здесь и размышления о писателе, о смысле и значении того, что он сделал, его месте в жизни и литературе, его судьбе. А в целом получается свободное художественное изображение, которое обладает несомненным сходством с оригиналом и вместе с тем запечатлевает субъек-

тивное отношение автора к герою его рассказа, личное впечатление и мнение о нем.

«Мой Олеша» — озаглавлен первый портрет, но так могли бы называться и другие — мой Багрицкий, мой Ильф, мой Андрей Платонов. Нетрудно было бы путем сравнения увидеть, что по-иному нарисовал Олешу и Багрицкого Сергей Бондарин, а Виктора Кина — Александр Гладков. И не случайно Лев Славин, между прочим, сказал в этой книге: «...каждый портрет неизбежно автопортрет». Но в этом как раз состоит особая ценность портретов: все оригиналы их как бы пропущены сквозь душу самого автора, освещены его духовной «самостью», как сказал бы Беллинский.

Лев Славин не стремится дать какое-либо окончательное определение людям, о которых он пишет, найти для каждого из них какую-то полочку, да это было бы и бессмыслию без вульгаризации и упрощения, так как речь идет о подлинных талантах, о душах богатых и многогранных. Но есть черты, которые особенно imponируют Льву Славину, и он более всего зорек к ним. Это в первую очередь большая человеческая доброта. Славин отмечает и безупречный вкус Олеша, и его артистизм, и богатство воображения, и сочетание в нем мудрости и детскости. Но на первое место ставит доброту.

«В своих воспоминаниях о Маяковском Олеша, между прочим, пишет: «Он был, как все выдающиеся личности, добрый человек».

Олеша и сам, несмотря на неожиданные порой выбрыки своего темперамента, был добр большой человеческой добротой. Это не бросалось в глаза из-за других, более поражающих черт его личности — ума, таланта, пронизательности.

Но именно доброта придавала особый блеск его обаянию».

Эта доброта угадывалась и за едкостью его острот, и беспощадностью оценок, порою даже за колючестью и резкостью.

Ту же черту выделяет Славин в характере Ильи Ильфа и его друга и соавтора Евгения Петрова.

«Люди, знавшие Ильфа, сходятся на том, что он был добр и мягок. Так-то это так. Добрый-то он добрый, мягкий-мягкий, но вдруг как кусанет — долго будешь зализывать рану и жалобно скулить в углу... Да, Ильф был мягок, но и непреклонен, добр, но и безжалостен. «За письменным столом

мы забывали о жалости», — пишет Евгений Петров в своих воспоминаниях об Ильфе».

И в другом месте Славин подводит как бы итог:

«Я уже говорил о доброте — чувстве общем у Ильфа и Петрова. Надо уточнить, какая это была доброта. Не та инертная, вялая, стоячая, которая рождается из бесхарактерности. Нет, им была свойственна доброта деятельная, борющаяся, которая и сообщила их писаным дух непримиримой борьбы против всяческой глупости, хамства, беспринципности».

Характеризуя Лапина и Хацревина, Славин на первое место также ставит их доброту, Всеволода Иванова рисует с лицом «доброего Будды». В отлично написанном портрете Багрицкого снова отмечено исходившее от него «обаяние доброй и зоркой силы большого человека».

Лев Славин высоко ценит в своих друзьях-писателях мужество, стойкость и спокойствие в трудных испытаниях. Он говорит, например, о бесстрашии Лапина и Хацревина, рисует поразительный эпизод на Халхин-Голе, когда можно было ожидать химической атаки и все надели противогазы, а у Славина, Лапина и Хацревина их не было. В этот момент Хацревин с любопытством смотрел на все вокруг, а Лапин, выхватив из кармана тетрадку, принялся записывать свои ощущения и наблюдения. «Они оба, — пишет Славин, — не чувствовали страха смерти. У одного он вытеснялся страстью видеть, у другого — страстью изображать». Участник четырех войн, в том числе двух мировых, Славин отмечает бесстрашие Михаила Кольцова, Всеволода Иванова, Андрея Платонова.

Льву Славину отвратительны в людях бахвальство, фразистость, позерство. Но он умеет разглядеть под внешним цинизмом и бравадой целомудренность чувств, тщательно скрываемую нежность. В главе о Багрицком Славин пишет:

«Больше всего он боялся показаться сентиментальным. Есть мода не только на костюмы, но и на чувства. Поколение 1919 года, огрубевшее в войнах, стыдилось быть уличенным в нежности. Все стремились показать себя грубыми, решительными, циниками, хотя никогда, быть может, не было столько скрытых и явных примеров самопожертвования и нежности».

В одном из лучших портретов, вошедших в книгу, портрете Михаила Кольцова, Сла-

вин расширяет и обогащает ставшее уже традиционным представление об этом человеке. Писатель прав, когда говорит, что из обычного представления о Кольцове «выпадает его сердце» и что при жизни Кольцова «многие недооценивали его и как литератора и как человека», не видели его высокой идейности, проглядели «его страстную, отзвучившую натуру».

Как о любимом старшем брате автор пишет о Всеволоде Иванове. Лев Славин, прошедший всю войну как военный корреспондент, не раз бравший в руки не только перо, но и оружие в прямом смысле слова, стал на время гидом Всеволода Иванова в его разъездах по фронту, гидом человека штатского с головы до ног. Но Всеволод Иванов пленил его, как пленял всех, с кем встречался. «Он излучал какое-то спокойное, неторопливое мужество. Мне нравился его юмор, его товарищеская верность, смелость его мысли, самое лицо его с этим монгольским прищуром умных глаз. Я находил очарование даже в его пришепетывании и понимал Плутарха, который, рисуя портрет Алкивиада, даже недостатки его произведения считал обаятельными».

Портрет Андрея Платонова еще раз убеждает читателя, каким выдающимся и своеобразным талантом обладал этот писатель и каким он был светлым и стойким человеком. Лев Славин верно говорит, что «книги Платонова входят в обязательную часть коммунизма», но, к сожалению, не отмечает, что далеко не все из его наследия переиздано, многое не собрано из периодических изданий, а значительная часть еще остается в рукописях.

Рисую Виктора Кина, Лев Славин пользуется произведениями, записными книжками, фельетонами, данными биографии писателя больше, нежели личными впечатлениями и воспоминаниями о нем. По-видимому, он меньше был знаком с Кином, чем с другими писателями, чьи образы воссоздает. Тем не менее портрет Виктора Кина получился точным и цельным.

И наконец важное значение имеет портрет Ноя Лурье, автора чудесной книги «Лесная тишина», человека красивой и гордой души, о котором широкий читатель знает мало.

Выше уже было сказано, что литературный портрет не очерк творчества, не научное исследование. Живописный портрет одного и того же человека при сходстве с оригиналом будет различен у разных портретистов.

Точно так же обстоит дело с портретом литературным. Другой автор не прошел бы, может быть, мимо душевной драмы Юрия Олеши, исчерпавшего свою большую тему в «Зависти» и в «Списке благодетелей» и долго и тщетно искавшего новую тему, которая бы захватила его с той же силой и страстью. Мне думается также, что в трудной судьбе Андрея Платонова сыграло решающую роль не отсутствие «житейской ловкости» (у какого настоящего писателя она есть?), а то, что после резких, уничтожающих отзывов о повести Платонова «Впрок» почти всякое его произведение бралось под огонь усердствующими критиками, открывавшими в нем идейные пороки. Нужна была великая убежденность в своем призвании, в чистоте и правоте своей идейной позиции, чтобы вынести эти удары, не сломиться и продолжать писать.

В книгу Л. Славина вошли также записки «Последние дни фашистской империи» и «Свидание с Польшей». О боях 1945 года в Берлине, о взятии рейхстага, о бесславной гибели Гитлера и Геббельса, о капитуляции Берлина и затем всей гитлеровской Германии накопилась уже обширная литература — историческая, публицистическая, документальная, мемуарная. Главное достоинство записок Л. Славина состоит прежде всего в том, что они написаны по личным впечатлениям и притом зорким и умным художником. Писатель сумел обрисовать агонию верхушки третьего рейха, разгромленный Берлин, прячущееся в руинах население, представителей наших союзников, прибывших на церемонию капитуляции, показать ничтожество заправил гитлеровского вермахта.

Записки полны живописных подробностей: чего стоит один капитан Савельев с его коллекцией необычайных фактов, случаев, уникальных ситуаций. Он наклеивает билет московского метро в берлинской подземке, прикуривает сигару от тлеющей стены рейхстага, съедает ложку картошки, сваренной бойцом, рязанским колхозником, 2 мая на каменном полу рейхстага, на костерке из щепочек разбитой в бою мебели палисандрового и красного дерева. Это и есть реликвии капитана Савельева.

Едва ли не наиболее выразительны в записках Славина вкрапленные в них выдержки из его блокнотов тех дней, предельно лаконичные, сохранившие неповторимую атмосферу времени.

«Свидание с Польшей» — записки иного рода. Здесь речь идет прежде всего о Варшаве. Лев Славин видел ее сразу после освобождения, разрушенную гитлеровцами, уничтоженную методически, планомерно, беспощадно, с тем чтобы она более не существовала. Он видел ее весной, после победы, возвращаясь домой, когда «Варшава была похожа на утопленницу, которую вытащили из воды и начали откачивать». В записках Лев Славин рассказывает о том, какой он увидел Варшаву через шестнадцать лет, в самом начале шестидесятых годов, о чуде ее возрождения, о национальном подвиге польского народа, о стройке, осуществленной с любовью, самоотвержением и энтузиазмом. Славин написал о польских театрах и польских художниках, о вос-

становлении древнего центра Варшавы — Старого Мясца, о Кракове и Новой Гуте и наконец об Освенциме, превращенном в музей. Страшная подробность: в тот год, когда писатель приезжал туда, в музей Освенцима успело побывать три с половиной миллиона человек — «все еще меньше, чем прошло узников через лагерь Освенцим».

О чем бы ни писал Лев Славин — и исчерпать в рецензии все затронутые им темы, естественно, невозможно, — его писательский почерк отличается благородной сдержанностью, точностью. А от этого все, что он говорит, доходит до тебя, заставляя вспоминать, сопоставлять, думать.

Ф. ЛЕВИН.



## МУНДИР — С ИГОЛОЧКИ

Евгений Карпов. Не родись счастливым. Повесть. «Советский писатель». М. 1965. 248 стр.

Петру Завражину везет в жизни. Еще в детстве на его удочку всегда попадалась крупная рыба. Один из десяти друзей, он уцелел при бомбежке. И вообще во время войны не был ни разу ранен.

Если даже фортуна упускает его из виду — это ненадолго. После института Завражин приезжает хирургом в сельскую больницу. Первая операция едва не кончается трагически: два часа он ищет у больной аппендикс. И зашивает, не отыскав. Однако коллектив больницы, небольшой и дружный, принимает в новичке горячее участие. Главный врач Божедомов пишет в местную газету оправдательного характера статейку «о редком случае в хирургии».

Прошло некоторое время, и в больницу привезли парня с ножевой раной в сердце. Как быть? Самолет с врачом из области не поспет. Другого хирурга нет, и судьба вкладывает скальпель в руки Завражина. Сложнейшая операция проходит благополучно. За ней другая, третья.

Легко представить себе недоумение читателя. Как? Неудача в элементарной операции и вслед за тем полный успех в венце хирургического искусства — операции на сердце?

Ответ следует искать в личности самого героя. Другой бы на его месте после первой

неудачи смешался, потерял веру в свою звезду, набирался ума и опыта, прежде чем снова взяться за скальпель. Не таков наш герой. Не вышло с аппендицитом — пробуем на других органах. Главное — смело рваться в бой. В этом, по мысли автора, основная причина его «везения».

После победы Завражина никаких внешних изменений в отношении к нему главного врача Божедомова как будто бы не произошло. Божедомов неизменно вежлив, любезен, заботлив. Но видит герой за всем этим тщательно скрываемую зависть. И, наблюдая как-то возню Божедомова со своей собакой, вдруг приходит к выводу: «Наверно, ему приятно и удобно опекать людей и слышать их благодарные повизгивания».

Дальше — больше. Приятель нашего героя по рыбалке Степан страдал из-за раны военных лет. Рана то заживала, то расходилась, обрекая его на инвалидность. Завражин прочел в журнале о новом способе оперирования. И попросил у главврача разрешения на операцию. Тот отказал. Разумеется, не говорил открыто, что ему досаждают слава молодого коллеги или что трусит. Главврач ссылаясь на примитивные условия сельской клиники, на то, что журналом нельзя пользоваться, как выкройкой «шейте сами».

Но Завражин не был бы положительным героем, если бы поддался этим капитулянтским уговорам. В субботу он «нелегально» положил Степана в больницу и в воскресенье оперировал. Все прошло, конечно, как нельзя лучше.

И, конечно, главврач не уgomонился. Поведение Завражина было расценено как авантюризм, и райздрав освободил его временно от работы. Но случай этот только способствовал возмужанию Завражина. Он понял, что в борьбе с перестраховщиками и завистниками мало опираться на профессиональные удачи. Надо завоевывать научный авторитет.

Он берет научную тему и начинает делать какие-то опыты на кроликах. Перестраховщики опять пытались помешать. Их не устроил крольчатник, возведенный Завражиным на территории больницы. К тому же на сторону врагов встала санитарная инспекция. Но теперь уже нашего героя трудно выбить из седла.

Крольчатник был торжественно перемещен во двор бабки Анны. В печати появилась статья молодого ученого Петра Завражина. И наконец сам Божедомов с прободением язвы попал под нож своего противника. Борьба в душе героя достигла шекспировского накала, но он устоял: Божедомов остался в живых. «Победа над собой,— говорил, кажется, Горький,— самая трудная и самая важная победа в нашей жизни». Так кончается повесть.

Я предполагаю, что читатель находится в некоторой растерянности. Нет у него, вероятно, полной уверенности в том, что автор действительно считает своего героя прекрасным человеком. Вероятно, не убежден до конца читатель и в том, что главврач — скотина. Озадачивает, возможно, и многое другое. Может быть, рецензент просто не понял замысла автора?

Однако сомнения эти разбиваются всей образной системой повести. Все в ней с несомненностью свидетельствует: Петр Завражин — действительно и безусловно положительный герой.

А как же иначе? Он предпочитает сельскую больницу ординатуре, куда вполне мог бы устроиться с помощью влиятельных родителей жены. Он постоянно произносит прекрасные монологи о назначении врача, о зле и добре — и отдает предпочтение добру.

К чести героя — и высказывания о нем: «Вы живете так, словно несете свое сердце, как сказал один писатель, перед собою на ладошке». Или: «Может быть, когда-нибудь своды этой комнатки будут такими же знаменитыми, как своды в Ясной Поляне». Или: «Спасибо судьбе: за какие-то добрые дела она послала мне вас».

Этот поток похвал имеет одну особенность, которая может удержать читателя от того, чтобы сразу и безоговорочно проникнуться лучшим чувством к герою. Дело в том, что весь рассказ ведется от его имени. Так что в данном случае можно было бы ожидать большей сдержанности. Но в конце концов скромность не всегда сопутствует таланту. Достаточно того, что мы имеем дело с личностью, профессионально и человечески незаурядной. Ведь Завражин становится центральной фигурой всего района, объектом либо симпатий, либо неприязни местного населения. Учители только и делают, что думают о нем. Для большинства он что-то вроде идеала человека.

Чтобы подчеркнуть значительность фигуры, подобной герою, автор вводит даже неологизм «борьбист» (правда, по другому поводу и адресу). Люди этого типа внешне не отличаются от обычных смертных: так же пьют, едят, трудятся, читают газеты и журналы. Но делают они все это в порядке борьбы. Она носит тотальный, изнурительный и, я бы сказал, какой-то бесшабашный характер. Под конец забываешь даже, за что, собственно, идет эта борьба. В пылу ее на второстепенный план отходит главный предмет завражинских подвигов — большие, их жизнь и здоровье.

Во всяком случае отдаешь должное благодарности его пациентов. «Вроде бы хвалят меня сельчане, уважают,— раздумывает сам герой,— а если кого из них хорошенько прикрутит, так он в первую очередь идет к Божедомову, потому что тот и главный, и заслуженный, и проверенный... Божедомов — хороший врач, внимательный и тоже «душевный». А я-то, хоть и «знаменитый», хоть и получается у меня «хорошо», но все-таки... И идут они ко мне, когда их направляет сам Сергей Сергеевич».

Идут, как видим, в приказном порядке. Никому не хочется стать объектом блестящих медицинских экспериментов. И причина не только в консерватизме больных. Вспомним первую операцию Завражина. Дело не



в том, что она была неудачной. Герой достаточно переживал свою неудачу. Ушел куда глаза глядят, потом пьянствовал. Но о больной он вспомнил лишь ночью. И, дыша перегаром, склонился над ее подушкой.

Впрочем, тут начинается особый разговор. От героя без ума почти все женщины в повести. Как раз жертва первой его операции, Катя, становится его любовницей. Под ножом она думала не о себе, а о его нравственных муках, за них она, кажется, его и полюбила. Жена Завражина Сима, узнав о связи мужа, реагирует на это удивительно спокойно. Она просто работает над собой, чтобы стать достойной своей соперницы. Влюблена в него и жена Божедомова — Маргарита Тимофеевна. Она признается в этом откровенно: «Почему, скажи... я должна жить с этим мерзавцем и хлюпиком? Чем я хуже твоей пигалицы?»

От профессионального и личного перейдем теперь к общественному. Когда героя спросили, согласен ли он ехать в село, его, по собственному заверению, даже обидела такая постановка вопроса. Согласен? Да он всю жизнь готовил себя к этому. Старого опустившегося акушера Женихова он уверил, что если ему здесь понравится, то он останется в селе навсегда: ему нужна работа, а не слава. Однако, получив научную тему, он восклицает: «Великолепно же: не просто отрабатывать положенный перед ординатурой срок, а заниматься настоящим делом». Право, заслуживает внимания это случайно оброненное житейское изображение. Читатель — в который раз — замечает ножицы между замыслом, намерениями автора и невольными движениями души героя, в которых наиболее откровенно и проявляется характер.

Как мы уже отметили, герой высказывает похвальные мысли о долге врача, о бескорыстном служении науке, о своем безразличии ко всяким там степеням и званиям. Но вот перед нами разговор Завражина с научным руководителем. Руководитель разъясняет практическую важность выбранной Завражиным темы...

«— Я с вами согласен,— обрывает ее Завражин.— Но при чем тут кандидатская диссертация? При чем тут звание?»

Собеседница обескуражена таким поворотом беседы:

«— А кто вам об этом говорил? Разве я?»

— Не вы. Другие болтают. Ехидничают...

— Вам-то какое дело? Пусть ехидни-

чают... Надо работать... И кто знает, возможно, ваша работа будет достойна не кандидатской, а докторской диссертации. Пусть это вас не тревожит...

— Я совсем и не думаю.

— Молодец!»

Затаенные помыслы героя выдаются здесь с полнейшей бесхитростностью художественного воображения. Впрочем, чтобы дать еще представление о художественных качествах повести, приведем некоторые образцы ее стиля: «Ее глазенята искрились. Она то и дело залиvisto смеялась»; «Девушки смеются, озоруя с парнями, соперничая своей красотой с красотой яблок»; «А наш Дом культуры с колоннами и островерхим высоким фронтоном мне казался главным чертогом этого веселого и необыкновенно красивого селения». После эпитета «красивый» наиболее часто употребляемыми можно считать такие изысканные слова, как «меняющий», «зовущий». «Небо, какое-то поющее, призывное»; «Смешливая, озорная девчонка на мотоцикле. И зовущая»; «В ее глазах... была насмешка. Не злая, а какая-то озорная, зовущая». Надо сказать, что глаз автор вообще не шадит. Он заставляет их быть «призрачно-расплывчатыми», «яркими переливчатыми» и «набухать слезами».

Своеобразны характеристики, идущие от лица героя. «Сима — хорошенькая, а Катя — хороша. Сима — кисонька, а Катя — вольный, своенравный ветер». Сравнение, как видим, не в пользу жены. Однако не беспокойтесь, ибо ее с мужем «взаимосвязь не укладывается в рамки простой физиологии — она значительнее, сложнее, она выше, мудра и вечна, как звезды, цветы и солнце...».

Как видим, пошловат и беден внутренний мир главного героя, самого счастливого и яркого в повести человека. Что же тогда другие, менее одаренные и примечательные? Среди них нет ни одного, способного вызвать симпатию читателя. Любящая жена, чья любовь «вечна, как звезды, цветы и солнце», покидает Завражина, как только узнает об отстранении мужа от работы, и присылает покаянное письмо сразу же, как только тучи расходятся над его головой. О своем друге Поликарпе Женихове Завражин может сказать — «слизняк» и прочее...». Что же до врагов, то для Божедомова и его жены припасен такой запас подлости, который был бы тягостным даже для совести супругов Макбет.

И почти обязательно: то, что хвалит герой,— ругать бы, а что ругает...

Почему же оказалось возможным такое смещение нравственных понятий? Мундир положительного героя — с иголки. Человечек едет на село, борется со старым, отжившим и, так сказать, побеждает. А между тем мундир не только не скрывает, но, кажется, подчеркивает пороки фигуры, духов-

ное убожество мещанина. Автор бросает героя в битву за идеалы. А читатель наблюдает судорожную тягу человека ко всеобщему вниманию, расчет и мелочную озлобленность ко всем, кто своими некрикливыми каждодневными усилиями воплощает укор личности суетной и неумной.

Э. ИСАКОВ.

★

## ДУШЕВНОГО ТЕПЛА ЗАПАС...

Людмила Татьяничева. Избранная лирика. 1940—1965. Южно-Уральское книжное издательство. 1965. 342 стр.

Людмила Татьяничева, как и многие поэты, перевалившие за черту молодости, не раз задумывается над тем, какой след оставит ее поэзия в душах людей. Этому посвящено стихотворение «Хороший обычай». В нем нет характерной для многих стихов такого рода заданности, рационалистического подведения к эффектному концу. Мысль стихотворения «вырастает» из описания старого таежного обычая — в каждой охотничьей избушке оставлять небольшой запас пищи, дрова и спички. Обычай, который, помимо его практической стороны, таит в себе «душевного тепла запас...». Именно отсюда и возникает беспокойство: «А я? Что я оставлю людям, чем отдарю их, уходя?» Вопрос поставлен в присущей Л. Татьяничевой сдержанной манере, когда поэт — обращается ли он к большой аудитории или остается наедине с собою — сохраняет спокойное достоинство и некоторую размеренность речи.

Я потому и обратил внимание читателей на стихотворение «Хороший обычай», что в нем отозвалось самое существенное, самое привлекательное в поэзии Л. Татьяничевой — ее человечность, тот самый «душевного тепла запас», который не выплескивается ни в бурном клокотании чувств, ни в повышенной экспрессии поэтического образа, но который передается нам исподволь, незаметно, ненавязчиво, от стихотворения к стихотворению.

Листая довольно объемистую книгу «Избранной лирики», видишь, как штрих за штрихом лепится отчетливый и очень определенный лирический характер, симпатичный своею расположенностью к людям, скромным достоинством и внутренним благород-

ством. Характер, который уходит корнями своими в глубь веков:

Все родичи мои —  
Спокон веков! —  
Гатили топи,  
Сеяли пшеницу  
И Русь обороняли  
от врагов...

Вот это ощущение прочной привязанности к земле и к народу, не благоприобретенное, а естественное, и придает весомость поэтической строке Л. Татьяничевой. Осознает ли она это, нет ли, но голоса не напрягает, темперамента своего не подхлестывает. Стих ее плавлен, внешне спокоен, ритмически несколько однообразен, но это — поэзия.

Живу я в глубине России,  
В краю озер и рудных скал.  
Здесь реки — сини,  
Горы — сини,  
И в синих отсветах металл.

Тут все просто и вместе с тем изящно. Л. Татьяничева умеет в точном образе запечатлеть многое. В том же стихотворении «Живу я в глубине России...» поэтом увидены и «брови лиственниц собольи, и сосен царственная статья». Но при этом простота и спокойная уверенность являются отличительными чертами стиля Л. Татьяничевой. Без сомнения, они передаются читателю, хотя все-таки не спасают некоторых вещей, прихваченных морозцем формальной логики и рационализма. А вместе с тем у нее есть немало стихотворений, по форме назидательных, но проникнутых большим волнением и потому вызывающих душевный отклик.

Стихи о мужестве писать —  
Железо молотом ковать.

О лесе утреннем писать —  
Щеглов из клесток выпускать.

Стихи о родине писать —  
Ей жизнь по капле отдавать.

Больше всего это заповедь себе, раздумье про себя. Л. Татьяничева не претендует на роль поэтического мэтра, она слишком скромна для этого. А вот сама стремится быть верной этой заповеди.

Одной из любимейших тем в поэзии Л. Татьяничевой стала тема труда. Индустриальный Урал вдохновлял и вдохновляет поэтессу славить труд рабочего человека. Ведь не случайно в цитиrowаншемся выше шестистишии мужество и труд стоят рядом. И еще в труде Л. Татьяничева видит искусство.

Передает литейщик чугуна  
Пластичность форм,  
Стремительность движенья,  
Но лишь чеканщик может дать ему  
Необщих черт живое выраженье.

Труд уральских мастеров-умельцев — это вдохновенное творчество не только на пользу людям, но и ради красоты, которая почиталась в народе испокон веку. Сноровка и умение в труде поэтизируются в стихотворениях «Мастер», «Каслинское литье», «Чеканщик», «Часовой мастер». Тема эта варьируется во многих других стихотворениях, написанных вовсе не об этом, но и об этом тоже, ибо она органически выражает мироощущение поэта, раскрывает сферу его пристрастий. Недаром же в одном из стихотворений Л. Татьяничевой поэт и гранильщик стоят рядом.

Урал, с которым не зря связывается имя и поэзия Л. Татьяничевой, богат красками, но она пользуется ими экономно, выбирает характерные, преобладающие — синюю (цвет гор, рек и озер) и зеленую (цвет изумруда). А поэтические варианты их множественны, в них отражается мир так же, «как солнце в драгоценной грани — в Урале Русь отражена».

Да, для Л. Татьяничевой «в Урале Русь отражена»: «когда говорят о России, я вижу свой синий Урал». А с Уральского хребта далеко видится Россия по ту и по другую сторону. Очень хорошая точка для обозрения, велик соблазн с этой высоченной

высоты глянуть на Россию, да и сказать про нее что-нибудь этакое тоже высокое... Но Л. Татьяничева предпочитает обозревать Россию вблизи, и особенно ту, восточную ее часть, что за Уралом: тайгу сибирскую, легендарный Байкал, Ангару и маленькие по сибирским масштабам, затерянные в тайге речушки с поэтичнейшими названиями — Мама, Золотинка. Заявленное однажды Л. Татьяничевой желание: «Я давно со Вселенной породниться хочу», — осталось нереализованным. В ее стихах изображение природы и представить себе невозможно без близкого, непосредственного ее ощущения.

У оленя на губах  
Алый сок клубники,  
И запутался в рогах  
Колокольчик дикий.

Такое можно увидеть только вблизи.

Уральская и сибирская природа в стихах Л. Татьяничевой необычна, сказочна, исполнена движения и, как полагается в сказке, полна неожиданностей. И не только сказочных. «У тучи темные подкрылья и злые острые глаза» — это поэтическая неожиданность. Грозовая туча сравнивается с летящей птицей, которая торопится к своим птенцам «и в клюве молнии несет!».

Поэтесса не может расстаться с природой, даже живя на тридцатом этаже высотной гостиницы, находя здесь по утрам «на окнах радуги тончайшие волокна», ощущая, как «теплый дождик, прежде чем пролиться, клювиком ко мне сперва стучится», и даже впуская в окно облако, оставляющее после себя на кресле долго-долго голубеющую каплю...

Как ни дороги сердцу Л. Татьяничевой тайга, озера и реки, сколько ни открывает в них она прекрасного и сказочного, но первая ее любовь — Урал, легендарный каменный Урал, а не о первой ли любви пишутся лучшие строки... В «Избранной лирике» это стихотворение «Малахит».

Воображение переносит нас в седую древность, когда «над хребтом Урала, соленой свежести полна, с ветрами запросто играла морская вольная волна». Развитием этого образа и определяется мысль стихотворения.

Ей было любо на просторе  
С разбегу устремляться ввысь  
Отхлынуло, исчезло море,  
И горы в небо поднялись.

Но своенравная природа  
То море в памяти хранит:  
В тяжелых каменных породах  
Волной играет малахит.

Он морем до краев наполнен,  
И кажется: слегка подуть —  
Проснутся каменные волны  
И морю вновь укажут путь.

Л. Татьянической доступна и «область личного счастья» (так озаглавлен целый раздел в книге «Избранной лирики»). Но доступна не во всех уголках.

Лучше всего Л. Татьянической удается выразить чувства материнской любви и гордости, верности любимому. Хороши в этом разделе два иносказания о чистой, целомудренной и сильной любви («Я свою лесную родину...» и «Реки»).

Но есть в разделе «Область личного сча-

стья» стихи, увы, не поднимающиеся над уровнем нравоучительной притчи («Испытание», «В саду, среди листвы зеленой...»). Это досадно. Ведь в лучших своих вещах, и в частности в последнем разделе сборника «Стихи разных лет», объединившем размышления поэтессы о доверии и доброте человеческой, о горе и радости, о времени, о жизни и смерти, — Л. Татьянической удается общечеловеческим темам дать свою оригинальную поэтическую интерпретацию, увлечь живописной свежестью и точностью образного решения.

Таково впечатление от книги Людмилы Татьянической, подводящей итог двадцатипятилетней творческой жизни поэтессы. Итог значительный, заслуживающий читательского внимания.

Ал. МИХАЙЛОВ.

★

## ВМЕСТО ИДИЛЛИИ

Грант Матевосян. *Мы и наши горы. Повесть. Перевела с армянского А. Баяндур. «Литературная Армения», №№ 6—8, 1965.*

Какое мне, казалось бы, дело до радостей и бедствий далекого горного поселка с экзотическим названием Антарамеч, пусть и живописен он, и цветущ, и дорог автору? Много сел на земле, много книг, но нам недосуг. Мы все ищем «самобытное», нам подавай «открытие», а тут — что ж! — после первых незаманчивых фраз (боюсь сказать, не владея языком подлинника, от оригинала ли их некоторая корявость или от перевода?), после скучноватых таких фраз насчет связей города и деревни (дескать, вы нам — телефон, специальных корреспондентов и «электрическую кровать», а мы вам — шерсть, мацун и работающих невест) различаешь знакомые интонации. Прислушайтесь вот к этой: «...то не найдут они у себя никакого Аторика (заповедная плодородная долина.— Г. Т.), хоть будь он под самым носом, или же найдут, но не окажется в нем чернозема в сажень толщиной, а будет какая-нибудь дрянь...»

Уж не местный ли это пасечник «рудый Панько» упоенно и говорливо распишет нам сейчас прелести своего родного уголка и веселые причуды его обитателей? Да, смотрите, как будто похоже: «Все это так, конечно, но пропади ты пропадом, Аваг: вечером, когда все были в сборе, дернула его нелегкая вспомнить, как брат его отца

Тома побился как-то об заклад и съел целую овцу, а потом расчистил делянку в непроходимом лесу, срубая подряд все деревья...»

Или еще история: как местный счетовод заменил в школе учителя немецкого языка, а счетоводом сделали сторожа, а сторожем поставили самого первого председателя колхоза — Абгара, «того самого Абгара, который теперь день-деньской возился с внучкой и, уложив ее спать, принимался ругать старуху жену. Старуха в долгу не оставалась — начинала кричать, а самый первый председатель, цыкнув на нее: «Не ори, ребенка разбудишь», — шел в правление. Приходил самый первый председатель к нынешнему и говорил:

— Дай ты мне работу, Христа ради.

— Пойди внучку убаюкай.

— Убаюкал уже.

— Пойди старуху свою поругай.

— Поругал уже.

— Пойди... — нынешний председатель задумывался, — пойди пенсию получи, выпишай уже, печенья внучке купи.

— У внучки зубов нет.

— Купи для старухи.

— И у старухи нет, обе они у меня беззубые.

И председатели — и старый и новый — умолкали в тяжелой задумчивости.

Бесспорно, это стиль, близкий к тому роду шутивно-созерцательного рассказа о жизни «поселян» — земледельцев, скотоводов или рыбаков, который когда-то, во времена гоголевских «Вечеров на хуторе...», так блистательно сменил в русской литературе слащавую традицию сентименталистов. С тех пор свойственная такому рассказу теплота непринужденного разговора, яркая характерность лиц, мудрость народного юмора, намеренно не избегающего легких оттенков вульгарности, с разной степенью таланта и умения воспроизводятся нашими писателями, став общелитературным достоянием и прихотливо смешавшись с фольклорной традицией того или иного народа. Теперь мы частенько узнаем черты этого жанра то в «Приключениях мухумцев» Ю. Смуула, то в повестях Г. Гулиа, то в грузинской лирической киноленте «Я, бабушка, Илико и Илларион». Отчасти он нам уже приелся даже и в лучшем своем виде.

Вот и здесь неслыханы и несчетны отары овец в горах Антарамеча. «Сколько нынче овец в вашем стаде? — спросите вы. Вам ответят: падежа не было, прибавьте, значит, к тому, что было, приплод». Медовы владения колхозной пасеки с ее «густым горячим ароматом»; устойчив хозяйственно-деловой уклад семей («Этой семьей командует солнце, облака, проплывающие над селом, ветры, снег, зной... Весь Антарамеч — как эта семья...»).

Много потешного и грустного расскажет нам автор об этом селе с его благодатно расположенными угольями, с его церковью девятисотлетней давности, с его маленькой слабостью — тшеславиться тем, что отсюда «вышли» историки, инженеры и один важный генерал, — и с настоящей первородной гордостью тем, что сила Антарамеча не в этих выходцах, а в тех, кто потомственно верен селу («От пастуха Ованеса родился пастух Есаи, от пастуха Есаи родился пастух Айказ...») и кто ставит свое деревенское ремесло не ниже любого другого ремесла на земле, которым здесь так дорожат, как летчик дорожит своим небом, а какой-нибудь «закодированный атомщик» — своим синхрофазотроном.

А вольные нравы трудовой «республики пастухов», ее типы, словно вышедшие на время из народных преданий, чтобы стать

героями новых анекдотов и легенд? Медлительный дядюшка Аваг, одетый в броню непробиваемого жизнелюбия; покладистый добряк Ишхан и безотказный труженик Павле, умевший «поспать, поесть и поработать» А само село — это единое целое, о котором привычно говорить как о живом лице: «Село не стало вспоминать», «Село обрадовалось...» Тут царят согласие и труд, село пустеет в страду, вся жизнь переносится на поля. Тут свои, исконные способы миром рассудить чей-то спор или решить, как наказать обошедшего писаный закон вора-кладовщика, как отнестись к тому, что удалые соседи выкрали на неделю лучшего местного косаря Павле, — а не выкрасть ли у них на время их племенного коня? Может быть, Павле и сам отправился бы — с разрешения сельских властей — косить соседский луг, но это было бы долго и нудно — уговаривать, согласовывать, откомандировывать, а в характере здешних людей жив романтический дух лихих народных игр, трудовых обрядов, неразлучных и с шуткой, и с отвагой.

Конечно, не все эпизоды в повести умиляют своей патриархальностью, иные способны озадачить или насторожить непривычного человека; не все интермедии кажутся остроумными, попадаются и плоские. Но — не знаю, с какой уж именно строчки, — вы вдруг ощущаете себя в самом центре горской деревенской жизни, погружаетесь в трудноуловимое, но безошибочно угадываемое существо армянского национального характера.

Родная стихия автора — стихия юмора и живого разговорного слова. Здесь он опытен, свободен и традиционен. Однако ж не ради экзотики местных нравов или идиллии пастушеской вольницы он увел нас в горы Антарамеча? И там, где ровный, веселый голос повествователя начинает срываться — то отзовется мелодрамой, то впадет в раздраженную нравоучительность, — где он порой утрачивает свой дар живописной образительности, там-то кончается традиция; она упирается в те жизненные и литературные препятствия, о которые и мы споткнемся сейчас вместе с автором, ради них, конечно, взявшимся за перо. Как и ему, временами нам будет не до «художества» — только бы ухватить, «пригвоздить» явление, как-нибудь просигнализировать о нем.

Сквозь потешные побасенки о том о сем, сквозь поучительные притчи старых и но-

вых времен — в повести прорезывается конфликт. И нам открывается вдруг, что этот самый Антарамеч, только что безмятежно погруженный сам в себя и гордый своей неутесненной свободой, настроился против нас — всех, кто вне его, кто относится к «остальному миру».

Однажды, еще до войны, из села «взяли и увели» — «не на фронт, не на военную службу» — одного из тех умельцев, которые не проглядят, «когда пора бросать в землю семена котэма или когда пора поворачивать голубые домики пасеки лицом на восток». А совсем недавно директивной силой циркуляра заставили пастухов не вовремя остричь овец «для пользы дела». И молодой весь подох.

Эти странные истории в мирной хронике Антарамеча сначала кажутся случайностью. Почему «забрали» Айказа? Потому, что «Айказ всегда любил поговорить... такой уж он был человек». Но зачем было стричь овец и губить поголовье? Зачем требовать невыполнимого и полагаться на чудо? Антарамечцы — в растерянности и недоумении, они захвачены врасплох и уже сами на себя не похожи. Момент превращения хозяев стада в сбитых с толку людей запечатлен автором в метко схваченной сценке:

«Корреспондентам газет они говорили:

— Добро пожаловать! Наши горы вам на радость. Как живем? Хорошо живем. Если до революции наше село имело... то теперь оно имеет...

Затем сдвигали, как полагается, папаху набок, накидывали пастушью свою бурку на плечи и, облокотившись на палки (традиционные палки), заученно улыбались в объектив. Под конец они предлагали корреспонденту:

— Зашел бы, мацуна поел, мацун у меня холодный, свежий.

...Пастух без мацуна, что за пастух? И молоденький пастух, получивший нормальное среднее образование, юноша, который завтра может быть призван в армию, может стать летчиком-испытателем, может в вуз поступить, может уйти с головой в какую-нибудь науку, открытую только в двадцатом веке, юноша, вчера еще употреблявший в школьном сочинении слово «пешкеш» (подарок) как архаизм, теперь приписывал себе идущие от дедов «мудрые» поговорки, вроде: «Ежели летом

лягу я в тенечек, зимой подохнет мой телочек».

А тут еще новая история: проступок четырех пастухов — рискованный «увод» четырех овец, — сомнительный с точки зрения отвлеченной добродетели, но вполне совместимый с местными обычаями, подводится под уголовный кодекс. Баловство ли это было или недомыслие, но две белые и две черные овцы крестьянина Реваза, прибившиеся к антарамечскому стаду, были съедены пастухами во здравие их хозяина. Правда, с ним любовно договорились, ему, спохватившись, возместили убыток, его угостили шашлыком, но нашелся доносчик, решивший поправить свои дела за счет этих неосмотрительных, недальновидных людей. Нашлись и другие, кому тут виделась выгода. По злему умыслу одних, по служебному рвению других и лицемерной отрешенности третьих недоразумение вырастает в судебное дело.

Здесь, в Антарамече, зараза бюрократизма совсем не стремится к эффектным победам, но, споткнувшись о пассивное неприятие обвиняемых, пребывающих словно в другом измерении, она свирепеет, ожесточается. А главное, она разъединяет село: разлагает души тех, кто податливей, заставляет хитрых приспособиться и у каждого вызывает желание укрыться, убежать. Так, служащий городского банка Царукян в его «моем доме — моей крепости» надежно оградил себя от подобных неприятностей и крепкими крашеными стенами, и грошовой расчетливостью чиновника, живущего на скромном «хозрасчете», и похвальной грамотой дочери, и уютном, что поднес ему профсоюз в день юбилея. Царукян никогда не позволил бы себе оскандалиться перед буквой закона. И потому Царукян недосягаем. Попробуйте потревожить его или обратиться к нему за помощью. Он не сможет и не захочет сделать вам навстречу ни шагу. Стучитесь к нему, пожалуйста, возмущайтесь его неотзывчивостью, — только не слишком шумите, не то он выведет вас из помещения с помощью милиционера, как и поступил, кстати, с одним из пастухов.

Придя в столкновение с формально и корыстно истолкованным законом, традиционная мораль сельского мира весьма наивно и безуспешно пытается одолеть его своими «домашними» средствами: увещаниями, отпирательством, апелляцией

к городскому свату или куму. Но кум, конечно, пасует: следует замечательный эпизод с генералом — антарамечским выходцем. По масштабу это камерная сценка встречи горожанина с земляком, а по смыслу — почти библейская картина отречения от ближнего. Во всяком случае так она видится деревенскому земляку, и где ему знать, что этот генерал — ограниченный службист, предпочитающий всему домашний достаток и удобства, тот же, только более интеллигентный Царукян. Земляк решает по-своему, хотя и не без резона: он считает, что этот генерал «не настоящий».

Пастухи могут сердиться, возмущаться, но не умеют еще размышлять, искать правильного выхода из конфликтов. Чего добились они, слегка наследив на паркете генеральской квартиры и немножко попакостив в домашнем бастионе Царукяна? Они поняли, что «приличные люди», неуязвимые с точки зрения административной добродетели, не то же самое, что «хорошие люди». Но после двух-трех уроков герои делают свой выбор: разбегаются из села. А что до Антарамеча — то он, выходит, остается чужой заботой. Чьей же? Автору приходится пока лишь бить тревогу, усовещивать, обличать и горько сетовать, что местный пасечник не смотрит более на восток, где раскрываются медоносные цветы, а смотрит в сторону города, где можно «набить свой дом всяким добром, тут и буфет, и книжный шкаф, и холодильник», и где дочь твоя сядет за пианино, а ты на рынке аукнешься с бывшим соседом: «Почем мед? Четыре рубля? Ну и грабеж!»

Беды и обиды села. Многострадальная тема статей, экономических обзоров, публи-

цистических очерков и самых разных жанров беллетристики. Каких только эволюций она не претерпела, каких не вызвала к жизни картин — от приятных ретроспекций заезжего литератора, углубившегося в свое «босоное детство» и очарованного освежающей прохладой «шагов по росе», до осознанной горечи книг В. Овечкина, Е. Дороша, С. Залыгина и других.

Маленькая повесть Г. Матевосяна близка этим последним. Отказавшись от догм и условностей идиллических жанров, она подала свой голос с гор. Он не столь хорошо поставлен, как другие, к тому же не целен, расколот. Можно при небескорыстном желании поймать его на противоречиях, уличить в некоторой пристрастности, односторонности, поставить коварный вопрос о практичности его «положительной программы». Пастухам Антарамеча пока что далеко до государственных соображений героя «Деревенского дневника»: мы застаем их в те минуты, когда они еще не опомнились от крушения своих патриархальных иллюзий и — кто как может — ищут выход поодиночке. Это различие в степени общественной зрелости героев бросается в глаза, и оно, конечно, очень важно.

Еще важнее, однако, то, что повесть «Мы и наши горы» — художественная проекция глубоких перемен в жизни антарамечских селян, что это их собственный голос. В таких-то случаях особенно заметно, что интересы и явления русской литературы пересекаются с явлениями литературы общесоюзной, иногда выступающими там, на местах, пожалуй, даже рельефнее.

Г. ТРЕФИЛОВА.



## ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ А. БЛОКА

**Александр Блок. Записные книжки. 1901—1920. Составление, подготовка текста, предисловие и примечания Вл. Орлова. «Художественная литература». М. 1965. 663 стр.**

Выход «Записных книжек» Блока, представляющих собой дополнение к его восьмитомному собранию сочинений (1960—1963), будет, несомненно, встречен с радостью и удовлетворением всеми, кто интересуется личностью и творчеством Блока. И блоковеды, и просто любители Блока, и те, кому небезразлична история русской действительности — общественной

и бытовой — эпохи Блока, смогут найти немало ценного и интересного для себя в этих пестрых и мозаичных записях поэта, наконец опубликованных с достаточной полнотой. Единственное предыдущее издание «Записных книжек» (Л. 1930) было крайне несовершенно и неполно.

Записные книжки прошли через всю жизнь поэта. Это его постоянные спутники,

первоначальные восприимчивы его литературных замыслов и откликов на многообразные события современности. Они являются непосредственным дополнением дневников Блока. Это как бы пунктирные зарисовки самых исходных, самых мгновенных впечатлений поэта.

Блок привык находить общий музыкальный смысл в нераздельных для него фактах искусства, жизни и политики. Его кругозор был широк, наблюдения неожиданны. В свои записные книжки он заносил мысли о литературе и искусстве и «вещные сны», описания картин и архитектурных памятников и изложение содержания прочитанных книг. Здесь можно найти замечания о характере польских легенд и впечатления о скачках и всегда интересовавших его полетах первых авиаторов; а рядом — вдохновенные строки о России, которая «летит неведомо куда — в синеголубую пропасть времен — на разубранной своей и разукрашенной тройке». Блестящая неожиданная характеристика «Степки-Растрепки» чередуется на страницах «Записных книжек» с интереснейшим автокомментарием к «Розе и Кресту» с острыми зарисовками царских сановников, с которыми Блоку приходилось сталкиваться во время работы в Чрезвычайной следственной комиссии для расследования деятельности представителей царского строя, или с такой записью, относящейся к январю 1920 года, — среди сообщений о разрухе, голоде, смерти близких: «М. Ф. Андреева о способах разложения материи — энергия двухкопеечного медяка — скорый поезд вокруг света»<sup>1</sup>.

Но основные темы раздумий Блока свя-

заны с вопросами об искусстве, о долге художника, о судьбах России. Нет, конечно, возможности охарактеризовать разнообразие и богатство содержания «Записных книжек». Приведем лишь несколько глубоких и ярких записей поэта:

«Всякое стихотворение — покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Эти слова светятся, как звезды. Из-за них существует стихотворение. Тем оно гемнее, чем отдаленнее эти слова от текста. В самом темном стихотворении не блещут эти отдельные слова, оно питается не ими, а темной музыкой пропитано и пресыщено. Хорошо писать и звездные и беззвездные стихи, где только могут вспыхнуть звезды или можно их самому зажечь» (декабрь 1906 года).

«Современная жизнь есть кошунство перед искусством, современное искусство — кошунство перед жизнью» (февраль 1909 года).

«Во всяком произведении искусства (даже в маленьком стихотворении) — больше не искусства, чем искусства.

Искусство — радий (очень малые количества). Оно способно радиоактивировать все — самое тяжелое, самое грубое, самое натуральное: мысли, тенденции, «переживания», чувства, быт. Радиоактивированию поддается именно живое, следовательно — грубое, мертвого просветить нельзя.

Яд модернизма» (6 марта 1914 года).

Что сказать о качествах издания? К первым 602 страницам книги, содержащим самый текст «Записных книжек» и примечания к ним, у нас нет особых претензий. Отметим лишь, что на странице 105 сокращение «Кит. ик» неудачливо раскрыто как «Китайский фонарик», поскольку в примечаниях разъяснено, что имелся в виду кинематограф «Китайский домик» (стр. 538), что на странице 215 Блок явно имел в виду не статью Иванова-Разумника «Роза и Крест», как утверждается в примечаниях (стр. 561), а его же статью «Вечные пути» («Заветы», № 3, 1914). Но на странице 603 начинается составленный А. М. Бихтером обширный (стр. 603—657) «Указатель имен и названий», который вызывает ряд вопросов и возражений.

Блок записывает 3 марта 1920 года: «Заседание у Гржебина (с Горьким; критика Ал. Толстого гумилевского, Державина)». В примечаниях даны по этому поводу такие сведения: «Имеются в виду избранные про-

<sup>1</sup> Эта запись — раннее свидетельство о том впечатлении, которое производили перспективы использования атомной энергии — оставлена без комментария. Можно было бы дать его. Разговор с М. Ф. Андреевой был, вероятно, вызван тем довольно оживленным обсуждением вопросов об атомной энергии и строении атома, которое велось в советских газетах в конце 1919 и начале 1920 года в связи с исследованиями выдающегося советского физика Д. С. Рождественского. Об этом эпизоде нам напомнили разыскания Е. Дабкиной («Новый мир», № 12, 1961) и Д. Славенантора («Звезда», № 11, 1962; № 12, 1963). Можно также предположить, что Андреевой и Блоку был знаком переведенный на русский язык роман Г. Уэллса «Освобожденный мир» с грандиозными картинами мирного и военного применения атомной энергии.



изведения А. К. Толстого, подготовленные Н. Гумилевым, и сочинения Г. Р. Державина, подготовка которых была поручена, кажется, Н. Лернеру» (стр. 597). Но составитель указателя, очевидно, с этим не согласен и раскрывает это упоминание о Державине иначе: «Державин Константин Николаевич (1903—1956), театровед; в 1918—1920 гг. — секретарь коллегии ТЕО Наркомпроса» (стр. 617). Не знаем, какие основания были у А. М. Бихтера для такого разъяснения, но две взаимонесключающие версии вызывают недоумение (нам кажется более правдоподобным предположение В. Орлова о том, что тут имеется в виду подготавливавшееся издание Г. Р. Державина).

Пятого мая 1920 года Блок записал: «В доме ученых — Таганцев о новой литературе (Ольденбург зовет). Куда же там!» Составитель указателя считает, что упоминался «Таганцев Николай Степанович (1843—1921), сенатор; в 1921 г. возглавил контрреволюционный заговор против Советской власти» (стр. 650).

Не знаем, может быть, действительно Ольденбург звал Блока на какое-то сообщение семидесятилетнего юриста о новой литературе, но во всяком случае категорически протестуем против того, что этот известный криминалист (он умер не в 1921, а в 1923 году) обвиняется А. М. Бихтером в устройстве контрреволюционного заговора. К «таганцевскому заговору» 1921 года он не имел никакого отношения. Возглавлял этот заговор его сын — профессор географии («Петроградская правда», 1 сентября 1921 года, № 181).

Не вполне может удовлетворить и справка о Пешехонове: «Пешехонов Алексей Васильевич (1867—1934), публицист и экономист; министр Временного правительства; белоэмигрант» (стр. 640). Во-первых, он умер не в 1934, а 3 апреля 1933 года; во-вторых, последние годы жизни (с 1925 года) он работал научным консультантом советского торгпредства в Латвии, похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища в Ленинграде («Красная газета», 8 апреля 1933 года, № 81 (4546)).

Девятого мая 1914 года Блоком было записано: «Разбился Габер-Влынский в Москве» (стр. 227). А. М. Бихтер, очевидно, считает, что «разбился» и «погиб» синони-

мы, и сообщает: «Габер-Влынский А. М., летчик, погиб в 1914 г.» (стр. 613). В действительности в результате катастрофы Габер не погиб, а был ранен и попал в больницу, откуда скоро выписался. Погиб он гораздо позже — в 1921 году («Вестник воздушного флота», № 10—11, 1921, стр. 74). Между тем достаточно было справиться в майских газетах 1914 года, уделявших много внимания падению самолета с Габер-Влынским, чтобы избежать этой ошибки.

Ошибка и в том, что 24 апреля 1919 года состоялось чествование Ф. И. Шаляпина по случаю тридцатилетия его службы в московских и петроградских театрах (стр. 592). Отмечался не тридцатилетний, а двадцатипятилетний юбилей деятельности знаменитого певца.

Неправильно и то, что Конрад Фердинанд Мейер именуется немецким писателем (стр. 633). Он действительно писал на немецком языке, но был классиком швейцарской литературы. Эта же ошибка сделана в старой «Литературной энциклопедии» (т. 7, стр. 99), но можно и не повторять чужих ошибок.

Запись Блока от 3 ноября 1918 года: «Карл Австрийский бежал» (стр. 434) — в указателе комментируется: «Карл Австрийский (1887—?), эрцгерцог». Но почему же эрцгерцог? После смерти Франца-Иосифа Карл стал австрийским императором (1916—1918) и был последним императором «лоскутной монархии», которая в его царствование и развалилась. Это и отмечает здесь запись Блока. И почему знак вопроса вместо даты смерти Карла? Любой справочник мог бы сообщить, что Карл умер в 1922 году.

Имеются и другие схожие «оживления покойников». Без даты смерти или с вопросительным знаком фигурируют и писатель М. И. Волков (стр. 612), театральный критик Е. М. Кузнецов (стр. 628) и издатель К. Ф. Некрасов (стр. 636), хотя без больших затрат труда можно было выяснить все необходимые сведения. Но при работе над указателем составитель, видимо, очень торопился. Жаль, что подобная черствилость оказалась возможной в издании ценных и интересных «Записных книжек» А. Блока.

А. НАРКЕВИЧ.

## КАК И ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД

**Е. Анджеевский. Пепел и алмаз. Роман. Перевод с польского Н. Подольской. «Художественная литература». М. 1965. 294 стр.**

В серии «Зарубежный роман XX века» вышел «Пепел и алмаз» Ежи Анджеевского, одного из крупнейших современных польских прозаиков, имя которого у нас до сих пор было мало известно. Правда, Анджеевского узнали у нас как автора сценария в одноименном фильме Анджея Вайды, сделанного по канве этого романа. Но фильм, дающий известное представление о книге в целом, появился на наших экранах с большим опозданием и был при этом на десятилетие «моложе» самого произведения.

С момента первой публикации романа в Польше минуло без малого двадцать лет. Два десятилетия — довольно значительный срок. За это время «Пепел и алмаз» выдержал на родине тринадцать изданий. Он вошел в школьные программы, а на проведенном недавно одной из газет читательском плебисците — избрании лучшего литературного произведения, появившегося в Польше после войны, — занял первое место.

И все-таки: целесообразно ли было выпускать у нас роман Анджеевского теперь, через столько лет? Может, стоило познакомить читателей с другими, более поздними его произведениями? Вероятно, эта вещь уже «не звучит» для нашего читателя с такой силой, как звучала для того поколения, что знакомились с романом Анджеевского в самой Польше сразу после войны, когда его первая публикация в журнале «Одрозене» вызвала столько споров, дискуссий?

Нет, такого рода опасения напрасны. Разумеется, надо подумать об издании у нас и более поздних вещей Анджеевского. Такие произведения, как исторический роман о средневековой Испании «Мрак покрывает землю» (1957), как роман «Он идет, скачет по горам» (1963) из жизни современной парижской богемы, несомненно, заслуживают этого. Можно, однако, только порадоваться, что «Пепел и алмаз» в талантливом, тонком переводе Н. Подольской, пусть с опозданием, станет теперь на наши полки рядом с книгами Я. Ивашкевича, Т. Брезы, А. Рудницкого, С. Дыгата, Т. Ружевица...

Роман Анджеевского и сейчас волнует, заставляет о многом задуматься. Буквально с первых же страниц книга эта, что называется, «забирает», автор властно ведет нас

за собою, увлекая не закрученностью интриги, но гораздо большим — правдивой и широкой картиной жизни, правдой характеров героев, показанных на крутом и сложном историческом повороте, когда Польша, только освободившаяся от ярма гитлеровской оккупации, вступала в свое новое, еще неведомое завтра.

Время действия — первые майские дни победного 45-го года, последние дни войны. Радиостанции мира захлебываются от сменяющих друг друга сенсационных сообщений: взятие Берлина советскими войсками, самоубийство Гитлера, подписание Кейтелем акта о безоговорочной капитуляции третьего рейха. Но маленький польский городок Островец — место действия романа, — еще не опомнившийся, не пришедший в себя после долгих дней оккупации, городок с развороченными мостовыми, руинами, со следами пожарищ, — живет, словно отключившись от того, что волнует сейчас всех. Однако эта «отключенность» Островца только мнимая, кажущаяся. И здесь сталкиваются в остром конфликте судьбы людей; происходят трагические, кровавые события — прямое следствие процессов, совершающихся в мире.

Время в романе сжато до предела: трое суток. Трое суток на грани войны и мира, дня вчерашнего и дня завтрашнего. Но сколько значительных, важных сдвигов в жизни героев, какая галерея лиц проходит перед глазами! Тут и старая польская знать, люди вроде четы Путятыцких, которых ни война, ни оккупация ничему не научили и которые не желают слышать ни о каких переменах, тут и политические авантюристы вроде ловкача Свенцкого, стремящиеся, наоборот, воспользоваться переходным моментом, успеть примазаться, хотя бы временно, к новому строю, тут и представители различных политических партий, группировок — от коммуниста Щуки и социалиста Калицкого до деятелей реакционного подполья, кто, как майор Вага, глубоко затаился до поры до времени. И все эти люди не просто проходят перед читателем. Каждый даже эпизодический персонаж показан так, что не затеряется, не растает в этой пестрой толпе.

В романе намечен своего рода «идейный

треугольник»: Косецкий — Шука — Маецк. Три жизненных позиции, три характера, три судьбы. Различна уже сама атмосфера, окружающая каждого из этих героев.

Знакомству с адвокатом Косецким предшествует подробное описание его дома. Стоящий где-то на отлете, погруженный в темноту, он представляется вовсе покинутым своими обитателями: встречает пугающе-настороженной тишиной на пороге, глухой пустотой коридоров, только в самой его глубине легкой, печальной тенью промелькнет вдруг жена Косецкого Алиция. Эта женщина с испитым, усталым лицом чутко прислушивается к шагам мужа, который, вернувшись из концлагеря, почти не показывается из своего кабинета, не видится с людьми, не разговаривает с сыновьями, с женой. А на самом верху, в мансарде под крышей, словно на других, убыстренных оборотах идет совсем иная жизнь: у старшего сына Косецкого, Анджея, связанного с майором Вагой, — конспиративные собрания. Юноши, отуманенные националистской пропагандой, готовятся к террористической борьбе. Падают слова: «оружие», «патроны», «боеприпасы»... Еще не зная, не понимая всего того, что произошло у Косецких, мы уже эмоционально подготовлены к тому, что линия разлома, рассекающая эту семью, достаточно глубока, и потому тщетны все попытки пани Алиции остановить, задержать начавшийся распад.

Шука, секретарь воеводского комитета партии, в отличие от Косецкого показан в постоянном движении. Изображая его, автор использует прием, который в кино называют «съемкой с движения». Анджеевский сразу, с первых же страниц, где мы встречаемся со Шукой, спешащим на джипе к рабочим каменоломни, задает определенный ритм жизнедеятельности своего героя. Нам удается увидеть все многообразие контактов партийного секретаря — то мимолетных, то длительных, то носящих характер доверительной дружеской беседы, то принципиального, острого спора с идейными противниками, то терпеливого убеждения. Грузная фигура уже немолодого Шуки, тяжело опирающегося на палку (последствие пулевого ранения, полученного им при побеге из фашистского концлагеря), казалось бы, плохо вяжется с его подвижностью. Но только на первый взгляд. Такое сочетание придает образу дополнительную объемность, достоверность.

Маецк Хелмицкий тоже показан в динамике, в действии. Но как прерывистый ритм, как зигзагообразная линия этого движения, фиксирующая, подобно кардиограмме, его почти лихорадочную учащенность. При этом Маецк движется (вернее, мечется) по замкнутой кривой: все время один и тот же фон — провинциальная гостиница «Монополь» с дешевыми номерами, пьяным угаром ресторанный зал, с ресторанной надрывной музыкой.

Этот фон — не случайная деталь. Маецк связан с Анджеем Косецким, связан с подпольем. Он получает приказ «устранить» Шуку, одного из представителей той новой власти, которая стремится помочь пострадавшим людям быстрее залечить раны и травмы фашистской оккупации.

Маецк связал свою судьбу с людьми из Армии Крайовой, что была непосредственно подчинена эмигрантскому буржуазному правительству в Лондоне. Это правительство, как известно, на исходе войны отдало приказ Армии Крайовой начать восстание в Варшаве, надеясь одним ударом овладеть столицей и стать хозяином положения. В восстании, заранее обреченном на неудачу в силу его полной политической изоляции (тогдашний премьер эмигрантского правительства С. Миколайчик отдал приказ о начале восстания, не согласовав этой «акции» с советским командованием и своими западными союзниками), участвовало население Варшавы, пострадавшее под пятой оккупантов, — простые люди, ничего не знавшие о закулисной игре лондонских политиканов. Несмотря на мужество и героизм почти безоружных повстанцев, восстание было подавлено превосходящими силами гитлеровцев. Варшаву по приказу фюрера стерли с лица земли.

Когда же советские войска, преследуя отступающих фашистских захватчиков, освободили значительную часть Польши, из Лондона было приказано начать террористическую борьбу с представителями польской народной власти...

Такова роль «верхов», обанкротившихся политиков, и отношение к ним автора недвусмысленно ясно. Но Маецк, получивший задание «ликвидировать» Шуку, — иное дело. Да, он — одно из звеньев в этой цепи, винтик в сложном политическом механизме, но субъективно он, как и тысячи других юношей и девушек, пошел в Армию Крайову

потому, что любил родину и жаждал любыми средствами бороться с оккупантами. Судьба Маека и все то, что стоит за нею, — сложно, не поддается однолинейному толкованию.

Многообразная проблематика романа не сводится лишь к контрастному противопоставлению, образу-антитезе, выраженному в заголовке и взятому Анджеевским из стихотворения Норвида: «Чем станешь? Пеплом и золою, что буря разметет по свету? А вдруг в золе блеснет зарею алмаз, как знаменье победы?»

Такое ограничение творческого замысла, однозначное разделение героев на «пепел» и «алмазы», неизбежно привело бы к весьма прямолинейной трактовке, к упрощению основной мысли книги.

В отрывке из Норвида, вынесенном автором в качестве эпиграфа, с его как бы набегающими друг на друга в нервном, прерывистом ритме строчками, обрывающимися в форме беспокойных вопросов (столь характерном для философской лирики поэта), можно уловить известную внутреннюю близость образному строю, стилистике «Пепла и алмаза». И там и здесь то же биение напряженной, побуждающей читателя на раздумья авторской мысли, далекой от всякой предвзятости, назидания.

Это, несомненно, роман философского плана, роман-диалог, близкий по своему складу произведениям Достоевского, где в сложном противоборстве сплетаются различные жизненные, мировоззренческие позиции персонажей, занятых трудными, подчас мучительными поисками жизненных путей и решений. Сопоставляя, сталкивая все эти различные взгляды, точки зрения, автор стремится подвести читателя к пониманию того, в чем состоит истинный смысл человеческой жизни, в чем тот алмаз, без которого даже самая удачливая и счастливая судьба представляется случайной и незадавшейся, засыпанной пеплом мелочей.

Треугольник, о котором уже говорилось, Косецкий—Щука—Маек, обозначен не только чисто изобразительными сюжетными средствами. Он развит, продолжен всей идейно-философской структурой романа. Адвокат Косецкий в прошлом — солидный, уважаемый человек, до шепетильности честный, непомерным трудом выбившийся наверх из нищеты и униженности, — попав в гитлеровский концлагерь, не выдерживает утонченной механики издевательств. Духов-

но капитулировав перед той темной силой, которую он называет «натиском звериной жестокости», Косецкий превращается в лагерного «капо» — презренного помощника гитлеровских палачей.

Свое отступничество Косецкий стремится оправдать, подвести под него «идейную базу». В разговоре с Подгурским, своим бывшим коллегой по юридической практике, ныне секретарем уездного комитета, он, не называя себя, обосновывает поведение таких людей «жаждой жизни», оставляя открытым вопрос о том, ради чего сохраняется такая жизнь, если попраны все идеалы, преданы вчерашние товарищи. И при всем том Косецкий надеется, что общество, поставив крест на мрачном оккупационном прошлом, реабилитирует и таких, как он, отступников...

Антипод Косецкого — Щука опровергает, обнажает всю несостоятельность его «философии». Опровергает, что называется, личным примером: фашистский концлагерь, который сломил порядочного адвоката, не превратил в изменника Щуку. Он по-прежнему остался человеком. Слова, некогда сказанные им Подгурскому: делать свое дело, откуда человек живет — вот что важно! — не просто эффектная фраза. Для Щуки они норма поведения — и в лагере и теперь, в первые, самые трудные дни наступившего мира. Характерная деталь: слова о высоком человеческом долге Щука говорит над телами убитых террористами рабочих, говорит, ясно сознавая, что автоматная очередь предназначалась ему самому, что это на него подполье готовит покушение.

Пожалуй, Щука даже как бы предчувствует близкую гибель. Но сознание нависшей опасности никак не отражается на его поведении. Он вовсе не намерен отступать с однажды избранного пути. Щука недаром так настойчиво разыскивает следы своей жены Марии, погибшей в лагере смерти Равенсбрук. Зная ее характер, он почти уверен, что она вынесла все испытания, не сломилась до конца. Но ему хочется найти людей, которые видели Марию в лагере, как бы услышать ее последнее прощание. Он и погибает от руки террориста в тот момент, когда слушает рассказ узницы Равенсбрука о последних днях Марии: «Из мрака прошлого к нему словно вернулась любимая женщина, та, которая столько раз поддерживала его в тяжелые минуты и укрепляла

пошатнувшуюся веру в людей». Этот рассказ с новой силой убеждает его в том, что только такая человеческая жизнь, жизнь, отданная людям, имеет какой-то высший смысл.

От всей фигуры Шуки веет спокойной уверенностью и силой человека, убежденного в своей правоте, силой, которую ощущают даже его политические противники. Недаром в первую очередь они стремятся убрать именно его.

Анджеевский, верный высказанному им как-то принципу видеть человека даже в политическом противнике, вовсе не упрощает представителей подполья, не оглушает их программу, их лозунги и суждения. Майор Вага отдает приказ «убрать Шуку»; на вопрос Анджея Косецкого, действительно ли этот террористический акт так уж необходим, он отвечает обстоятельно, с искренними нотами в голосе, безошибочно действующими на эмоции молодежи. Он говорит о долге товарищества, напоминает об их соратниках, павших в борьбе во время оккупации, убеждает, что для тех, кто остался жив, единственная возможность засвидетельствовать свою солидарность с ними — это «не остановиться на полпути», «не предать Польшу». Обращение Ваги к обостренно-напряженным национальным чувствам молодого Анджея находит живой отклик в его душе. Недаром позже сам Анджей, разъясняя Мацеку необходимость устранения Шуки, почти дословно повторяет все, сказанное ему Вагой.

Но Анджеевский показывает и другое: что путь террора и убийств, избранный реакцией, чтобы вернуть утраченную политическую власть, неизбежно ведет к тупику, нравственной катастрофе. Понимая всю обреченность своей идеи, такие, как Вага, продолжают проливать кровь, посылать на верную и бессмысленную гибель своих же обманутых пропагандой сторонников. И один из них — Мацек.

Первый день мира заявляет Мацеку о себе с неожиданной, властной силой: ему впервые суждено испытать настоящую, большую любовь. Юная Кристина, официантка, с которой он случайно знакомится, входит в его жизнь сразу и всерьез, как это случается чаще всего в молодую пору, когда высокие человеческие чувства еще ничем не затуманены. Кристина — словно живое воплощение того, что обещает Мацеку еще вчера столь далекое и неяс-

ное слово «мир». Будущее сразу обретает для него конкретные очертания. Оно воздействует на него активно и требовательно, толкает на разрыв с прошлым — со ставшей бессмысленной, бесполезной кровавой борьбой. Но приняв решение порвать с подпольем, Мацек тут же по существу сводит его на нет, соглашаясь привести в исполнение еще одну «акцию» — устранить Шуку.

Для Мацека она нечто вроде отступного: ведь отказ будет истолкован как проявление малодушия, трусости, нарушения товарищества. Но, убивая Шуку, он обрекает на смерть и самого себя. Гибель Мацека от случайной, казалось бы, пули, пущенной ему вдогонку милицейским патрулем, далеко не случайна. Этот исход подготовлен всем строем романа. Драма Мацека показана писателем с полным пониманием и долей сочувствия к трагедии людей военного поколения, которые, подобно юному герою книги, оказались на распутье, не нашли дороги к новой Польше.

Как и Косецкому, Мацеку представляется, будто в любой момент можно начать жизнь как бы с чистой страницы, предать забвению все недобрые дела. Правда, вчитываясь перед самым убийством в строчки Норвида, выбитые в качестве эпитафии над чьей-то могилой, он начинает понимать, что жизнь нельзя прожить дважды. К сожалению, эта мысль приходит к герою слишком поздно, и Мацек не в силах изменить ход своих поступков.

Но если Косецкий своими «философскими» рассуждениями стремится прикрыть собственную жалкую психологию филистера, труса, то наивная вера Мацека в то, будто у него все еще впереди и что он, собственно, ничего дурного не совершил, — совсем другое. Недаром Мацек и для самого автора романа, по его словам, «одновременно жертва и палач». Жертва, потому что превратился в слепое орудие убийства. Для Мацека, формировавшегося в мрачные годы гитлеровской оккупации, когда торжествовал единственный закон — насилия и смерти, когда «человеческая жизнь ничего не стоила», вся эта «перевернутость» окружающего мира невольно начинает казаться нормальным порядком вещей.

Анджеевский тем самым обнажает страшную антигуманистическую природу фашизма и развязанной им войны как зла, отбрасы-

вающего человека далеко назад — к одичанию и варварству, к торжеству грубой силы, стадных инстинктов. Если Мацек сознает наконец всю бессмысленность дальнейших убийств и даже пробует противиться этому, то у представителей самого юного поколения в романе — четырнадцати-пятнадцатилетних подростков, организующих тайную террористическую группу, — уже и совсем фашистская программа. Ведь они в этом смысле еще больше отравлены горьким ядом оккупационных лет и при этом еще хуже Мацека ориентируются в переменах, происшедших в стране. Для них даже зверское убийство своего же товарища только демонстрация силы, бестрепетности духа, слепого повиновения отданному приказу.

Анджеевский своим романом выступает против стихийности, автоматизма челове-

ского сознания, апеллирует к разуму и сердцу современного читателя. Недаром настойчиво, как рефрен, повторяется в книге мотив весны, пробуждающейся природы, символа вечного обновления мира. Зеленая веточка в руке Подгурского, столь страшно контрастирующая с матово-восковыми лицами убитых рабочих в самом начале книги, буйная листва среди руин, которой любит-ся Щука за минуту до гибели, — все это усиливает авторскую мысль о том, что человек пришел в этот мир, чтобы сделать его лучше, а не для того, чтобы разрушать созданное, уничтожать себе подобных...

Это и делает роман Анджеевского, написанный сразу же после войны как решительное ее осуждение, столь же созвучным нашему беспокойному времени, как и двадцать лет назад.

**С. ЛАРИН.**

★

### Политика и наука

## ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

**Экономическая география в СССР. История и современное развитие.**  
«Просвещение». М. 1965. 664 стр.

География, по выражению одного ученого, стара, как само человечество. На протяжении многих столетий она привлекала общее внимание прежде всего благодаря романтике географических открытий и описаниям далеких стран и незнакомых краев. И в наши дни сохраняется интерес к географической литературе у весьма широкого круга людей. Почти всякий не прочь почитать в свободное время что-нибудь из географической серии «Путешествия. Приключения. Фантастика» или журнал «Вокруг света». Все мы благодарны современной географической литературе за то, что она познакомила нас с путешествиями Ганзелки и Зикмунда, Тура Хейердала и многих других путешественников середины XX века. Ныне «центр тяжести» открытий переместился поистине на самый край света — в Антарктиду. Вслед за плаваниями «Кон-Тики». «Витязя», «Еретика» Алена Бомбара он все больше перемещается с суши на просторы океана, а в последнее время — и в его глубины.

Все это хорошо. Ну, а что дальше? А дальше, когда на земле не останется «белых пятен», историческая миссия географии как

науки будет исчерпана? Подобным образом рассуждают многие. совсем не ведая того, что в наши дни география перестала быть только описательной. Основным объектом ее исследования становятся не столько самые отдаленные и труднодоступные районы земли, где еще не ступала нога человека, сколько освоенные в хозяйственном отношении и густо заселенные территории. Так что перспективы развития нашей науки не так уж плохи, хотя, может быть, само название ее («география» — описание земли) и не отражает всех этих новшеств.

Чтобы широкий круг читателей заинтересовался путями развития современной географии, на эту тему надо писать. Книг же по истории и теории географической науки, особенно на фоне всей обширной географической литературы, поступающей на книжный рынок, очень немного. С тем большим вниманием следует относиться к новой солидной монографии, появившейся в книжных магазинах в самом конце 1965 года. Эта книга не затрагивает всех проблем географической науки. Она посвящена проблемам одной из ее ветвей — экономической географии.

Само название «экономическая география» впервые было употреблено Ломоносовым ровно двести лет назад. И хотя этот термин вошел в научный обиход значительно позже, в конце XIX века, а до этого экономическая география именовалась то политической географией, то статистикой, то экономической коммерцией, — речь идет о науке, имеющей уже двухсотлетнюю историю. Показать в одной монографии пути развития этой науки и ее современное состояние — такую многотрудную задачу поставил перед собой авторский и редакторский коллектив, создавший книгу «Экономическая география в СССР».

Конечно, такая книга родилась не сразу и не на пустом месте. В конце ее (стр. 616—619) приводится перечень литературы по истории отечественной экономической географии и смежным вопросам. Это и есть предшественники настоящей работы — книги и статьи, принадлежащие перу П. П. Семенова-Тян-Шанского, Л. С. Берга, Н. Н. Баранского и других географов, сборники «Советская география. Итоги и задачи» (Географгиз, 1960) и в особенности «Отечественные экономико-географы» (Учпедгиз, 1957).

Первая часть книги включает четыре обобщающих очерка. Вторая — это своеобразный географический «пантеон» — содержит очерки с наиболее видных отечественных экономико-географов, ушедших из жизни. Такая структура книги не мешает ее внутреннему единству: многочисленные «мостики», переброшенные между обеими частями, обеспечивают необходимую взаимосвязь.

Дореволюционному периоду развития экономико-географической мысли посвящены интересный очерк профессора Н. П. Никитина и ряд научно-биографических очерков. В них особенно привлекает широта подхода. Помимо описаний жизни и деятельности «собственно» экономико-географов, большое внимание уделено тому вкладу в экономическую географию, который был сделан учеными-энциклопедистами XVIII века — В. Н. Татищевым и М. В. Ломоносовым. Широко освещены экономико-географические воззрения Д. И. Менделеева. Свежо, в каком-то новом «ключе» звучат рассказы об экономико-географических воззрениях одного из наиболее разносторонних русских географов П. П. Семенова-Тян-Шанского и виднейшего климатолога и физико-географа А. И. Воейкова, знаменитого не только

своей феноменальной литературной плодотворностью (1752 названия работ!), но и широтой научных интересов.

Выход за «ведомственные» рамки экономической географии позволил хорошо показать тесные связи между развитием экономико-географических идей и передовой русской революционной мыслью. Хорошо, что в книге нашлось место для изложения идей Радищева о необходимости районирования России, проектов нового административно-территориального деления, составленных декабристами Павлом Пестелем и Никитой Муравьевым, или соображений по методологии экономического районирования, выдвинутых в середине прошлого века Н. П. Огаревым. Как обеднилось бы содержание книги, не будь в ней хотя бы кратких высказываний о географической литературе, принадлежавших перу Белинского, Чернышевского, Добролюбова, Писарева. А деятельность основанного в 1845 году Русского географического общества, известного не только научными заслугами, но и своим демократизмом?

Большое познавательное значение в ряде случаев имеют и те части очерков, в которых излагаются не научные идеи ученых-географов, а их биографии. Все ли, например, знают о том, что Лев Мечников, старший брат выдающегося биолога Ильи Мечникова, был не только географом, но и активным деятелем революционного движения в России и за границей, близким сподвижником Гарибальди, участником его легендарной «тысячи»?

Очерк «Советская экономическая география» профессора Ю. Г. Саушкина представляет собой первый опыт обобщенной характеристики развития советской экономической географии. Он позволяет шаг за шагом проследить весь путь ее развития в советские годы — от плана ГОЭЛРО и первого экономического районирования России до событий послевоенного двадцатилетия, в ходе которого, несмотря на все внутренние противоречия своего роста, советская экономическая география завоевала определенные позиции как в науке, так и в практике хозяйственного строительства. Мы часто бываем настолько захвачены стремительным и притом все ускоряющимся темпом нашей жизни, что пристраиваемся хоть на минутку, чтобы осмотреться, оглянуться назад, на пройденный путь, у нас попросту недостает времени. Очерк профессора Саушкина помо-

гает нам это сделать, и притом он отнюдь не обращен в прошлое, а заставляет события тридцати-пятидесятилетней давности «работать» на современность.

В том же духе написаны и статья об экономической картографии профессора А. И. Преображенского, и очерки о жизни и деятельности видных экономико-географов советского периода. Среди них и ученые, сумевшие тесно связать теорию экономической географии с практикой социалистического строительства (И. Г. Александров, Н. Н. Колосовский и другие), и работники высшей школы, представители разных направлений экономико-географических исследований. При этом впервые после большого перерыва мы снова читаем о А. А. Рыбникове, С. В. Бернштейне-Когане и некоторых других ученых, по отношению к которым довольно долго применялась «фигура умолчания».

Особое место в книге занимает описание жизненного пути и научных идей Николая Николаевича Баранского, и это вполне естественно: значение Баранского, его роль в становлении и развитии самой экономико-географической науки очень велики. Памяти Н. Н. Баранского — одного из старейших русских революционеров-большевиков, создателя советской экономической географии, крупнейшего географа современности — посвящена вся книга.

Советская экономическая география, выросшая на прочном фундаменте марксистско-ленинской методологии, в то же время впитала в себя все лучшее, созданное дореволюционной экономической географией, — и эта мысль совершенно правильно подчеркивается всей направленностью книги. Но в то же время она пронизана идеей основных новых принципов советской конструктивной экономической географии, которая уже перестала быть чисто «кабинетной» наукой. Постепенно принимая на вооружение новейшие способы исследований (математические методы, районные планировки, моделирование), она все больше перестраивается в направлении приближения к жизни, к практике экономического районирования и рационального размещения производительных сил.

Наконец последний очерк общей части, посвященный связям и контактам русской дореволюционной и советской экономической географии с зарубежной (автор профессор В. В. Покшишевский), представляет собой по существу первое в нашей литера-

туре исследование подобного рода. Вместе со специально составленным перечнем работ зарубежных авторов о советской экономической географии и списком опубликованных за рубежом книг и статей советских географов они свидетельствуют о том, что за последнее десятилетие советская экономическая география прочно заняла свое место в мировой науке.

Но при всех достоинствах этой книги приходится с сожалением отметить, что не все в ней равноценно. Возьмем, например, вопрос об экономической географии зарубежных стран, которым в Советском Союзе занимается большой отряд ученых. Он освещен в книге на редкость бледно и схематично. О важнейшей проблеме международного географического разделения труда очень бегло говорится лишь в связи с IV съездом Географического общества СССР. Причем сама работа симпозиума, посвященного социалистическим странам, освещена недостаточно объективно (стр. 168). От книги, выпущенной в свет издательством «Просвещение», можно было ожидать большего внимания к актуальнейшей проблеме школьного экономико-географического образования, которая достаточно глубоко раскрыта только при характеристике дореволюционного периода. Конечно, приведенные в книге высказывания Белинского об учебниках географии («учебная книга не роман и если дурно составлена, то делает вреда не меньше чумы или холеры») не потеряли своей остроты и в наши дни, но этого мало. Сейчас в печати высказываются различные суждения о судьбах школьной экономической географии. Некоторые авторы норовят сжечь все мосты между вузом и школой, отрицая всякую связь школьной географии с так называемой «большой географией» или, иными словами, — школьного предмета с наукой. Другие ударяются в противоположную крайность; подобные «максималистские» тенденции, на наш взгляд, нашли выражение и в рецензируемой книге (стр. 145).

Хотя подбор персоналии для «пантеона» в целом не может вызвать возражений, все же хотелось бы отметить, что при таком широком подходе к проблеме в книге могли бы получить отражение также работы Д. Н. Анучина и Н. И. Вавилова, имющие экономико-географическое и страноведческое направление. Выделение специального очерка, несомненно, позволило бы более глубоко



и всесторонне раскрыть огромное значение для экономической географии известных ленинских работ «Развитие капитализма в России» и «Новые данные о законах развития капитализма в земледелии». Что же касается перечня ныне здравствующих экономико-географов, помещенного на страницах 173—193, то, как нам кажется, особой необходимости в нем не было.

И последнее. Ни для кого не секрет, что уже длительное время в географической науке идет острая дискуссия о содержании и путях развития географии. В ее основе лежит различный подход к принципиальным проблемам, хотя, если говорить откровенно, сами споры иногда приобретают схоластический оттенок, серьезно препятствуя объединению сил географов для коллективной творческой работы. Во всяком случае умолчать об этой дискуссии в

книге, претендующей на то, чтобы дать «целостное представление об истории и современном развитии экономической географии в нашей стране» (стр. 6), было бы, конечно, неправомерно. Но для «целостного представления» противопоказано то одностороннее освещение теоретических вопросов современной географии, которое некоторые авторы проводят весьма целеустремленно, забывая о необходимости объективно изложить точку зрения своих оппонентов. Подобный подход, уже вызвавший довольно широкий отклик в географических кругах, не может не снизить общего впечатления от этой книги, которую, будем надеяться, прочтут не только географы, но и все те, кто интересуется историей развития научной и общественной мысли в нашей стране.

**В. МАКСАКОВСКИЙ,**  
*кандидат географических наук.*

★

## КНИГА О ТРИБУНЕ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Ц. Фридлянд. Дантон. «Наука». М. 1965. 270 стр.

Моему отцу — историку Григорию Самойловичу Фридлянду исполнилось бы в этом году семьдесят лет. Я помню, как «Дантон» появился в нашей тесной квартире в Третьем доме Советов, что на Садово-Каретной. В забытый книгами кабинет отца принесли пачки одинаковых книг с черным страшным профилем на обложке — авторские экземпляры. Они громоздились возле книжных шкафов, на которых стояли гипсовые головы Марата и Бланки... Участник Октября и гражданской войны, профессор «Свердловки» и Института красной профессуры, отец был автором десятков работ по истории Франции, главным образом по истории Французской революции, а среди них и учебники, и монографии, и полемические статьи, шумные обсуждения которых собирали немалую по тем временам аудиторию, как, скажем, в 1928 году при обсуждении его доклада о 9 термидора. В 1934 году Г. С. Фридлянд был назначен деканом только что созданного в Московском университете исторического факультета. В этом же году вышли его книги о Марате и Дантоне...

Слова о том, что у книг есть своя судьба, относятся к работе Ц. Фридлянда (Цви

Фридлянд — литературный псевдоним историка) о Дантоне в полной мере. Ее «биография» началась очень счастливо: изданная в 1934 году в серии «Жизнь замечательных людей», она тут же разошлась, через год была переиздана Соцэргизом и разошлась снова... Но уже в следующем году «Дантона» изыали из библиотек. Впрочем, судьба этой книги не была в ту пору исключительной.

Сейчас «Дантон» переиздан в издательстве «Наука». Автор предисловия доктор исторических наук В. М. Далин утверждает, что, «несмотря на популярную и живую форму изложения», «Дантон» Ц. Фридлянда «представляет собой серьезное и оригинальное научное исследование». Среди литературного наследия Ц. Фридлянда «Дантон» занимает особое место. Если переизданная пять лет назад Академией наук СССР его монография о Марате<sup>1</sup>, по словам В. Далина, «рассчита-

<sup>1</sup> Ц. Фридлянд опубликовал в 1934 году только первую книгу исследования «Жан-Поль Марат и гражданская война XVIII века», которая и была переиздана в 1959 году; полностью подготовленная к печати рукопись второй книги — итог десяти лет работы историка — была изыята в 1936 году и уничтожена.

на на специалистов и написана по всем строжайшим правилам научного исследования», то «Дантон» обращен к широкому читателю и написан с внутренней увлеченностью и страстью.

Именно это и делает «Дантона» живым и сегодня. Читателя прежде всего останавливает в нем своеобразное смещение времени — сложное и тревожащее: время действия — конец XVIII века, Париж в годы великой революции, жесточайшая классовая борьба, грандиозные характеры; время написания книги — начало тридцатых годов XX века, которое чувствуется за каждой вольной или невольной ассоциацией автора, отбором фактов, даже стилистикой книги; революционный опыт Октябрьских дней и гражданской войны, — к нему автор обращается иногда прямо, иногда косвенно; и наконец время переиздания «Дантона», спустя тридцать два года после его первого опубликования, когда сложный и нелегкий собственный опыт многих читателей своеобразно накладывается на содержание книги.

Все это и позволяет мне — не специалисту-историку — предложить журналу рецензию о книге моего отца. Я перечитал ее сегодня как читатель, впервые раскрывший книгу, написанную тридцать лет назад.

В. Далин пишет в предисловии, что «Дантон» за тридцать лет не устарел, что выводы автора совпадают с теми «конечными обобщениями, к которым пришла современная прогрессивная советская и зарубежная историческая наука». Это тем более интересно, что споры о Дантоне ведутся уже полтора столетия, что один из последних биографов Дантона Луи Барту утверждал недавно, что «история до сих пор стоит перед загадкой». (Более или менее окончательные выводы, к которым пришла сейчас историческая наука в «деле Дантона», содержатся в статье Ж. Лефевра «О Дантоне», опубликованной в Париже в 1963 году. Выводы книги Ц. Фридлянда, по словам В. Далина, совпадают с этими «конечными обобщениями».)

«Дантон», написанный в свое время для серии «ЖЗЛ», не просто беллетризованная биография — Жизнь Замечательного Человека — с подробным последовательным описанием детства, юности и зрелости, общественной и политической деятельности. Автора интересуют последние пять лет

жизни его героя. Но это пора великой революции — один из самых остро драматических и трагических отрезков истории, пять лет, в которых сконцентрировалось, вместились то, что готовилось столетиями, годы, переломившие историю человечества. Опыт Великой французской революции необычайно поучителен, ее история учит пониманию закономерностей и тенденций революции.

Ц. Фридлянд торопится пройти через ранний период жизни своего героя, когда тот с присущей ему энергией стремительно «организует» свою карьеру. (Дантону исполнилось тридцать лет, когда началась революция.) Впрочем, как автор ни спешит, он и здесь старается понять, что же было в этом молодом преуспевающем адвокате, что подготовило столь бурное рождение Дантона. Тит Ливий с его торжественными призывами умереть за отечество, боль за страдания народа, глубокие размышления над тем, что говорили Вольтер и Дидро, понимание чаяний третьего сословия, ненависть, презрение к правящим классам, которые, по словам Мирабо, «будут думать до самой катастрофы, что народ можно всегда морить голодом»?

«Если законы хороши, — говорил Дидро, которым увлекался Дантон, — нравы добрые. Если законы худы — нравы дурные. Если законы добрые или худые не соблюдаются — общество тогда в особенно дурном состоянии». Французское общество в конце XVIII века было, разумеется, в «особенно дурном состоянии». Но как мог вчерашний мирный буржуа, занятый устройством своего благополучия, стать одним из вождей великой революции? Или здесь мы сталкиваемся с недооценкой дореволюционной деятельности Дантона? А разве присущие этому человеку несомненно отрицательные качества с революцией исчезли и не проявлялись так или иначе в его дальнейшей громкой судьбе? Виднейший историк эпохи Третьей республики, один из авторов благостной «легенды о Дантоне», Альфонс Олар видел в Дантоне только героя — центральную фигуру революции. Против этой легенды выступил в начале XX века основатель Робеспьеристского общества Альбер Матьез, видевший в Дантоне только «беспринципного низкопробного авантюриста»; Матьез погратил больше двух десятилетий, собирая доказательства «продажности» Дантона. Ц. Фридлянд пы-

тается разобраться в том, что было: случайно ли именно такой герой, такой человеческий тип был выбран историей, что это — «указание свыше» или закономерность? «То, чем станет Дантон впоследствии,— говорит Ц. Фридлянд в первой главе книги,— определится не его личными стремлениями, а теми требованиями классовой борьбы, которые будут диктовать ему, молодому буржуа, линию поведения и его будущее». И чуть дальше уточняет: «Дантон стал тем, чем могла сделать и чем сделала его Франция накануне Великой революции конца XVIII века». Дантон стал героем буржуазной революции потому, добавим мы, что именно такой герой ей и был нужен.

В июле 1789 года в дистрикте Кордильеров, вскочив на стол, Дантон декламирует грозным голосом о «величии свободы», призывает граждан к оружию, выступает вместе с Маратом, Демуленом, Клоотсом. Всех поражает его внешность: огромная атлетическая фигура, изрытое оспой лицо, мощный голос и драматические жесты. Через год его имя гремит уже по всей Франции. Ц. Фридлянд пытается разобраться в том, что способствовало этому головокружительному подъему Дантона на вершины революции: «Во имя «отечества» он (Дантон.— Ф. С.) указывал на требования дня, а не на абстрактные идеалы. Робеспьер и Марат направляли внимание масс в далекое будущее. Дантон давал прямые ответы на непосредственные требования момента».

В 1792 году министр Дантон стоит фактически во главе революционного правительства. «Отложите всякие разговоры о морали и философии до того момента, когда народ настолько просветится, что сможет в достаточной мере уразуметь истинную ценность религиозных верований»,— говорил Дантон. Популярность его еще более возрастает в конце августа—сентябре 1792 года. Его речи в Конвенте производят потрясающее впечатление, волей и решимостью он в ту пору затмевает всех своих союзников.

Смесь цинизма и государственной мудрости, сила характера, политическая изворотливость, поразительная мгновенная способность оценивать политическую ситуацию давали Дантону возможность возглавлять революцию на самых разных ее этапах.

Он исчезает из Парижа в бурную неде-

лю подготовки восстания 10 августа 1792 года, выжидает исхода событий, не забывает пока об упрочении своего благосостояния и появляется вновь 9 августа, когда сомнений в исходе восстания уже нет,— для того, чтобы его возглавить, и уж тут развивает бешеную деятельность. Он дает члену Учредительного собрания Теодору Ламету откровенное и циничное обещание сделать для спасения короля «все возможное, если у меня будет хоть один шанс на успех. Но если я потеряю всякую надежду, я объявляю вам: не желаю, чтобы моя голова пала вместе с его головой. Я буду среди тех, кто его осудит». Как известно, он был среди тех, кто потребовал казни короля,— как видно, и «одного шанса на успех» у него уже не оставалось. Но и тут он говорил осторожно, строя, несмотря на весь свой ораторский темперамент, каждую фразу «с двойным смыслом» — и льстит народу, и угрожает Конвенту.

Как известно, он, выступавший против жирондистского Конвента в защиту Шометта и Эбера весной 1793 года, через год, в пору якобинского террора, был одним из тех, кто «во имя милосердия» послал на эшафот и Эбера, и Шометта, и «бешеного» Леклерка, и героя революционного террора комиссара Конвента Каррье, имя которого навредило ужас на буржуа, и «оратора рода человеческого» прусского барона Анахарсиса Клоотса. Для того, чтобы оторвать от эбертистов плебейские массы, Сен-Жюст объявил тогда, что они действовали «по указке иностранцев, что они подкуплены золотом банкиров». А конфликт Дантона с Жирондой — попытка договориться счастливо жирондистов и в то же время готовность при изменении общей политической ситуации прослыть даже «кровопийцей», резко выступить против жирондистов в роли свирепого демократа и революционера... Потом Дантон будет жаловаться и говорить, что допустил ошибку, выдав своих друзей-жирондистов. «Это они (жирондисты.— Ф. С.) заставили нас броситься в объятия санкюлотов, которые уничтожили их, уничтожат нас и, наконец, уничтожат самих себя»,— говорил он.

Автор внимательно и осторожно рассматривает «процесс против Дантона», который ведется вот уже сто пятьдесят лет, обвинения в его продажности. Как бы грозно ни звучали иные из этих обвинений (особенно

серьезны обвинения, собранные таким вдумчивым исследователем, как Матьез), но это только косвенные улики. В. Далин, говоря в своем предисловии об аргументации Матьеза, приводит французскую поговорку: «Кто слишком много доказывает, тот ничего не доказывает». «Согласиться ли нам с Матьезом, что Дантон составил себе состояние взятками и изменами? Будем осторожны», — пишет Ц. Фридлянд. «Была ли вся политическая деятельность Дантона продиктована стремлением к наживе? Матьез хочет убедить нас в этом», — пишет он в другом месте. И добавляет: «Классовые пороки Дантона Матьез расценивает как его личные пороки, а таланты и политические успехи его он не объясняет иначе, как результатом «случайностей» и «стечением обстоятельств». Во всяком случае предположение Ц. Фридлянда о том, что Дантон, как и многие буржуазные революционеры его эпохи, занимался спекуляцией национальным имуществом, приобретал землю через подставных лиц и т. п., кажется убедительным и психологически и социально. Тайна богатства Дантона «раскрывается сама собой, без рискованных предположений о прямой измене и подкупе его королем и английским министром Питом». Мы слишком охотно идем порой навстречу самым невероятным предположениям и отмахиваемся от простых объяснений, исходящих из понимания социальной закономерности происходящего. «Охотно дают восемьдесят тысяч франков такому человеку, как я, но нельзя получить за восемьдесят тысяч франков такого человека, как я», — сказал однажды Дантон в ответ на обвинение Лафайета. Разумеется, эта эффектная сентенция не может «смыть пятно позора с революционера», замечает Ц. Фридлянд. Но она дает возможность почувствовать психологическую и классовую природу характера Дантона.

Отношение Дантона к революционной диктатуре и террору, при которых конституция 1793 года была оставлена «как памятник добрых намерений для лучших времен», необычайно интересно. Когда он нуждается в самозащите, то обращает весь свой ораторский талант для защиты граждан, пострадавших от произвольных арестов, настаивает на соблюдении законов, «нами же изданных». Но это продолжается недолго. В одной из своих речей, пытаясь найти контакт с Жирондой, Дантон гово-

рил: «Никогда троны не рушились без того, чтобы под их обломками не было погребено несколько мирных граждан». Дантон думал, что «обломки» не заденут только его — Дантона, — «стоящего над партиями». Мы знаем, что он ошибался.

«Революции разжигают все страсти, — говорил Дантон. — Великий народ революции подобен металлу, кипящему в горниле. Статуя свободы еще не отлита. Металл еще только плавится. Если вы не умеете обращаться с плавильной печью — вы все погибнете в пламени».

Страницы книги, посвященные последним дням Дантона: провозглашение им «милосердия», арест, тюрьма, процесс и казнь — производят сильное впечатление. Дантон ведет себя в полном соответствии с психологической природой, правдой своего характера. Он требует, чтобы «сдали человеческую кровь»: «Есть предел всему, — говорил Дантон, — я требую, чтобы этот предел был поставлен» (у вождей якобинской диктатуры были другие представления о «пределе». Сен-Жюст говорил в ту пору о Дантоне: «Они хотят сломать эшафоты, потому что боятся, что им самим придется взойти на них»; самого Сен-Жюста эшафот не тревожил...); он издевается над собой за то, что был создателем революционного трибунала, называет Робеспьера Нероном, цинично говорит о революционной власти, о народе («Сволочи, они будут кричать «Да здравствует республика», — когда меня повезут на гильотину»); голос Дантона на процессе «гремел с такой силой, что рев его доносился через открытые окна на другую сторону реки». Дантон не переставал шутить всю дорогу до эшафота, успокаивал Камилла Демулена. Говорят, что Дантон сказал палачу: «Покажи мою голову народу, она стоит этого...»

Едва ли следует утверждать, что книга Ц. Фридлянда о Дантоне в том жанре, в котором она написана, это последнее слово об одном из великих вождей великой буржуазной революции. Дантон был слишком крупной и противоречивой фигурой. Но современного читателя, несомненно, заинтересует в этой книге и сам подход к предмету исследования, попытка обратиться к историческому материалу для того, чтобы поразмышлять, нащупать верный путь для понимания важных, в том числе и современных проблем. Книга интересна и самой методологией исследования.

«Г. С. Фридлянд был вырван из среды советских историков, когда ему не исполнилось еще и сорока лет,— пишет в своем предисловии В. М. Далин.— К этому времени он успел уже сделать и написать чрезвычайно много. Напряженная обстановка, в которой он работал, стремление успеть сделать возможно больше накладывали известный отпечаток на его произведения — в них были противоречия, ошибки, иногда фактические неточности. Но это

работы очень талантливого и увлекательного человека, глубоко верившего в марксизм как единственный научный метод исторического исследования. На трудах Г. С. Фридлянда бесспорно лежит «виза времени». Но тем интереснее нашему новому читателю и молодому советскому историку познакомиться с работой одного из зачинателей советской исторической науки».

Ф. СВЕТОВ.

★

## СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В ДРЕВНЕЙ РУСИ

Г. Е. Кочин. *Сельское хозяйство на Руси в период образования Русского централизованного государства. Конец XIII — начало XVI вв.* «Наука». М.—Л. 1965. 462 стр.

Историк Г. Е. Кочин написал интересную книгу об истинном подвиге народных масс нашей страны, на протяжении ряда столетий распахавших обширные лесные и степные пространства. Предмет его исследования — сельское хозяйство на Руси от конца XIII до начала XVI века, преимущественно в нечерноземных районах. Он привлек для этого большой круг источников: летописи, юридические памятники, материалы переписей (писцовые книги), недавно изданные материалы из архивов монастырей, археологические находки, берестяные грамоты и т. п. Он продолжает, а нередко и повторяет методы исследования и выводы, которые мы находим в отличной работе Л. В. Черепнина «Образование Русского централизованного государства в XIV—XV веках» (М. 1960).

Для феодализма передовым явлением в земледелии было утверждение трехполья, паровой системы сельского хозяйства. Трехполье сменило собой подсеку в лесных районах и перелог и двухполье на открытых местах и в степях. Подсека — участок леса, вырубленный и очищенный огнем от деревьев и пней (зола служила удобрением). Утверждение трехполья с правильным чередованием озимого, ярового поля и пара заняло целые века. Г. Е. Кочин считает, что в течение XIII—XV веков этот процесс усилился и трехполье победило в Северо-Восточной Руси и в Новгородской области. Этому способствовало многое, прежде всего совершенствование орудий обработки почвы — сохи, плуга, бороны, и возникновение форм земледелия, переходных к трехполью.

Еще до XIII века на Руси сложилось «село» из нескольких крестьянских дворов с усадьбой владельца-феодала, с земельными угодьями. Но с этого времени, особенно с начала XIV века, чаще упоминается «деревня» из одного или нескольких крестьянских дворов с пашнями, покосами, огородами и т. д. Первым этапом на пути складывания деревни был «починок» с крестьянским двором, но еще с неполной земледельческой базой. Зброшенные поселки, лишённые усадьбы, но сохранившие земельные участки, еще недавно обрабатывавшиеся, носили название «пустошь». Запустение могло появиться в результате войн, эпидемий и т. п. Переход к трехполью сопровождался строительством деревень и починок, обработкой старых и новых угодий.

Подсека медленно вытеснялась трехпольем и существовала одновременно с паровой системой. Автор приводит девятнадцать указаний на пар («паренина»), обнаруженных им в источниках, относящихся ко второй половине XV века. Применялось в ту пору уже и навозное удобрение, но не всегда, и сведения об этом очень пестры. Для более позднего времени интересно сообщение немца Генриха Штадена, состоявшего на русской службе в опрочине при Иване Грозном в XVI веке. В своих записках он сообщает, что в Рязанской земле почва столь плодородна, что навоз сбрасывают не на поля, а в реки.

Важнейшим источником по истории сельского хозяйства нечерноземной полосы служат новгородские писцовые книги, составленные в XV и XVI веках по наказу вла-

стей и содержащие описания многих тысяч крестьянских хозяйств. Как правило, писцы встречались здесь с трехпольем, они указывали, что у крестьян было столько-то пашни «в одном поле, а в двух потом уж». Однако не обходились и без подсеки. Но прямые указания на нее редки, это «отхожая» пашня, которую писцы оставляли без описания. Наличие ее можно предполагать там, где показаны явно недостаточные размеры запашки на крестьянский двор, например, одна-две десятины. Г. Е. Кочин отмечает большие колебания размеров пашни: пять — двенадцать или пятнадцать — двадцать десятин и более на двор. Мелкие крестьянские хозяйства восполняли недостаток пашни подсекой, промыслами, охотой и т. п.

Автор приводит не только известия о частых неурожаях и дороговизне, но и сведения иного характера. В псковской летописи говорится о трехлетнем недороде в 1420—1422 годах: «На всю Русскую землю бысть глад велик». Но в Пскове имелись большие запасы зерна, и туда для закупок шло много люда из других областей, так что псковичи запретили вывоз хлеба. В той же летописи под 1471 годом рассказывается о больших морозах, но урожай сохранился. В 1484 году не уродилась из-за дождей рожь, но яровые хлеба созрели хорошо, в следующем же году в Псковской земле хорошо уродились яровые, а рожь дала пестрые сборы, в одних местах «с избытком», а в других местах и «жать нечего».

Победа трехполя связана с отбором засеваемых культур с учетом почвы и климата. Для Северо-Запада и Северо-Востока Руси основной озимой культурой была рожь, яровые хлеба — овес, ячмень и в небольшом количестве пшеница; в яровых полях сеялись также просо, греча, горох. Повсеместно сеяли лен и коноплю. В крестьянском хозяйстве использовались лошади, в небольшом количестве — волю. В обеспеченности скотом крестьянские дворы сильно различались, были и безлошадные хозяйства. Феодалы нередко имели большие табуны, коневодство должно было обеспечить войско боевыми конями, на крестьян возлагалась также ямская повинность. В 1474 году вместе с татарскими послами в Москву из Орды пригнали до сорока тысяч лошадей на продажу (вероятно, эта цифра преувеличена). Сельское хо-

зяйство было в основе своей натуральным, но не целиком замкнутым от рынка. Охота, лесные промыслы, домашнее ткачество, бортничество не только обеспечивали потребности крестьян и феодалов, но и давали продукцию на рынок.

В центре исследования Г. Е. Кочина — изучение форм эксплуатации крестьян феодалами. В ту пору преобладала феодальная продуктовая рента — крестьянский оброк из доли урожая. Господская запашка была редка и обрабатывалась холопами (рабами). Крестьянский оброк был самым разным и составлял половину либо треть урожая, а то четверть или пятую часть и тогда сочетался с денежным оброком или заменялся «посопным хлебом» — когда крестьянин обязан был давать вместо доли урожая определенное количество хлеба. При переводе на зерно оброк чаще всего составлял треть урожая. Урожай ржи был невелик (сам-три), поэтому оброк был весьма тяжел. Феодалы получали с Новгородской земли в целом примерно 4,2 миллиона пудов зерна в год. Но этим повинности крестьян не ограничивались. Сверх оброка зерном крестьяне давали феодалу «мелкий доход» — мясом, яйцами и т. п., а также вносили «доход» ключнику (управляющему). Кроме того, крестьяне обязаны платить подать деньгами в пользу государства («дань»).

Автор не согласен с теми историками, которые видели зарождение барщщины в обязанности крестьян обрабатывать «десятинную» пашню в пользу владельца или «жеребий», известный нам из грамоты митрополита Киприана 1391 года о повинностях монастырских крестьян. Он считает, что эта земля не выделялась из крестьянских полей и повинность состояла в обязанности пахать одну шестую часть в пользу феодала, и он сближает ее поэтому с издольщиной. Это нам кажется спорным. Рост господской пашни, утверждает Г. Е. Кочин, происходил позднее, в XVI столетии.

Так же не бесспорно представлено в книге положение крестьян на государственных («черных») землях. Автор признает их свободными крестьянами, земли их находились в распоряжении волостной общины или деревни. Отрицая верховное право собственности государства на эти земли, автор все же должен был отметить тяжелые и многочисленные повинности крестьян

в пользу государства. Разногласия в этих вопросах между историками показывают необходимость дальнейшего изучения. Крестьяне эти боролись против захвата их земель феодалами, особенно монастырями, однако судьи решали спорные дела в пользу феодалов.

Г. Е. Кочин также подвергает пересмотру вопрос о степени закрепощения крестьян в XIV—XV столетиях. В советской исторической литературе утвердилось мнение, всего подробнее выраженное покойным академиком Б. Д. Грековым, что следует различать две категории крестьян — старожильцев и пришлых или новопорядчиков. Первых он считал уже закрепощенными, лишенными права перехода от одного владельца к другому. Напротив, Г. Е. Кочин приводит некоторые документы, показывающие, что такого рода различия не име-

лись на деле, что и те и другие крестьяне переходили к другим владельцам. Судебник 1497 года установил один срок перехода — Юрьев день, — общий для всех крестьян. И эта проблема требует еще дополнительного рассмотрения.

Вероятно, автор преувеличивает успехи трехполья и не всегда убедительно критикует своих предшественников.

Книга Г. Е. Кочина привлекает внимание к вопросам, уже давно считавшимся решенными. Она убедительно показывает, что процесс образования централизованного Русского государства, несомненно, в большой мере способствовали успехи крестьянского хозяйства — земледелия и животноводства.

*Проф. Б. КАФЕНГАУЗ,  
доктор исторических наук.*



# ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

## О НАШЕЙ ПАМЯТИ И ДОЛГЕ

Мы были слишком молоды, когда воевали, чтобы придавать серьезное значение словам о вечной памяти, о благодарности потомков.

И дело, конечно, не в одном возрасте. Озабоченность сегодняшним на войне глубже, чем в мирной жизни. Исход боя: взят ли, сдан рубеж, чем обернутся события завтра — пулей, госпиталем, удачей, — все это понималось в связи с общим ходом дел воюющей страны... Затем обостренная потребность знать, как судят о тебе, о твоём участии в деле боевые товарищи. В авиации, например, летчики, боевые экипажи на протяжении месяцев и даже лет войны узнавали друг друга так глубоко и полно и знание это становилось таким доступным, открытым широкому кругу — механикам, оружейникам, прибористам, бойцам и офицерам обслуживающих подразделений, — что суждение о воздушном бойце-ветеране складывалось как мнение о нем по существу народное; и не было мерила строже, и вечная забота состояла в том, чтобы не сплеховать, не уронить себя в его глазах...

Забить ли ветреное апрельское утро в Крыму, когда шестерка Коли Самсонова возвратилась на свой аэродром, не ударив по вражеским танкам и артиллерии на юго-восточном склоне Сапун-горы, возле отметки 44,1?! В тот день Самсонов стартовал на задание в сотый раз и в полку готовилось традиционное, не частое, впрочем, торжество (сотого вылета на штурмовике ИЛ-2 достигал, в среднем, один летчик из двадцати пяти. Штабы руководствовались приказом, по которому летчик-штурмовик, совершивший восемьдесят боевых вылетов, представляется к званию Героя Советского Союза). Дымовая завеса, скрывающая высоту 44,1, вынуждала Самсонова бить по цели вслепую, а наша пехота готовилась к штурму, наземная обстановка быстро менялась; опасаясь удара по своим, Коля увел ведомых с Сапун-горы. Его сотый боевой вылет за-

считан не был... Но праздничный ужин не отменили: другой наш ветеран, Гриша Миннибаев, к исходу дня довел свой боевой счет до ста одного вылета, и во главе праздничного стола Миннибаева и Самсонова посадили рядом.

Самсонов был невесел. На поздравления отвечал стесненно, к пирогу с юбилейным вензелем, полнесенному ему, как и Грише, не притронулся. Подымая настроение друга, Миннибаев пошутил: «Дарю тебе свой излишек в один вылет...» — но цели не достиг. Шеф-повар поставил перед Колей блюдо сибирских пельменей, которых тот года два, как не видывал... «Спасибо, братцы, — встал Самсонов, — но все же именинник у нас нынче Гриша. А меня пока не возносите...» — «Да завтра все повторим!» — весело воскликнул кто-то, обводя широким жестом пышный стол. «Точно, повторим», — согласился Коля, помолчав. «Но завтра», — он не мог принять натяжку в один вылет; между тем все понимали, что его давешняя неудача на Сапун-горе ничего не меняет, что вклад, внесенный им в победу, еще не близкую, достоин самой высокой награды, и эта щепетильность, не скрытая почти досада на тосты, произносимые в его адрес как бы до срока, только усиливали общее к нему расположение. А какие-то часы спустя, на рассвете, штурмуя во главе своей шестерки ИЛов артиллерийские позиции врага, он погиб возле отметки 44,1, приняв смерть с мужеством, достойно, как жил — по суждению, которое исподволь и давно сложилось о нем в полку...

Под Никополем, на станции Мировая, двадцатилетний Кося Смуров, мой однополчанин и товарищ, повторил подвиг Гастелло, направив подожженный зениткой ИЛ-2 в эшелон, груженный вражеской техникой. Ведущий группы Владимир Григорьевич Карачун сказал в тот вечер: «Если теперь я слышу: «Верный долгу солдат», — думаю о Смурове... И вот что следует под-



черкнуть: никого из летчиков не заботило тогда, что последнее, недюжинное Костино решение, образец самоотверженности, им проявленной, расценивались нами не так, как штабом: штаб, занятый спешным перебазированием полка, на геройский поступок летчика вообще не отозвался, наградной материал на Смурова составлен не был...

Тут я словно бы слышу недоуменный и вполне уместный вопрос молодого читателя, сверстника Победы: «А вы-то что? Почему молчали, почему не добивались?» Частично я уже ответил: не в том состояли для нас смысл и злоба дня. И все же — объяснение не полное. Я потому и пишу об этом, что только нынче, дожив, как говорится, до седни, со всей горестной отчетливостью уяснил: чтобы твой товарищ, снискавший славу бесстрашного защитника Отечества, удостоился заслуженной награды, ты сам обязан порой проявить о нем заботливость, определенную активность. Таким знанием, таким навыком мы в годы войны не обладали.

В Прибалтике наш полк потерял Георгия Чернова. Он пал на двести девятом — двести девятом! — боевом вылете, в самый капун Победы. А начинал под Москвой, воевал на Волге, в Донбассе, на Днестре, под Севастополем, Ригой, Либавой. Их вообще-то пять — семь во всей нашей штурмовой авиации — командиров экипажей, совершивших за годы войны более двухсот боевых вылетов... Совершенно то же следует сказать и о незаурядной личности летчика-истребителя Героя Советского Союза Николая Федоровича Краснова. Мой земляк, воспитанник нашего Пермского аэроклуба, Краснов лично сбил в воздушных боях пятьдесят вражеских самолетов, погиб, как и Георгий Чернов, весной 1945 года, заслужив, как и он, несомненное право на вторую Золотую Звезду. Но это выверенное, выношенное, подчеркну еще раз — народное мнение не получило, однако, официального выражения, делающего заслуги патриотов известными всей стране...

Во львовском госпитале для раненых, размещавшемся в переулке Лыса-Куля, я встретил товарища по училищу, Героя Советского Союза Ивана Лыкова. А потом узнал и пехотинцев и танкистов, которые, как и Иван, сражались в полках, прошедших путь от Львова до Волги и обратно и получивших наименования «Львовских». Многие, подобно смелому летчику Ивану Лыкову,

пролили здесь свою кровь, многие сложили головы... Что могло быть естественней закрепления имен таких бойцов в названиях улиц и площадей Львова? Я отправился в горсовет. Если воинская часть несет по свету славу Севастополя, Никополя, Львова, то разве не обязанность города в свой черед воздать должное тем, кто принес ему свободу? В горсовете, состоявшем на три четверти из фронтовиков, меня осадили: необходимо разрешение Киева, Москвы. «Это трудно?» — «Да как сказать... Не очень. Будем писать!» Полгода спустя тупичок Лыса-Куля был переименован в улицу Александра Матросова: имя павшего на Западном фронте Матросова уже вошло в обиход, а безвестные и, быть может, не менее достойные герои львовских сражений нуждались в том, чтобы, как говорят сейчас в подобных случаях, их «пробивали».

Но вернусь к своим однополчанам.

В Калининграде, в областной конторе Госбанка работает коммунист Федор Степанович Картавенко. Не знаю, как в Госбанке, а в полку его самостоятельность, достоинство, с которым он всегда держался, и прямота суждений осложняли отношения с начальством. «Герой боев за Харьков», — писали о летчике Картавенко в 1942 году, ставя его стойкость и волю в пример всем, кто участвовал в тягчайшем летнем отступлении. «Герой боев за Донбасс, за левобережную Украину», — называли его газеты в 1943 году, когда войска 4-го Украинского фронта выходили к Днепру. Учась у него, в чем-то существенном ему подражая, выросли в эскадрилье Картавенко Герои Советского Союза Алексей Савельевич Кравцов, Владимир Григорьевич Карачун, Гумер Хазинурович Миннибаев. Федор Степанович выбыл из полка весной 1944 года, получив второе тяжелое ранение и имея за спиной сто шестьдесят восемь боевых вылетов. Награда, достойная подвига, штурмовика не увенчала.

Авиационный инженер Борис Максимович Кучин — бывший подчиненный Картавенко. В личном деле Кучина (оно — в Ленинградском райвоенкомате Москвы) хранятся материалы, ярко рисующие героическую работу этого летчика и его воздушного стрелка Александра Семеновича Никулина. Вот две цифры из документа — представления Бориса Кучина к званию Героя: сто двадцать успешных боевых вылетов и шесть вражеских самолетов, сбитых в воздушных

боях. Шесть! Не на истребителе, на штурмовике! Сто тридцать вылетов на ИЛ-2 сделали Александр Нелюбин и Валентин Купчинский, сто сорок — Андрей Дубинин, диспетчер аэропорта Домодедово, сто пятьдесят два — Павел Евдокимов, живущий в Казани... Это не вспышка отваги, не прилив минутной решимости, но подвиг высшего мужества, когда смертный риск во имя блага страны и народа повторен бесчисленно.

То же самое следует сказать об истребителях. В годы войны действовал приказ, по которому истребитель, лично уничтоживший в воздушных боях пятнадцать самолетов врага, представлялся к званию Героя, а за сорок побед — к званию Дважды Героя (на борту самолета помянутого мною командира эскадрильи Николая Краснова сняло пятьдесят — по числу одержанных побед — алых звездочек). Летчик Михаил Бобров сражался добровольцем в Испании, а в годы Отечественной войны к четырем фашистам, сбитым в небе Мадрида, он прибавил еще двадцать шесть, доведя счет лично сбитых до тридцати. В 1957 году Михаил Матусовский, рассказав читателям «Литературной газеты» о боевых делах советского аса, задался резонным вопросом: почему же патриот, представленный командованием к званию Героя, до сих пор не удостоен заслуженной награды? Несколько лет спустя о том же спрашивали «Известия» — увы, безрезультатно.

В Октябрьском военкомате Москвы хранится аналогичное представление на летчика-истребителя Виктора Васильевича Савина. В его активе — восемнадцать личных побед; звания Героя Савин не получил... Наконец для полноты картины — летчик-бомбардировщик Георгий Константинович Правосудов. Защитники Ленинграда обязаны экипажу Правосудова чрезвычайно многим. Личная отвага и мужество этого человека были воистину беспримерны, он представлялся командованием к званию Героя неоднократно — и сложил свою голову, так и не получив награды, по праву ему принадлежащей...

С расстояния прожитых лет могут показаться мелкими, прямо-таки неправдоподобными причины, по которым иной летчик — штурмовик ли, истребитель, бомбардировщик, — ценою пота и крови добивавшийся над полем боя, в воздушных боях порази-

тельных результатов, в полтора, в два, в три раза превосходивших боевой итог, венчавшийся высшей наградой, не получал Золотой Звезды.

Я говорю, опираясь на точные факты, взятые из фронтового прошлого летчиков, потому что авиационная среда знакома мне лучше, но начатый ряд можно не менее доказательно продолжить, называя имена и фамилии пехотинцев, артиллеристов, танкистов, моряков, саперов... Время смыло случайные причины, как все наносное, а их подвиг остался, но до сих пор не выступил зримо, не получил всенародного признания. Конечно, ни один из тех, о ком идет речь, не станет этого добиваться, ибо слов «я герой» нет в лексиконе настоящего человека. Сказать и сделать за таких людей — павших в бою и здравствующих — обязаны другие. Командиры, политработники, строевые отделы воинских частей — обратившись к истории своих полков, дивизий, армий, к личным делам, наградным материалам офицеров, архивам военных лет. Райвоенкоматы — занявшись специальным просмотром документов, находящихся в их распоряжении. Дело, разумеется, не простое, но не заняться им нельзя...

Огромный резонанс, вызванный во всех слоях нашего общества публицистикой Сергея Сергеевича Смирнова, на мой взгляд, объясняется также тем, что в ней осознает себя, осуществляет свои гражданские права память и подвиг поколения, прошедшего войну. От полного решения проблема еще далека. Самое свежее тому подтверждение — в множестве новых имен и фактов, получивших широкую огласку благодаря Указам Верховного Совета, опубликованным в связи с празднованием двадцатилетия Победы. В наших общих интересах утвердить и сделать неукоснительным обычай, при котором должно воздавалось бы гражданам полной, справедливой мерой не десятилетия спустя...

И хочется верить, что появятся на страницах центральных газет новые Указы, утверждающие имена живых и мертвых воинов, подавших высокий пример служения Отечеству, в ряду лучших сынов и дочерей народа — Героев Советского Союза. В том наша сила и счастье, что итоговой черты здесь быть не может.

Артем Аफीногенов.

## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**АДМИРАЛ Ю. А. ПАНТЕЛЕЕВ.** Морской фронт. Воениздат. М. 1965. 317 стр.

Адмирал Юрий Александрович Пантелеев до сорок первого года и в начальный период Великой Отечественной войны был начальником штаба Краснознаменного Балтийского флота, а с октября 1941 года — командующим морской обороной Ленинграда. Участник многих важных событий, он сумел передать читателям немало ярких наблюдений.

В книге описан хронологически небольшой период — около двух лет (с весны 1940 до весны 1942 года). Именно эти годы были наиболее трудными для Балтийского флота. Автор сообщает сведения, неизвестные широкому кругу читателей. При этом Ю. А. Пантелеев не просто передает все то, что он видел и слышал, но и анализирует события, оценивает их. Он не скрывает серьезных недостатков в организации и вооружении флота того времени, а также фактов беспечности перед угрозой нападения фашистской Германии на СССР.

Поучителен анализ последних предвоенных дней, когда прекратились заходы немецких транспортных судов в наши порты и поставки по соглашению и когда под всякими предлогами гитлеровцы задержали около девятисот советских торговых моряков, захватив более сорока наших судов.

С самого начала войны Балтийский флот оказался в тяжелом положении. Во взаимодействии с сухопутными войсками моряки героически обороняли военно-морские базы, являющиеся подступами к Ленинграду. Ю. А. Пантелеев подробно рассказывает о том, как корабли Краснознаменного Балтийского флота совершили героический прорыв вражеской блокады, в результате чего из Таллина в Кронштадт пробилось основное ядро флота. Более ста девяноста кораблей, в том числе семьдесят крупных транспортов, перегруженных людьми и ценным имуществом, совершили чудо. Корабли прошли узким Финским заливом триста двадцать километров, из которых на протяжении двухсот пятидесяти километров оба берега были в руках противника. Рассказывая об этом, автор приводит много запоминающихся героических эпизодов.

К сожалению, издание, на наш взгляд, обеднено тем, что в нем нет иллюстраций.

особенно схем обстановки на театре военных действий.

**В. Яшков,**  
*контр-адмирал.*

★

**ВЛАДЛЕН КУЗНЕЦОВ.** За Бранденбургскими воротами. «Международные отношения». М. 1965. 184 стр.

«Ящик Пандоры» — так с горькой шуткой говорят немцы о Западном Берлине, ибо в нем также собраны все человеческие несчастья. В мире нет другого города, который внушал бы столько тревог и опасений, как Западный Берлин. Недаром его и в мирное время называют «фронтным городом». Как и чем живет этот город, вот уже два десятка лет таящий угрозу всеобщему миру? Чем дышит его двухмиллионное население?

На эти и многие другие вопросы отвечает небольшая, но содержательная книга Владлена Кузнецова. Автор ее, хорошо осведомленный советский журналист, в течение ряда лет пылливо наблюдал быт берлинцев, полный разительных контрастов и социальных противоречий.

На первый взгляд, пишет автор, Западный Берлин кажется обычным европейским городом. Тяжкие раны, нанесенные войной, в нем почти уже не заметны. Даже прежние угрюмые прусские черты в его облике начинают скрываться под вполне современным американским лоском. Старые, казарменного вида дома все более заменяются устремленными ввысь бетонно-стеклянными коробками.

Американизм стремится наложить свою печать на все стороны жизни. Курфюрстендам недаром сравнивается с Бродвеем. Эта центральная улица кичится своими, по американскому образцу, броскими световыми рекламами, богатыми, фешенебельными ресторанами, множеством подозрительных развлекательных заведений. Имеются улицы, которые названы именами Трумэна, Даллеса, генерала Клея...

И, видно, совсем не случайно Западный Берлин держит печальную пальму первенства в Европе по рекордному количеству самоубийств.

Очень многозначительны приведенные автором статистические подсчеты: на содержание огромной полицейской армии в Западном Берлине только в 1963 году израс-

ходовано триста двадцать миллионы марок, а ведь, кроме того, «на цели безопасности» тратятся еще колоссальные средства из секретных фондов. Или такая цифра: в послевоенные годы в кинотеатрах города показано более шестисот фильмов, прославляющих разбойничьи походы Гитлера.

Американские империалисты пытаются рассматривать Западный Берлин как свою военную и идеологическую базу, находящуюся внутри одной из социалистических стран и призванную устрашать и ГДР, и другие социалистические страны. Положение в этом городе — это плод вероломного нарушения союзных договоров и источник оправданных тревог для всех людей, жаждущих мира.

★ А. Таланов.

★ **ИВАН ВЕТРОВ. Братья по оружию. «Беларусь». Минск. 1965. 352 стр.**

«Только через 17 лет после окончания второй мировой войны нам удалось установить, что член нашей семьи — мой сын Иозеф Ашвер, белорусский партизан, погиб в бою. Вы, как руководитель соединения, в котором был мой сын, очевидно, еще знаете о нем что-нибудь... Я был бы очень рад, если бы Вы написали мне, что знаете о моем сыне, в каком месте он погиб. Всякая подробность дорога для меня».

Эти строки из письма Винцента Ашвера приводятся в книге бывшего секретаря Полесского обкома партии и командира партизанского соединения И. Д. Ветрова «Братья по оружию». В ней рассказывается о том, как с первых дней вторжения немецко-фашистских оккупантов на советскую землю белорусский народ взялся за оружие. Племю к плечу с белорусами сражались против фашистских захватчиков русские, украинцы, чехи, словаки, венгры, сербы, поляки...

Вышедшая на белорусском языке в 1962 году, эта книга быстро разошлась и вызвала многочисленные отклики. Автор получил сотни писем из советских республик и из-за рубежа. В них воскрешаются волнующие события интернациональной борьбы с немецко-фашистскими оккупантами в полесских лесах и топях, примеры мужества и отваги сынов многих народов Европы. В письмах сообщается о дальнейших судьбах некоторых участников партизанского движения.

Новая книга И. Д. Ветрова во многом опирается на новый, до сих пор не публиковавшийся материал. Автор исследует пути, приведшие к белорусским партизанам представителей зарубежных народов, порабожденных тогда гитлеровской Германией. Насильно мобилизованные на Восточный фронт, подвергнутые специальной обработке в военных лагерях, они шаг за шагом шли к пониманию великого смысла борьбы с фашизмом.

Книга И. Д. Ветрова — пример страстной публицистики и пропаганды идей пролетар-

ского интернационализма. Она призывает советских людей дорожить дружбой народов, которая была скреплена совместно пролитой кровью на полях сражений.

★ Л. Жаров.

★ **Д. ГАМШИК, И. ПРАЖАК. Бомба для Гейдриха. Документальная повесть. Перевод с чешского Л. Лерер, И. Бернштейн. Политиздат. М. 1965. 248 стр.**

«Мы ничего не прибавляли, мы только отбирали, объясняли и заостряли факты...» — сообщают в предисловии к своей книге чешские писатели Д. Гамшик и И. Пражак. И так — перед нами документальная повесть, которая по строгости отбора материала, по хронологической последовательности отображаемых событий близка к репортажу. Авторы редко позволяют себе какие-либо отклонения в сторону от основной задачи или привнесения в книгу своих личных эмоций. И все же эта повесть, как пишут авторы, «выглядит порой фантастичнее самого фантастического вымысла». И это действительно так. Страшные картины истерзанной гитлеровцами Чехословакии и героизм участников антифашистского подполья, мужество чешских патриотов, помогавших борцам Сопротивления, и авантюризм эмигрантского правительства в Лондоне, бесчеловечные, кровавые акции фашистов и в первую очередь гаулейтера Чехословакии Гейдриха талантливо воссоздают на страницах книги чешские писатели.

В работе над повестью они использовали материалы из архивных фондов — письма, стенограммы совещаний, приказы, речи, воспоминания участников описываемых событий и некоторые другие источники.

Гаулейтер Чехословакии был убит 27 мая 1942 года. Но прежде чем узнать, кем и как было совершено покушение, мы узнаем, что это была за личность Рейнгард Гейдрих — «человек не просто исполнителен и способный, но поистине способный на все». Рассказ о роли Гейдриха в гитлеровском рейхе, о его окружении — еще одна трагическая страница в литературе, разоблачающей деятельность фашистских убийц в годы второй мировой войны.

В книге Д. Гамшика и И. Пражака помещена фотография двух парней в военной форме: Йозеф Габчик и Ян Кубиш незадолго до вылета из Англии. У одного на голове пилотка, лихо сдвинутая набок, живые, прищуренные глаза, чуть-чуть улыбающийся рот, а другой построже: он в фуражке, взгляд прямой, но по-детски оттопыренная губа выдает возраст. Им нисколько не хотелось умирать, этим парням, пишут авторы, но если понадобится, они были готовы и к этому... И, к сожалению, понадобилось. Когда писатели рассказывают о судьбе Кубиша и Габчика, об их подвиге, о трагической смерти этих и других участников группы — смерти, которая во многом была

предрешена плохой подготовкой операции, незнанием реальной обстановки в Чехословакии людьми из эмигрантского правительства,— авторы невольно изменяют своей сдержанной, бесстрастной манере письма. Появляется открытая взволнованность, прямо выраженные восхищение мужеством чешских патриотов и боль за их судьбу.

Повесть «Бомба для Гейдриха» вышла в Чехословакии двумя изданиями и получила премию журнала «Пламен». Теперь и советский читатель может ознакомиться с этой книгой (в русском переводе она издана с некоторыми сокращениями) и по достоинству ее оценить.

Г. Павлова.

★

**ОТТО РЮЛЕ.** Хлеб для шести миллиардов. Человечество на пороге третьего тысячелетия: проблемы, прогнозы, перспективы. Перевод с немецкого. «Прогресс». М. 1965. 311 стр.

Человечество движется к будущему с ускорением в шесть тысяч рождений в час. Это значит, что к 2000 году на нашей планете будет примерно шесть миллиардов человек. В наши дни больше половины людей земного шара живет впроголодь. Люди получают значительно меньше полагающегося им миллиона калорий в год на каждого. Как испечь к 2000 году стель Большой Каравай, чтобы пищи хватило на весь «человеческий муравейник»?

Профессор Грейсвальдского университета (ГДР) Отто Рюле дает в своей книге оптимистический ответ на этот вопрос. Возможности агрономии, ирригации, селекции, химии, рыболовства почти безграничны.

Ссылки на потенциальные возможности науки и человечества стали сейчас общепризнанными. «Отныне не ресурсы ограничивают игру воображения,— заявляет, например, генеральный секретарь ООН У Тан,— а недостаток воображения ограничивает использование ресурсов».

Однако абстрактная арифметика не содержит калорий. Что-то мешает человечеству превратить возможности в действительность. Неомальтузианцы считают, что причина — в размножении человечества с безответственностью кроликов. Рюле убедительно показывает, что нищету и голод несут не дети, а империалисты, что нищета и голод — следствие эксплуатации. Дело не в количестве людей, а в особенностях общества, не в абсолютной нехватке хлеба, риса, угля, стали, энергии, а в неумении разумным образом распорядиться имеющимся.

«...Победа над голодом во всем мире,— заключает автор,— и обеспечение продуктами питания ожидаемых к 2000 году 6 млрд. людей самым тесным образом связаны с решением трех основных политических проблем нашего времени: освобождением труда от ига капитала, полным уничтожением колониализма со всеми его последствиями и обеспечением прочного мира между народами».

Однако некоторые важные проблемы выпали из поля зрения автора. Например, ничего не говорится о политике в области народонаселения, нет упоминания о мерах по контролю над рождаемостью во многих странах. Успех Японии в снижении темпов роста населения и неудача в этом Индии, различное отношение правительств различных стран к этому вопросу являются деликатным, но важным аспектом рассматриваемой в книге проблемы.

Г. Герасимов.

★

**ЖИВАЯ ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ** (Великая Отечественная война в советской литературе). Сборник статей. «Художественная литература». М. 1965. 360 стр.

В центре этого сборника — и не только композиционно — стоит статья покойного критика В. Александрова «Фронтовые рукописи», писавшаяся более двух десятилетий тому назад, под непосредственным впечатлением от поступавших в редакции тетрадок, блокнотов, листов. Авторами этих рукописей были солдаты Отечественной войны... «Потомки наши будут представлять их великанами. Подобно тому, как мы сейчас представляем сказочных богатырей, защищавших землю русскую. Попробуй тогда убедить кого-нибудь в том, что эти герои сейчас были самыми обыкновенными людьми. В грязной, оборванной... одежде. Обросшие волосами, долго не бритые, с серыми, утомленными лицами, с воспаленными глазами...»

Это строки из фронтовых записок боевого летчика, участника обороны Севастополя капитана И. Т. Куницына. Цитируя и комментируя множество подобных фронтовых рукописей, В. Александров обнаруживает завидную зоркость и умение — за неопределенной, порой корявой фразой, за литературной неуклюжестью и дилетантским разглядеть не только искренность, мужество, честность и другие ценные человеческие качества автора, но и верный признак художнического дарования: настоящую потребность сказать людям правду о войне. Критик фиксирует наше внимание на достоверности подробностей военного быта и психологии фронтовиков — чертах, значительно позже ставших нормой профессиональной литературы, а в те военные и послевоенные годы отличавших лишь некоторые, выдающиеся произведения.

Главной задачей книги как раз и является проследить путь советской литературы к суровой, подчас горькой, но необходимой правде о войне. В той или иной мере этой задаче отвечают многие статьи сборника, среди которых нельзя не выделить работу Л. Лазарева, анализирующего творчество К. Симонова («Возвращаясь к пережитому»), Ю. Буртина, разбирающего поэму А. Твардовского «Василий Теркин» («Нестареющая правда»), В. Кардина, исследующего военную тему в театральной драматургии («Человек с автоматом»).

Открывается сборник выступлением А. Суркова «Стихи в строю». Обзорные статьи о поэзии и прозе военных и послевоенных лет принадлежат В. Пискунову («Написано войной») и А. Когану («Сквозь время...»), который является и составителем сборника. Завершают эту интересную и нужную книгу размышления В. Быкова «Живые — памяти павших», подкупающие неподдельным волнением и горячей убежденностью: «Нельзя строить будущее без памяти о прошлом». Сборник «Живая память поколений» — убедительный аргумент в пользу этой истины.

★

С. Корытная.

**ЕЛИЗАВЕТА СТЮАРТ. Ночные березы. Стихи. «Советский писатель». М. 1965. 196 стр.**

«Ночные березы» — книга поэтической зрелости Елизаветы Стюарт — известной советской поэтессы.

В стихотворении «Память» говорится:

Я не открою вам Америк  
И рифмой броской не сверкну.

Эти строки применимы ко всей книге. В ней нет особой новизны, нет неожиданностей — ни сюжетных, ни формальных. Книга эта очень «женская», со всеми достоинствами и недостатками, связанными с таким определением.

Женское начало сказывается в мягкости стихов, в их действенной нежности, но эти же качества порой граничат с сентиментальностью или претенциозной сказочностью.

Так, стихотворение «Осинник» почти зримо делится на две части: первые две строфы изобилуют уменьшительными. Тут и «дорожки», и «сережки», и «домик», и «воронята». Все это воспринимается как стихи для дошкольников. А с третьей строфы начинает слышаться иной голос и возникает настоящий, поэтический мир, где

В чаше свой горьковатый запах,  
Словно в чаше он — до краев,

где

Все осины, как ночь настанет,  
По колено стоят в тумане.

Много стихов этой книги посвящено воспоминаниям о войне. Чувствуется, что переживания, отраженные в них, выстраданы, выношены автором. И это трогает. Но иногда мешают поучительные концовки:

И добрый мир, дарящий жизнь и силу,  
Умей ценить, как я его ценила..

Или:

Но знай — за пределами сказок  
Добрые люди и добрые вещи!

Такие выводы читатель может и должен сделать самостоятельно.

В стихотворении «Я не искала этой встречи...» есть такие строчки:

Дымит пыльною луговая,  
Чуть-чуть усталая трава...  
И снова в сердце боль живая.  
Я думала —  
она мертва.

Живая боль и живая радость общения с людьми и природой — вот родник, питающий лучшие стихи Елизаветы Стюарт, как и всякую настоящую поэзию.

Надежда Павлович.

★

**МНУХА БРУК. Семья из Сосновска. Повесть. «Детская литература». М. 1965. 204 стр.**

С первых же строк этой повести мы попадаем в мир, давно знакомый по книгам Шолом-Алейхема. Во многом знакомы нам и герои повести, и юмор ее — специфический юмор обитателей местечка, когда после первой невольной улыбки не знаешь уже, смеяться ли над сказанным или плакать.

Рассказ в повести идет от лица маленькой Муси из семьи бедняка Левин, единственное богатство которого составляли семеро детишек. Много ли можно увидеть глазами местечковой девочки?

Удача писательницы в том и состоит, что она сумела сохранить и передать детскую психологию. Читателю интересен угол зрения маленькой героини. Происходит это потому, что восприятие этой жизни лишено сугубо местечкового, мещанского привкуса. Люди в Сосновске начинают ощущать новое, чего не было еще каких-нибудь лет десять назад: городской, хотящийся за революционными сходками, ныне воспринимается не как страж порядка, а как враг, а сами местные революционеры Рися Левин, Соня Дубравина, студент Косолапов видятся обитателям Сосновска как предвестники иной жизни, иных отношений между людьми.

В голове маленькой Муси зарождаются недетские сомнения. Богатые, «приличные» люди с ненавистью и презрением говорят о «димократах». Но эти самые «димократы», арестованные жандармами, были самыми лучшими людьми, которых девочка видела в жизни. Дыхание нового, шедшее отсюда, «из большой жизни», учило девочку тому, что принципиально расходилось с заветами библии, традициями семьи и местечка: оказывается, границы между людьми в жизни прокладываются не по национальному признаку, а по социальному. Даже дети начинают сомневаться в старой сказке, что у евреев-де «...есть Ротшильд, первый миллионер в мире», который «в случае чего... может к самому царю пойти».

К недетским выводам подходит в конце книги, после многих смешных и трагических событий, маленькая Муса из Сосновска. И написано это талантливо, увлекательно.

Л. Бершадская.

**ЙОЗЕФ НЕСВАДБА.** Мозг Эйнштейна. Научно-фантастические рассказы. Перевод с чешского. «Мир». М. 1965. 392 стр.

Вот и еще одно знакомство с зарубежной фантастикой, с жанром, соединяющим в себе реалистическую сказку и социальную утопию. На этот раз — Чехословакия. Скажем сразу: быть может, фантастика Йозефа Несвадбы уступает в серьезности и широте проблем кнчгам Станислава Лема. Но у Несвадбы есть то, чего нет у слишком уж иной раз «кибернетического» польского автора: юмор.

Сорокалетний врач-психиатр и писатель, Йозеф Несвадба не поднимается до грозных и роковых обобщений об атомном и космическом веке, до сардонической критики капиталистического отчуждения науки от общества, машины от человека. Суровым, решительным тонам трагедии и сатиры он предпочитает более спокойные, более мягкие тона юмора и мелодрамы, беспощадному гротеску — всепонимающую иронию.

В лучших вещах чехословацкого мастера мы погружаемся в атмосферу быта, семьи, личных отношений (иной раз даже таких тривиальных и «внефантастических», как отношения мужа и жены), вопросов скорее моральных, чем политических. Все это плюс сознательное пренебрежение художника чисто научными и техническими атрибутами «инженерной» фантастики, а также использование для сюжетного каркаса (не всерьез, конечно) обывательской мифологии вроде летающих тарелок, снежного человека и телепатии и создает колорит рассказов Й. Несвадбы. Традиция Чапека проявляется у него не столько в интересе к социальным и философским проблемам, как думает автор серьезного в целом предисловия к книге И. Бернштейн (у кого из сегодняшних фантастов нет такого интереса?), а как раз в мягкости, благородной одухотворенности изображения «простых», «несложных» людей, в вере в человеческие ценности, которые надо оберегать от угрозы мещанства и обывательщины, хотя бы они и предстали перед нами в сверхученом обличье.

А такой обывательницей в науке оказалась многомудрая конструкторша человеческого сверхмозга, «не понимаящая» свое собственное создание, того, что «он» — человек, и уморившая его (рассказ «Мозг Эйнштейна»). Стяжателем, хотя и гениальным, оказывается Шимон Бауэр, автор «злополучного изобретения» (так и называется рассказ). В почти пародийном рассказе «Идиот из Ксенемюнде» фашистская военщина изображается автором как обывательщина и идиотизм, возведенные на уровень государственного порядка.

Обывателем, мещанином оказывается в конце концов и знаменитый смельчак космонавт капитан Немо со своей суетливой храбростью и энтузиазмом солдафона. Все оказались умней, сильнее и содержательней, чем он: жена, которую он не ценил, сын-композитор, профессию которого он презирал, гигантские, с кита, разумные существа,

встреченные им в беспредельном космосе, жители Земли, на которую он со своим экипажем вернулся спустя тысячу лет, которые видят счастье не в решении очередных инженерно-технических проблем, а в решении основных вопросов бытия.

В этом гуманистический смысл иронической фантастики Й. Несвадбы.

Э. Вальдман.

★

**М. Л. МИХАЙЛОВ.** Адам Адамыч. Повести и рассказы. «Художественная литература». М. 1965. 304 стр.

В конце своих знаменитых записок «В мире отверженных» П Якубович рассказывает о первом дне освобождения с каторги. Вот она, деревня близ каторжного рудника Кадая, где предстоит жить на поселении. И кресты на небольшом холмике. Кладбище? Здесь поляки похоронены, отвечает провожатый, есть и русский один — Михайлов.

Михайлов. Словно эсгафету от революционеров предшествующего поколения принимал Якубович... Покосившийся крест 1865 года... «И губы моч невольню шептали стихи из известного послания поэта к друзьям:

В безотрадной мгле изгнания  
Буду твердо света ждать  
И души одно желанье,  
Как молитву, повторять:

Будь борьба успешней ваша,  
Встреть в бою победа вас,  
И минуй вас эта чаща,  
Отравляющая нас!»

Михайлова — современника и соратника Чернышевского — знают сейчас главным образом как поэта и как революционера, автора прокламаций «К солдатам» и «К молодому поколению», стоивших ему жизни. С Михайловым-прозаиком сегодняшний читатель почти не знаком. Между тем современники высоко ценили и его писательскую деятельность. Даже краткий перечень его романов и повестей («Адам Адамыч», «Перелетные птицы», «Марья Ивановна», «Изгоев», «Вместе» и др.) заставляет вспомнить важную эпоху развития русской жизни и литературы. Писатель-революционер всегда отвечал на острые и болезненные вопросы своего времени.

К столетию со дня смерти Михайлова издательство «Художественная литература» выпустило сборник его повестей и рассказов.

Составители и авторы предисловия М. Дикман и Ю. Левин постарались показать в небольшой по размеру книге рост и мужанье Михайлова-прозаика: от первой, далекой от совершенства повести «Адам Адамыч», писавшейся двадцатилетним юношей, до афористически отточенных рассказов-очерков «Зеленые глазки» и «Кукушка» (из «Сибирских очерков»). В последних ра-

ботах писателя чувствуется большая точность наблюдений, большая ясность понимания народных характеров, с которыми столкнулся он на каторге.

Михайлов-прозаик начал свою работу как последователь «натуральной школы», принципы которой идут от традиции тургеневских «Записок охотника». А некоторые последние его очерки уже превосходят произведения нового периода русской литературы, например «Записок» Якубовича.

Очень хорошо, что читатель сегодня может познакомиться с прозой одного из ближайших друзей и соратников Чернышевского.

**Б. Яранцев.**

★

**М. В. АЛПАТОВ, Е. А. ГУНСТ.** Николай Николаевич Сапунов. «Искусство». М. 1965. 48 стр.

За последние годы вышли в свет книги о жизни и творчестве К. Коровина, Б. Кустодиева, П. Трубцекого, А. Бенуа, Н. Рериха — художников, чьи высшие достижения связаны с начальной порой нынешнего века.

В этом же ряду надо рассматривать и небольшую монографию о Н. Н. Сапунове. Она напоминает о блистательно одаренном живописце, который хоть и не успел из-за ранней смерти в полную меру развернуть силы своего великолепного таланта, но все же оставил яркий след в истории русского искусства предреволюционной эпохи.

Именно — напоминает. Вряд ли можно требовать полного, развернутого представления о Сапунове от книги, скромной по объему и полиграфическим возможностям. Она содержит всего лишь два десятка иллюстраций, правда цветных, но весьма далеких от совершенства (почти все репродукции словно подернуты легкой дымкой, которая приглушает и даже несколько искажает реальный колорит сапуновских работ). Небольшой этюд М. Алпатова «Живописное мастерство Сапунова» написан тонко и с блеском, а очерк Е. Гунста «Жизнь и творчество Сапунова» сделан влюбленным знатоком художника и не только с достаточной ясностью намечает основные контуры его биографии, но и дает ключ к пониманию многих оригинальных особенностей искусства этого живописца.

И все же это лишь превосходные эскизы к большой монографии, где можно будет найти и обширное, разностороннее исследование творческого пути художника, и хорошие воспроизведения основных его работ (ведь их сравнительно немного).

О Николае Сапунове чаще и больше всего вспоминают как о мастере великолепных театральных эскизов. Действительно, он был одной из самых ярких фигур той эпохи, когда произошло подлинное «сошествие» живописи на русскую сцену и впечатление от спектаклей (как оперно-балетных, так и драматических) во многом определялось их

зрительно-декоративной выразительностью. Но куда важнее и значительнее, что Сапунов и в живописи для театра, и в своих еще не оцененных по достоинству натюрмортах, жанрах, портретах с дивной, искрометной талантливостью воплотил приметные черты духовной жизни своего времени, его надежды, ошибки, порывы.

Живопись Сапунова удивительным образом сочетает в себе хрупкую мечтательность и бурное, восторженное чувство счастья жизни, изысканную декоративность и веселую предметность, материальность, подчеркнута необычные и неожиданные контрасты, парадоксы, озорные гротески и зоркую меткость реальных наблюдений. Он остается художником своей страны и своего времени, изображая старую Францию, условный Китай «Принцессы Турандот», неведомую страну блоковского «Балаганчика» и привносит совершенно нетрадиционные приемы романтической фантастики в изображениях сцен русской жизни, праздничных каруселей, гуляний, чаепитий. В чем-то он перекликается и с Блоком, и с Мейерхольдом, и со Стравинским, оставаясь, впрочем, вполне оригинальным. Хочется выразить надежду, что большая монография о замечательном русском художнике Николае Сапунове будет издана — он вполне ее заслужил.

**А. Каменский.**

★

**В. В. ЧАРНОЛУСКИЙ.** Легенда об олене-человеке. «Наука». М. 1965. 140 стр.

В сказках и песнях, записанных несколько десятилетий назад на Кольском полуострове со слов саамских и ненецких стариков и старух — хранителей шаманских (нойдских) повадок и древних поверий, сохранились интереснейшие сюжеты, перекликающиеся с представлениями, зафиксированными в искусстве каменного века.

Старуха колдунья Кодь-акка обернулась оленихой и прижила с оленем сына, который был и оленем и человеком. Одна женщина жила с диким оленем и родила от него сына, который, как только подрос, обернулся оленем и ушел от матери. Подобные сказки об оленях-оборотнях как бы составляют основу всего саамско-ненецкого фольклора, возникшего на почве древних верований в божественных «хозяев оленьих стад».

В сказке об олене-дикаре ворон, а потом тюлень и олень оборачиваются людьми и сватают девушек. Ворон и тюлень губят своих жен, а олень холит и любит.

Кровная связь с оленем, невозможность отделить себя и свой род от оленьих стад, служивших главным источником существования для древнего человека, прослеживается с очень давних времен. Первое изображение человека с оленьими рогами на голове (то ли изображение тотемистического предка человека и «хозяина оленьего стада», то ли — древнейшего колдуна-шамана, принявшего олений облик) имеется на сте-



не палеолитической пещеры Трех Братьев на юге Франции.

Но, разумеется, значительно большую интенсивность и выразительность представления о единстве оленя и человека приобрели уже в те времена, когда олень стал прирученным животным, употреблявшимся не только в пищу, но и как тягловая сила. Человек одевался в оленьи шкуры. Из оленьего рога он изготовлял свои основные орудия.

Древнейшее в СССР изображение человека-оленя (точнее, хищника с человеческой головой и оленьими рогами) мы видим на одном из войлочных ковров V Пазырыкского кургана на Алтае, и относится оно не позднее чем к IV веку до нашей эры.

Можно предположить, что и распространялись подобные представления и основанные на них изображения человека-оленя из саяно-алтайских степей, принимаемых в современной науке за родину домашнего оленя и являющихся районом распространения древнейших изображений оленя на так называемых «оленных камнях».

Как бы то ни было, еще недавно бытовавшие сказки и песни про человека-оленя, быть может, не совсем позабытые еще и сегодня, являются последними отголосками интереснейших древних поверий, когда человек не отделял себя от своего кормильца-оленя, создавал в своем воображении и запечатлевал в произведениях искусства существа-гибриды с человеческим телом и рогами оленя.

Л. Ельницкий.

★

**ВАЛЕНТИН БРОДСКИЙ.** Как машина стала красивой. Издательство «Художник РСФСР». Л. 1965. 150 стр.

Сейчас даже трудно поверить, какой ограниченный круг людей интересовался три-четыре года назад проблемами производ-

ственной эстетики, сколь мало специалистов работало в этой области. За очень короткий срок производственная эстетика — как наука и как практика художественного конструирования машин — совершила глубокое вторжение в жизнь. На многих предприятиях эстетика труда стала предметом массовой заботы. И уже не одиночки, а большие творческие коллективы движут вперед дело развития промышленного искусства. В этих переменах отразились и объективные требования современной техники, и утверждение художественного начала, занимающего все большее место в сознании нового человека.

Автор книги «Как машина стала красивой» ставит своей целью показать эволюцию форм машины. В книге сжато освещены такие вопросы, как специфичность прекрасного в технике. В работе показано, как наивные попытки украсить конструкцию, «загримировать» машину под «немашину» постепенно заменились стремлением выявлять органическую красоту, заложенную в самом утилитарном значении предмета. В связи с этим, отмечая шаг вперед, сделанный в свое время конструктивизмом, автор критикует его крайности. Он довольно подробно прослеживает совершенствование форм машин, ставших в первую очередь объектом эстетического воздействия, — паровоза, автомобиля, парохода, самолета. Этот анализ учит читателя видеть красоту конструкции, и уже одно это очень ценно.

Нельзя не пожалеть, однако, о том, что в книге лишь мимоходом говорится о художественном конструировании станков. А между тем именно здесь должны решаться в короткий срок очень важные задачи, связанные с повышением конкурентоспособности на мировом рынке наших отличных по своему техническому уровню, но внешне неудачно оформленных станков.

Я. Тавров.



# КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

## ПОЛИТИЗДАТ

- А. Аграновский.** Столкновение. Заметки писателя. 264 стр. Цена 31 к.  
**В. Бендерова.** Сыновний долг. 232 стр. Цена 24 к.  
**А. Крушинский.** Взрывы над Днепром (Рассказ о выдающемся руководителе партизанской борьбы в Белоруссии К. С. Заслонове). 136 стр. Цена 20 к.  
**Н. Никольский.** Ценою жизни. 96 стр. Цена 12 к.  
**Основные понятия по обществоведению.** Краткий словарь. 496 стр. Цена 63 к.  
**А. Познер.** Мир глазами материалиста. 144 стр. Цена 14 к.  
**Ю. Серадский.** Польские годы Ленина. Перевод с польского. 64 стр. Цена 8 к.  
**Н. Тарасенкова.** Чужие и близкие. 96 стр. Цена 12 к.  
**Философия естествознания.** Выпуск первый. 414 стр. Цена 75 к.  
**Е. Шатров.** Подвиг во тьме. 200 стр. Цена 29 к.

## «МЫСЛЬ»

- М. Бор, В. Лебедев.** Централизм и демократия в управлении промышленностью. 70 стр. Цена 11 к.  
**Г. Вельц.** Солдаты, которых предали. Записки бывшего офицера вермахта. Перевод с немецкого. 359 стр. Цена 1 р. 16 к.  
**Б. Данциг.** Русские путешественники на Ближнем Востоке. 272 стр. Цена 65 к.  
**Дальний Восток.** Экономико-географическая характеристика. 494 стр. Цена 1 р. 52 к.  
**А. Дедов.** Химическая промышленность ФРГ. 255 стр. Цена 1 р. 2 к.  
**А. Ермолаев.** КПСС в период развернутого строительства коммунизма (XXII съезд КПСС). 80 стр. Цена 12 к.  
**Капиталистическое воспроизводство в современных условиях.** 351 стр. Цена 1 р. 30 к.  
**В. Корочкин.** Русские корреспонденты К. Маркса (А. А. Серно-Соловьевич и Н. И. Утин). 173 стр. Цена 30 к.  
**Ф. Мильнов.** Ландшафтная география и вопросы практики. 256 стр. Цена 96 к.  
**В. Свидерский.** Некоторые вопросы диалектики изменения и развития. 287 стр. Цена 1 р. 2 к.

## «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

- И. Андроников.** Я хочу рассказать вам... Рассказы. Портреты. Очерки. Статьи. 568 стр. Цена 1 р. 54 к.  
**Х. Ашинов.** Деревья на ветру. Короткие повести и рассказы. Перевод с адыгейского. 344 стр. Цена 62 к.  
**В. Боков.** У поля, у моря, у рек. Стихи. 156 стр. Цена 46 к.  
**В. Дыховичный, М. Слободской.** Разные моменты. 340 стр. Цена 99 к.  
**В. Луговской.** Середина века. Книга поэм. 348 стр. Цена 81 к.  
**Песни и романсы русских поэтов.** 1120 стр. Цена 1 р. 71 к.  
**Г. Семенов.** Распахнутые окна. Рассказы. 208 стр. Цена 33 к.  
**Ю. Тынянов.** Проблема стихотворного языка. Статьи. 302 стр. Цена 59 к.  
**И. Штемлер.** Гроссмейстерский балл. Роман. 332 стр. Цена 42 к.

## «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- П. Абрахамс.** Венок Майклу Удому. Роман. Перевод с английского. 296 стр. Цена 87 к.  
**Партийность и творческая индивидуальность писателя.** 195 стр. Цена 59 к.  
**Русская басня.** 600 стр. Цена 1 р. 14 к.  
**Д. Шенгелая.** Клад. Романы, повести и рассказы. Перевод с грузинского. 336 стр. Цена 70 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

- С. Георгиевская.** Портной особого платья. Рассказы. 256 стр. Цена 48 к.  
**М. Дмитриенко.** Веласкес. 256 стр. («Жизнь замечательных людей»). Цена 66 к.  
**М. Отеро Сильва.** Пятеро, которые молчали. Роман. Перевод с испанского. 192 стр. Цена 44 к.  
**В. Павлинов.** Следы. Стихи. 112 стр. Цена 13 к.  
**С. Поделков.** Ступени. Стихи разных лет. 176 стр. Цена 29 к.

## «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- Г. Белых.** Дом веселых нищих. Повесть. 222 стр. Цена 50 к.  
**Э. Булгер-Литтон.** Последние дни Помпей. Роман. Перевод с английского. 365 стр. Цена 66 к.  
**Ф. Грубин.** Веселые часы. Избранные стихотворения. Перевод с чешского. 62 стр. Цена 70 к.  
**Я. Длуголенский.** Возник первого класса. Повести и рассказы. 109 стр. Цена 31 к.  
**Н. Емельянов.** Ильич в Разливе. 64 стр. Цена 15 к.  
**С. Жидков.** Дольчино. Историческая повесть. 223 стр. Цена 47 к.  
**Э. Малинов.** Мы солнце встречаем в пути. Повесть. Перевод с татарского. 136 стр. Цена 40 к.  
**А. Мошновский.** Вызов на дуэль. Рассказы. 160 стр. Цена 35 к.  
**Н. Натанов.** Путешествие в страну летописей. 159 стр. Цена 33 к.  
**В. Петров.** Семглавы. Мар. Повесть. 255 стр. Цена 53 к.  
**П. Хансон.** Если даже отнимут жизнь... (Сага о семье Морсет). Документальная повесть. Перевод с норвежского. 157 стр. Цена 36 к.

## «МИР»

- А. Азимов.** Вид с высоты. Перевод с английского. 233 стр. Цена 68 к.  
**М. Борн.** Атомная физика. Перевод с английского. 483 стр. Цена 2 р. 13 к.  
**Ч. Оливер.** Ветер времени. Роман. Перевод с английского. 255 стр. Цена 48 к.  
**Туннель под миром.** Сборник англо-американской фантастики. Перевод с английского. 400 стр. Цена 94 к.  
**К. Хоффман.** Химия для всех. Перевод с английского. 400 стр. Цена 1 р. 31 к.  
**Р. Шовен.** От тчелы до горитлы. Перевод с французского. 296 стр. Цена 1 р. 23 к.  
**Экспедиция на Землю.** Сборник англо-американской фантастики. Перевод с английского. 418 стр. Цена 98 к.  
**Х. Юнге.** Химический состав и радиоактивность атмосферы. Перевод с английского. 424 стр. Цена 2 р. 4 к.

## «НАУКА»

**Биофизика клетки.** Сборник статей. 295 стр. Цена 1 р. 38 к.

**А. Гжегорчик.** Популярная логика. Перевод с польского. 107 стр. Цена 16 к.

**А. Гусев.** Климат и погода. Можно ли влиять на климат и погоду. 123 стр. Цена 23 к.

**Данте и славяне.** Сборник статей. 271 стр. Цена 1 р. 20 к.

**Идеологические течения современной Индии.** Сборник статей. 196 стр. Цена 97 к.

**История русского советского романа.** В 2-х книгах. Книга 1. 715 стр. Цена 2 р. 17 к. Книга 2. 483 стр. Цена 1 р. 52 к.

**П. Кюри.** Избранные труды. Перевод с французского. 399 стр. Цена 1 р. 97 к.

**Мифы и сказки Австралии.** Перевод с английского. 168 стр. Цена 44 к.

**Народы-братья.** Советско-монгольская дружба. Воспоминания и статьи. 144 стр. Цена 64 к.

**Х. Ниязов.** Путь Садриддина Айни — поэта. 144 стр. Цена 45 к.

**А. Новичев.** Турция. Краткая история. 272 стр. Цена 1 р. 13 к.

**Плечом к плечу.** Воспоминания советских специалистов о совместной работе с вьетнамскими друзьями в ДРВ и СССР. 228 стр. Цена 90 к.

**А. Полтораки.** Нюрнбергский процесс. Основные правовые проблемы. 251 стр. Цена 1 р. 70 к.

**Страны и народы Востока.** География, этнография, история (Сборник статей). 264 стр. Цена 1 р. 50 к.

**Театр и драматургия Японии.** Сборник статей. 164 стр. Цена 66 к.

**М. Филиппов.** Мысли о русской литературе. 367 стр. Цена 1 р. 70 к.

**И. Фрадкин.** Вертольт Врехт. Путь и метод. 374 стр. Цена 1 р. 44 к.

**В. Шелест.** Экономика размещения электроэнергетики СССР. 267 стр. Цена 1 р. 31 к.

**И. Шери-Борисова.** Христианская религия и современный колониализм. 115 стр. Цена 35 к.

## «ПРОГРЕСС»

**Э. Гарин.** Хроника итальянской философии XX века (1900—1943). Перевод с итальянского. 483 стр. Цена 1 р. 87 к.

**Р. Палм Датт.** Проблемы современной истории. Перевод с английского. 159 стр. Цена 31 к.

**Рассказы израильских писателей.** Перевод с иврита и идиш. 320 стр. Цена 1 р. 4 к.

**Социология сегодня.** Проблемы и перспективы. Американская буржуазная социология середины XX века. Перевод с английского. 682 стр. Цена 2 р. 31 к.

**Д. Фенете.** Смерть врача. Повесть. Перевод с венгерского. 144 стр. Цена 43 к.

**С. Эндо.** Супружеская жизнь. Повесть. Перевод с японского. 128 стр. Цена 30 к.

## «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

**В. Акшинский.** Края рассветные. Стихи. 56 стр. Цена 6 к.

**Л. Вольнский.** Первый комбат, и другие рассказы. 176 стр. Цена 42 к.

**И. Гренова.** Под фонарем. Рассказы. 160 стр. Цена 41 к.

**Б. Иванов.** 40 веков и 4 года. 192 стр. Цена 25 к.

**Из океанских и морских глубин.** Сборник. 224 стр. Цена 14 к.

**И. Калашников.** Последнее отступление. Роман. 384 стр. Цена 81 к.

**В. Ларионов.** Родной дом. Документальная повесть. 216 стр. Цена 14 к.

**С. Наровчатов.** Разговор начистоту. 80 стр. Цена 10 к.

## «ЖАЗУШЫ» (АЛМА-АТА)

**К. Идрисов.** Путь отца. Поэма. Перевод с казахского. 105 стр. Цена 20 к.

**М. Каратаев.** Мировоззрение и мастерство. Книга статей и литературных портретов. Перевод с казахского. 562 стр. Цена 1 р. 8 к.

## «ИРФОН» (ДУШАНБЕ)

**Ф. Мухаммадиев.** Домик на окраине. Повесть и очерки. Перевод с таджикского. 219 стр. Цена 18 к.

**Т. Пулоди.** Цвети, Бадахшан! Стихи и поэмы. Перевод с таджикского. 71 стр. Цена 11 к.

ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОЕ КНИЖНОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО (ГРОЗНЫЙ)

**А. Бонов.** Две ночи. Повести. Перевод с ингушского. 187 стр. Цена 30 к.

**Рассказы писателей Чечено-Ингушетии.** Переводы. 228 стр. Цена 46 к.



---

---

# ПАМЯТИ А. А. АХМАТОВОЙ

АЛ. СУРКОВ

★

## *Поэты не умирают*

Почти восемь десятилетий вместил в себя жизненный путь Ахматовой. Пролет он сквозь самые бурные, исполненные великих потрясений и перемен годы в истории нашей родины. Блистательная литературная молодость Ахматовой освещена ущербными лучами заката многосотлетнего, обветшалого, изжившего себя уклада русской жизни. Как человек и поэт она была свидетелем рождения нового мира и объектом его воздействий на тех, кому надо было найти в себе силу проститься с уходящим прошлым. Жизненная дорога Ахматовой в первые годы и десятилетия после Октября не была пряма и ровна; ее не миновали трагические противоречия, неприятия, сомнения. Все это усугублялось и нелегкими обстоятельствами личной, житейской ее биографии.

Но в смутные для русской интеллигенции первые послеоктябрьские годы, когда многие талантливые люди заблудились в потемках своих предубеждений и, как обломки кораблекрушения, были выброшены на бесплодный берег белой эмиграции, Анна Андреевна Ахматова, казалось бы так далекая в своей интимной, камерной лирике от гражданских чувств, наперекор всем трагическим подробностям своей биографии тех лет, не поплыла по мутному течению, увлекшему многих ее литературных современников и сверстников.

В те суровые и трудные дни она написала в непривычных для нее «некрасовских» интонациях маленькое стихотворение, вместившее силу ее большой души:

Мне голос был. Он звал утешно,  
Он говорил: «Иди сюда,  
Оставь свой край глухой и грешный,  
Оставь Россию навсегда.  
Я кровь от рук твоих отмою,  
Из сердца выну черный стыд,  
Я новым именем покрою  
Воль поражений и обид».  
Но равнодушно и спокойно  
Руками я замкнула слух,  
Чтоб этой речью недостойной  
Не осквернился скорбный дух.

В строках этого стихотворения — разгадка всей сложной диалектики жизненной и литературной судьбы Анны Ахматовой в послереволюционные годы. В них же и разгадка органического превращения поэтессы Ахматовой в мужественную, цельную в своем чувстве патриотизма советскую поэтессу. Непривычная и не присущая ахматовской лирике дореволюционных и первых послеоктябрьских десятилетий стихия гражданственности вторглась в ахматовские стихи. дала им отчетливый исторический и социальный колорит. ни в малой мере не разрушив того, что было для нее «лица не общим выраженьем».

И есть неотвратимая закономерность в том, что благотворный перелом этот совершился в годину предельного потрясения всех основ народной жизни, вызванного вероломным нападением немецко-фашистских захватчиков, и что великие страдания и великий героизм ее земляков-ленинградцев раскрыли лирическому слуху Ахматовой трагическую и героическую музыку истории. Поэтесса потаенно-интимной темы в немолодые годы, на второй половине жизни, раскрылась как искренний, страстный гражданский лирик.

Я никогда не забуду, как после опубликования в «Правде» стихотворения «Мужество», открывающего новую полосу в развитии ахматовской лирики, на большом вечере стиха в прифронтовой Москве, только что отогнавшей от своих стен фашистов, я читал эти строки перед многими согнями защитников нашего города и по их глазам видел, чувствовал животворную силу их воздействия на умы и сердца, потому что слова

...мы сохраним тебя, русская речь,  
Великое русское слово,  
Свободным и чистым тебя пронесем,  
И внукам дадим и от плена спасем  
Навеки! —

были выражением дум и настроений и тех, кто сидел в зале, и миллионов советских людей от гремящего переднего края войны до самых далеких градов и весей советского тыла

Сразу же после войны Ахматову ждали новые испытания. Но сердце поэтессы пересилило трудные переживания тех дней, и пишущему эти строки через некоторое время после 1946 года привелось публиковать в редактируемом им журнале ахматовские стихи, продолжившие новое направление в ее лирике.

Анна Андреевна Ахматова из года в год радовала читателей новыми талантливыми стихами, в которых звучала перегоревшая боль пережитого, и неизменно радостное чувство природы, и обретенное в огне войны чувство людской общности, тревога за человечество, не нашедшее успокоения по окончании прошлой большой войны.

Полтора последних десятилетия были в жизни Анны Андреевны годами завоевания миллионов новых читателей у себя на родине и широкого признания ее творчества за рубежом.

Мы, группа советских поэтов, присутствовавших на вручении в Катании на Сицилии советской поэтессе международной премии «Таормина», видели, с каким достоинством — и человеческим и поэтическим — принимала эту премию наша соотечественница, чувствуя себя русской, советской поэтессой.

С тем же достоинством советского человека, гражданина нашей великой Родины принимала Анна Андреевна в старинном университетском городе Оксфорде звание почетного доктора.

Такой она была на протяжении всей жизни. И недаром, обращаясь к читателям своих стихов, изданных в 1961 году, она писала:

«Читатель этой книги увидит, что я не переставала писать стихи. Для меня в них — связь моя с временем, с новой жизнью моего народа. Когда я писала их, я жила теми ритмами, которые звучали в героической истории моей страны. Я счастлива, что жила в эти годы и видела события, которым не было равных».

Истинные поэты не умирают в тот миг, когда перестает биться их сердце, когда останавливается пульс.

Это больше, чем ко многим другим, относится к Анне Андреевне Ахматовой.

## А. ТВАРДОВСКИЙ

★

*Достоинство таланта*

Имя Анны Ахматовой — одно из немногих имен русской поэзии XX века, отмеченных в десятилетиях неизменностью читательских симпатий, хотя революционные потрясения и социально-исторические перемены этих годов, казалось бы, способны были безвозвратно предать забвению этот негромко и с большими перерывами звучавший лирический голос.

Это тем более примечательно, что русский читатель по глубокой традиции отдает предпочтение поэзии отчетливо и с наибольшей энергией выраженных гражданских мотивов. Поэзия же Ахматовой никогда не была на гребне общественно-политических событий, и в этом смысле ее нельзя сравнивать не только с голосом Маяковского, но и с куда более близким ей А. Блоком, посвятившим революции последний высокий порыв своей поэтической жизни.

Однако круг читателей и почитателей стихов Анны Ахматовой, которая и смолоду не была обойдена признанием, в последние годы неизмеримо расширился. Об этом говорят тиражи ее книг, которых не найти в продаже, и тиражи периодических изданий, предоставлявших свои страницы для ее стихов последнего времени.

Этому выходу негромкой, интимной по самой своей природе поэзии Анны Ахматовой из почти что внутрилитературной зоны к большому и, так сказать, многослойному читателю не могли помешать крайне несправедливые и грубые нападки на нее, имевшие у нас место в известную пору. Умолчать о них перед свежей могилой поэта было бы грешно еще и потому, что литературная и жизненная судьба Ахматовой была на редкость нелегкой и через все ее испытания она прошла с выдержкой и достоинством, которые не могут не вызывать уважения. Что же касается самих нападков, то они давно отведены жизнью и, более того, вызвали, как всякая предвзятая и бездоказательная критика, наименее входящую в расчеты такой критики реакцию читателей.

Поэтическое имя Ахматовой в суммарном читательском представлении — синоним главным образом лирики любовного чувства. Действительно, тема любви в разнообразных, большей частью драматических оттенках — наиболее развитая тема стихов Ахматовой. Об этой теме мы до сих пор говорим применительно к самым разным поэтам, как бы взывая о снисходительности к ней. Между тем именно этому предмету принадлежит господствующее место в мировой лирике. И не кем-нибудь, а великим революционером и мыслителем Чернышевским было сказано, что не от мировых вопросов люди топятя и стреляются и что поэзия сердца имеет такие же права, как и поэзия мысли. То, что столь существенно для отдельного человека, что часто определяет его судьбу, коверкая ее или награждая высшей человеческой радостью, не может не составлять живейшего интереса для всех.

Предчувствие и зарождение любви, испытания любви, память любви, ее безысходные утраты, раскаяния и «зароки» — эти и многие другие мотивы любовной темы не есть открытие Анны Ахматовой в поэзии. Казалось бы, ее особенность лишь в том, что лирический герой ее миниатюрных стихотворных новелл — не он, как это по преимуществу было в известнейших образцах классической лирики, а она, любящая женщина, носительница бремени неразделенной или утраченной любви с ее особой женской «памятью сердца». Но это менее всего так называемая женская поэзия, или, как еще говорят, поэзия «дамская» с ее ограниченностью мысли и самого чувства. Представленная, например, у нас в прошлом веке небесталанной Е. Ростопчиной.

Это поэзия, чуждая жеманства, игры в чувство, мелочных переживаний, флирта, бездумной «бабьей» ревности и тщеславия, душевного эгоизма. Владений этой поэзии не касается даже тень пошлости — многоликого и страшнейшего врага любовной лирики, не в пример, к слову сказать, некоторым экзерсисам и нынешних молодых поэтов обоего пола. Любовь у Ахматовой не праздная причуда и не просто дань возрасту, нерассуждающей страсти. Она полна глубокого душевного содержания, она — мера личности, незаменимая и возвышающая «повинность» человеческого сердца, откровенная в своей нетерпимости и нераздельности.

Должен на этой земле испытать  
Каждый любовную попытку.

Жгу до зари на оконце свечу  
И ни о ком не тоскую,  
Но не хочу, не хочу, не хочу  
Знать, как целуют другую...

Поэзия Ахматовой — это прежде всего подлинность, невыдуманность чувств, поэзия, отмеченная необычайной сосредоточенностью и взыскательностью нравственного начала. И ее, между прочим, никак нельзя назвать исключительно поэзией сердца. В целом — это лирический дневник много чувствовавшего и много думавшего современника сложной и величественной эпохи, хотя бы и отраженной в этом дневнике далеко не во всей полноте и значительности.

Главная и неизбывная тема Ахматовой — любовь — еще задолго до охлаждающей умудренности зрелого возраста осложняется и обогащается другой «повинностью» ее жизни — призванием поэта. Поэзия — высший суд, перед которым смиряется даже неотвратимая и безоглядная сила любовных переживаний молодости. Общение поэта со своей музой — потребность не менее властная, ценность жизни не менее высокая.

Когда я ночью жду ее прихода,  
Жизнь, кажется, висит на волоске.  
Что почести, что юность, что свобода  
Пред милой гостьей с дудочкой в руке...

Только в свете поэзии любовь приобретает свою подлинную сущность, становится чем-то неизмеримо более высоким, чем она может быть сама по себе, и уже не противостоит вездесущей и безусловной «прелести милой жизни». В этом, может быть, и есть секрет живучести ахматовской лирики, — она на редкость жизнелюбива и человечна.

Высоким нравственным кодексом определяются и характерные черты поэтического мастерства Анны Ахматовой. Это — благородный лаконизм, немногословная емкость речи, когда за скупыми строчками стихотворения живет возможность многих тонких подробностей и оттенков.

Можно было бы отдельно говорить о многих замечательных чертах поэтического мастерства Ахматовой: о ее тонком чувстве русской природы, об абсолютном слухе к интонациям родной речи, о неотразимой психологической точности выражения душевных движений, о сложной простоте, о непринужденности и свободе интонации ее стиха, об особой доверительности ее поэтических признаний, так подкупающих читателя, незримую дружбу с которым она ценит превыше всего на свете.

Наш век на земле быстротечен  
И тесен назначенный круг,  
А он неизменен и вечен —  
Поэта неведомый друг...

И язык ее — это никак не «язык цветов», не язык, специально предпочтительный для выражения «нежных чувств», а живой, часто будничным и обиходно бытовым, как бы даже нарочито прозаический язык.





Когда спустя полвека один наш горе-поэт напечатал это стихотворение под своим именем, то плагиат не был замечен редактором, вероятно, не только потому, что вещь эта не из самых заметных у Ахматовой, но главным образом из-за отсутствия малейшего налета устарелости фактуры стиха, — такое стихотворение вполне могло быть написано и в 1965 году. А «деревья весело-сухие» даже и теперь производили бы впечатление не совсем обычного словосочетания.

«Свежесть слов и чувства простота» — неотъемлемые достоинства поэзии Ахматовой, сообщающие ей долголетнюю неувыдаемость в полном соответствии с так отчетливо выраженным поэтическим заветом:

Нам свежесть слов и чувства простоту  
 Терять не то ль, что живописцу — зренье,  
 Или актеру — голос и движение,  
 А женщине прекрасной — красоту?..

«Бег времени» — этим названием объединила Ахматова почти все написанное ею за более чем полувековую литературную жизнь, прожитую нелегко, но честно и красиво, с достоинством подлинного таланта.

Для старой, изнуренной болезнью женщины Анны Андреевны Ахматовой «бег времени» окончен. Для ее чистой и внятной, живо откликающейся в людских сердцах поэзии — долгий путь вместе с «бегом времени».




---

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**И. И. Виноградов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, И. А. Сац, К. А. Федин**

---

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. К 9-81-77.  
 Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

---

Сдано в набор 3/II 1966 г.	Объем 18 п. л.	Подписано к печати 12/III 1966 г.
А 13501.	Формат бумаги 70×108 <sup>1/16</sup> . Зак. 450.	9 бум. л. (24,66 усл. п. л.) Тираж 149 250.

---

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
 имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636